90 коп. Индекс 73293

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Готовятся к печати книги:

Андреев Ю. **Волшебное зрение.**— Л.: Сов. писатель, 1990 (III кв.).— 24 л.— 1 р. 90 к.

Дементьев А. **В. И. Ленин и советская литература:** 2-е изд.— М.: Худож. лит., 1990 (II кв.).— 22 л.— 1 р. 70 к.

Иванова Н. **Фазиль Искандер, или Смех против страха.**— М.: Сов. писатель, 1990 (III кв.).— 16 л.— 1 р.

Маргвелашвили Г. **Когда на нас глядит поэт.**— М.: Сов. писатель, 1990 (III кв.).— 20 л.— 1 р. 40 к.

Осетров Е. **Голоса поэтов: Этюды о русской лирике.**—М.: Сов. писатель, 1990 (III кв.).— 14 л.— 85 к.

Полевой Н., Полевой Кс. **Литературная критика.**— Л.: Худож. лит., 1990 (IV кв.).— 35 л.— (Русская литературная критика).— 1 р. 90 к.

Плеханов Г. **Избранные работы.**— М.: Худож. лит., 1990 (III кв.).— 35 л.— (Русская литературная критика).— 1 р. 70 к.

Рукавицын М. **Принадлежит народу (о народности литературы и искусства).**— М.: Худож. лит., 1990 (III кв.).— 21 л.— 1 р. 60 к.

Эйдинова В. **Стиль художника (концепция стиля в литературной критике 20-х годов).**— М.: Худож. лит., 1990 (III кв.) — 18 л.— 1 р. 40 к.

Издания по литературоведению и критике выпускают издательства: «Художественная литература», «Советский писатель», «Советская Россия», «Современник» и др.

Аннотации на предлагаемые книги опубликованы в тематических планах издательств на 1990 год.

В О «Союзкнига»

ISSN 0132-0637. Октябрь. 1990. № 6. 1—208

1990 6 ОКТЯБРЬ

ISSN 0132-0637

ОКТЯБРЬ

6

1990



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

ОСНОВАН В МАЕ 1924 ГОДА. С 1925 ГОДА ИЗДАВАЛСЯ КАК ЖУРНАЛ ВСЕСОЮЗНОЙ АССОЦИАЦИИ ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, С 1934 ГОДА — ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

6

1990

ИЮНЬ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ПО СТРАНИЦАМ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

Юнна МОРИЦ

В логове голоса

* * *

В логове гóлоса
в слогове логоса,
колоса, волоса,
осоловенья —
благословенье
речи родимой,
неизгладимой.
Стань на колени,
очи — в ступени
перед собою,
слезной мольбою,
всею судьбою
выстрадай спазмы,
бессонницу, бред,
галлюцинации,
манию слежки,
магмы и плазмы
пламя и свет,
час коронации,
дрожь головешки,
ставшей золой,
воскрешающей птиц...
Там, под полой,
где сверкание спиц
в ободе многого, —
будешь ты богово
голоса логово,
логоса слогово!..

1989

* * *

Голубоваты семь утра
или без четверти... По трубам
вода завыла. Ледорубом
долбят под окнами — дыра
заходит в череп, из дыры
выходят пламя, дым и пакость —
вчерашних новостей двоякость,
идей микробные миры,
гостей общественный подъем,
намеки тайные, пружины
дивана, где сошлись дружины
мудрейших, господи, объем
их знаний — грандиозный бак
с кровавой пищею событий...
пускай я буду всех забытей,
но не впитаюсь в этот мрак.

1989

* * *

Весной, когда воздух звончат,
катишься на трамвае
по Киеву голубому,
с Подола на Куреневку,
и думаешь: Матерь Божья,
сколько пещер, ущелий,
нор, чердаков, подвалов,
зарослей, бочек, будок,
сараев и погребов!..

Но стань хоть вишневой косточкой,
хоть зернышком спрячься в яблоке,
хоть провались в дупло —
до самых корней, под землю! —
вытряхнут, откопают,
вырвут с куском планеты,

выжмут из рек, морей,
выгрызут из булыжника,
выдавят из пчелы,
выцарапают из глаза
ласточки и голубки
твой отблеск!..
О, да, прикончат.

Весной, когда воздух звончат
и тебе — двенадцатый год,
а на улице — сорок девятый,
катишься на трамвае
и молишься: Матерь Божья,
все меня видят, видят,
спрячь меня глубже, глубже...

А через сорок лет
в каком-то московском транс-
порте
вдруг контролерша транса —
хоть провались в дупло,
до самых корней, под землю! —
вытряхнет, откопает...

И, за карманом выворачивая карман,
забавляя почтенную публику,
с трудом нахожу билет,
очки мои разбиваются,
расплывается толстый туман,
и я выхожу на станции,
где в трауре Матерь Божья
небесным дождем оплакивает
вырезанных армян.

1988

Ахматова и Петровых

Мария Анне чаю налила,
когда гроза во все колокола
ударила, раскачивая громы,
и каменные дрогнули хоромы,
и звон раздался битого стекла
внизу, где окна ветром разнесло.
И вдруг заколотилось, как весло,
Марии сердце. Потому, что Анна
светилась белым — страшно и туманно,
как светится последнее число.

Марии сердце билось о волну,
а сердце Анны шло, светясь, ко дну —
она была царевною морскою,
седой царевной, с царственной тоскою
в последнюю глядящей глубину.

...Я шла от них, по воздуху плеща
материей намокшего плаща.
Ползла по стенам и по листьям влага.
И дневника шершавая бумага
всю ночь топорщилась, как заросли хвоща.

1989

* * *

Аллеи душные в пыли,
окурки в лужах, вонь асфальта
и туч отечные кули
в лучах, оскольчатых, как смальта.
У высших сил на поводу
собака лапою босою
скребет помойный бак в аду,
где все стоят за колбасою,
виясь в кудрях очередей,
завитых чародеем пыток
клещами пламенных вождей,
которых здесь переизбыток.

Любимой сластью стал страшок,
что этот век, от крови пьяный,
еще себе на посошок
наполнит кладезь наш багряный.
Мы — главные поставщики
какой-то нови людоедской.
Что б ни болтали языки, —
сильны мы лютостью простецкой,
для нас блаженство — сознавать,
что мы незрелы для свободы,
что взор не в силах оторвать
от наших ужасов народы.

1989

Что нового?

Холодный, родимый рассвет.
Что нового, ангел? Все то же —
газеты напали на след,
ведущий в масонские ложи,
читатель увидит портрет
и скажет: «Проклятые рожи!
Чего у них только там нет!
И с нашими надо построже».

Целую дитя у дверей —
беги, не опаздывай в школу, —
и думаю: из лагерей
вернут ли Руденко Мыколу?..
Забытая богом страна, —
что нового? Бред и расправа.
Ты вечно от крови пьяна,
и в ней — твоя страшная слава,
угроза для стран и племен,
которым видна твоя дикость.
Никто, кроме нас, не влюблен
в твою роковую великость.
Никто, кроме нас, не родит
детей для твоих пожираний.
Что нового?.. Сыщик следит
за кровью, пылающей в ране!

Что нового?.. Списки черны!
Что нового?.. Сердце несчастно.
Что нового?.. Обречены —
и ждем новостей ежечасно!..

1983

* * *

Мне легче вспоминать
у этого ручья —
и мгла над ним клубится,
и стужа горяча.

Волна из-под камней
извилисто струится —
и наплывают лица
ушедших в землю дней.

И натекает свет.
И замыканья дрожь.

И пытка ожиданьем —
глубокая, как нож,

утопленный в груди.
Пощады здесь не жди —
мы все друг друга раним,
покинем и обманем...

с холодным пониманьем:
иная жизнь меняет хуже смерти.

1985

Sine anno, sine loco[1]

Зажав дубину между ног,
в нее вколачивают гвозди,
как штык, как в рукоять — клинок.
И гасят свет, и мчатся в гости
по сонным улицам пустым,
клубясь, как дым,
пьянея злобой,
в зрачках — дремучий, зверолобый
инстинкт... У меченых ворот
бензином плещут из канистры.
Горит квартал, земля орет.
Они, заглатывая искры,
кромсают и крушат старух,
младенцев потрошат невинных.
Их распаляет кровь и дух
бегущих, лоскутом на спинах
свисающая кожа, плоть,
раздавленная под ногами.
Добыча бегает кругами,
она не хочет наколоть
глаза на гвозди...
Рассветает,
в голубизне кровавый шар
налился, всплыл, его шатает.
Концы с концами свел кошмар,
и длится жизнь, и слышно птаху...
На землю расстелив лоскут,
убийца молится аллаху,
а жены хлеб ему пекут,
и страж порядка угощает
кровавой ягодой кизил,
и страшным знаньем ощущает
прилив таинственнейших сил.

1988

* * *

Злобный пафос набирает силу,
Злобоумье распирает жилу,
И горит злобесная слеза,
Устрашая выкатом злобучим...
Неужели снова нахлобучим
Нашу злость, как шапку, на глаза?

Вот колонны дрогнули от злобы,
Красный бархат вылез из утробы
Кресел и потек с балконов, лож, —
Спуск широкой крови по ступеням,
Господи, куда мы столько денем,
Жуть на жуть меняя,
ложь на ложь?..

На трибуне — карлик,
он не Сталин,
А такой же злобой откристален
И таким же бредом обуян.
Половина публики в восторге,
А другая ждет кровавых оргий.
Господи, спаси же россиян.

Неужели только страшный опыт
Эта пашня, всасывая, копит?
Где предел и есть ли таковой?
Над Москвой
накрапывает дождик.
Снова рты закляпывает вождик
Под лакеев сладострастный вой.

1989

* * *

Стеклянный перезвон береговых огней,
кошачьи огоньки в очах портовой девы, —
рожаясь на лету, распахивает зевы
кровососущий рой, рыдающий над ней.

Светящейся горой она идет сквозь мрак,
питая облака мельчайших людоедов,
пока из кабака не выйдет к ней моряк,
бесстыдную мечту ей дружески поведав.

Но дева голодна. И счастлив утолить
он глад ее любой... — Форель и рюмку водки!
И будет в кабаке он трубкою смолить,
чтоб дохли комары — от Крыма до Чукотки.

Не зажигая свет за марлевым окном,
обнимутся они в ее фанерном рае
и трижды перельют блаженство, ни в одном
из содроганий никогда не привирая.

1978

[1] Sine anno, sine loco — без указания года и места (лат.).

* * *

Еще не вечер, но уже черно,
и кровь о кровь со свистом
точит жало,
и нечто роковое пробежало,
и дьявольское брошено зерно.

Еще не пламя, но уже ползком
тихонько подбирается к соломе,
и стонут балки в будущем разломе,
и это — ни водою, ни песком...

Еще не гибель, но уже конец
какого-то единственного света,
который выключает вся планета,
чтоб каждый стал герой или мертвец.

1988

* * *

Сперва мне казалось: умру
от страха, бессилья и боли —
такую тут злую игру
затеяли, так измололи
мне жизнь, промышляя ордой
и за руки взявшись на славу,
пока сквозь камыш под водой
я передышала облаву,
обвал тектонических глыб,
облом берегов обитанья,
на глуби реликтовых рыб
ложась, чтоб избегнуть братанья,
русалкой среди якорей
безрукость обресть и безногость,
пропáсть — и как можно скорей! —
спасая свою одинокость.

1979

* * *

Вечно ждать кровавых новостей,
шепотом воспитывать детей,
рукописи прятать под пеленку.
Кто доносчик? — главный наш секрет.
Кто приходит в дом, когда нас нет?
Кто там в телефоне крутит пленку?
Сколько лет за это, сколько зим?
По какой наклонной мы скользим,
выпив рюмку чая с иностранцем?
Как не попадаться на глаза
тем, кому руки подать нельзя,
если полным ты не стал зас..нцем?
Как же нам отсутствовать везде?
Затаиться и дышать в воде
жабрами? За сколько дней, мгновений,
худшее предчувствуя, бежать?
И куда? И надо ли рожать
для тюрьмы так много поколений?..

1975

* * *

Одна звезда — фонариком зеленым.
И море обдает холодным звоном
ступни, колени, плечи... Поплыла!
И мой так легок стебель, так светла
моя свобода — пахнет небосклоном —
как в детстве, у Днепра, где я жила.

Душе возвращено предназначеиье —
волны качанье, пенье, и свеченье,
и благодати праведная мгла...
Нет цели у природы, есть теченье, —
цель придала бы ей ожесточенье,
с которым хорошо идут дела.

1987

* * *

Чашка была кривая, третьего сорта.
Переплывая индийский чай со слоном,
все испохабила жирная крошка торта,
обволакивая бульонным пятном...

В полнолунье труднее дышится, слаще пишется,
волны света гулче и куда ни ткни — паруса.
Вьюга складчата, с каждым вихрем стена колышется,
сквозь нее — одиночество лунного колеса.

Все орут или шепчутся, никто никому не внемлет...
Новости, как бутылку, публика пьет из горла
и, опухая, дремлет
вниз лицом посреди стола.

— Что она там говорит? Повторите! Вот безобразие!
— Мы же платили деньги! Администратор — где?
— Где министратор ада? В Европе мы или в Азии?!

...Господи, дай забыться луковицей в воде...

1986

* * *

Глаза сужает терпеливый бог,
глядеть привычка в темное зиянье,
где нас родивший световой поток
примчится после смерти...
Опозданье
травой смягчится вешнею, к полям
склоняемой так ласково, так плавно,
что быть привеском к чьим-то похвалам —
обидно, и постыдно, и бесславно.

1988

* * *

Плавучая тоска преджизненных темнот,
мучительные сны, безумия истоки, —
их ритмы вкрадчивы, их образы жестоки,
уже к пяти годам клубится этот флот
за шторой ветреной, за лунной полосой,
когда отец и мать вот-вот из мглы вернутся,
душа воспалена, и страшно блещет блюдце,
и блеска страшный звук вонзается осой
осеннею в висок, и опухоль кровит,
покуда сквозь нее отсасывают жало...
Годам к тринадцати все то, что набежало
с любовью матери, слоится и язвит
хвощами, прорастающими — сквозь
бессонницу видений, пену плоти,
униженность души, при перелете
разодранной о раскаленный гвоздь.
На рельсы! В петлю! К голым проводам!..
Быть может, там отыщется, кому бы
завыть, как воют, разрывая трубы, —
как воют сны к семнадцати годам,
как воет день с виденьями картин
навязчивых, как мы не знаем лени,
преуспевая в самоистребленьи...
как в белоснежном входит господин,
чтоб молоточком вызвонить колени,
в мозгу пересекающихся льдин
сверканье черное, и вызволить, как стон,
влеченье к смерти, твой зеркальный ужас
пред жизнью и безумьем... Я о том,
как, на мосту случайно обнаружась
в слезах, глядеть на реку под мостом.

1989

* * *

Лунной ночью в январе
в снежных облаках,
я каталась во дворе —
на звонких коньках.
Свет звенел в фонаре,
лед в огоньках,
снег звенел на щеках,
звезды — в зрачках.

Этот снежный звон, звон
в десять лет, лет
был как вещий сон, сон —
ниоткуда свет, свет...

Отовсюду свят, свят
серебрился дух, дух,
всеобъятный взгляд, взгляд —
колокольный — вслух, вслух.

Оглянуться — страх, страх,
там такая звонкость!..
Там в хрустальных горах
звенит моя ребенкость,
там в зеркальных дворах
множится фигурка.
А в зеркальных мирах —
оскольчато, гулко...

1986

Из цикла «Воля высших сил»

I. Добыча

Зернистой смоквы сласть, и персиков текучесть,
и чуть соленый мед слоеной баклавы...
В Афинах — зной и ночь. Он зябнет. Желчью мучась,
он пот на белый плат сливает с головы.

Его разгромлен флот. Неотвратима участь.
Таков расклад богов, и звезды таковы.
Отчаянья струна, как кошка, измяучась,
язвит живучий дух, где чаянья мертвы.

А победитель — дик, воняет он козлами,
и пожирает мир кровавыми глазами, —
и варварский язык ворочает с трудом,
но обретет он лоск в божественном бальзаме
культуры греков... И в неведенье святом,
эллинофилом став, останется скотом.

II. Сутин

Душа среди кровоточащих стен,
лет восемнадцати, с улыбкой на устах,
обречена блаженных дней взамен
на нищий труд и одинокий страх.

В ней — прелесть грусти. В ней мерцает ген,
блуждающий в заоблачных мирах.
И пахнет степью от ее колен.
И что-то в ней — от хижины в горах.

Она мечтает заглянуть за полотно,
где красок масляных пульсирует пятно,
свои отращивая мускулы и жилы.
Но цыкнул мастер, сущий сатана!
И лишь изнанка ей холста видна,
скрывающая волю высшей силы.

1986

* * *

Сизая морось, желтая липа,
ворон в развилке ветвей,
гибель Сократу пророчит Ксантиппа,
но улыбается ей
пьяненький,
лысый знаток наслаждений,
гений, зануда, ловец
юных балбесов, от скуки и лени
внемлющих звону словес.
Холодно, сыро, боль в пояснице,
веко трещит ячменем,
демос продрог
и в трущобах теснится,
греясь вином и огнем.
Ну-ка, вздремнем,
хорошенько закутав
грезящей плоти простор,
слаще которого
только цикута,
если аптекарь — не вор.

1988

* * *

Когда все наши всех не наших перебьют,
а наших всех угробят все не наши,
когда все те порубят всех не тех,
а все не те зароют тех и этих, —
тогда этническое равенство берцовых,
голеностопных, тазовых, височных
не будет волновать дегенератов,
усопших в героической борьбе,
дегенералов, штаб дегенеральный
с дегенеральной линией не бу-
дет волновать такой дегенераль-
ный пух и прах, дегенеральный крах
рядов, сплоченных пищей из крахмала.

1989

Общий вид

I

Новизны лихорадка. Хлам
интонаций, вчерашних драм
и вчерашней крамолы ветошь.
Скрежет пляски, тяжелый рок
и напрягшийся вновь жирок
тех, кто в оттепели так сведущ.

Стук лопаты о мерзлый грунт,
смакованье — почем же фунт
лиха, пуд незабвенной соли?..
Соблазненье чужой судьбой,
мимоходом грабеж, разбой —
кража пытки чужой и боли,
глада, хлада, колымской тьмы,
святомученики — взаймы,
погорельцы — взаймы, терпельцы...
Лязг надежды на быстрый фарт,
на победу крапленых карт
и на куш в грандиозном дельце.

II

Первый врет, второй смеется.
Третий правду говорит —
почему? —
а потому что
он — не первый, не второй.

Будь он первый — презирал бы
тех, кто лезет на рожон.
Будь он первый — сам бы вешал
тех, кто правду говорит,
сам бы голыми руками
он давил бы эту мразь.
Будь он первый — самбо! самбо! —
сам бы третьего загреб.

А на месте бы второго
сам бы ржал как жеребец, —
ведь на свете нет смешнее
тех, кто лезет на рожон!
А на месте бы второго
сам бы третий хохотал, —
ведь на свете нет смешнее
тех, кто правду говорит:

они дрыгают ногами,
когда в петельке висят
и все туже, туже, ту же,
ту же петельку — аминь!
Язычки у них наружу,
когда в петельке висят,
а наружу язычками
кто же правду говорит?..

Первый врет, второй смеется.
Третий правду говорит —
выпученными зрачками,
языком наперевес!..
Первый чует — дело худо,
и второй — намеки понял,
оба-двое
рвутся к бою
правду-матушку спасать —
громче!.. громче!.. еще громче!..

Первый врет, второй смеется.
Третий в гробе издается,
из налога гробового
кормит первого, второго,
сдача — детям и вдове.

1987

У подножия Этны

Накинув шелковый платок,
стою на мраморном балконе.
Вулкана огненный поток
на черном льется небосклоне,
страшна беззвучность — как во сне,
язык застрял пилой в сосне.
Слоится воздух, плоть слоится.
Весы заело, чаши не
качнулись — амен! — и зане
ты найден легким, ты — крупица.
...В долину Красного Быка
текут чудовищные смеси.
Прохлада ужаса — сладка
освобождением от спеси.

1986

Индеец

Лик — из меди,
весь индеец — из железа.
Резоглазо
блещет леза
глазореза!

Мчась, как птица,
весь косится —
как лисица.
Колосится на затылке
черная косица.

Черный колос,
птичий голос —
в карауле.
Маниока.
Огнеока
смерть от пули.

Два осколка,
два отскока
от лавины —
мы в бинокле
так одиноко
уловимы,
уязвимы —
тише! тише! —
по манью ока.
Друг от друга
наши ниши —
так недалеко...

Маниока —
в котле музейном,
в углу глазейном.
Пыль с индейца утирают
чем-то бумазейным.
Этот шорох
морозит жилы мои
с изнанки!
Одной чеканки —
моя свобода,
твои останки.

Остыла кузня,
где нас ковали...
Прощай, индеец!
Одной тряпицей
утрет нам лица
младой музеец.

1986

Запах смеха

Я в цех чужой пришла на выступленье.
Там люди ржали в скотском исступленье,
и звезды сатирического цеха
им подносили паузы для смеха.
Тут опоздать ни на секунду невозможно!
Наполнить смехом паузу — не сложно,
она — как таз для рвоты, важен миг,
когда порыв естественный возник.
Ты должен вызвать эти спазмы, хрюки,
а у меня в тот день дрожали руки,
и запах смеха страшно раздражал!..
Я прочитала им один рассказик,
назло ни разу не подставя тазик.
И будьте мне премного благодарны
за то, что пять минут никто не ржал.

1986

* * *

...и придут дикари молодые — для
того, чтоб начать с нуля,
и будут они беспощадны,
их вкусы грубы, аппетиты громадны,
ничто им не свято, не дорого —
слишком все стоит дорого,
слишком велик разрыв
между тем, что им обещали,
и тем, как вы обнищали,
вкалывая навзрыд,
как ломовые лошади,
чтоб они наплясались, наплавались,

наплевали на страх и прославились
воем стихов на площади.
И не вздумайте корчить кислую мину,
вы — из очень прошлого века
и сами себе подложили мину,
глубоко унижаемый, желчный калека,
чья скорость равна нулю,
с которого все начинается —
все то, что вам уже не подчиняется,
как шторм — кораблю.
... лапшой свисают прогнившие снасти,
барахло такелажа идет на дно,
дикарям причиняя вечное счастье,
которое вам не дано.

1985

Родная тоска

Выйдя, упал и понял,
что впал в огромную реку,
а эта река впадает в огромное море —
в какое? Долго искал названье,
ощупывал устье и русло,
берега и прибрежные травы,
плесы, песчаные отмели, мелкие островки,
гладил широкую воду, тяжелые волны,
лодки, баркасы, речные трамваи,
катера, пароходы, байдарки,
травянистое дно, где шуршали часы,
всевозможные перстни, браслеты и серьги,
нательные крестики,
монеты, цепочки и цепи, очки,
ракушки, большие и мелкие камни,
кувшины, горшки, пояса и ключи,
иконки нагрудные...
В заводи плавал челнок,
сидела в нем пьяная Зина,
ловила цветы водяные, рвала на продажу,
срезала ножом камыши.
Слезала с нее кожура, как с вареной картошки.
Случайно за скользкие прутья в воде ухватясь,
подумал, что э т о сейчас ему руки отрежет, —
и сжался, но котики нежные были на прутьях,
и вспомнил, что — верба, что эта река — Борисфен
и в Понт она льется, и в детство впадает...
По памяти всплыл он у э т о г о света
с кувшинкой в зубах,
был свеж ее стебель, струясь кислородною трубкой
сквозь зелень и солнце,
сквозь радость родимой тоски,
чья морда на лапах
рычала, чтоб мальчик учился
без нянек ходить, одеваться и ложку держать.
Но те, кто родил его, — умерли,
некому больше качать эту детку.
А те, кого он породил,
от ужаса стынут при мысли,
что э т о надолго.
И только родная тоска ему песню поет,
и книжку читает,
и учит его говорить и писать
по слогам.

1987

* * *

Кто здесь ворочался? В твердыне,
во чреве азиатской дыни.
Кто углублял ее во сне
и рос в ее росистой глуби,
тая свое преджизнелюбье
и зубки ландышей в десне?

Здесь были пятки, здесь — лопатки.
Здесь — головой он бился в схватке,
летя на воздух и на свет.
Не он ли съест ее?.. А корки
свернет, чтоб не текло в ведерке,
в одну из утренних газет.

1986

Памяти поэта Сергея Дрофенко

Есть целомудрие в загадочных словах,
Которыми поэт или монах
Нам говорят о душ переселенье.
И той же мглой окутана любовь.

И только личный путь и личный свет
Сквозь этот целомудренный запрет
Пройдут из поколенья в поколенье,
Мглой целомудрия переселясь в кровь.
И той же мглой окутана любовь.

И я, об этом зная кое-что,
Не стала бы касаться ни за что
В такой осенний вечер этой темы,
Нарушив целомудрия запрет.
Но тот, кого мы поминаем ныне,
Сквозь сень поющих нот прошел к святыне.
И там, где жизнь еще ругаем все мы,
Он вновь рожден туманностью любви.
И молодая мать ему дает
Свой целомудренный, пьянящий, лунный мед,
Чтоб он забыл о предыдущей боли,
О горечи предпамяти своей,
Когда мы нежность шлем ему вдогонку,
Отодвигая вечности заслонку,
Где слышно пенье, что по божьей воле
Он вновь рожден туманностью любви.

1976

Там другое

Что ты видишь там, куда ты смотришь?
Вижу я ту сторону вопроса,
на которой — Месяц и Венера,
Пятница Страстная с погребеньем
и Святое Воскресенье с Пасхой.

Что ты слышишь там, куда ты смотришь?
Слышу я ту сторону ответа,
где душа бывает после смерти,
после нашей смерти — не своей.
Хорошо ли там, куда ты смотришь?
Цыц, проклятый разум, — там другое!

Вижу я ту сторону вопроса,
слышу я ту сторону ответа,
где не знает меры ни Пространство,
ни Господня воля — до вишневой
косточки сжимающая звезды,
ни горизонтальная восьмерка —
прорезь (в маске вечности) для глаз,
бабочка, летящая в бинокле
капитана, плынувшего в бездну...

Неужели бабочка посмертно
с отвращеньем вспоминает воздух,
одуванчик, липу и сирень?
Неужели страшно ей воспомнить
золотые крылья? Неужели
даже эта легкость — наказанье?

Что тогда мы знаем о душе?
Что мы знаем о ее свободе,
о ее затменьях и прозреньях,
о рожденьях предыдущих жизней?
Что мы знаем о своей душе,
бабочке ее уподобляя,
между тем как бабочка томится
всей душой в летающей тюрьме,
спрашивая душу то и дело:
— Что ты видишь там, куда ты смотришь?

...Что ты видишь там, куда ты смотришь?
Вижу я ту сторону вопроса,
слышу я ту сторону ответа,
где душа бывает после смерти.
Хорошо ли там, куда ты смотришь?
Цыц, проклятый разум, — там другое!

1980

Из цикла «Медный бык» [1]

I

Что мне стоило стать коростелью
и уйти хоть на птичьих ногах
из неволи, свинцовой метелью
убивающей мысли в мозгах?
Не безумье ли, яму копая,
ждать погибели, ужас вкушать,
если можно из этого края
выйти вон и свободно дышать?
Всюду — воля и свет ненаглядный,
всюду люди живут по-людски...
Никогда я не буду нарядной
в царстве злобы, вражды и тоски,
никогда не узнаю, как нежно
я была бы возлюблена там,
где за мною бы ужас прилежно
с топором не ходил по пятам.
За морями свобода бескрайна,
за горами светло и тепло,
но какая-то страшная тайна
крепко держит меня за крыло.

---

[1] В «медном быке» пытали огнем, особое устройство превращало крик жертвы в бычий рев, увеселяя публику.

Знаю, узел все туже и туже,
все черней и черней времена.
Знаю, скоро в погибельной стуже
буду заживо погребена.
Укрепи меня, Господи Отче,
дай мне долгие силы и путь,
если держишь все крепче, глубоче
испытуя сквозь русскую жуть.

1975

II

И этот опыт я пережила,
и этот путь стократно повторяла,
теряла все — и более того...
и не была мне бедность тяжела,
ведь я не из такого матерьяла,
где нищетой гордится вещество.

На полужизни ставя горький крест,
одна как перст я обживала местность,
откуда нет возврата в отчий ад.
Плевать мне было, что меня заест
тоска, безлюбье, жалкая безвестность,
ликующая злоба стай и стад.

Но там, где спотыкался мой язык
о камни детства, о ступени в травах,
о волны Борисфена, о Врата
Златые, о серебряной лозы
мерцание... Там в заревах кровавых
зияла мне безумья чернота:

мычание, с которым Медный Бык
на огневище пыточном пасется,
до черного каленья размычась,
пока в нем жертва жарится и крик
несчастной человечины несется,
державу развлекая в черный час, —
«как знак того, что только речь — отчизна» [1].

1988

[1] Строка из «Трактата о поэзии» Чеслава Милоша в переводе Н. Горбаневской.

Владимир МАКСИМОВ

Семь дней творения

РОМАН

Процесс воссоединения единой русской литературы, когда-то насильно и трагически разодранной на отечественную и эмигрантскую, продолжается. Еще одно писательское имя — имя крупного русского прозаика Владимира Максимова — скоро перестанет ассоциироваться у нынешнего нашего читателя лишь с отрывочными, еще недавно нелегальными или полулегальными сведениями и слухами о нем как о редакторе легендарного «Континента» да с теми его выступлениями и интервью, что публиковались в нашей печати в связи с его приездом в СССР в апреле этого года. Ныне на Родину начинает возвращаться его творчество.

Редакция «Октября» не может не испытывать, я думаю, удовлетворения в связи с тем, что это возвращение начинается с публикации романа «Семь дней творения» на страницах хотя и того самого журнала, который сделал когда-то имя молодого Максимова известным в нашей литературе, но журнала совсем уже другого, чем он был в шестидесятые годы под редакторством Вс. Кочетова, одного из самых ярых проводников в тогдашней литературе официально-охранительной неосталинистской «линии». Но ведь и Максимов, можно с уверенностью сказать, не захотел бы возвращаться к отечественному читателю на страницах «Октября», если бы журнал и сегодня оставался выразителем и преемником кочетовских общественно-политических традиций. Меняется время — меняются и люди, меняются и журналы. Важно только, чтобы изменения эти были искренними и истинными.

Впрочем, и в шестидесятые годы, когда Вл. Максимов только начинал еще свой писательский путь, он начинал его как прозаик, которого менее всего можно было бы назвать литератором кочетовского направления и толка, и сотрудничество его с тогдашним «Октябрем» было, в сущности, своего рода историческим и литературным парадоксом, каких, кстати, не так уж и мало случалось в то время. С детства прошедший суровую школу жизни Максимов с самого начала заявил себя в литературе как очень последовательный, трезвый и даже жесткий реалист, беспощадный к какому-либо приглаживанию жизненной правды и предельно внимательный прежде всего к жизни глубинных народных слоев, к страданиям, заботам, устремлениям и духовным исканиям так называемых «простых людей». Иными словами, он заявил себя как писатель, развивавшийся в русле той «городской» и «деревенской» русской прозы, становление и расцвет которой в пятидесятые—шестидесятые годы были связаны прежде всего, конечно же, с «Новым миром» Александра Твардовского. Недаром, кстати, после того как реализм Максимова в изображении советской действительности достиг в своем развитии той точки, что стал совершенно уже невозможен на страницах советских изданий, и Максимов, исключенный из Союза писателей, уставший от преследований и притеснений, вынужден был уехать на Запад, где основал вскоре журнал «Континент», объединивший вокруг себя многих знаменитых литераторов, публицистов и общественных деятелей Европы, Америки и русского зарубежья, он в одном из первых же своих редакторских выступлений заявил о том, что «Континент» будет продолжать лучшие традиции именно разгромленного уже к тому времени «Нового мира» Твардовского.

Не знаю, все ли согласятся признать, что при любых, как говорится, издержках «Континент» за протекшие пятнадцать лет своего существования остался все-таки в своих стержневых устремлениях верен этой начальной заявке. Тема эта сложная, заслуживающая специального обсуждения, ибо со стороны многих людей самых разных литературных и общественных ориентаций некоторые редакторские действия и публицистические выступления Вл. Максимова, человека определенного и резкого, не скрывающего своих пристрастий, симпатий и антипатий и не стесняющегося порою, увы, в выражениях, вызывали острое несогласие, полемику, даже протесты. Меня иные из этих акций—равно как и некоторые недавние заявления и слишком поспешные, на мой взгляд, оценки Вл. Максимова в его выступлениях и интервью во время приезда в СССР — тоже, например, не радуют, и я вспоминаю о них с сожалением.

Но то, что при всех возможных спорах и несогласиях, которые столь естественны

в живой литературно-общественной жизни, да еще такой сложной и бурной, как сегодняшняя, Владимир Максимов всегда оставался и остается большим русским писателем, творчество которого — при всех опять-таки возможных его слабостях и недостатках — принадлежит магистральному руслу современной русской литературы,— это, на мой взгляд, несомненно. И в этом читатель сможет, мне кажется, убедиться, познакомившись, в частности, и с романом Вл. Максимова «Семь дней творения» — первым и одним из лучших романов писателя, который, будучи написан в 1971 году, уже не смог быть напечатан в СССР и увидел свет лишь за рубежом.

Впрочем, на романе этом—как и на некоторых иных темах, затронутых выше,— стоит, может быть, остановиться несколько подробнее. Но лучше все-таки лишь после того, как роман уже будет прочитан подписчиками и, думаю, не только подписчиками «Октября».

Игорь ВИНОГРАДОВ.

Понедельник

ПУТЕШЕСТВИЕ К СЕБЕ

I

Сны Петра Васильевича вообще отличались в последнее время диковинностью и пестротой, а сегодня ему снилось и вовсе что-то уж совсем ни с чем не сообразное...

Известные всей свиридовской слободе воры, братья Ламские, волокли мимо его окон паровозную трубу в детской коляске и при этом озорно подмигивали ему: пошли, мол? Он хотел было крикнуть им нечто презрительное и уничтожающее, но на их месте неожиданно возник непутевый, убитый еще в финскую кампанию сосед его, Санька Баев, с ковригой пеклеванного под мышкой и с полбутылкой в свободной руке. Охватив «Московскую» за горлышко, он пьяно скалился в его сторону: врешь, мол, старый дурак!

Захлебнувшись обидой, он бросился было к окну, но тут же пришел в себя с удушливым колотьем под самым горлом. Рука его привычно потянулась к тумбочке и стала судорожно шарить по ней в поисках таблетки валидола, заготовленной, как всегда, еще с вечера.

Мятный холодок во рту принес ему обманчивое успокоение. И мысли, вялые и случайные, словно ветошь в мутном омутке, мысли завязали свой обычный дневной круговорот.

Вот уже лет примерно около двадцати, с того самого тусклого мартовского утра, когда Петр Васильевич вернулся со скорых, небогатых даже и по тому голодному времени похорон жены, жизнь его приобрела подобие часового круга, где всякая цифирь отличалась от другой не цветом и содержанием, а только условной сутью.

Еще лежа он знал, что ровно в семь встанет, постучит в дощатую перегородку, что отделяет его комнату от светелки дочери Антонины и та, по обыкновению, не ответит, но ему и без того будет ясно, что она услышала и уже поднялась, и вскоре бесшумно начнет свою ежеутреннюю работу: включит плитку и возьмется за сооружение для него шестиместной «кочубеевской» яичницы.

Потом он не спеша, со вкусом поплескается перед рукомойником, медлительно облачит себя в свои обычные доспехи: бумажные китайские брюки, шерстяные носки (мерзнут ноги!), ботинки на микропорке, косоворотку, суконный, еще довоенных времен, жилет и чешский пиджак, купленный дочерью по случаю.

Яичницу Петр Васильевич съест молча, со внушительной вдумчивостью и ровно в восемь, вооружившись у двери шляпой и палкой, все так же молча выйдет на улицу, которую он в силу давней, с молодых еще лет привычки называет слободой.

А сейчас, до урочного времени, старик просто, безо всяких дум глядел в облитое первым июльским светом окно, за которым когда-то был небольшой садок десятка на два яблонь вперемежку с вишнями (причуда Петра Васильевича, тоже отдавшего в свое время дань новомодному тогда учению) и где теперь высилась красного цвета глухая стена заводского корпуса. Стена была такой непостижимо громадной, что иногда ему казалось, будто за ней уже ничего нет — пустота.

Завод, год от года обрастая строениями, все ближе придвигался к утлому дому, отжимая его к самой дороге, которая, в свою очередь, расползалась в ширину. Между этими двумя врагами, словно маленькое буферное государство в тисках гигантов, и отстаивал свою независимость приземистый, еще дедом отстроенный пятистенок, где одну комнату из четырех занимал Петр Васильевич.

В городе его знали все или почти все и если не любили, для этого он никак себя не проявлял, то уж, во всяком случае, уважали, как, впрочем, уважают все, что хранит одним только своим существованием то, чего другие, хотя бы в силу возраста, не знают да и знать не могут. Таким бывает уважение к памятнику, старой крепости, знаменитой горе.

Поэтому, когда известная всему городу палка стучала по асфальту, почти каждый ее стук бывал отмечен поклоном или приветствием:

— Васильичу!

Тук-тук...

— Здравствуйте, товарищ Лашков!

Тук-тук...

— Приветствую!

Тук-тук...

— Здоров, Петр Васильевич!

Тук-тук...

— Наше вам!

Тук-тук-тук...

И так весь день от восьми до восьми, с тремя перерывами: для обзора, впрочем, беглого, газет на стендах, захода в столовую и обязательного, но не слишком затяжного отдыха в городском сквере между четырьмя и пятью. Как говорится, город знал его, а он знал свой город.

Узловск, подобно многим уездным городам России конца девятнадцатого века, возник вокруг крупной железнодорожной станции, примерно на полпути между Москвою и Энском, а потому именно станция, а с нею и все ее основные службы — вокзал, депо, вспомогательные постройки — являли здесь собою хозяйственное и духовное средоточие.

Город рос в основном за счет естественно тянувшихся к нему голодными ртами окрестных деревень: Сычевки, Свиридова, Дубовки. Они и поставляли «железке» черную рабочую силу и хлеб. По мере роста дороги хлеба у них становилось все меньше, зато матерела черная рабочая сила. Стараниями отъевшихся на новых харчах баб пополнение ее не иссякало.

Мужики пограмотнее, посмекалистее, выбившись всеми правдами и неправдами в люди, строились ближе к станции и, таким образом, незаметно — за домом дом — сближали село с городом, пока самые деревни не вошли в город, как его составные части. И станция Узловская сделалась очередным уездом Российской империи, а стало быть, Узловском.

Петр Васильевич прожил в Узловске семьдесят с лишком лет, и, если бы его спросили однажды, что в нем — в этом городе — самое главное, самое примечательное, он бы затруднился ответом, как затруднился бы ответом о себе самом, настолько оба они являли собою как бы одно целое.

Город принял его — совсем еще молоденького свиридовского залетку — едва оперившимся, посадил проводником в третий класс, и с тех пор жизнь обоих текла друг у друга на глазах.

Стала Узловская уездом, и у Петра Васильевича Лашкова жизнь прибавила важным знаком путейского достоинства — обер-кондукторской сумкой; обзавелся город своим элеватором, и его пятистенник засиял на все Свиридово веселой оцинкованной крышей; первая шахта обозначилась терриконом за рекой, и в дом к молодому обер-кондуктору вошла, чтобы остаться там на сорок без малого лет, тихая и работящая Мария — дочь слободского шахтера.

А потом все: и бронепоезда в гражданскую, и мертвые паровозы чуть позже, и первые машинисты — во врагах народа,— и гробы, сложенные на всякий случай штабелем у депо в последнюю войну, — все вместе.

Присматриваясь к городу, Петр Васильевич пытался вызвать к жизни былое целое из возникающих в памяти черт и черточек, но неряшливая в лихорадочной своей убогости застройка местных слободок безликими ко-

робками из стекла и бетона уже не могла оживить дряхлеющую душу собственно Узловска. Другой город, с другими песнями и другим порядком победительно определял его облик.

«Тут-тук, тук-тук...» — выстукивала палка асфальтовый панцирь улиц. И сердце города, задыхавшееся под ним, астматически откликалось:

«Я — здесь!» — тянулся к свету сквозь асфальт росток тополя, уже готовый разбиться в листья.

«Я — здесь!» — сыро вздыхала еще не схваченная бетоном земля вокруг водоразборной колонки.

«Я — здесь!» — блистало куском припудренного известкой и цементом зеркала озерцо, а скорее всего просто прудок крохотный.

Тук-тук, тук-тук, тук-тук!..

Но ответы с каждым днем становились все глуше и безнадежнее.

Утверждая собственную жизнеспособность, они тихо радовались всякой что ни на есть пустяшной детали прошлого: «А-а, живы, значит!»

«Часики-то еще сохранились! — радовался один, глядя на то, как Петр Васильевич заводит свои «Павел Буре». — Классный ход! Известное дело, довоенная работа!»

«А красильня-то, красильня стоит, — вторил ему другой. — Износу ей нет, да!»

«Ишь, — не сдавался город, — и рубашечка-то нынче на вас, Петр Васильевич, наша — косой ворот в горошек. Век не застираешь!»

«И пекарня на месте, — играло стариковское сердце, — в такой печи из дерьма калачи выходят! Знай наших!»

Тук-тук... Тук-тук...

Петр Васильевич грузно опустился на лавочку, блаженно вытянув ноги: куда ни кинь, больше семидесяти.

За ребристые крыши окраины, трудно дыша, багрово-желтой туманностью стекал день. Город еще погрохатывал, еще позванивал где-то между сквозными глазницами зачатых корпусов, силясь изо всех сил изобразить мощь, деяние, но в его тяжком выходе уже явственно прослушивалась надсадность.

Петр Васильевич никогда не менял своего раз и навсегда принятого маршрута, и, если бы не толпа у разбитой витрины модного в городе продмага «Витязь», старик и в этот день не изменил бы направления.

Дело оказалось настолько пустым и мелким, что и любопытствовать не стоило, да и не отличался Петр Васильевич особым любопытством, но когда он, уже проходя мимо, искоса взглянул, только взглянул, в сторону этой самой разбитой витрины, его сразу, вмиг, как это бывает в электричестве, где единого, единственного всего мгновения контакта достаточно, чтобы возник всеобнажающий свет, постигло озарение.

В нем вдруг как бы взломалось все, как бы разорвался какой-то мертвый круг, из которого долго и безуспешно в поисках выхода тянулась его окольцованная глухотою душа: за выбитым стеклом красовался всей своей фальшивой сутью аляповатый муляж окорока, на муляжном блюде, в окружении муляжных же колбас.

Толпа еще возбужденно шелестела по поводу происшествия, а Петр Васильевич уже не существовал в ней, не слышал ее, не присутствовал в ее сутолоке. Весь он в эту минуту был обращен туда, в свою юность.

Заваруха, поднятая в те поры деповскими мастеровыми, случайно застала его на базарной площади. И в самый разгар ее, то есть когда первая пулеметная очередь местной команды слизнула с площади остатки всего живого и методично прошлась по витринам, Петька, хоронившийся под одной из брошенных хозяевами телег, выявил впереди себя соблазнительную цель: всего в каких-нибудь пятидесяти саженях, за развороченной витриной гастрономической лавки купца Туркова, соблазнительно поддразнивал его янтарным своим срезом копченый окорок. Настоящий копченый окорок!

И Петька пополз, пополз через всю насквозь простреленную площадь. Тысячу по крайней мере раз могла уложить его любая шальная из всех тех шальных, которыми пело то забытое было и вдруг возникшее из прошлого утра, но ни одна — случаются же чудеса! — не тронула парня.

Петька дополз, дополз вопреки всему, но, когда, наконец, он протиснулся через ребристое стекольное отверстие внутрь, рука его ощутила шероховатость чуть-чуть подкрашенного картона.

И лишь тут страх преодоленного пути коснулся Петьки, и Петька заплакал, нет, не заплакал — завыл от ужаса и обиды:

— Братцы-ы, что же это, братцы-ы, а?!

II

Петра Васильевича сразу же потянуло домой. Дорогой он все недоумевал, все никак в толк не мог взять, почему давнее это воспоминание могло до такой степени взволновать, вызвать смутные предчувствия, породить еще пока неясные, но все-таки надежды, когда, казалось, все уже позади. Но вместе с тем Петра Васильевича не оставляло и ощущение все нараставшей тревоги, сопутствующей всяким значительным переменам, а что перемены эти не заставят себя ждать, в этом он теперь не сомневался.

Едва ли и минуту простоял Петр Васильевич у двери дома, как бы в раздумье, прежде чем повернуть за угол, в половину дочери, а повернув, сразу же услышал знакомый стрекот швейной машинки: Антонина приработывала к его пенсии шитьем. И хотя ему это было не по душе, он никогда с ней об этом не заговаривал, и не из деликатности вовсе, а так — по привычке молчать.

Без стука, палкой толкнул дверь:

— Здорово живешь, Антонина?

От неожиданности — отец вот уже лет около пятнадцати не заходил в ее половину, ограничивая свои с ней взаимоотношения стуком в перегородку дважды в день, — Антонина не только не встала навстречу гостю и не ответила, но даже не подняла головы, с истерической при этом лихорадочностью заработав педалью. Но по тому, как из-под рук у нее наискосок через все штапельное поле шов поплыл диковинными зигзагами, Петр Васильевич догадался, что творилось сейчас у нее на душе. Ему пришлось чуть ли не насильно отдирать ее руки от шитья:

— Сдурела, Антонина!

И тут она на мгновенье вскинула на него глаза и сразу же опустила их снова, едва пролепетав:

— Нет, отчего же, папаня...

И сердце его как бы сорвалось с высоты, и потолок накренился в его сторону, и все в дочерней светелке пошло перед ним кругом: Антонина была пьяна, да так, что оставалось лишь удивляться, как она вообще ухитрялась работать. Стул под Петром Васильевичем заскрипел, зашелся по всем швам:

— Так, Тонюшка, так, доченька, так... Что же дальше будет? — начал было он, но вдруг с мучительной определенностью осознал, что говорит бессмысленные, ненужные слова, а какие могли бы сейчас сгодиться, да и могли ли сгодиться вообще, он не знал, поэтому только тяжело крякнул в заключение: — Эх, Тоня, Антонина!

Сначала она тупо слушала отца, машинально раскатывала между ладонями наперсток, но стоило ему замолчать, как мутные хмельные слезы, собираясь на остреньком подбородке, неровно заструились по ее мелкому, тронутому нездоровой отечностью лицу.

— Папаня! — прерывистой скороговоркой бормотала она и все искала его взгляда, все искала. — Папаня, да разве ж я!.. Папаня!..

И если сначала Петр Васильевич, безусловно, считал себя оскорбленным и, разумеется, правым в своем негодовании, то теперь, глядя на ее мятые хмелем, трясущиеся губы, жалкий полурастрепанный пучок на затылке и эти вот, так и не окрепшие в настоящем деле ладони, по-прежнему раскатывавшие наперсток, он все определеннее проникался не жалостью, не состраданием, нет — ему ли было заботиться эдакими тонкостями! — а чувством еще покуда безотчетной вины перед нею.

«Вот оно, началось, — с горечью думал он, — плохо ли, хорошо ли, а началось, чуяло мое сердце».

Антонина была младшей в семье и единственной из шестерых детей Петра Васильевича, что осталась при нем. Дочери спешили замуж из родного дома и потому вышли кое-как и неудачно, сыновья подавались, куда глаза глядят, и по-разному, и в разное время исчезали с лица земли. Все они отказывались от него, чтобы уже никогда не переступить отчего поро-

га. Где-то там, в стороне, его дети ставили свои дома и семьи, рождали детей, а их дети — своих детей, но никто из них никогда не вспомнил о нем. Ему коротко и, кстати, не приглашая, сообщали о смерти того или другого, и все.

Получая короткие эти весточки, Петр Васильевич, как водится, горевал, хотя и без особой скорби. Но и в естественной этой боли его упрямство всегда укрепляла облегчающая мысль: «Слушал бы отца, не пропал бы!» Как будто и здесь отцовская воля могла что-либо поправить.

Петр Васильевич всегда считал себя правым. Всегда и во всем. И не было силы, какая смогла бы переубедить его в этом. Может быть, такого рода убежденность откладывала в нем профессия. Безраздельно властвуя на протяжении суток в местном пассажирском, он в дни, свободные от поездок, и с домашними усвоил поездную форму обращения. Самым употребительным в его лексиконе было слово «нельзя». Нельзя то, нельзя это. Нельзя вообще ничего. Но дети росли, и мир с каждым следующим днем становился для них шире и выше его «нельзя». И они уходили, а он оставался в злорадной уверенности в их скором возвращении с повинной. Но дети не возвращались. Дети предпочитали умирать в стороне от него.

Старшего, Виктора, лекальщика с «Динамо», взяли прямо из цеха, с тем только, чтобы, обозначив в протоколах исходные, пустить в расход.

Петр Васильевич бровью не повел.

Второй — Дмитрий — нарвался на свою лютую долю у линии Маннергейма.

Петр Васильевич и не поперхнулся.

Дочь — Варвара — в смертельных родах отдала век четвертому чаду своему, здесь рядом — в Углегорске.

Ему и об этом недосуг было печалиться.

С младшим сыном его — Евгением — плохую шутку сыграл «фаустпатрон» под Кёнигсбергом.

Отец лишь вздохнул слегка.

И, наконец, брошенную мужем с тремя малолетними на руках — Федосью схоронили на казенный кошт, а детей рассовали по детдомам.

«Что ж, — только и подумал он, — сами себе долю выбирали».

Не заметил Петр Васильевич и того, как бессловесно истлела у него под боком им по-своему и горячо любимая жена — Мария. Истлела, угасла тихо и благодарно слякотным мартовским вечером. И лишь тут, около этого, неожиданно для него оказавшегося небольшим и сухоньким, тела жены, Петра Васильевича коротко обожгло такой болью, таким неведомым дотоле смятением, что он испугался вдруг своего одиночества, испугался до черноты в глазах. И, чтобы не соблазняться сладкой жутью посмотреть на самого себя со стороны, он зажмурился сердцем и замолк. И в темном молчании этом проглядел и прослушал дыхание собственной дочери за перегородкой. Проглядел, что, схоронив мать, восемнадцатилетней девочкой осталась она вековать свой век рядом с ним и с тех пор вот уже без малого двадцать лет ходит за ним, кормит, обстирывает, выносит урыльники. А ведь если не лучше других была, то и не хуже, право! Мужика ей не хотелось? Еще как! Детями брезговала? Десятерых — и чтобы все парни! Дом свой не мил был? Светом бы его нездешним залила! Всего Антонине хотелось, чего положено девке и бабе в свой срок и час.

И вся сумятица вопросов, взявших за душу Петра Васильевича, вдруг разрешилась в слове.

— Слушай, Тоня, — он грузно поднялся, шагнул к ней и, неуклюже теребя ей плечо, стал успокаивать, — не надо... Перемелется... Подумаешь, выпила... Кто без греха!.. Бросить бы только надо тебе все эти тряпки-тяпки, к хорошему делу встать... Я уж как-никак сам с собой управлюсь... Теперь вон в столовой любо-дорого... На четыре гр. венника ешь — не хочу... Опять же прачечные есть...

Но та от первой же отцовской ласки затряслась вся, зашлась и, с силой оглаживая его запястье и прижимаясь к его бедру мокрой щекой, тихо молвила:

— Папанюшка-а-а... Я все сделаю... Все, как вы велите... Только б не сердились на меня. — Она так и произнесла «сердились». — Пойду, куда захотите, пойду... Только мне около вас лучше... Может, я что не так... Вы скажите... Я все сделаю...

Постепенно Антонина затихала, дыхание ее становилось ровнее, спокойнее, слезы высыхали, она почти блаженно подремывала у его руки.

Петр Васильевич осторожно поднял дочь, повел к кровати и там сложил ее вялое, послушное тело. Едва коснувшись подушки, Антонина заснула, а он стоял с ее туфлями в руках и в дрожи, памятной ему с дочернего еще детства, смотрел, как, сладостно причмокивая во сне, засыпает его теперь уже почти сорокалетнее чадо. Да ведь, по сути, ничем не искушенная, она и осталась вся там — в своих детских снах. А для детей — год или сто, какая разница!

Петр Васильевич поставил ее туфли перед кроватью и, стараясь не задеть чего-нибудь по дороге, вышел и тихонько прикрыл за собою дверь.

III

И опять ему снилась какая-то чертовщина. Бабка Наталья, старуха больная и ругательная, протягивала ему горсть мятых вишен и, шамкая провалившимся ртом, бубнила в ухо: «Вожми, Петюшка, вожми, не брежгуй...» А потом покойный начальник службы движения Егоркин, стуча кулаком по столу, честил его на чем свет стоит: «Под трибунал захотел, Лашков! У меня не засохнет!» Петр Васильевич хотел было громко обидеться, за что, мол, но вдруг вспомнил, за что, и промолчал. Следом за Егоркиным выплыла из небытия собственная его — Лашкова — свадьба, на которой приходившийся ему тестем забойщик Илья Парфеныч Махоткин, пьяный в дымину, лез к нему целоваться и при этом хрипло изрыгал: «Ой сю, сю, сю, сю, сю сю, сю, я вас, то есть попросю, вы мине не кушайтя, вы мине послушайтя...» А затем его уносил сквозь снег поезд голодного года и в призрачном свете коптилки кто-то тоненько тянул из-под лавки: «Прощай, Маруся, дорогая, прощай, сынок мой дорогой. Тебя я больше не увижу, лежу с разбитой головой...» После чего он стоял, защищая тамбур, а на него со всех сторон лезли и лезли, лезли, молчаливо таращa на него глаза...

Пробуждение Петра Васильевича отстаивалось долго и тяжело. Кутерьма расплывчатых видений еще, казалось, кружила в комнате, а день уже проникал его предстоящими заботами. Следовало сегодня же выхлопотать дочери место, где бы она могла без ущерба для своей привязанности к нему заняться стоящим делом.

Старик привычно потянулся было к перегородке, но тут же, словно перегородка сделалась вдруг раскаленной, отдернул руку и не без горечи усмехнулся про себя: «Забывчив стал, седой черт! Не можешь без прислуги».

Редкую листву яблони у самого окна едва-едва по самой кромке тронуло солнце, и вся она еще трепетно подрагивала от ночной сырости. Но все же эта ее вечная убогость выглядела куда устойчивее глухой, в два с половиной кирпича стены, наступавшей на нее с тыла.

За много лет Петр Васильевич так привык к убранству своего жилища, где ничего и никогда не стояло для него в отдельности, а всегда все вместе в одном цельном образе, что теперь, когда почему-то и вдруг каждый предмет заговорил с ним особым языком, он несколько озадачился.

Петр Васильевич оглядывал комнату, узнавая и не узнавая ее. Что-то совершенно неуловимое изменилось в ней. Будто впервые увидел он шкаф с запыленным граммофоном наверху. Конечно же, и шкаф, и граммофон попадались ему на глаза множество раз, но лишь сейчас он отметил их, и отметил каждый в отдельности. Или вот ходики с отломанной стрелкой. И ходики, и отломанная стрелка мозолили ему глаза лет уже не менее сорока, но только теперь Петру Васильевичу подумалось: «А стрелка-то отломана, да...» Даже в скрипе собственной кровати он лишь сегодня различил лады и оттенки: если сядешь — с надрывом; ложишься — звук начинает петь; повернешься на бок, — отзывается надтреснутым дискантом.

Нет, мир положительно оборачивался к Петру Васильевичу какой-то иной стороной, иным ракурсом.

За перегородкой послышался шорох, затем голос — просительный, виноватый:

— Папаня, вы что?

— Ничего, дочка...

— Нет, я думаю, может, нездоровится?

— Чего себя беспокоишь зря, спи...
— Вам, папаня, вставать время... Я сейчас.
— В столовую схожу, Антонина, спи.
Послышался жалкий всхлип:
— Я больше не буду, папаня, ей-богу, не буду никогда...
— Чего не будешь?
Из-за стены, точь-в-точь как маленькая, дочь засопела, чуть в нос и подбородок:
— Пить... Не буду...
— Да разве я потому, дочка! Хочу, чтоб поспала ты... Мое дело стариковское... Всем дедам леший спать не дает, а тебе зачем ни свет, ни заря вскакивать, спи себе...
Голос Антонины дрогнул от обиды и боли:
— Не хочу... спать...
И Петр Васильевич почувствовал, что если сейчас, хотя бы даже из добрых побуждений, он оттолкнет дочь, ему ее едва ли вернуть после.
— Сейчас... Умоюсь...
Вслушиваясь в ее торопливую беготню за стеной, он с горечью утверждался в мысли, что для нее ее вечное бдение рядом с ним стало привычкой и потребностью и что ему этого уже не переиначить.
В это утро Антонина не ходила — летала вокруг стола, предупреждая любое желание отца, каждый его кивок принимала, как награду, и вообще во всем, что бы она ни делала в это утро, сквозили праздничность и удовлетворение.
Так что из дому Петр Васильевич выходил ухоженный дочерью сверх всякой меры, ощущая, правда, в себе некоторую неловкость или, вернее, смущение, свойственное обычно именинникам.
С близкого поля, которое растекалось по обе стороны дороги прямо от истока слободы, тянуло зацветающей гречихой. На душе у Петра Васильевича стало вдруг так мирно и благостно, что ему захотелось, до слез захотелось туда, в этот запах, в этот давным-давно забытый сквозной простор, и он, не раздумывая более, впервые за много лет повернул прочь из города.
Неистребимо утоптанная тропинка водила Петра Васильевича полем, со всех сторон подступавшим к окрестным терриконам, и он шел себе и шел, повинуясь ее прихоти. Отрывочные и путаные видения прошлого кружили над ним. От тех, что казались ему мелкими, пустыми, он просто отмахивался, в другие вглядывался, стараясь вспомнить детали, но они, не успев обрести устойчивую резкость, растворялись в памяти, чтобы уступить место следующим.
Почему-то отчетливо вспомнилось: пронзительно солнечное утро, сквозь которое от двери к столу идет Мария, а в руках у нее тарелка с огурцами, круто посыпанными солью. Реальность предстала перед Петром Васильевичем с такой поразительной отчетливостью, что, думалось, сейчас, с расстояния в сорок лет, он мог бы различить на каждом семечке любую солинку...
Внезапно в полдневную, почти физически ощутимую тишину вплыла и заполнила собою окрест скорбная мелодия труб, взявшая начало еще где-то в городе. Через Свиридово пролегала дорога к кладбищу, и в другое время очередные похороны едва ли привлекли бы внимание Петра Васильевича, но ему — жившему теперь ожиданием перемен — и в музыке услышался, так сказать, зов предчувствия, и он двинулся навстречу трубам и с каждым шагом все более укреплялся в мысли, что не обманется в ожиданиях.
По форменной одежде большинства идущих можно было безошибочно определить: хоронят путейца. Когда же процессия поравнялась с ним, с проплывающей мимо него фотографии в его сторону косо усмехнулось блеклое одутловатое лицо Фомы Лескова: «Что, брат, все коптишь? А я и здесь успел!»
Из провожающих многие кланялись Петру Васильевичу и тут же отводили глаза: давняя история его взаимоотношений с покойным прочно укрепилась в сознании местных движенцев, которые считали их кровными врагами, хотя едва ли кто знал толком, с чего и когда она — эта вражда — началась.

И сейчас, провожая взглядом скорбное шествие, Петр Васильевич, хотя и не раскаивался ни в чем, в глубине души подосадовал: «На старости-то можно бы и помягче жить. Не дожидаться похорон, помириться».
Тук, тук, тук...
Даже в стуке его палки прослушивалось сердитое сожаление. Перед глазами возникали белые мухи. Белые мухи первой военной осени...

Начальник службы движения Егоркин, кое-как разместив за столом свое грузное неповоротливое тело, отчего стол сразу стал глядеться игрушечным, проговорил, не глядя на собеседника:
— Вот какое дело, Лашков... Как бы это тебе сказать. — Уже по одному этому тону, каким он, Егоркин, привыкший изъясняться с подчиненными только матом, начал разговор, Петр Васильевич понял, что тому не до шуток. — В общем, обстановка такова, что не исключена сдача Узловска... Надеюсь, ты понимаешь, это я тебе как партиец партийцу?.. Строго секретно...
— Понимаю, Вениамин Федорович...
— Мы вот здесь посоветовались... Ты человек проверенный... Член партии со стажем... И вообще мы тебя знаем... Будешь сопровождать линейный архив... Пока до Пензы, а потом видно будет... Может, — он побагровел, маленькие, в белесой опушке глазки его заерзали по столу, — отплюемся. Выбери себе парня понадежнее. Бери любой классный вагон на выбор. Все получишь у Шпака под расписку... Прицепи себя к паровозной сплотке, с машинистами тебе спокойнее будет... Ну, бывай... Ни пуха...
Кого ему взять в напарники, для Петра Васильевича вопроса не стояло. Он заранее знал, что возьмет Фому Лескова. Лучшего попутчика в дорогу, забитую эшелонами, и придумать было невозможно: Фома в любое время и в любую погоду мог достать все, что угодно, включая паровоз, в разобранном, разумеется, виде.
Сплотка с приданными ей двумя спальными вагонами, сутками простаивая чуть ли не на каждом разъезде, в общем горевом потоке двинулась на восток. Зима догнала их уже в Моршанске и, обложив первыми хрусткими снегами, заспешила дальше — вслед ушедшим вперед эшелонам.
Лесков рвал налево и направо: выколачивал пайки, топливо, не брезговал плохо лежащим, что-то продавал, что-то выменивал, а в результате стол у них, и не по-военному сытный, не оскудевал. Петра Васильевича, правда, коробила эта, не по их скромным нуждам предприимчивость напарника, он временами ворчал и нудился, хотя до времени молчал. Но когда тот заикнулся было о пассажирах — беженцах, с них, мол, лопатой грести можно, отказался наотрез:
— Всех или никого. А поскольку всех не возьмешь, значит, никого.
Фома, зная характер своего главного, перечить не стал.
— Как знаешь, Васильич, тебе видней.
Но при этом всем своим видом дал понять, что не одобряет его и что, коль будет хоть малая к тому возможность, сделает по-своему.
В Ртищеве они застряли надолго. Попусту выделывал Фома кренделя вокруг диспетчеров и сцепщиков, попусту утаптывал и сам Петр Васильевич около начальственных столов, обосновывая едва ли не стратегическое значение своего груза: их перегоняли с одного пути на другой, но не дальше ближайшего семафора.
Как-то, возвращаясь из очередного похода по кабинетам, Петр Васильевич у самого своего вагона встретил невысокую ладную деваху с вещмешком за плечами, во всем военном, но без знаков отличия и звездочки на шапке. Она по-утиному, вразвалочку вплотную подошла к нему и грубовато озадачила.
— Ты, что ли, — она кивнула в сторону вагона, — начальник этому хозяйству?
И голос девахи, хриплый и пропитой, и манера разговора, и эта, не без порочной развязности, утиная ее походочка совсем не вязались с ломким — в детском еще пуху — лицом и угловатостью подростка во всяком движении. И сколько ни силилась деваха выглядеть бывалой и взрослой, сколько ни напрягала голосовые связки, намеренно огрубляя речь, всем

своим обликом она вызывала щемящую жалость и только: «Проклятая, трижды распроклятая война!»

Предупреждая уговоры, Петр Васильевич ответил как можно недружелюбнее:

— Ну?

— Не зря, видно, помощник твой тебя боится,— она хрипло хохотнула,— стращает: вот, мол, придет мой начальник, попробуй, сунься... Только я не из пугливых... Всяких видала... Не бойся — в ее усмешке засквозила злость,— я легкая, не обременю.

— Когда тронемся, неизвестно, может, через час, а может, через месяц...

— Тронемся в восемнадцать ноль-ноль... Не пяль глаза, у меня сведения из первых рук.— Она снова усмехнулась, но уже брезгливо.— Натурообмен, папаша, война все спишет.

— У меня секретная документация,— изо всех сил сопротивлялся он ее напору,— посторонних не имею права...

Деваха медленно двинулась на него, и только тут Петр Васильевич услышал, как при каждом шаге поскрипывают ее ноги. И ему стали понятными и ранняя, так не идущая к ней хрипотца, и деланная грубоватость, и эта ее изменчивая усмешечка, и тогда, сглатывая жгучий комок в горле, он дважды жарко выдохнул:

— Иди... Подсажу...

В купе она щедро разложила перед хозяевами пайковые свои дары, разлила из фляги по кружкам:

— Для ясности: зовут меня Валентина... Фамилия вам ни к чему... А теперь, по обычаю, со свиданьицем.— Залпом выпила и пояснила:— Фронт приучил, до войны крепче лимонада ничего не пила... Вот отпустили вчистую, а идти некуда. Я сама из Воронежа — там немцы... Поеду, думаю, в Сибирь. Много о ней слышала, в книжках читала, в кино видела... Геологом мечтала. А теперь,— круглые и в хмельной поволоке не утратившие детскости глаза ее на мгновение помертвели,— завей горе веревочкой!.. Еще по одной?

Фома, подмигнув начальнику, убежал в соседнее купе и тут же появился снова с бутылкой припасенного «на случай» самогону. Разливая, он как бы невзначай жался к ней, и свободная рука его, чуть подрагивая от желания, то и дело скользила по ее спине.

После третьей Валентина бесцеремонно оттолкнула от себя Лескова и, с вызовом глядя в сторону Петра Васильевича, огорошила:

— Порядка не знаешь, мотя: сначала командиру, а тебе — что останется.

Даже ко всему привыкший Лесков лишь присвистнул и с готовностью подался к выходу.

— Мы люди маленькие, нам и остатнего хватит.

— Что же ты, командир? — Ее развозило на глазах.— Или шибко идейный, а? — И уже не злость, а злоба перехватывала ей дыхание.— Видала я вас — идейных! Знаешь, сколько? До Москвы раком не переставишь! Ишь гусь... Или, может, брезгуешь, тогда скажи, вон мопс твой на подхвате...

И вправду, Фома, внезапно возникнув в купе, поспешил выручить главного:

— Пошли, Валентина, пошли... Поспишь, все как рукой снимет... У Петра Васильевича своих забот полон рот... Видишь, кругом документация...

Та еще пробовала сопротивляться, еще пыталась что-то говорить, но Лесков, ловко охватив ее за талию, тянул вдоль прохода в другой конец вагона, где она и затихла под его похотливый шепот.

А Петр Васильевич вдруг с томительной горечью представил себе на месте Валентины одну из своих дочерей: «Господи,— да что же это такое, Господи!»

Фома старался не попадаться ему на глаза. Молча и походя кивнув, он прошмыгивал в облюбованное им для своих утех купе, и вскоре оттуда начинали доноситься голоса. Голоса то поднимались почти до крика, то переходили в прерывистый шепот, пока в конце концов не затихали совсем до следующего утра.

Едва Валентина приедалась Фоме, он брал ее на закорки и относил в «телятник» к машинистам со сплотки. Те, в свою очередь, вскоре отправляли ее обратно. Так она и переходила из рук в руки, словно общий трофей в сопредельных ротах.

Петр Васильевич бесился, негодовал, но терпел, понимая, что, пусти он девку сейчас по свету, будет ей еще хуже.

Поэтому, когда однажды утром он, выглянув в тамбур, не увидел бок о бок со своими вагонами сплотки, он облегченно вздохнул: «Всех не убережешь, авось — не пропадет».

Их загнали в глушь отдаленного разъезда, где, кроме вагонной коробки, приспособленной под станционное помещение, не имелось ни одного дома или постройки. В чистых до голубизны снегах дымились из-под сугробов окрестные деревеньки, и пейзаж мог бы показаться даже мирным, если бы не черные, наподобие одиноких воронов остывшие еще с осени ветряки по косогорам.

Петр Васильевич потянул на себя дверь тамбура, дверь с визгом отодралась, и он захлебнулся глотком обжигающего январского воздуха.

— Узловские?

К вагону спешил дежурный.

«Что еще за новости? Неужели не задержимся?»

— Что вы там в Гущине натворили, господа хорошие? — на ходу оповещал его дежурный.— Нехорошо! Увезли протезы у инвалида войны... Совесть иметь надо... Велено первым проходящим передать по назначению...

За спиной у главного уже зябко похохатывал Лесков.

— Так она же, курва, сама забыла.— Он мышью просунулся из-под руки Петра Васильевича и опустил два протеза в валенках прямо через плечо дежурному.— На кой они нам леший. Не топить же ими, право слово! — И, поворачиваясь к главному, поблудил косым глазом.— Уж и пошутить нельзя.

Дежурный, испитой старичок в тертой-перетертой шинели поверх телогрейки, озадаченно, слезящимися от мороза глазами оглядел снизу вверх их обоих, хотел что-то сказать, но не сказал, а только сплюнул в сердцах и повернул к себе.

Долго еще потом мерещилась Петру Васильевичу эта черная фигурка на белом снегу с двумя обутыми в валенки протезами через плечо.

Захлопнув дверь, он повернулся к Фоме, и, видно, все, что творилось сейчас в нем, выразило лицо: Лесков, побелев, отступил внутрь вагона.

— Васильич,— голос его пресекся,— сами видели... Добровольно... Никто не заставлял... Васильич!..

Но занесенный над ним кулак главного уже ничто не могло остановить, и кулак со всей злостью, какая была в него вложена, обрушился на голову Фомы. Никогда, ни раньше, ни позже, Петр Васильевич не испытывал подобного желания сбить, смять, уничтожить стоящее перед ним существо. Кровавые круги плавали у него перед глазами, а он все бил, и бил, и бил...

— Мразь... Мразь... Собака...— только и складывали его губы.— Мразь... Собака...

Им еще много довелось вместе колесить по дорогам Урала и Сибири, а потом служить в одной поездной бригаде, но ни разу никто из них не вспомнил друг другу о том утре в глуши заснеженного разъезда.

Мелодия уплывала за кладбищенские кроны, а Петр Васильевич, поворачивая к дому, озаботился про себя: «Надо бы как-нибудь днями зайти, посочувствовать. Сколько верст вместе намотали, не шутка. Да, надо...»

IV

В доме у Лесковых Петр Васильевич бывал от силы раза три-четыре еще до войны, причем из всех посещений запомнил только крестины их первенца, Николая, и то потому лишь, что сам был крестным отцом. Жил проводник у старой пекарни, в доме, что поднял его дед — десятник с «железки» — за счет дарового кирпича и доброхотных подношений от работной паствы, отчего, наверное, и стоявшем дольше положенного ему срока без сколько-нибудь серьезного ремонта.

Дверь Петру Васильевичу открыла крохотная чистенькая старушка. Едва взглянув на него, она прожурчала:

— Здравствуйте, входите... Только что началось...

И тут же исчезла, будто ее и не было вовсе. Глаза его еще привыкали к полумраку, осевшему в доме, когда из комнаты впереди, где в слабом свете, что сочился с улицы сквозь щели ставен, можно было разглядеть непокрытые головы слушателей, выбился к нему ровный уверенный голос:

— И был Город. Тысячи лет стоял он среди озер и садов, радуя глаз и сердце своих обывателей. Славя имя Господне, человек рождался в этом городе и с Его именем оставлял мир. Братская любовь и Добро творили здесь Закон, и люди не знали, что такое преступление. Каждый возделывал свое поле и пас свой скот, но если кто и нуждался в помощи, всякий с готовностью делился всем, что у него было. Правили Городом самые мудрые и почтенные горожане...

Голос показался Петру Васильевичу удивительно знакомым, но, сколько он ни напрягал память, облик, связанный с этим голосом, ускользал от него...

— И пришел Некто. И стал смущать умы безумными речами об искуплении во имя грядущего царствования. И слабые духом уверовали. Слабые духом стали истязать себя и своих детей.

Привыкнув к ломкой полутьме, Петр Васильевич скользнул взглядом поверх голов в ту сторону, откуда звучал голос, и по золотой оправе, блеснувшей в полоске света от окна, узнал бывшего смазчика из вагоноремонтного со странной фамилией Гупак. О нем и раньше поговаривали разное, теперь же, слушая его ровную, без единой заминки речь, Петр Васильевич лишь посожалел в душе: «Миновали тебя вовремя твои девять грамм, ваше преподобие...»

— И ушел покой из их мертвых сердец. Возжаждали они всесветной боли. «Сподобим братьев! — кричали гибнущие, истекая кровью. — Сподобим их нашей истины!» И лишь мудрые остались тверды мыслию в этом безумии. У них было средство спасти Город, вырвать с корнем источник несчастья — Пришельца. Но это означало причинить горожанам неизмеримо более тяжкую боль — боль пробуждения в разрушенном Городе. И тогда взоры мудрых обратились к Синаю. Там, среди песчаной пустыни, проводил остаток жизни в молитве и раздумье святой Пророк. И мудрые пришли к нему и рассказали ему обо всем. И Пророк выслушал их и сказал: «Это должно было случиться. И в назидание остальным Городу указано своим страданием воочию указать другим Городам, чем это может кончиться. И поколению живущих уже нет спасения. Они сломали не плоть свою — душу, а душа не восполняется. Поэтому сказано вам в Книге Вечности увести из Города детей. Пусть вернутся они на отчее пепелище здоровыми духом и телом». Вот что сказал Пророк.

Внезапно голос Гупака взвился до самой высокой ноты, и он прокричал резко и требовательно:

— Так уведите же детей, братове! Не давайте калечить их души! Пусть оставят дети ваши их богомерзкие школы! Пусть не ступит нога ребенка на порог их языческих капищ! Уведите детей, братове! Спасите души, не тронутые порчью!

Последнюю фразу тот произнес уже просительным шепотом, и комната дружно откликнулась на его призыв взволнованным одобрением.

— Воистину!

— В ночи видит...

— Воистину...

— Увезти по деревням от чумы этой...

— Господи!..

Едва Петр Васильевич тронулся с места, знакомая старушка, вынырнув неведомо откуда, заступила ему дорогу.

— Вы уже уходите, брат? — удивленно зашуршала она. — Но ведь еще о новом пришествии будет!

— Мне Лесковых нужно...

Даже в полутьме было видно, как и без того восковая пигалица побелела:

— Лесковы здесь давно не живут.

— А где?

— Не знаю... Кажется, по Рязанской... По-моему, дом пять... — Старушка легонько подталкивала его к выходу, а когда, наконец, он оказался в сенях, предупредила со значением: — У нас есть разрешение. Мы зарегистрированы.

И захлопнула за ним дверь.

В течение многих лет Петр Васильевич по камушку, медленно и упорно выстраивал для себя свой мир. И, как думалось ему до сих пор, выстроил. В этом мире царили закон и порядок. В нем все было выверено до мельчайших деталей. И жизнь раскладывалась надвое: «да» и «нет». «Да» — это всегда оказывался он и его представления об окружающем. «Нет» — все, что тому противоречило. И он носил этот мир в себе, как монолит, его невозможно ни порушить, ни поколебать. И вдруг — на тебе! — два-три крохотных события, две-три случайные встречи, и мир, взлелеянный с такой любовью, с таким тщанием, начинал терять свою устойчивость, трещать по швам, разваливаться на глазах. Оказывается, пока палка его, исполненная собственного достоинства и веса, с утра до вечера выстукивала одни и те же улицы, за стенами домов шла, творилась неведомая ему жизнь, которая не хотела и не могла укладываться в чьи-то схемы и построения. Едва он перешагнул один порог, как родная дочь, тихоня Антонина, обернулась к нему стороной непонятной и озадачивающей, за вторым — смазчик, что и памятью-то отмечен был только из-за своей диковинной фамилии, ходил в пророках. Что же ожидало его за третьим?

Звонить пришлось несколько раз. В квартире слышалось шуршание, отрывистый шепот, лихорадочная беготня, наконец щелкнул замок и дверь отворили ровно в длину цепочки:

— Кого вам?

Но уже через мгновение дверь распахнулась настежь.

— Здравствуйте, Петр Васильевич! — Чуть не в пояс кланялась нежданному гостю Настасья Лескова — худая, крепкая еще старуха, с резким и беспокойным как бы от постоянного напряжения лицом. — Вот угодили, так уж угодили... Фомушка-то, — она по привычке всхлипнула и коснулась концом темного платка сухих глаз, — вспоминал об вас перед смертью. Бывало скажет: «Забыл меня Васильич, совсем забыл». Без зла в душе скончался. Всех простил, — тут Настасья скорбно поджала губы, что, видно, должно было определить для него степень ее посвященности в их тайну, — все простил... Заходите, заходите, батюшка, будьте гостем... Коля, это крестный!.. Вот и сынок приехал...

В напряженном ее радушии сквозила плохо скрываемая фальшь. Раскинув руки, она, словно неводом крупную рыбину, заводила его в «залу», явно боясь, чтобы он не ошибся дверью:

— Вот сюда, Петр Васильевич... Сюда... Садитесь, располагайтесь... Я — мигом... Коля, спишь, что ли, крестный пришел!

Она скрылась в смежной комнате. Последовал сдавленный говор, затем короткое всхлипывание женщины и снова голос, но теперь более определенный. На пороге появился почти вталкиваемый в комнату матерью крестник Петра Васильевича — угрюмый, стриженный наголо детина лет сорока в вельветовой паре и хромовых сапогах.

Выглядывая из-за его плеча, Настасья льстиво блудила вымученными глазами:

— Вот, батюшка, молодец какой вымахал! — И сыну: — Видно, и не помнишь крестного-то своего... Так вы тут посидите, а я вам закусить кой-чего...

Настасья, то и дело искательно оглядываясь, заспешила на кухню и, как только она исчезла, Николай без обиняков заявил крестному:

— Не будем темнить, батя: живу я в городе незаконно. Месяц как от хозяина. Две подписки имею по-новой. В общем, опять без пяти минут лагерник... Тут мамаша икру будет перед тобой метать, так я ни при чем. Мне там, — он кивнул вверх, — просить нечего, все сполна получил и с лишком. Теперь я им, — жестокая усмешка тронула его твердые обветренные губы, — отдавать буду... с процентами...

Крестник начинал нравиться Петру Васильевичу.
— Сколько отбывал?
— Пять.
— За что?
— Врезал одному начальнику промеж рог.
— За дело?
— За дело.
— Все равно многовато.
— Так ведь он до сих пор на аптеку работает.
— Пьяный был?
— Нет, батя, трезвый. Пьяный — убил бы.
— Что умеешь делать?
— Все. Я — мастеровой.
— В депо пойдешь?
— Оттуда и взяли.
— Пойдешь, говорю?
— Не примут.
— Это моя забота.
— У меня две подписки. Не пропишут.
— И об этом не тебе думать.

— Смотри, батя, — светлые, чисто лесковские глаза смотрели на него в упор, и не таилось в них ни улыбки, ни жалобы, — тебе что, сказал — пошел, а я — как на дыбе живу. У меня любой вздох — последний. Лучше не мути душу, выпьем и разойдемся по-хорошему: ни я — тебе, ни ты — мне.

У Петра Васильевича нашлось бы, чем ответить крестнику, за речью у него дело никогда не стояло, но к самому его слову подоспела Настасья.

— Уж вы, Петр Васильевич, не обессудьте, чем Бог послал, на скорую руку. — Она споро, с быстротою для ее возраста удивительной снаряжала стол. — Помянем раба Божия Фому. Царство ему небесное! — Скатерть на глазах становилась самобранкой. — Вот, батюшка, помидорчиков откушайте, сама солила. Рыбки тоже... Колбаска... Коля, наливай...

Пил Петр Васильевич редко, пьянства не любил во всех его видах и в другой раз отказал бы наотрез, но под изучающим взглядом крестника и, наскучив Настасьиной лестью, согласился:

— Разве что по одной... Помянем...

— Шесть десятков вот-вот, а как сейчас помню крестины твои, Колюшка, — пела гостю под руку хозяйка, — Петр Васильевич тогда совсем молодой еще были, а уже в начальниках... И не побрезговали... Вы кушайте, батюшка, кушайте... Чем богаты, как говорится... Вот вернулся, — она снова бесслезно всхлипнула и ткнула платком в переносицу, — с кем не бывает, дело молодое, а ему от ворот поворот... Иди куда хошь от родимой матери. Нешто это порядок! Вот вы, Петр Васильевич, человек партейный, нешто, спрашиваю, это порядок!.. Фомушка вот помирал... Вспоминал все...

— Хватит, мать, — осадил хмуро ее Николай, — поимей совесть. Кого он там вспоминал, если три месяца не в себе валялся... Посидим по-людски... Ну, общее, — он залпом выпил и тут же отставил стопку к середине стола, — все, хорошенького понемножку...

И это не без одобрения отметил про себя Петр Васильевич и встал:

— Спасибо хозяйке... — И, предупреждая Настасьины уговоры, обернулся к младшему Лескову. — Тащи-ка мне, что у тебя есть... Пойду, постучусь кой-куда.

Крестник сорвался с места, метнулся к себе в смежную, а Настасья, с благоговейным испугом воззрившись на гостя, беззвучно шевелила злыми губами, как бы силясь сообразить, не подвох ли тут.

— Вот. — Николай влетел в комнату, ребром ладони сдвинул посуду в сторону и выложил перед гостем все свои «верительные грамоты» — паспорт, справка, характеристика, справка о болезни матери. Вдруг возникшая надежда преобразила его: волчья зябкость в глазах оттаяла окончательно, казалось, навсегда отвердевший подбородок обмяк, медлительные еще минуту назад движения обозначила азартная легкость, и от того сходство его с отцом стало поразительным. — Все в ажуре... И направление в Узловск...

Не глядя, Петр Васильевич сгреб со стола бумаги, сунул в карман.

— Днями загляни ко мне... Будьте здоровы. — Если жизнь в первых двух открытиях лишь поразила его неожиданным оборотом, то за третьим порогом она тоскующими глазами крестника требовала от него обязанностей, и он заторопился. — Пойду... Может, и нынче же кого застану...

Настасья молча вывела его в коридор, подала палку и, отворив дверь, неожиданно, в упор без всякого осуждения или упрека произнесла:

— Фома-то опосля того и закашлял...

С этой тяжестью на душе Петр Васильевич и вышел на улицу.

V

Быт горисполкома подчинялся годами выверенному и четкому ритму, который можно было определить безошибочной формулой: «от и до». Все, что выходило за рамки этой формулы, считалось здесь предосудительным, и поэтому, когда Петр Васильевич справился у секретарши, принимает ли Воробушкин, она лишь брезгливо окинула его насурьмленным оком с ног до головы и одарила словно милостыней:

— Константин Васильевич занят.

Старик не спеша разместил свое массивное тело на стуле против нее и, глядя прямо в ее полуискусственный лик, с жесткой ласковостью проговорил:

— Первый закон для тебя: предлагай старшим сесть. Второй закон: отвечай, когда тебя спрашивают, прямо и четко. Третий закон: спишь с начальством — не показывай вида, потому как начальники меняются... А теперь пойди и скажи Костьке, что дед Лашков к нему. — Подумал, добавил: — Дело есть.

Ту будто ветром сдуло с места. Она скрылась за обитыми кожей дверями, почти тут же выскочила оттуда, мгновенно облучив его угодливой карминной улыбкой.

— Константин Васильевич просит вас.

Проходя мимо нее в кабинет, он зорко отметил тщательно припудренные морщины вокруг глаз, предательскую крупитчатость кожи под слоем крема, шиньон в редеющих волосах и подумал: «Не моложе моей Антонины да пострашнее, а ведь поди ж ты — и ею не брезгуют».

А хозяин уже спешил встретить гостя, источая на ходу радушие и сердечность:

— Петр Васильевич! Какими судьбами? Не видно, не слышно. Я уж думал...

Старик озорно докончил:

— Помер.

— Ну, что вы, Петр Васильевич, — замялся, засмущался тот, и по смущению этому было ясно, что именно это слово и застряло у него на языке, — не заболел ли, думаю... Даже справлялся. — И опять нетрудно угадывалось: не врет, справлялся, только не о здоровье, а — не помер ли? — Садитесь, дорогой... Чайку?

И, пока секретарша хлопотала со стаканами, в короткую ту минуту взаимной неловкости, какая всегда охватывает собеседников, связанных давней историей, где один остался должником другого, Петр Васильевич разглядел Воробушкина и нашел, что тот мало изменился со дня их последней встречи, потолстел разве.

Так же, как и тогда, в тридцать девятом, лицо в лицо с ним сидел приземистый, широкий в кости парень, глядя на него из-под низкого лба блестящими и мертвыми, как у мороженого судака, глазами. Только тогда в них отстаивалась мольба. И сидели они друг против друга, но в обратной позиции: молодой машинист Воробушкин — на скамье подсудимых, Петр Васильевич — за столом экспертов дорожного трибунала. И в его руках была судьба незадачливого паровозника.

Воробушкину предъявлялось обвинение в умышленной аварии. И кому не понятно, что это по тем временам означало!

Ни с того, ни с сего у поворота перегона Петушки — Роща один за другим стали сходить с полотна паровозы. Счастливчиков, оставшихся в живых, сажали, их место занимала молодежь из ударного призыва, но крушения не прекращались. Тогда-то и была создана комиссия, в которую в числе других вошел и Петр Васильевич.

Осмотр места происшествия ничего не дал. Раздвинутые огромной силой рельсы, скрутившиеся при сжатии спиралью, никак не объясняли происшедшего. Комиссия засиживалась до третьих петухов, но сколько-нибудь вразумительного объяснения так и не находила.

А уполномоченный особого отдела — белобрысый парнишка с двумя кубарями в петлицах — вызывал их по одному и чуть не плакал, упрашивая их поторопиться.

— Бросьте вы канитель разводить! Ясное дело — враг орудует. Вы что, и сами загреметь хотите и меня за собой потянуть? Какие могут быть разговоры: виноват, не виноват? Паровозы под откос летят? Летят. Один за другим? Один за другим. Так какая же здесь, к черту, случайность! Система! Система вредительства! А мы в объективность играем.

— Вот и надо выяснить, в чем суть, — пытался было возразить Петр Васильевич, — тогда и врага будет легче обезвредить. Да и не нарочно же, в самом деле, машинисты на смерть лезут!

Сказал и тут же пожалел об этом. Рот лейтенанта, обрамленный едва пробившимся пухом, затрясся, задрожал от негодования:

— Пока мы здесь в шерлокхолмсов играем, враг разрушает наш транспорт. Хватит валять дурака! Закрывайте лавочку, иначе я с вами подругому поговорю! Либералы, объективщики, черт бы вас побрал!..

Новоиспеченные эксперты почесывали затылки, но держались: свой брат погибает, путеец. Неизвестно, сколько бы это продолжалось и чем кончилось, если бы однажды Петра Васильевича не осенило после осмотра очередного паровоза забраться и под прикрепленный к тендеру вагон.

Здесь-то и разгадалась тайна частых аварий. Один из тросов тяги оказался укороченным, и тяга на поворотах, неравномерно давя на тормозные колодки, вспучивала рельсы. И состав, начиная выделывать «восьмерки» прямо по шпалам, летел под откос.

Коротко, с исчерпывающей ясностью (обвинитель только головой покачивал) Петр Васильевич обосновал свои выводы перед трибуналом, а когда сел, поймал на себе подернутый благодарными слезами воробушкинский взгляд. После оправдательного приговора Лашков выходил из суда, пожимая по пути чьи-то руки, выслушивая чьи-то благодарности, но смысл происходящего вокруг с трудом пробивался в смутное его сознание: накануне от него ушел младший сын — Евгений. Ушел, не оставив даже записки. Дома под присмотром десятилетней Тоньки пластом, без слез и слов лежала Мария.

Потом, выдвинувшись, и сам Воробушкин участвовал во множестве подобных комиссий, но экспертные заключения его — неисповедимы пути людской совести! — всегда отличались крутым обвинительным лаконизмом.

И вот теперь они снова сидели лицом к лицу, и Воробушкин, несколько отяжелевший и отмеченный начальственной осанкой, пододвигал ему чай и печенье.

— Хорошо, что заглянули. — Он нажал кнопку звонка; влетела, сияя готовностью ко всему, секретарша. — Анна, — он запнулся, — Ивановна, не соединяйте: срочное совещание. Ясно? — Она понятливо исчезла, хозяин снова обернулся к гостю. — Может, нуждишка какая, Петр Васильевич? Такому человеку, как вы, горисполком всегда пойдет навстречу. Не стесняйтесь...

Докучать занятым людям Петр Васильевич не любил, а просить тем более. Но в случае с Николаем, по его мнению, попиралась справедливость, и оттого ему, считал он, не грех было и поступиться правилом. Просьбу старик изложил как можно короче и убедительнее. Воробушкин слушал, сочувственно кивал, поддакивал даже, но, стоило ему узнать, о ком идет речь, как он тут же побагровел, вскочил с места и заметался по кабинету.

— Ну, нет, уволь, Петр Васильевич! — Хозяин, забывшись, в гневе перешел на «ты». — Это же головорез! Ты знаешь, кого он изувечил? — Он остановился прямо против гостя и назвал, явно желая произвести эф-

фект, известную в городе фамилию. — Один из лучших наших товарищей, гордость, можно сказать, наша, а ты хлопочешь за негодяя, поднявшего на него руку! Не узнаю тебя, Петр Васильевич, товарищ дорогой.

— Ты не мельтеши, Костя, сядь, — подсек его суету гость. — Ты сам-то в суть вникал? За что он его?

— Что значит «за что»! — вновь подался по козру тот. — Что значит «за что»! Ошибся человек, не по совести поступил, выходит, самосудом можно? Анархию развести? Каждый каждому судья? Не выйдет! Мы всякого выучим уважать социалистическую законность.

— С того ли конца учить начал?

— С того, товарищ Лашков, с того! Хватит демагогии: «Массы, массы!». А эти самые массы приходят и садятся вам на шею. Так что обоюдно учить друг друга будем: и снизу, и сверху.

— Другим, значит, где-нибудь, за тридевять земель, с ним легче будет. На тебе, боже...

— Все, что хочешь, — Воробушкин наконец сел, — только не это... И потом, как я буду выглядеть перед пострадавшим?

И видно стало, что хозяин утомлен выслушивать возражения, к которым он не привык, и что его одолевает сейчас сокровенное желание остаться одному наедине с готовой к чтению газетой, ковром под ногами, чаем, самоотверженной секретаршей Анной Ивановной за глухо прикрытой дверью.

— Было время, товарищ Воробушкин, — вставая, решил выкинуть козырь Петр Васильевич, каким при обстоятельствах, хотя бы чуть менее ответственных, никогда не воспользовался бы, — тобой и детей в городе пугали. Один бы ты и в жизнь не отплевался. Да и была бы жизнь — тоже бабушка надвое гадала... Короткая у тебя память, Костя...

Как бы защищаясь, Воробушкин поднял руку ладонью вперед:

— Брось, Петр Васильевич, не к лицу тебе. — Он резко отвернулся к окну. Плечи его согнулись и утратили упругость, круглое лицо посерело и осунулось. — Пусть пишет заявление в депутатскую комиссию. Я распоряжусь. — Он встал и, взглядом уткнувшись в газету, через стол протянул руку. — Всего хорошего, товарищ Лашков...

Гость уходил, оставляя хозяина с глазу на глаз с тишиной и покоем внушительного кабинета, где всякая вещь и любой предмет знали свое место и назначение, где все дышало порядком и субординацией и ничто не терпело незапланированных вторжений.

VI

Дневные хлопоты, как это ни странно, сообщали Петру Васильевичу покойную сосредоточенность в снах и раздумьях. Он сделался мягче, терпимей, сговорчивее. Спалось ему легко и крепко. Исчезло то утомительное беспокойство по поводу всякого недомогания, какое преследовало его раньше. Сознание личной необходимости для кого-то делало жизнь Петра Васильевича обновляюще осмысленной. Всякое утро дарило его ожиданием, и поэтому, когда однажды он пришел в себя оттого, что кто-то легонько, но с упорной настойчивостью погрохатывал входной дверью, то не удивился столь раннему визиту: «Вот и гость на порог».

Торопливо одевшись, Петр Васильевич вышел в сени открыть — и открыл, и задохнулся обморочным мгновением: сам Витька, молодой Витька, стоял перед ним, посмеиваясь хмельными глазами, только был он против прежнего тоньше в кости и осанистее.

— Здорово, дед Петя!

И лишь тут в сознании облегченно отложилось: «Внук — Вадька, Вадим Викторович!» Внука завозила к нему в тяжкий для сына год сослуживица снохи. Та в ожидании высылки рассовывала детей куда попало, лишь бы подальше от беды.

К малолеткам Петр Васильевич испытывал не то чтобы нелюбовь, а эдакую оградительную брезгливость и в другое время отправил бы мальчишку обратно, но унижение ненавидевшей его снохи польстило ему, и он скрепя сердце согласился оставить внука у себя. Тот обвыкал недолго.

В сопровождении девятилетней тетки он обследовал округу. Быстро сошелся со слободскими заводилами, и вскоре Свиридово стоном стонало от босоногого воинства, взятого им под свое командование. И дед оттаял, дед узнавал во внуке себя.

Об Антонине и говорить было нечего, она до самозабвения, молитвенно обожала своего племянника, а Мария при виде его всякий раз празднично млела.

В перерывах между набегами на окрестные сады мальчишка залпом глотал книги и до злых слез спорил с дедом о политике. Так что осенью, в день расставания, в доме царила похоронная тишина. Антонина забилась в чулан и не подавала оттуда голоса, хотя, ясное дело, плакала. Бабка, собирая внука в дорогу, украдкой вздыхала, а Петр Васильевич, который, собственно, и должен был очередным своим московским рейсом отвезти Вадима в столицу и там, у Павелецкого вокзала, сдать с рук на руки снохе, угрюмо смотрел во двор, и костистые пальцы его, вцепившиеся в кромку подоконника, еле заметно подрагивали.

Долго еще после этого сквозь дрему грезился Петру Васильевичу Вадькин требовательный голос:

— Де-е-еда-а...

И теперь, через двадцать с лишним лет, та давняя боль отозвалась в нем жарким выдохом:

— Заходи...

Прежде всего внук приник ухом к перегородке, из чего Петр Васильевич заключил, что дочь, несмотря на запрет, все же переписывалась с невесткой, и с шутейной осторожностью постучал.

— Здравствуйте, тетушка Антонина Петровна, не желаете-с лицезреть племянничка Вадима Викторовича в три четверти натуральной величины? Ку-ку!

В ответ Антонина удушливо поперхнулась, охнула и захлопотала, загремела посудой, едва слышно приговаривая:

— Господи!.. Я сейчас... Я сейчас... Вадичка... Сейчас. Господи!..

Непослушными руками гость отстегнул «молнию» щегольского чемодана, выгрузил оттуда вперемешку с коньячными бутылками импортную тройку для деда и два демисезонных отреза тетке, ловко одним ударом выбил пробку из «Юбилейного», поставил на стол и лишь после этого сел.

— Тащи стаканы, дед...

Чем больше Петр Васильевич вглядывался в него, тем явственнее представлял себе, какие крутые горки довелось тому одолеть, чтобы так измениться в самой природе своей: ни следа от крепкой основательности лашковского клана. Дерганый, не в меру говорливый, готовый каждую минуту взвиться с места, Вадим, кроме поразительного внешнего сходства, не унаследовал от отца ни одной черты или привычки.

— Понимаешь, старый, я проездом,— торопливо объяснял он деду, допивая бутылку,— у меня сегодня здесь концерт... Думаю, ты не откажешься послушать своего, так сказать, единокровного... А завтра ту-ту, в Липецк... Ты не смотри строго... Живу, понимаешь, как птица, сегодня здесь, завтра — там... С твоего позволения еще одну...

Вошла Антонина, вся в обновках, с подносом, уставленным закусками собственного изготовления, церемонно поклонилась, обставила стол тарелками, осторожно, словно боясь, как бы не потревожить, чмокнула племянника в голову, и села напротив, и уже не сводила с него глаз, прямо-таки впивая всякое его слово.

— Постарели мы с тобой, тетушка,— пьяно посмеивался он, наливая ей стакан до краев,— скоро пенсию выбивать будем. Пей, Антонина Петровна, покажем старым бойцам, на что способно молодое подрастающее!

Та жалобно взглянула в сторону отца, но, не встретив осуждения, медленно, с достоинством выцедила коньяк, краешком платка осушила губы и снова с молчаливым благоговением вперилась в гостя.

— Вот это да,— восторженно одобрил Вадим,— тебя, тетушка, как аттракцион, показывать! Это же высший класс алкогольного пилотажа. И кто только вас натаскивает? И, главное, когда и на какие доходы? Вот, дед Петя, учись...

— Поздно.

— Учиться, внушают классики, никогда не поздно... Может... сейчас и начнем... Тетушка, распорядитесь...

Внук еще долго дурачился, тормошил то и дело засыпавшую Антонину, затеял было даже танцы, но от Петра Васильевича не укрылось, что веселится тот через силу, слова произносит, не думая, укрываясь в них, как в крепости, от вопрошающих взглядов родни, и что ему совсем, ну совсем не до шуток. В тягостной бесшабашности его ощущалась тревога, а истерзанные затаенным отчаянием глаза, живя сами по себе, исходили влажным жаром.

Петр Васильевич мог поклясться сейчас, что где-то, когда-то он уже видел такие глаза, уже заглядывал в их сумрачное горение. Но где? И когда? Он машинально повернул бутылку этикеткой от себя, и зряшное это движение, подтолкнув память, вывело ее — звено за звеном — по цепочке воспоминаний в хрупкую мартовскую ночь там, в эвакуации,— на Байкале.

Ночь метельно обжигала дыхание, колким ознобом сквозила под одеждой, не даря их ни одним огоньком впереди. И без того слабосильная лошаденка, сбившись с дороги, совсем сдала, останавливалась, трудно дыша, перед каждым, даже малым застругом, прежде чем решиться одолеть его.

Спутник Петра Васильевича, дежурный по станции Семен Мелентьев, мужик желчный и мнительный, скрипуче поругивался в воротник:

— Черт меня дернул ввязаться в эту канитель!.. Наменяем, я гляжу, мы тут... Еще маленько и — со святыми упокой... Но! Пошла, легавая!

Береговое село, куда путники двигались с тем, чтобы обменять кой-какое тряпье на продукты, лежало верстах в пятнадцати от станции, и, выехав сразу же после обеда, они в худшем случае должны были бы с первыми сумерками добраться до цели, но часы Петра Васильевича показывали десять, а темь впереди все густела и обесцвечивалась.

Лошадь опять стала, сторожко пофыркивая, но вконец обозленный Мелентьев остервенело рванул вожжи.

— По-ошла, паскуда-а!.. Душу бы я твою мотал...

Та через силу сделала шаг, другой, и вдруг сани вздыбились задком вверх, а между уткнувшихся в снег оглобель забилась, захрипела ее голова. Петр Васильевич спрыгнул в ночь, в поземку. Передними ногами кобыла по самую шею застряла в глубокой трещине: весна исподволь уже делала свое дело.

Долго и безуспешно они пытались помочь ей выбраться из ледовой ловушки. Петр Васильевич тащил за хомут, а Семен, озверев от страха, то и дело вытягивал бедолагу кнутом вдоль судорожно подрагивающего крупа. Но от каждого нового движения лошадь лишь увязала еще глубже. Наконец, все трое выдохлись и, жадно хватая ртом воздух, замерли.

Вот тогда-то, осев прямо против лошадиной морды в снег, Петр Васильевич и увидел близко перед собой те испепеляемые отчаянием и надеждой глаза, какими глядел на него сейчас охмелевший внук...

— О чем задумался, дед? — Внук полуобнял его и, легонько притянув к себе, шутливо пропел: — «Скажи нам, что все это значит...»

— Да так,— он неуверенно пригубил от стопки,— вспомнилось...

Тот, поддразнивая, снова пробасил:

— «Расскажите мне, друзья».

Но Петр Васильевич не слышал. Он все еще оставался там, в той байкальской поземке, один на один с теми взывающими к нему лошажьими глазами, когда жуткая их нестерпимость подняла его и осенила выдернуть из саней слегу и просунуть эту слегу под брюхо вконец обессилевшей кобыле. Но и вытащенная таким образом лошадь тут же легла, и поднять ее не было никакой возможности. Напрасно, приправляя всякий удар отборным матом, старался Мелентьев, она только напряженно дергалась, вернее, не могла встать. Дежурный отбросил кнут и досадливо сплюнул:

— Стоило надрываться: пусть бы подыхала, стерва... Давай глотнем помаленьку... Самый раз приспело... Потом будем думать. Эта халява все одно не встанет.

Ими хранилась с боем добытая у станционных лаборантов четвертинка неочищенного спирта. Мелентьев, отпив свою долю, передал бутылку спутнику. Петр Васильевич сделал глоток, а остальное вылил прямо в

глотку лошади, разжав ей послушные ее челюсти. И едва они успели закусить выпитое мороженым хлебом, как она бойко вскочила на все четыре копыта и разом взяла с места...

— Ты бы, Вадим,— от воспоминания о той вьюжной ночи старику вдруг сообщилось неодолимое желание помочь внуку избыть эту снедающую боль,— пожил у меня, опамятовался...

— Что ты, дед,— тот, трезвея, суровел и томился,— забыл, в каком мире живешь? Сколько себя помню, я не знал, что такое остановиться и вздремнуть. Не жизнь, а сплошная гонка за призраком... Мне скоро сорок, а у меня ничегошеньки: ни жены, ни детей, ни постоянной крыши над головой... Если я сегодня не отработаю свой номер, завтра мне нечего будет жрать. Где же тут о семье думать!

— Дел много — другое можно выбрать.

— Поздно, дед... Попал я в орбиту, из которой не выскочишь. Центробежная сила!.. Как подхватила она меня смолоду, так и несет до сих пор... Ты знаешь, к примеру, что такое спецдетдом? Нет? А колония? Тоже нет. И не надо, не советую... Это там, где душу выворачивают наизнанку и дубят, чтобы ничего в ней человеческого не осталось... Эх, дед, дед, все не так, все не так, а как должно, не знаю. Только не могут, не имеют права люди жить подобным образом... Лучше уж тогда на деревья... Черствые, злые, одинокие, с глухим сердцем... А! — Он махнул рукой и поднялся.— Этого не переговоришь!.. Спит тетушка. Не будем тревожить. Пойду в ее половину, вздремну!..

«Да,— вслед ему посетовал про себя Петр Васильевич,— выдалось тебе, Вадим Викторович, не в меру».

Петр Васильевич уж и не помнил, когда в последний раз ему довелось быть в концерте. Лет может, тридцать тому, а то и больше. Не признавая праздного действа, считал он хождение по зрелищам для уважающего себя человека занятием зряшным и предосудительным, а потому и теперь лишь скрепя сердце уступил настояниям внука.

Предупредительная капельдинерша усадила старика в четвертый, служебный ряд, сунула программу и, многозначительно оглядывая его шумных сверх правил соседей, громко — для них — сказала:

— Если вам, Петр Васильевич, что-нибудь будет мешать, я вас в антракте пересажу...

Сначала была стареющая певичка в панбархате. Без особого блеска, но с чувством она исполнила несколько старинных романсов, заключив свое выступление песней о комсомольцах, у которых беспокойные сердца. Проводили ее жидко, но вежливо: все-таки, что ни говори, старалась.

Затем молодая пара разыграла одноактную пьесу из жизни греческих патриотов, где Он, генерал в парусиновой робе, довольно топорно сработанной под американскую форму, с пристрастием допрашивал Ее — мужественную подпольщицу, перепоясанную махровым полотенцем, что, видимо, долженствовало отразить принадлежность национального костюма.

Их сменила акробатическая пара с демонстрацией вымученной гибкости, уступившая, в свою очередь, место фокуснику в потертом цилиндре, после чего, наконец, объявили мастера художественного слова — Вадима Лашкова.

Чтение вслух Петр Васильевич терпел менее всего, да и кругом, судя по ленивому вздоху зала, было не много любителей разговорного жанра, поэтому старик заранее ощущал неловкость за внука. А тот и впрямь начал вяло и даже как бы нехотя:

— Разморенный жарким днем, наевшись недожаренной, недосоленной рыбы, бакенщик Егор спит у себя в сторожке...

Рассказец оказывался и впрямь не ахти: живет у реки никчемный мужичонка-бакенщик, не то перевозчик. Есть у него девка приходящая, тоже не из первого десятка. Мужичонка пьет мертвую, а напившись, поет в два голоса с зазнобой. А чего в том для человека, желающего за свой собственный рубль с полтиной иметь приятный вечер и всевозможное развлечение?

Петр Васильевич взглянул в сторону соседа справа: тот лениво позевывал, и ему стало совсем не по себе.

Но — странное дело! — чем дальше он слушал, тем с большей силой и властностью проникало его судьбой этого Богом забытого бакенщика, тем острее и томительнее отзывалась в нем текущая со сцены речь. Главное для Петра Васильевича состояло сейчас не в том, как читал артист, а в том, что он читал. Какая-то удивительная, прямо-таки кровная связь возникла у Петра Васильевича с безвестным певцом-бакенщиком. Старик исходил его тоской и млел его радостью. Ему, путейцу Лашкову, отдавшему большую часть своего века колготной суетности железных дорог, казалось, что здесь говорится о нем и что именно с ним делится герой черной своей судьбою и болью.

Вдоль по морю...
Морю синему...

К сердцу Петра Васильевича подступила горькая истома, и он, уже не воспринимая ни одобрительного гула, ни аплодисментов вокруг, с волнением и дрожью вслушивался в теплый и благостный отзвук, еще заполнявший его...

Плывет лебедь
Со лебедушкой...

И вот артист, уже как бы и сам обессилев от волнения и тихой радости, заключил:

— ...А когда кончают, измученные, опустошенные, счастливые, когда Егор молча ложится головой ей на колени и тяжело дышит, она целует его бледное холодное лицо и шепчет, задыхаясь: «Егорушка, милый... Люблю тебя, дивный ты мой, золотой ты мой...»

Выходя, старик силился вспомнить название рассказа: «Надо бы достать, прочесть. У Вадима спросить, что ли?»

В сутолоке у выхода слух его выхватил из многоголосого гвалта краткую скороговорку:

— Ну как?

— А, трали-вали...

Петр Васильевич удовлетворенно хмыкнул: рассказ так и назывался: «Трали-вали».

— Завтра Липецк,— Вадим трезво и грустно оглядывал перрон,— послезавтра Валуйки, потом Донецк... И так, дед, всю жизнь... Осточертело...

— Бывает же ведь и у вас отпуск.— После концерта в тоне Петра Васильевича ометилась нота вдумчивой уважительности ко внуку.— Вот и заехал бы... Подались бы к деду Андрею в лес... Он теперь в Куракинском лесничестве объездчиком... Славно нынче в лесу... Грибы пошли...

— Да-да-да, дед,— внезапно оживляясь, встрепенулся тот,— именно в лес! В лес от всего этого... Это ты отлично придумал! — Он явно цеплялся за спасительную дедову мысль, однако эта тревожная поспешность внука только подчеркивала тщету его скоротечной надежды.— Рыбу удить будем...

Но едва поезд тронулся, и внук, стоя в дверном проеме тамбура, растерянно и жалко махнул ему на прощанье, Петр Васильевич с обжигающей душу горечью осознал, что они уже больше никогда не увидят друг друга.

VII

Чуткий, пронизанный солнцем лес плыл над Петром Васильевичем, приобщая его своих нехитрых тайн. Терпкие запахи, окрепнув после недавнего дождя, заманивали путника в чащу множеством блестящих росою троп. И всякий новый поворот дороги обещал ему новый предел и новое открытие.

И — вот ведь чудо! — пусть и не раз и не два доводилось Петру Васильевичу бродить чащами с ружьишком или кошелкой, он впервые видел лес таким. Ель являла сейчас собою и ель, и еще что-то другое, куда большее. Роса в траве не была вообще росой, а гляделась каждая по отдельности; и лужицам на дороге хоть любой особое давай имя. И, наверное, оттого хруст каждой сухой ветки под ногой отзывался в это утро в душе его тихой, но долгой болью.

Пожалуй, только теперь он по-настоящему понял брата, когда тот, лежа в темном беспамятстве от тяжелой контузии, бредил одной тоской — лесом.

В те поры Петра Васильевича срочной телеграммой вызвали в Вологду, где Андрей, потерявший память и речь, валялся в больнице без надежды на выздоровление.

Веселым городом оказалась Вологда. На фоне всего белого, рассыпчатого, крупитчатого — белого кремля, белых горбатых крыш, деревьев в белых малахаях — предметы и люди выглядели уж как-то особенно бодро и выпукло. Хмельной возница в заиндевелом капюшоне — кусок кирпичного лица с заиндевелыми же усами, — рьяно поиукая поседевшую в морозе клячонку, вывез его сквозь искристую эту белизну, пестро раскрашенную багровостью бликов, чернью машин, бледной желтизной тулупов и полушубков, к самой больнице — приземистому зданию николаевского еще кирпича.

— Оно самое... Кувшиново... Не дай-то Бог всякому...

И, впрямь, оттуда, изнутри, в забранное решеткой окно приемного покоя недавняя праздничная белизна увиделась Петру Васильевичу мертвенной, а низкое небо — с овчинку.

Обстановку приземистого зала о двух окнах, застланного лоскутным половичком наподобие ковровой дорожки от входной двери к другой — внутренней, составляли лишь обшарпанный стол и стул впритык к нему. Но главное — запах! Из всех знакомых запахов, какие сопровождали его долгую жизнь, ни один не участвовал в этом. Обонялось в нем, в этом запахе, что-то такое, отчего, как и всех, наверное, входящих сюда, Петра Васильевича сразу же пронизало ощущение тихой беды, тягостного ожидания, безысходности.

Ветхий старичок виновато улыбался навстречу гостю, и в этой его светящейся виноватости без труда читался ответ всем посетительским недоумениям: «Вижу, все вижу, и страх, и смятение твое. И запахом этим сам век дышу. Но что же я могу поделать? Могу разве лишь попросить прощения вот этой своей улыбкой. Так что не обессудьте и присаживайтесь».

— Садитесь... Э-э... Садитесь... Будем разговаривать... Э-э... С вашего... э-э... позволения... Профессор Жолтовский. — Старичок был и в самом деле дряхл и «экал» явно по возрастной слабости, а не от профессорского небрежения собеседником. — Как вы... э-э... понимаете... э-э... Дела вашего брата... Э-э... неприятны... Мы сделали все, что... э-э... было в наших... э-э... возможностях... Но, — он полуразвел немощные ручки в стороны, развести их шире у него не хватило сил. — Андрей... э-э... Васильевич... э-э... не поправляется.

Здесь Жолтовский совсем обессилел и умолк, тяжело дыша. Дряблые щеки его студенисто подрагивали, кроличьи глаза увлажнились. «Да, — отметил про себя Петр Васильевич, — лет за восемьдесят, не меньше! Это, брат, не одно поле перейти».

Тот еще несколько раз прерывался, чтобы отдышаться, прежде чем закончил свою речь. Из всего выходило, что дела Андрея из рук вон плохи, что болезнь его прогрессирует и что поэтому комиссия решилась на последнее средство: воздействовать на зрительную память больного.

— Понимаете... э-э... Петр... э-э... Васильевич... Так... э-э... кажется... Поживите у нас... Мы вас... э-э... устроим... Бывайте с ним... э-э... почаще... Может быть... э-э... фотографии... письма... знаками... э-э... что-либо... Вы, надеюсь, не... э-э... безучастны... э-э... к судьбе брата...

Ради Андрея Петр Васильевич решился бы и не на такое.

— Тогда... э-э... Валентина... э-э... Дмитриевна!

В комнату, только, видно, и дожидаясь профессорского зова за дверью, тотчас вошла высокая полная женщина с массивным бесформенным лицом, на котором выделялись глубоко посаженные острые глазки, впрочем, тоже источавшие сплошное доброжелательство. С ее приходом тусклая комната как бы раздалась вширь и вглубь, став сразу уютнее и светлее.

Жолтовский лишь кивнул в сторону Петра Васильевича, его только и хватило на этот кивок, после чего он, уже окончательно обессилев, откинулся на спинку стула и закрыл глаза, точно умер.

Но профессорской помощи здесь уже более и не требовалось. Толстуха, легонько подталкивая гостя к внутренней двери, полностью им завладела и, судя по ее решительности, всерьез и надолго.

— Чуть не ровесник больницы, — вздохнула она, когда они вышли. — Мало кто на нашей работе до его лет дотягивает... Подождите, я вам халатик дам... Так вы поняли, в чем дело? Это, хоть и против правил, но попробовать следует: а вдруг? — Валентина Дмитриевна размашисто вышагивала по лабиринтам многочисленных коридоров. Встречные улыбчиво кланялись ей, она коротко сияла в ответ, и становилось ясно, чьим светом жили эти отмеченные тоской стены. — И, главное, не бойтесь, больные — люди, значит, с ними, при некотором, правда, беспокойстве, жить можно... Вот мы и дома. — Ключом наподобие железнодорожного Валентина Дмитриевна открыла ему одну из дверей. — Входите смелее...

В большой сводчатой и оттого несколько мрачноватой палате о восьми — по четыре с каждой стороны — обрешеченных окнах знакомый уже запах становился почти нестерпимым. Разноголосая сутолока, колготившаяся в четырех ее метровой толщины стенах, лишь укрепляла гнетущее чувство под сердцем: «Занесло тебя, Петя, хоть ноги в руки и беги!»

Какой-то малолетка с неестественно удлиненным профилем, озарившись блаженной улыбкой, вдруг кинулся им наперерез:

— Смотрите, Вальдмитрь, сам... сам...

И не из праздного любопытства, не по должности она разглядывала те карандашные художества подопечного, — воробей на этот счет Петр Васильевич был стреляный, не в одном госпитале провалялся, — а с неподдельной заинтересованностью и даже как бы с азартом.

— Молодец, Паша! Только вот здесь, — она взяла у него из рук карандаш и несколькими штрихами придала царившему на бумаге хаосу подобие порядка, — я бы сделала так... И еще... Делай, Павлик, — под ее быстрой ладонью паренек заулыбался еще шире, — молодец... И к гостю: — Пойдемте... Сирота, эпилептик... Привели волчонком... Оттаял... Ну, вот... Теперь — спокойнее... Андрей Васильевич сегодня немного понервничал, пришлось легонько закрепить...

Ватными ногами сделал Петр Васильевич несколько последних шагов до его койки, сделал и сам того не заметил, как тут же мертвой хваткой вцепился в карман халата своей сопроводительницы: тусклыми глазами глядя в потолок, весь в испарине, Андрей рвался из пут. Желваки в ржавой недельной щетине вздувались, словно бы тщась выпростаться из-под прозрачной кожицы, обтянувшей его лицо. И ни одного звука, даже мычания, так свойственного немым, не исходило от него.

— Андрюха, — опаляясь слезами горькой нежности, он оглаживал дрожащими ладонями судорожно сжатый Андреев кулак, — как же это ты, Андрюха?.. Зачем?..

Петр Васильевич и не помнил более, сколько он просидел вот эдак, глядя, как затихает под его рукой братнино беспокойство, пока тот не смежил глаза и не затих окончательно.

Скорые зимние сумерки, выползая изо всех углов палаты, заманивали ее обитателей под одеяла. Вокруг становилось просторнее и тише.

Сбоку от Петра Васильевича, сидя друг против друга на койках, двое в халатах поверх исподнего сокровенно переговаривались.

— Я человек прямой: сказал — отрезал. «Где, — говорит, — насечка?» А я ему: «Так ведь договаривались, Пров Силыч!» А он мне р-раз по зубам. А я человек прямой, говорю: «Какие такие права?» А он мне еще р-раз...

— Правильно! И я завсегда после похмелья — квас. Да так, чтоб дух вон — со льду.

— «Это как пить дать, — говорю, — в милицию, Пров Силыч». А он мне ка-ак звезданет. А я человек прямой. Я — куда? Я — до дому.

— Правильно! Мы на Октябрьскую, помню, полведра на двоих с тестем и — ни в одном глазу. Одно слово — квас.

— Ишь ведь какую манеру взял, а я человек прямой...

Они говорили между собой с такой уважительностью и таким взаимопониманием, что обескураженный было Петр Васильевич вдруг неожи-

данно для себя заключил, что, наверное, людей может объединять что-то куда большее, чем слова...

— Закурить есть, землячок? — Из-под одеяла с койки напротив его с любопытством оглядывали рачьи, тронутые снисходительной усмешкой глаза. — Заснул? Чует родную кровь, сукин сын. Тяжелее туза и валета не держал ни зиму, ни лето, а с твоим братаном за всю жизнь повтыкал. — Сосед прикурил, затянулся. — Сразу видно, моршанская... Он ведь, знаешь, как начнет рваться, только держи... Ну и держу, без оплаты сверхурочных... Жалко, свой брат, окопник... У меня ведь тоже вторая группа... Пошли к печке, пока спит... Еще достанется... — И, хотя трезвость суждений и выказывала в новом знакомце человека в своем уме и памяти, Петр Васильевич, взявший уже себе за правило готовиться здесь к любым фокусам, откровенно говоря, ожидал, что он в любую минуту может выкинуть какое-нибудь «коленце»: не зря же, в самом деле, их всех сюда заперли!

Когда сосед встал, то оказался высоким костистым мужиком, с помятыми рыжими подпалинами остро-бесовского лица. Властная вальяжность обозначала каждое его движение, так что даже драный больничный халат лег к нему на плечо по меньшей мере царскими соболями. Он шел палатой с уверенностью и значением человека, который во всяком месте привык считать себя первым.

У гудящей голландки молчаливо покуривали два санитара. Один, крупный губастый старик с редким седым ежиком, время от времени ожесточенно растирал в прокуренных пальцах остывшие угольки из поддувала. Другой, совсем молодой и как чем-то и навсегда испуганный, безучастно следил за ним. И оба они, по всему было видно, сопереживали только что законченный и для обоих них огорчительный разговор.

— Не спишь? — с тяжкой ухмылкой отнесся рыжий к молодому. — Плохой знак. Значит, сегодня, начальник?

И не выдержал парняга смешливой горечи рачьих его глаз, опустил взгляд долу, еле слышно выдохнул:

— Сегодня, Иван Сергеич...

— Тогда давай, начальник, погреюсь напоследок. — Рыжий величественно оседлал услужливо пододвинутый ему парнем табурет. — Еще по одной свернем, землячок?

И все снова умолкли. За синими окнами в сумеречной тишине торжественно струился снег. Веселое пламя летучими бликами никло к предметам и лицам. И если бы не горячечное, то тут, то там возникавшее в палате бормотание, можно было подумать, что мир этот устроен в общем-то тепло и уютно, что снег будет идти еще целую вечность, но целую вечность будет гореть веселый огонь в голландке и что им — всем троим — уже некого ждать и некуда торопиться.

— Я, землячки, — огненные чертики бесшабашной каруселью закружили в острых зрачках Ивана Сергеевича, — сказку в бессонье придумал... Нет, ей-Богу! Лежал, лежал — само и придумалось...

Не принимая его озорующего тона, санитары угрюмо отворачивались, слегка посапывали, и в этой их угрюмости и посапывании явно чувствовалось беспокойство или, вернее, тревога, которая еще безотчетно, но час от часу все явственнее передавалась Петру Васильевичу...

— ...Начало старое... Жил-был у бабушки серенький козлик... Бабушка козлика, конечно, очень любила... Ну, а дальше уже все по-моему... Вышел козел в свою пору от бабушки, стал рогами шевелить... Есть, значит, хочется... А дело к зиме шло: ни травы тебе, ни ягоды. Встречается ему лиса. «Что, — говорит, — безрогий, рогами шевелишь?» «Есть, — говорит, — хочу, а травы нету». «Дурак, — говорит, — какой же уважающий себя осел нынче траву потребляет? Все давно мясо жрут». «А как же, — спрашивает, — мне мясо есть, коли я — козел? По штату не положено». «Дуб, — говорит, — работай под серого. Нынче все под него работают. Зайцы и те без убоины спать не ложатся». «А как же, — спрашивает, — я задержу кого, кто же меня — козла — испугается?» «А ты «на бога» бери, горлом. Нынче все, которые с мандатами, горлом берут...» Махнула хвостом рыжая и смылась. Послушал козел суку, стал под серого работать. Спервоначалу поташнивало от убоины, а потом пообвык, пристрастился. Как-то в темени да с перепугу сам двух истинных серых волков загрыз.

Живи, не хочу... Только чем дальше, тем хуже, пропадать стала в лесу пища. Это, значит, столько развелось хитрых да ушлых, и все серые, и все с мандатами... Мяса — нет, а на траву уже козла не тянет. Затосковал козел: «Ну, в гроб же твою мать!..»

Дверной замок, казалось, еще и щелкнуть не успел, а уже все четверо разом обернулись и напряглись, до того чутко каждый звук отзывался в их настороженном сознании. И стоило в проеме полуоткрытой двери появиться дежурному врачу, из-за спины которого в освещенном коридоре маячила фуражка с красным околышем, Иван Сергеевич встал и двинулся к выходу, кивнув на ходу парню:

— Веди.

Тот вскочил, в спешке с грохотом опрокинув табуретку, и лишь здесь Петр Васильевич отметил и форменный его китель под халатом, и по-уставному, до зеркального блеска вычищенные сапоги.

Старик тоже поднялся:

— Пойдемте... Вам все одно там постелено.

В коридоре под присмотром врача, двух солдат, конвойного команды и третьего, больничного, переодевался Иван Сергеевич. Делал он это с неторопливой основательностью человека, привыкшего к дальним и долгим дорогам, где всякое упущение в одежде всегда сможет обернуться для ее хозяина самой неприятной стороной. И только когда последняя пуговица наглухо успокоилась в своем гнезде, рыжий позволил себе, взглядом выгородив изо всех одного Петра Васильевича, в последний раз поерничать.

— Плюнуть бы козлу, землячок: «Мать ее в гроб!» И по новой — на подножный... Да поздно... — Он обернулся к конвою, протянул руки. — Захлопывай, начальник.

Наручники перехватили ему запястья, и через минуту путь его к выходу отмечался лишь глухими хлопками многочисленных коридорных дверей впереди.

Избегая вопрошающего лашковского взгляда, старик санитар пробурчал себе под нос:

— Дезертир... Наш — тутошный... Отстреливался, двоих на душу взял... Хлопнут... На экспертизу привозили... Признали — нормальный... Помилуй его душу грешную... Ложитесь, в случае чего — разбужу...

Дни пластались один к одному, схожие друг с другом, словно бусины первой капели за окном, а в тусклом взгляде Андрея не добавлялось ни свету, ни сознания. Лишь изредка во сне, в бредовом крике рвался из него едва членораздельный какой-то зов, слово какое-то неопределенное, но пробуждение вновь смыкало ему жесткие губы беспамятной немотой.

В больнице к Петру Васильевичу настолько привыкли, что даже старик Жолтовский, обходя в сопровождении выводка студентов палату, всякий раз принимал его за санитара:

— Голубчик... Э-э... Распорядитесь... Э-э... Сменить халат. Э-э..: Семенчуку... Никуда... э-э... не годится... Прошу вас...

Не хуже штатного ординатора успел Петр Васильевич изучить историю и происхождение болезни любого из обитателей палаты, а со многими и сойтись запросто. Оказалось, что если вслушаться, всмотреться во все здесь происходящее, то под внешней путаницей слов и поступков можно легко обнаружить обычный человеческий быт с житейскими его страстями и закономерной целеустремленностью. Тонкостям интриг из-за освободившейся койки у печи могли бы позавидовать самые дошлые умы дипломатического корпуса, а борьба за добавки мало чем отличалась от ведомственной возни вокруг дополнительных ассигнований: жизнь везде оставалась жизнью.

Молчаливость Петра Васильевича располагала мятущиеся в неразрешенных загадках души к доверию, и вскоре он уже не удивлялся, когда обычно молчаливый парафреник Мущинский конфиденциально делился с ним:

— Сегодня с утра, Петр Васильевич, через меня начал свое прохождение Плутон. Тяжелая, знаете, планета. Сплошной аммиак. Переживаю мучительный процесс. Решил повременить с обедом. — Отечное бабье лицо его расплывалось в мечтательной умиленности. — Вот третьего дня сквозь меня проходил Марс. Какая планета! Прелесть! Правда, мало кис-

лорода, зато удивительная легкость, чистота во всем организме! Верите ли, до сих пор снится...

В обычной жизни Мущинский был зубным техником, и ничто не предвещало ему беды, если бы однажды его пациент после удаления зуба не скончался от заражения крови. Психика преуспевающего техника дала отбой, и кувшиновская больница пополнилась очередным безнадежным обитателем.

В сумерках на пороге боковушки, где размещались свезенные из лагерей заболевшие военнопленные, появлялся Курт Майер в одном исподнем, и Петр Васильевич, словно исправляя некую вмененную ему обязанность, вставал, чтобы оделить незадачливого немца даровым моршанским куревом.

— Гут, — бормотал тот, — данке шен... Их бин аус Фюрстенвальде... Их хабе зон Франц унд фрау... Зи хайст Гизела... данке шен...

Его перебивал желчный голос страдавшего старческой бессонницей Мокеича — шизоидного фанатика из раскулаченных:

— «Их», «Них», черт полосатый! Весь мир покорил, а Расею вшивую одолеть не мог! Вот и поди тут зубами щелкай... Только душу раздразнили, сукины дети... Как святых, прости Господи, ждали: придут — спасут. Спасли, кобели шелудивые... Одна надежда теперича — американшки... Да разве они люди — все в шляпах? Жрут себе персики и сопят в две дырочки, а нам пропадай... У, германская харя, я б тебе не токмо закурить — дерьма пожалел бы...

Враждебность старика действовала на немца удручающе, он мгновенно тускнел, уменьшался в размерах и спешил укрыться от нее в спасительной темноте своей спальни, а Мокеич, довольный произведенным эффектом, язвил в сторону Петра Васильевича:

— Эх, ты, голова садовая, нашел, кого одаривать...

Не один и не два снегопада откружили над Кувшиновым до того источенного солнцем мартовского утра, когда Андрей, разомкнув опаленные бредовым жаром веки, произнес наконец первое отчетливое слово:

— Пе-тек?..

Сознание возвращалось к брату с мучительной медлительностью, и еще много дней и ночей в больнице, а потом дома — в Узловске, по крупице собирая самого себя, цеплялся он за каждое слово и воспоминание, прежде чем ему удалось освоиться объездчиком в лесу, где и шагал сейчас — чуть не пятнадцать лет спустя — Петр Васильевич.

Из-за поворота навстречу ему беззвучно выкатилась линейка, и по форменной фуражке, привычно сдвинутой на самые брови, он сразу же узнал брата. Тот, в свою очередь, завидев его, осадил лошадь, бросил вожжи и смешливо взял под козырек:

— Петру Васильевичу!

— Так-то ты брата своего встречаешь. — Он вглядывался в Андрея, страшась обмануться сокровенным ожиданием, но тот прежней своей озорной улыбчивостью облегчил ему сердце, и пронзительная нежность охватила его. — Здорово, чертушка!

— Начальство, понимаешь, с утра ввалилось, еле отбился. Вот и припоздал, садись...

Некоторое время они ехали молча. Они выбирали из множества слов и мыслей, подступивших к ним, самое главное, самое необходимое, но, видно, именно поэтому против их воли выговариваться стало все то зряшное и малозначительное, что не имело сейчас к ним и к их встрече прямого отношения.

— Богатый лес у тебя.

— Середь голи и нищий прынц.

— Что так?

— Изводят.

— На твой век хватит.

Андрей обжигающе коротко взглянул в его сторону, да так обжигающе и так коротко, что он сразу же пожалел о сказанном.

— Все вот так-то, — грустная горечь тронула его губы, — после нас хоть трава не расти... А коли бы до нас все эдак думали? Земля бы давно голая осталась! Ни красоты, ни радости. — Сбивчивая горячность вдруг подхватила Андрея. — Себя, суть свою истребляем... Это куда же годится! Саранча эдак живет, а мы человеки, нам голова дадена... Намедни застал одного в подлеске. Орудует топором, кряхтит от усердия. «Что же ты, — говорю, — делаешь, сукин сын?..» «Не твое, — говорит, — казенное, не убавится, а мне, — говорит, — кнутовище надобно». Кнутовище ему надобно. Корней двадцать за ради этого самого кнутовища извел... Вдолбили ему: все, мол, твое — бери. Он и берет... Хватает, где можно, от земли, а у земли-то тоже дно терпения есть: не выдержит, восстанет. Все спрячет — и хлеб, и воду... Перегрызем тогда друг дружку, как звери... Но, шалая!

Лес заметно редел, выводя дорогу к высокой опушке, и вскоре в стремительном березняке обозначились темные строения лесничества, у крыльца которого, покуривая, толпился народ.

Едва линейка миновала ворота, как от крыльца отошел и вразвалочку потянулся к ним низкорослый, почти квадратный усач в заношенной и давно вышедшей из официального употребления индиговой паре и в огромных, не по росту, болотных сапогах.

— Рад не рад — принимай. — Говоря, он старался не глядеть в Андрееву сторону. — У меня коровы все звезды пересчитали... «Сам» нагрянул, приказал перекрыть... Так что хочешь не хочешь — сорок кубов надо, как одна копейка... Держи билет... Столби делянку... Нынче и свалим... — Он неожиданно ожег Андрея почти невидящим взглядом крохотных, глубоко запрятанных в складках апоплексической кожи глаз. — Ну, чего смотришь? Что, я из-за твоего леса под суд идти должен? Хером, что ли, я коровник крыть буду? — И, сплюнув в сердцах, снова отвернулся. — Пропадай оно все пропадом!

Речь усача Андрей дослушивал, стоя спиной к нему и распрягая лошадь, и вроде бы оставался равнодушным ко всему, что говорилось здесь, и только чуткие, с дрожью теребящие хомутный ремешок пальцы выдавали лесника. Но когда наконец он оборотился, обмякшее лицо его не выражало ничего, кроме вызывающей бесшабашности:

— Какой разговор! Руби, председатель! Рощицу у распадка знаешь! Вот ее и руби. Лишнего прихватишь, тоже не беда — сочтемся. — Он шагнул мимо оторопевшего председателя к крыльцу и уже оттуда кивнул брату: — Заходи, Петр Васильевич, чай пить будем...

С лихорадочной поспешностью Андрей расставил по столу нехитрую снедь, одним ударом вышиб картонную пробку у «Московской», до краев заполнил стаканы и лишь после этого сел и молвил печально и глухо:

— Бывай здоров, Петёк... Лесу на наш век хватит...

— Брось, не мальчик уже...

— А, черт с ним со всем! — Во внезапной его веселости сквозило отчаянье. — Вот сумеешь ты, Петёк, скороговорку сказать: «Цапля сохла, цапля чахла, цапля сдохла»? Или вот еще: «Курка клюет крупку, турка курит трубку»?

В полдневной тишине за окном явственно отозвался стук топора. Размножаясь, стук крепчал, становился все чаще и отчетливее.

— А эту? — Исступленные глаза Андрея набухали злыми слезами. — «Ехал грека мимо реки, видит грека — в реке рак, сунул грека в реку руку, рак за руку греку цап»? — Заглушая дробную поступь лесной рубки, речь его переходила в крик. — «Сидят колпаки не по-колпаковски, надо их переколпаковать»... А?

— Андрюха... Ну что, ей-Богу...

Но тот уже не слушал брата:

— Попробуй скажи: «Погода размокропогодилась, погода рассухоперепогодилась». — Его вдруг прорвало. — Руби, председатель, руби! — В упор сойдясь заплаканным взглядом с Петром Васильевичем, он затрясся мелкой ознобливой дрожью. — Запалю! Запалю! Пускай сгорит лучше! Нету моего больше терпения. Все равно сгрызут все, как моль. Шершеля, шершеля проклятые, свою душу источили, за земь принялись... Пускай все сгорит, только не им в ненасытную их утробу... Шершеля!

Спрятав лицо в ладони, он стал медленно раскачиваться из стороны в сторону, и Петр Васильевич, удивленно проникаясь его мукой, должен был сознаться себе, что родного собственного брата своего до сих пор не постигал, как не постигал да и не мог постичь и другого — Василия, застрявшего после демобилизации с гражданской где-то в Москве не то

истопником, не то дворником. «Пора бы и Ваську разыскать, может, жив. Какие уж в наши-то годы счеты»!

VIII

Затяжной дождь, наглухо оседлав окрест, сопровождал Петра Васильевича от самого Узловска. Казалось, поезд движется дном огромного водоема: дома, лесополосы, верстовые столбы, причудливо изламываясь в дождевом мареве, грузно оплывали по оконному стеклу.

Прямо против Петра Васильевича, на почтительном, однако, расстоянии друг от друга, томились в маятной неприязни двое — он и она. И по тому, с какой надменной неподвижностью утвердила она — сухая, жилистая баба — свой птичий профиль, отворотившись от него, бритого наголо толстяка в затасканном офицерском кителе с жиденькой полоской орденских ленточек вдоль левой груди, — можно было безошибочно определить степень их родства и взаимоотношений.

Затравленно и жалко взглядывая в ее сторону склеротическими глазами, толстяк, словно заведенный, то и дело выжидающе тянул:

— За руки ходили...

Но птичий профиль оставался все так же прям и неподвижен, и только узловатые руки ее, нервно тискавшие носовой платок, всякий раз после его слов на мгновение судорожно замирали...

— За руки ходили...

Судя по всему, безоблачные те времена их минули лет не менее тридцати тому, но искра счастливой поры, видно, еще теплилась в одном, хотя и слишком слабо, чтобы отогреть давным-давно угасшее сердце другого.

Наконец она не выдержала, встала и надменно выплыла из купе. А толстяк, словно только и ожидавший ее ухода, прорвался перед Петром Васильевичем:

— Пью, конечно, не без того... А с чего пью? Лет пять, как демобилизовался, а приткнуться не к чему... Поначалу бросили на Дом культуры... А разве это порядок, кадрового офицера в культпросвет? Иной двум свиньям хлёбова не разольет, а ему, пожалуйста, пост. А меня, где дыра похуже, туда и пихали, пока сам не плюнул и не ушел на пенсию... А потом — дети... Гонору в них тьма, а уважения к родному отцу никакого. Все уязвить норовят, снасмешничать, солдафон, мол... Здесь и святой запьет... И вот на старости, можно сказать, — он явно кокетничал возрастом в расчете на сочувствие собеседника, — разводную. Каково? Вырастил, выкормил, а теперь: от ворот поворот! — Он неожиданно осекся, заслышав близкие шаги своей благоверной. — Так-то, дорогой товарищ...

Она вошла, не удостоив их даже взглядом, села, и птичий профиль ее вновь молчаливо замер у истекавшего ливнем окна.

А Петру Васильевичу вдруг представилась на ее месте другая женщина, много лучше и моложе, в другие, куда более строгие и тревожные времена, сидевшая вот так же прямо против него в служебном купе поезда, который он тогда сопровождал.

Только была ночь и было лето.

Забившись в дальний угол, Мария, подобранная им в Епифани по просьбе знакомого путейца, доводившегося ей дядей, не мигая и даже как бы с вызовом смотрела в его сторону и молчала. Молчал и обер. Привыкнув разговаривать с такого рода пассажирами в тоне грубоватого покровительства, он неожиданно для себя робел перед нею и смущался. Что-то увиделось обер-кондуктору в этой неказистой с виду девахе, отчего ему всякий раз, едва он вознамеривался взять былой тон, перехватывало дыхание.

Первые слова вымолвил, будто гору одолел:

— Узловские сами?

Она ответила коротко, но с готовностью:

— Не, мы с шахты.

— Сычевские, значит?

— Они самые.

— В гостях были?

— Не, по хозяйству. — И тут же пояснила: — Тетя Груша приболела, дом присмотреть некому, а нынче встала, вот я и к себе... Смерть — соскучилась...

— Скоро будем.

— Скорей бы.

— Много ль вас дома-то?

— Окромя меня, пятеро. Мать с отцом и сестер трое.

— Нелегко отцу-то?

— Нелегко.

В их разговоре, во внешней его обыденности таился еще и другой, понятный только для них двоих смысл, где каждое слово имело свое сокровенное, понятное только им значение. Стремительно и властно ее и его захватывало предчувствие неотвратимости этой встречи, и поэтому, чем ближе и устойчивее становились огоньки Узловска в заоконной темени, тем трепетнее и тише звучали их голоса...

— Весело у вас в Сычевке...

— Уж там и веселье: выпьют парни да куражатся...

— Узловские наши ходят?

— Не, стерегутся.

— Что так?

— Не привечают их у нас ребята...

— Чем же не пришлось?

— Чисто ходите... И другое, разное...

— А коли не побояться?

— Попытайте долю...

Первый станционный фонарь раздвинул ночь впереди, и, победно возликовавший было обер, впервые, пожалуй, за недолгую свою службу подосадовал столь скорому прибытию:

— Значит, не прогоните?

— У нас места всем хватит, — скокетничала непонятливостью она. — И девки наши не хуже узловских.

— А мне всех и не надо...

И он, наверное, не выдержал бы, выложил ей все, что вдруг так внезапно и жарко заполнило его душу, но поезд, в последний раз дрогнув, замер. Мария поднялась, прошелестела мимо него к выходу, откуда молча поклонилась ему и тут же исчезла в проходе.

А на другой день к вечеру, едва за Хитровым прудом выплеснулся первый балалаечный перезвон, Лашков в свежей суконной паре уже вышагивал в сторону Сычевки, и хромовые — бутылками — сапоги его празднично блистали в розовом свете затухающего заката.

И, еще не дойдя до околицы, услышал он выделенный им теперь изо всех голосов ее голос, и все замерло в нем, и душное стеснение под сердцем перехватило ему горло...

Гармонист, играй припевки,
Расстарайся, Мишенька.
Не спешите замуж, девки,
Еще хлебнете лишенька...

А та, будто чувствуя его недалекое присутствие, неслась к нему очередной припевкой, и душа его при этом головокружительно холодела.

Платье белое наглажу,
Вдоль по улице хожу.
Захочу кого — отважу,
Захочу — приворожу.

Долго еще ходил он вокруг посиделок, стесняясь чужаком втереться в шахтерское веселье, пока наконец Марию уже после полуночи не вынесла к нему последняя ее частушка:

Гармонист у нас один,
Балалаечник один.
Не ходите, не просите,
Никому не отдадим...

Мария выявилась перед ним в темноте так близко, так неожиданно, что он только нашелся:

— Вот к родне наведывался...

Та лишь обморочно выдохнула:

— Здравствуйте, Петр Васильевич...

И хотя в эту ночь у Хитрова пруда они сказали друг другу едва ли более двух слов, он, возвращаясь к себе, не шел, а летел, опаленный никогда ранее не изведанной им радостью.

Его свалили почти у самого подхода к слободе против соседствующего с его усадьбой кимлевского сада, а свалив, били с молчаливым остервенением, даже, казалось, сладострастием. И только когда кровавые круги поплыли перед разбухшими глазами обера, к нему сквозь ускользающее сознание пробился чей-то хриплый от азартного жара голос:

— Не добивайте, братцы, пусть покашляет, пес... И другим дорогу в Сычевку закажет... Рылом покуда не вышли для наших девок...

Один Бог знает, как он добрался домой. А когда пришел в себя, то вместе с утренним светом и болью воспринял ошеломляюще знакомый, тронутый отчаянием говорок:

— И что же они с вами сделали, ироды! Звери дикие, угольная прорва... Хуже зверей, право... Ироды!

— Маша,— только и сказал Лашков, снова впадая в забытье,— не уходи...

И она осталась.

Осталась до самого того слякотного мартовского дня, когда четыре ее свояка на двух полотенцах вынесли ее за порог лашковского пятистенника.

И не раз еще потом переживший дочку отец ее — Илья Махоткин — по пьяной лавочке, минуя дом Петра Васильевича, с хмельной укоризной кричал в сторону его окон:

— Погубил ты, Петька, ирод, девку! Голубиную душу погубил! Сушь, сухой дух от тебя идет... Кащей ты, ирод, который бессмертный, и нет в тебе ни одной живой жилы. Христос с тобой!..

Размытый было воспоминанием, против него вновь обозначился птичий профиль неколебимой соседки, так-таки и не отвечавшей на жалобный зов своего отставника:

— За руки ходили...

В Москве Петр Васильевич не был с того самого дня, когда, сдав кондукторскую сумку и служебный компостер, он возвратился домой обыкновенным пенсионером. Поэтому сейчас, после сравнительно устойчивой тишины Узловска, она увиделась ему еще более против прежнего гулкой и неуютной. Долго, стараниями даровых советчиков, блуждал он по паутине Сокольнических переулков, пока не отыскал обозначенную в его адресной справке улицу. Нужный ему номер возник перед ним сквозь листву корявого тополя, стоявшего у деревянного, в два этажа, дома, над крышей которого гляделся другой — каменный, ростом повыше. Войдя во двор, Петр Васильевич встал, чтобы перевести дух. Сердце его тревожно обмирало и дергалось: «Сорок с лишним лет, шутка ли!»

В сумраке пропахших кошачьим бытом сеней он с трудом нащупал кнопку дверного звонка и, позвонив, еще раз обеспокоился: «Откроет и не узнает, да». Но едва в проеме двери перед ним определилось заспанное, в сивой щетине лицо, как всякое сомнение оставило Петра Васильевича: за порогом, словно его собственное отражение в зеркале, вяло переминался с ноги на ногу старик явно ихней лашковской породы. И тот, в свою очередь, будто пролегло между ними не около полувека разлуки, а всего, может быть, от силы день-два, лишь слегка присвистнул навстречу гостю:

— Ишь ты... Проходи...

Захламленную, похожую скорее на логово, чем на жилье, конуру брата скупо освещало забранное со двора частой решеткой тусклое окошко. Стены, оклеенные старыми газетами, немо кричали довоенными еще заголовками: «Пламенный привет героям-челюскинцам!», «Раздавим гадину!», «Руки прочь от Мадрида!» На колченогом столе в окружении порожней, разных калибров посуды простуженно отсчитывал время обшарпанный будильник. Опускаясь на придвинутый братом стул, Петр Васильевич растерянно огляделся:

— Так и живешь?..

— Так и живу,— безучастно отозвался тот, рассовывая посуду со стола по разным углам и заначкам.— Народ ко мне ходит простой, не брезгует, а кому не по нраву, гуляй в другое место...На-ко вот, ободрись с дороги.— Трясущимися руками он разлил непочатую еще четвертинку в два стакана и один из них пододвинул брату.— Со свиданьицем...

В наступившем затем долгом молчании Петр Васильевич исподтишка присматривался к брату, стараясь по черточке, по отметине восстановить для себя в памяти именно тот облик, который сложился в его воображении задолго до этой встречи. Будучи пятью годами старше Василия, он сызмала сохранил к тому чувство снисходительного превосходства. Но самолюбивый и упрямый, как и все почти Лашковы, тот, едва оперившись, поспешил вырваться из-под его опеки и уже к совершеннолетию ушел на шахту, откуда и мобилизовался в армию. Из тех редких писем, какие поступали от него в Узловск к однолеткам и знакомым, можно было лишь заключить, что служба давалась ему непросто, что после нее жизнь у него складывалась еще круче и что старость он встретил бездетным бобылем в том же доме, где и поселился с самого начала. Лет десять тому Василий внезапно замолчал, и память о нем в родном городе окончательно заглохла и выветрилась.

И теперь, вглядываясь в смутно обозначенные черты, Петр Васильевич с затаенным сожалением отметил про себя их преждевременную пепельность и желтизну, горестно догадываясь, какой мерой отмерено было брату всего за долгие годы их разлуки.

— Может, домой соберешься? — осторожно подступился он к Василию.— Места хватит. Что нам двоим нужно? Жизнь у нас там дешевая. Да и веселее вдвоем-то.

— Поздно, Петёк,— отмякшие после выпитого глаза его затягивала благостная поволока,— кому я там, в Узловске, нужен!

— А здесь,— не отступался Петр Васильевич,— кому?

— Здесь? — Голос хозяина тронула обескураживающая печаль.— Здесь, братишка, у меня все. Вся жизнь у меня здесь. Жизни-то, правда, не было, маята одна, но какая была — не забыть... Эх, Петёк,— он вдруг вцепился в гостя слезящимся кроличьим взглядом, скулы под его недельной щетиной взволнованно заострились,— и каким только ветром нас закружило!.. Помню, пришел я сюда из армии, живи — не хочу! Считал, вся доля — впереди: лета — самый возраст, анкета — одни заслуги, девки — на выбор. Только не вышло по-моему... Не дали. Как начали с меня долги спрашивать, так досе и не рассчитаюсь. Кругом я оказался всем должен: и Богу, и кесарю, и младшему слесарю. Туда не пойди, того не скажи, этого не сделай. И пошло, поехало, как в сказке: чем дольше, тем страшней. А за что? За какую-такую провинность? — От слова к слову в речи его все отчетливей проступала злость.— Или я у кого жизнь свою взаймы взял? Ты вот, Петёк, партейный — рассуди...

Слушая брата, Петр Васильевич напряженно следил за тем, как в паутине, затянувшей верхний правый угол над окном, судорожно и уже явно обессилев, дергалась и вздрагивала одиночная моль. Паутина при этом пружинисто колыхалась, затягивая добычу все туже и туже, пока пыльные крылья жертвы окончательно не замерли в ее губительной сети.

— Все барина, Вася, ждете.— Сочувствие, сообщенное было ему вначале хмельной болью брата, обернулось в нем под конец откровенным раздражением.— Вот приедет барин, барин нас рассудит. А самим для чего голова дадена? Или не можете уже без няньки?

— Могли.— Лицо Василия жестко отрезвело и пошло белыми пятнами.— Только вы не дали. Занянчили нас пугачами своими. Шаг вправо, шаг влево — считается побег. Вот и вся ваша погудка. Хочешь не хочешь, иди, куда велят. А пришла пора помирать глядишь, весь как задом вперед шел, а вы погоняли.

— Я хлеб свой не в погонялах зарабатывал.— Разговор принимал крутой оборот, и не в правилах Петра Васильевича было в таких случаях отступаться.— У меня мозоли не дареные — свои.

— Чем натер-то? — Тот даже не старался скрыть вызова.— Колокольчиком на собраниях? «Слушали — постановили». Понаслышаны. Может, ты мне скажешь, где дети твои? Может, адресочек ихний дашь? Делать мне нынче нечего, поеду на старости, проведаю племяшей. Или, может, расскажешь, как жену свою в гроб загнал? Или корешу своему —

Фомке Лескову — здоровье воротишь? — Василий вдруг осекся, уразумев, видно, что хватил в своей осведомленности лишку. — Ладно, раскудахтались, будто сто лет впереди. Смотаюсь-ка я лучше за добавкой. — Словно боясь, что его остановят, он с упреждающей всякие протесты поспешностью подался к выходу. — Я мигом...

Оставшись один, Петр Васильевич еще раз внимательно оглядел комнату. Все вокруг носило следы запустения и преждевременной дряхлости. Казалось, к вещам, впопыхах разбросанным здесь много лет назад, до сих пор так и не прикоснулась хозяйская рука. Тощая мебелишка, разнокалиберное тряпье, случайный инструмент вперемежку с банками, пузырьками и бутылками громоздились по углам, покрытые девственно прочным слоем пыли. И в этой скорбной заброшенности Петру Васильевичу внезапно и как бы со стороны увиделась и собственная жизнь, прожитая, хотя и яростно, но вслепую, без жалости и разбора. И если до этого, проникаясь заботами и делами тех, кого сводила с ним судьба, он, сожалея им, внутренне отделял себя от них, то сейчас, среди царившего здесь тлена ему беспощадно открывалась его — Петра Васильевича Лашкова — собственная роковая причастность, его родство ко всем и всему в их общей и уже необратимой хвори. И обманчивое облегчение, возникавшее в нем всякий раз после прежних его встреч, где он, содействуя другим, на какое-то время осознавал и свою для них необходимость, уступало теперь место тоскливой горечи. С пронзительной определенностью выявилось перед ним, что ему уже ничем не помочь здесь ни себе, ни брату.

И тогда Петр Васильевич встал и тихо, не прикрывая за собой двери, вышел, чтобы уже никогда не вернуться сюда: «Так, видно, лучше будет и ему, и мне. Тяжести меньше».

Подходя к дому, Петр Васильевич еще издалека заметил сидящего под окнами Николая. С тех пор как старику удалось-таки прописать парня, а затем и устроить на работу в депо, тот зачастил к своему крестному, засиживаясь, впрочем, все больше на дочерней половине. В другой бы раз щепетильный по части анкетных данных Петр Васильевич наладил непрошеного жениха, но теперь, взяв крестника под свое высокое покровительство, он не считал себя вправе хоть чем-либо уязвить парня: «Пускай отогреется возле женской души, дома-то от матери тепла мало».

Но если Николаево бдение под его окнами и не могло сколько-нибудь озадачить Петра Васильевича, то самая поза гостя: подбородок в плотно сдвинутых коленях; пальцы, сцепленные впереди; взгляд тусклый, отсутствующий, — изваянная долгим напряжением, невольно вызвала в нем известное беспокойство, которое шаг от шагу все укреплялось в душе и росло.

Кивком усаживая поднявшегося было навстречу гостя, он не скрыл внезапной тревоги, спросил:

— Где Антонина?

— Нету...

Парень долго мялся, блудил уклончивым взглядом по сторонам, складывал непослушными губами какие-то жалкие слова, прежде чем, припертый к стене двумя-тремя наводящими, сказал, наконец, тихо и внятно:

— У Гупаков...

И одна эта коротенькая фамилия, как ожог, коснувшись его сознания, враз утвердила в нем ревниво утаенные даже от самого себя, но давние подозрения. Для него стало объяснимым и появление лампадки в красном углу дочерней светелки, и суетливое ее радение вокруг всякой проходящей побирушки, и частое старушечье шушуканье по ту сторону перегородки. «Из-под носа дочь уводят, — вскипала в нем досадная злость, — а ты, старый хрыч, глазами хлопаешь!»

— Сиди тут, — сказал он гостю, поворачивая от дома, — жди. Придет, обо мне ни гугу... Понятно?

Тот в ответ лишь еще ниже опустил голову.

Чуть не дотемна петлял Петр Васильевич вокруг дома Гупака, ожидая выхода «сестер» и «братьев» с очередной гупаковской проповеди. А когда, наконец, последний из них скрылся за ближайшим поворотом, старик решительно ступил на еще не остывшее от множества подошв крыльцо. Стерильной старушке, которая вздумала было загородить ему вход, хватило одного его краткого взгляда, чтобы мигом стушеваться и кануть в полутьме сеней. Просторная горница освещалась лишь лампадкой из-под богатого киота, и оттого все в ней выглядело расплывчато и смутно.

— Здравствуйте, Петр Васильевич! Чем могу?

Голос выплыл из затемненного простенка между угловым окном и печью, и Петр Васильевич, пообвыкнув глазами к сумеречному освещению, определил сидящего там хозяина.

— Здравствуйте... Свет зажгли бы...

Возникнувшая из темноты хозяйка бесшумно приспособила еще одну свечу под киотом, и сразу же лицо Гупака выдвинулось навстречу Петру Васильевичу:

— Знал, уверен был, что придете, не могли не прийти. Судьба-с, Петр Васильевич, рок, так сказать... Сорок с лишним лет ждал и вот сподобился визитом вашим... По правде говоря, с утра еще сосало сегодня!

Лицо хозяина, вязко схваченное рыжеватой с проседью щетинкой, росло, разрасталось, и, когда выпуклые, в багровых прожилках глаза хозяина приблизились к гостю чуть ли не вплотную, их обоих одновременно и резко ослепило то давнее январское утро, что отметило их жизнь единственной встречей...

Окно станционного телеграфа, сплошь увитое морозной росписью, высеивало по комнате тусклый, удручающе мертвенный свет. Раскаленная «буржуйка» источала сухой угарный жар, от которого ломило в висках и томительно обмирало сердце.

Пока простуженный телеграфист, заходясь в истошном кашле над истерзанными позывными аппаратами, добивался связи с Узловском, Петр Васильевич угрюмо вышагивал вокруг него в ожидании прихода начальника станции Миронова.

Еще неделю тому, когда Лашкова неожиданно сделали комиссаром всей Сызрано-Вяземской, дорога жила лишь малыми происшествиями. Оперативная группа работала в основном по мелочам: мешочники, тихий саботаж, изыскание топливных ресурсов. Но стоило ему заступить в должность, как уже на другой день грянула беда: в самом исходе перегона Роща — Дубки лоб в лоб столкнулись два товарняка. Но, как присовокуплялись к сообщению о случившемся, Миронов, едва распорядившись поставить в известность дистанцию, завалился у себя дома и пьет мертвую. Кивок в сторону вероятного виновника был слишком красноречив, чтобы остаться без внимания губчека.

С оперативной группой из трех человек Петр Васильевич на закрепленной за ним дрезине ринулся к месту столкновения. Возможные варианты причин крушения обсуждали уже в пути.

Гудков — мордастый дядька с редкой, будто распаренной бороденкой чуть не до самых глаз, раскуривая пайковый «гвоздик», уверенно приговаривал:

— Он. Больше некому. Знаю я его — Левку. Считай, десять годов у него в стрелочниках ходил. Шкура! Он. С чего ж тогда и запивать?

— Не скажи, — сомневался Ваня Крюков, дерганый, готовый в любую минуту вскинуться за свою правду с кулаками, бывший слесарь железнодорожных мастерских, — чего ж он тогда не сбежал? Или ему кем заказано было?

Лука Бондарь, меченный всеми фронтами гражданской Лука Бондарь — скособоченный глаз в переносицу, — рассудительно осадил парня:

— А куда ему, скажи, бежать? Его тут, где ни возьми, любая мышь знает. Втемную пошел. У офицеров говорят: во-банк.

Сказал и равнодушно отвернулся к окну, как бы отделяя себя от пустого, по его мнению, и лишнего разговора.

Его настроение передалось всем, и остальную часть пути опергруппа провела молча. Лишь попыхивали цигарки в чернильной синеве только что зачатого рассвета...

Вся эта история была не по душе Петру Васильевичу, и поэтому сейчас, из конца в конец вымеривая комнату станционного телеграфа, он никак не мог избыть в себе ощущения тревожной неопределенности: «Черт

его знает, в чем тут закавыка, а спрос все одно — с меня. Дров не наломать бы».

К тому же у него адски ломило зубы. Морзянка раскаленными молоточками — «точка-тире-точка» — отдавалась в висках, и все взбухающее под сердцем предчувствие беды, которая каким-то концом должна была рано или поздно коснуться как самого дела, так и лично его — Петра Васильевича,— делало лашковское состояние еще более невыносимым.

«Что я буду делать с ним,— мучительно размышлял он,— если окажется, что Гудков прав? Меня от зарезанной курицы с души воротит, а здесь не курица — душа живая. Полномочия даны, а рука поднимется ли?»

А полномочия ему даны были и в самом деле недвусмысленные: жалость побоку.

Председатель учека Аванесян — хмурый носатый армянин с дореволюционным еще стажем и каторгой за плечами, напутствуя нового комиссара, только раз и поднял на него желтые от врожденной лихорадки глаза, когда давал ему эти самые полномочия:

— «Смит» при тебе?

— Должность такая.

— У ребят «винты» в порядке?

— Не подведут.

— Тогда действуй. Задача ясна?

— Ясна.

— Все. Иди.

Что ж, приказ и впрямь не оставлял места для разночтений: ликвидировать самую возможность повторения диверсий по всему пути от Вязьмы до Сызрани. И расшифровать его — этот приказ — рекомендовать одним средством — оружием.

Ожидая увидеть в лице Миронова бородатого спеца-саботажника и заранее подготовив себя к соответствующему приему, Петр Васильевич был несколько обескуражен, когда увидел перед собою своего, если не моложе, ровесника, введенного в телеграфную Гудковым.

И хотя спеца в небрежно накинутом на плечи поверх ночного халата пальто трясло мелкой ознобливой дрожью, он наметанным глазом сразу определил, что не страх колотит незадачливого путейца, а тяжкое и с каждой минутой все более матереющее похмелье. Глаза же — в сетке багровых прожилок глаза — смотрели твердо и вызывающе.

— Ну, что скажете? — Петр Васильевич усиленно старался выглядеть бывалым и проницательным в этой новой для себя роли.— Или запираться будем?

Миронов, не попадая зуб на зуб, коротко и с трудом сложил спекшимися губами:

— В чем?

— В том самом. Как и с кем в сговоре организовали крушение на перегоне?

— Чего уж... Кончайте...

В эту минуту беспокойно следивший за их разговором и явно горевший желанием вмешаться в допрос Крюков вдруг прорвался:

— А это ты нас не учи, что делать! — Он подступал к арестованному, красноречиво поигрывая деревянной кобурой у пояса.— Мы из тебя, ваше благородие, быстро гонор вышибем. Мы сюда не в бирюльки играть заявились. Мы...

Тот лишь поморщился, опуская глаза долу, и нехотя уронил:

— Раб.— И добавил еще брезгливее и тверже: — Рабы.

И ярость пронзительного унижения, и обида за досадную свою неудачу в первом же деле, и вся нелепость положения, в каком он неожиданно оказался, захлестнули Лашкова. Ему стоило немалого труда побороть в себе желание рассчитаться с Мироновым тут же, не сходя с места.

— Веди,— жестко отнесся он к Гудкову,— только где-нибудь подальше, в поле. За переездом... Разберемся и сами, не маленькие...

И здесь, решительно отворотившись от обреченного путейца, Петр Васильевич как бы перешел какой-то рубеж, черту какую-то урочную, за которой его сразу же оставили все страхи и сомнения, вся прежняя неопределенность, что сопутствовала ему после получения приказа. Будто в незнакомом маршруте, не страшась подвоха за первым же поворотом, бывший обер, миновав наконец его, этот поворот, увидел перед собой путь, свободный от помех до самого горизонта...

Свет того далекого утра медленно распадался, уступая место нестойкому полумраку гупаковской обители. И Петр Васильевич, весь еще будучи во власти тающего видения, едва сумел выдавить из себя:

— Миронов!.. Гупак?..

— По маменьке, Петр Васильевич, дорогой,— с готовностью поспешил к нему на помощь хозяин,— по маменьке Царство ей Небесное, я Гупак. Из Малороссии родом была покойница. Так что без обмана нарекся, с полным гражданским правом.

— Значит, миновали вас, Миронов, мои девять грамм? — Обретая действительность, Петр Васильевич внимательно вглядывался в знакомые, обмятые временем черты.— Не проверил, значит, работу свою Гудков, с плеча доложил...

— Доложить-то, может, он и доложил, только не исполнил.— Гупак даже не старался скрыть торжества.— Потому что наше, мироновское, добро не забыл. Кто ему ораву босоногую поднимать помогал? Кто его запои покрывал? Кто у жены гудковской все роды принимал? Мать Миронова, покойница, Царство ей Небесное, Анна Григорьевна, урожденная Гупак, и сын ее единокровный, ваш покорный слуга Лев Львович. Вот и не забыл стрелочник Гудков добра, не выстрелил. «Иди,— сказал,— Лев Львович, с Богом, не поминай лихом». Видно, раздразнить мужика на чужую мошну легче, чем убить в нем душу христианскую...

— Ишь ты, вот тебе и Гудков,— горестно усмехнулся Петр Васильевич. Почему-то лишь теперь, восстанавливая в памяти возвращение Гудкова, он отчетливо отметил и несвойственную тому молчаливость, и курение его, обычно скупого и экономного, почти беспрерывное, и непоседливую в обратной дороге маету.— Только не на одном Гудкове, Лев Львович, гражданин Миронов-Гупак, моя правда стоит. Коли б на нем лишь стояла, не выдюжила бы.

Но тот вроде бы и не слыша его вовсе, гнул свое:

— Не убили, а теперь уж и никогда не убьете. Природа поозоровала да и снова вошла в русло... Знал я, не в вас, так в детях ваших скажется основа. И сказалась, не умерла. Пробилась первой порослью. Сквозь золу и тернии, а пробилась. По правде, не было у меня в жизни краше и светлее праздника, чем тот день, когда Антонина Петровна к нам, к братии, пришла... И уж тогда загадал: не миновать мне с вами встречи... И вот как в воду глядел... Спасибо, Петр Васильевич, удружили под старость... Что дал лично вам бунт ваш всеобщий? Один остались, как перст, один... Не мщением тешусь, поверьте, лишь истину сказать хочу. Не в наши с вами годы счеты сводить... Покайтесь, дорогой Петр Васильевич, покой обретете.

— Ведь не хуже моего знаете, что обман это.

— А хлеб — обман?

— Нет.— И еще тверже: — Хлеб нет.

— Так и вера. Любая вера — хлеб. «Тьмы горьких истин нам дороже нас возвышающий обман...» На века сказано. Думали, свет открыли: Бога нет! Но светом этим высвободили в смертном его звериную суть, инстинкты животные. И теперь пожинаете плоды открытия своего, все у вас сыплется, не остановишь. Океан прорвало, а вы его лекциями да указами остановить хотите. Вместо мечты о вечной жизни подкинули обещание всемирного обжорства и ничегонеделания. А он, человек-то, как наелся, так сызнова его к вечной жизни потянуло. Удержи его теперь, попробуй.

И вдруг с резкой внезапностью обожгло Петра Васильевича пороховым дуновением той базарной площади, по которой полз он когда-то к обманчивому окороку за окном: «Неужели и вправду зря? Неужели все, ради чего жил, попусту?»

Но тут же минутное сомнение сменилось простреленной яростью: «Врешь, лампадная душа, не будет по-твоему, вовек не будет!»

— Собираешь узловских кликуш и радуешься: твое взяло? — Речь его обрела уверенность и силу, так недостававших ему в начале разговора.— Рано поминки по моей правде справлять собрался. Не тебе — мне на земле хозяйствовать. И мои девять грамм от тебя не уйдут, Миронов...

Чуть вывернутые веки хозяина устало опустились, он словно бы отго-

раживался от гостя раз и навсегда, давая тем самым понять, что разговор окончен.

К себе Петр Васильевич вошел против обыкновения стремительно и шумно и, не раздумывая, уверенный, что тот, кому он адресуется, услышит его, сказал:

— Нечего прятаться, не маленький. Перебирайся к нам. Завтра же и перебирайся. Жить будем. Вместе, втроем жить.

И только один, но в два сердца вздох — тихий и благодарный — был ему ответом из-за стены.

X

В это утро Петр Васильевич проснулся с тем же ощущением предстоящей перемены в своей жизни, какого-то нового, еще неведомого ему поворота судьбы.

«Совсем постарел, Васильич, — вспомнив о предстоящем сегодня бракосочетании дочери своей Антонины с сыном покойного сослуживца Лескова — Николаем, посетовал он на себя, — скоро имя-отчество свое забывать начнешь!»

Лежа, Петр Васильевич не без горделивого удивления посмеивался над собой. Если бы ему еще месяц назад, да что там месяц, прошлую неделю, сказали о подобной возможности, он бы воспринял это как шутку — злую и неуместную. Разве могло оказаться явью, чтобы он — Петр Васильевич Лашков — с его репутацией и положением в городе породнился с семейством Лесковых, известных всему Узловску своей пестротой и скандальностью? Любой узловец, услышав о том, лишь бы руками развел.

Но вот случилось же! И главное не в том, что случилось, а в том, с каким сокровенным удовлетворением он думал о предстоящем замужестве дочери. Какие планы строил! Какие благостные картины перед собою рисовал. И даже — кто бы мог подумать! — в воспарениях своих дедом уже числил и видел себя.

Посмеиваясь над собой, Петр Васильевич возносился все выше, и два согласных голоса за чуткой стеной сопровождали его душу в этом ее мечтании...

— Папаня только с виду такой, а сам добрый-предобрый...
— Старик что надо, без дураков...
— И отходчивый, будто воск...
— Как сказать... Без нажима гнет дед. Род такой ваш — лашковский — сызмала в командирах.
— Зато справедливый.
— В жизни бы не подумал, что разрешит он нам с тобой...
— Я и говорю — справедливый... Только сам не пожалей о том.
— Не говори зазря.
— Смотри...
— Не слепой.
— А то ведь я и одна свекую, привыкла уже.
— Не городи.
— Коля-Николай...

«Ишь ты, — с ревнивым одобрением отметил Петр Васильевич, — ценят, значит!» И, давая знать о своем пробуждении, легонько закашлялся.

Голоса за перегородкой сразу же смолкли. Затем, после минутной тишины, Антонина осторожно поскреблась:

— Папаня?
— Пора.
— Я сейчас.
— Не суетись — успеется.

Но там, на той половине, уже заводилась дочерью ее обычная ежеутренняя возня, перемежаемая отрывистым шепотом:

— Вставай, Коля.
— Угу.
— За водой сбегай.
— Только обуюсь.
— Носки, носки надень, роса на дворе.
— Не растаю.

— Нет, уж ты надень, а то не пущу, сама схожу.

Слова между ними говорились самые, казалось, легкие, обыденные, но в каждое из этих слов они вкладывали столько тепла и доверительности, что со стороны разговор их воспринимался, как беспрерывное сердечное объяснение, вслушиваясь в которое, Петр Васильевич все более оттаивал: «Такого бы согласия им да на весь век».

Впервые в это утро они сели за стол втроем. Антонина то и дело вскакивала, споро обставляла тарелками и того, и другого, деля между мужчинами свое расположение и признательность.

— Досыта наедайтесь, чтобы к вечеру не опьянеть... Еще, папаня? Николай?

И хотя, что греха таить, ревновал Петр Васильевич дочь к зятю: едва перешагнув порог, тот уже замещал в ее сердце часть отцовского места, — праздничность Антонины сообщилась и ему чувством уступчивой снисходительности...

К загсу, где их уже поджидали принарядившиеся по такому случаю свидетели — разбитной, навеселе, парень с гитарой через плечо и зябкая, с вопрошающими, словно бы от века испуганными глазами девушка, в мучительном смущении терзавшая в руках носовой платок, — они подошли несколько до срока.

Парень, грубовато ткнув Петру Васильевичу потную руку, бездумно хохотнул.

— Кузин, Леонид.

Спутница же его, краснея и теряясь под изучающим взглядом Петра Васильевича, едва-едва сложила дрогнувшими губами:

— Лена...

Первое знакомство подытожил Николай:

— Наши, Петр Васильевич, деповские.

Перед самым открытием ко входу, лихо затормозив, подкатило сразу три «Волги». И в хмельной уже с утра пораньше компании, высыпавшей из лимузинов, сразу же выделился ростом и шумливостью старик Гордей Гусев, давний сосед Петра Васильевича, царь и бог узловских шабашников. Темная довоенная еще пара облегала его не по годам подвижную фигуру добротно и ловко, седой чуб залихватски свисал над кустистой бровью, и весь он с головы до ног прямо-таки исходил вызывающим довольством.

Слава рожденного в рубашке прочно вилась за Гордеем чуть не со дня рождения, когда полузадушенный обеспамятовавшей матерью, он все же выжил, а к совершеннолетию еще и вымахал в почти двухметрового молодца с пудовыми кулаками. Все огни и воды беспокойных годов, сквозь которые довелось пройти Гордеевым сверстникам, минули его голову. Освоив кое-какие ремесла, он всякий раз, едва в воздухе тянуло тревогой, прочно бронировался своей ухватистой незаменимостью.

— Я, — объяснил Гусев Петру Васильевичу жизненную позицию при случайной встрече в день отъезда того в эвакуацию, — человек маленький. По мне, какая ни есть власть, все одно. Мое дело здоровое — мастеровое. Мне с немцами делить нечего. Как при вас работал, так и при них около своего дела буду. Не пропаду.

«И ведь остался, — с горечью согласился сейчас про себя Петр Васильевич, — не пропал ведь и уж, видно, никогда не пропадет. Вот не в пример тебе с каким форсом свадьбу потомкам справляет!»

А тот, цепким глазом выделив из группы у входа бывшего своего соседа, уже двигался к нему с распростертыми объятиями.

— Петру Васильевичу! Сколько лет!.. Вот внучку замуж выдаю, скоро прадедом стану! — В его сверх всякой меры убийственном радушии неприкрыто сквозило торжество: вот, мол, смотри, сравнивай, чья взяла. — Стареем, брат, Петр Васильевич, погост по нас плачет. — Устремляясь следом за всеми в открытые наконец двери, он все еще и на ходу поигрывал в сторону Петра Васильевича победительной улыбкой. — Заглянул бы часом, Петр Васильевич, не побрезговал старым соседушкой...

И снова, как в прошлый раз у Гупака, Петру Васильевичу мгновенно пригрезилась развороченная витрина купеческой лавки на базарной площа-

ди пятого года: «А вдруг все так и будет по-ихнему? Вдруг и взаправду зря дело затевали?»

С тем он и переступил порог загса. Бросившаяся было навстречу Гусевым регистраторша, увидев его, заметно растерялась. Клинообразное испитое лицо ее отражало титаническую борьбу между риском восстановить против себя уважаемого в городских организациях человека и стремлением услужить всемогущему шабашнику. Но, видно, должностные соображения взяли верх. Она повернулась к Петру Васильевичу и жалобно пригласила:

— Прошу вас, товарищ Лашков!

Тут пришла очередь слегка позлорадствовать и Петру Васильевичу: «Не вся, выходит, земля, Гусев, что в твоем огороде».

Дважды сквозь презрительный строй гусевского клана, мимо расфраченной по последней моде — черное с белым — пары новобрачных пронесли свое будничное сорокалетие Антонина и Николай: туда — до регистрационного стола и обратно — к желанному выходу.

Но ни в дороге, ни за столом ни хозяев, ни гостей так и не оставила та напряженная скованность, какую вынесли они из загса. Напрасно Антонина суетилась вокруг подруги, а Николай подливал другу одну за другой, те лишь переглядывались растерянно, явно тяготясь угощением. И поэтому, когда наконец гости излишне оживленно откланялись, Николай решительно заключил:

— Уедем мы, батя, отсюда. Не будет здесь нам с Антониной жизни.

И Петр Васильевич впервые после их с зятем знакомства не нашелся с ответом.

XI

Ночной автобус довез их до углегорского аэровокзала, откуда молодые должны были лететь в Москву, где им предстояла пересадка. И здесь крепившаяся всю дорогу Антонина не выдержала. Припав к отцовскому плечу, она шепотно запричитала:

— Папаня, родненький... Как же вы тут без меня будете? Поехали бы с нами... Ни постирать, ни поесть сделать некому... А ну, как заболеете... Изойду я без вас сердцем... Папаня-а-а!..

— Ну-ну, Антонина... Будет.— Петр Васильевич неверной от волнения рукой оглаживал ее голову.— Авось, не пропаду... И куда мне под старость подниматься?.. Здесь родился, здесь и помру... Ты вот пиши только, не забывай...

Николай, переминаясь с ноги на ногу, стоял сбоку, затравленно поглядывал в их сторону, и по всему видно было, что ему тоже не по себе. Когда же объявили посадку, он порывисто шагнул к Петру Васильевичу, дважды по-мужски коротко припал к старику и хрипло обронил:

— Гора с горой... Бывай, отец...

Подхватив чемоданы, он двинулся к выходу на перрон, Антонина потянулась за ним, все оборачиваясь и оборачиваясь дорогой, пока мгла застекленной двери не вобрала в себя ее самое и ее полустон-полукрик:

— Папаня-я...

Оглушенный рухнувшим на него одиночеством, Петр Васильевич медленно и бездумно выбрел к автобусной остановке. Какая-то баба, несушкой оседлавшая гору мешков и корзинок, весело отнеслась к нему:

— Садись, отец, ближе, теплее будет! Автобус-то — он не скоро еще...

Петр Васильевич, подаваясь мимо, не ответил. Едва обозначившееся утро густо подсвечивало асфальт перед ним, чутко вторя резкому стуку его палки.

И все, что было пережито за те недолгие дни, которые отделяли его от случайного воспоминания у разбитой витрины городского магазина, приводя к выводам, обретало цель.

Где, когда, почему уступил он — Петр Васильевич Лашков — свою правду Гупакам, Воробушкиным, Гусевым? Какой зябкой чертой оградил он себя даже от родных детей своих? В чем оказалась горестная промашка его?

И вдруг из давно, казалось бы, забытого небытия выплыло перед ним залитое хмельными слезами лицо тестя Ильи Махоткина: «Сушь, сухой дух от тебя идет... Нет в тебе ни одной живой жилы...»

И озарение, так долго и трудно ожидаемое им озарение, постигло Петра Васильевича: «От них шел, от них, а не к ним! Свету, тепла им да и никому от меня не было, вот и летели они, словно бабочки, на случайные огоньки в ночи. Заново, заново все надо начинать, и лучше поздно, чем никогда!» И ему вдруг стало легко и просто. И сообщенное Петру Васильевичу этой легкостью и простотой душевное равновесие проникло его мыслями деловыми и житейскими. Идя, он думал теперь о детях, которые одарят его внуками, и о внуках тех внуков, и о всех тех, чьими делами и правдой из века в век будет жива и неистребима его земля — Россия.

Он думал и шел...

Вторник

ПЕРЕГОН

I

Проводив брата, Андрей Васильевич заспешил к себе в лесничество. От станции до места было километров пятнадцать голоолобых бугров, через которые, не любя в душе никакой сквозной пустоты, он гнал лошадь безо всякой жалости и, лишь въехав в первый подлесок, выпряг ее попастись и отдохнул сам.

Только в лесу, в общении, в единении с ним Андрей Васильевич чувствовал себя покойно. Изредка, по деловым вызовам бывая в районном городке, он терялся даже в его малолюдстве. В присутственных местах казался сам себе лишним, ерзал по сторонам замученными глазами и не знал, куда ему девать свои тяжелые и такие неуместные здесь руки.

Теперь он лежал лицом вверх, глядел в истекающее последним осенним зноем небо, и знакомый мир вновь заполнял его, и собственная жизнь представлялась ему предельно осмысленной и многим необходимой. Сколько Андрей Васильевич помнил себя, его всегда тянуло в лес, к тихой воде ручьев и озер. Фронтовая боязнь открытых пространств только укрепила в нем эту его тягу. В лесу человек неуязвим для холода и голодной смерти. И потом лес приобщает всякого к тому вещему единству всего сущего, каким не может одарить душу ни одна, самая что ни есть заселенная равнина.

Гибель любого дерева, куста да и просто ветки, в особенности неестественная, насильственная, воспринималась Андреем Васильевичем как глубоко личная и уже невосполнимая потеря. И он всякий раз заболевал и долго печалился душой после каждой незаконной или даже законной порубки. А лес вокруг него рубили нещадно и даже с каким-то хмельным и горьким сладострастием. Рубили с делом и без дела, благо он стоял под боком — рослый, но беззащитный.

И не было дня, чтобы Андрей Васильевич не составлял протоколов, не писал слезных реляций в лесхоз или район. Число бумаг росло, а лес его, выстраданный больным после ранения сердцем лес, таял, таял на глазах. И никогда ранее, ни до войны, ни долго после нее, в рот ничего не бравший крепче квасу, Андрей Васильевич постепенно пристрастился к тихой выпивке: «Все равно нехорошо!»

Вот и теперь ему со щемящим томлением вспомнилось вчерашнее утро, когда он перед самым братениным приездом захватил в березовом подлеске старшего из пятерых в безотцовской ораве Агуреевых, поднятых матерью их Александрой — бабой видной, но злой. Мальчишка смотрел на лесника волчонком, и конопатое вздернутое кверху лицо его тряслось недетской злостью: «А раз мне кнутовище надобно! А раз мне кнутовище надобно!»

И такая победительность в своей правоте ощущалась во всем его облике, такой вызов, что Андрей Васильевич только плюнул в сердцах:

— Ирод ты, ирод!

— Сам ты ирод! — уже с опушки, издеваясь, отозвался отпущенный

подобру агуреевский отпрыск и не без злорадства отчетливо дополнил: — Ирод чокнутый.

С кем другим Андрей Васильевич вряд ли бы поцеремонился. Не одной бабе из окрестных деревень уже приходилось в таких случаях распечатывать самую сокровенную свою заначку и расставаться с очередной, назначенной им штрафной десяткой. Но сейчас от одной только мысли, что для этого ему придется лишний раз увидеть Александру, у него опустились руки: «Леший с ним, — обреченно вздохнул он, — где ей одной с такой ротой справиться, не по миру же идти в самом деле».

Оттуда, из-за мохнатого частокола густых елей, выползало тяжелое облако. Облако виделось ему похожим на валяный сапог с полуоторванной подошвой, причем голенище отливало тусклым оловом, переходя к пятке в сплошную чернь: «К дождю, — уже в полудреме мысленно отметил про себя Андрей Васильевич, — должно, стороной пройдет».

И снилось ему поле, пустое, простреленное со всех четырех сторон поле с одним-единственным — то ли пихтою, то ли сосной — деревом у кромки горизонта. И он полз к нему — этому дереву, чтобы укрыться, спрятаться там от смертного воя вокруг, и в жадном этом движении его сопровождал памятный братенин зов: «Как же это ты, Андрюха, зачем?» И сразу за этим едва слышная шепотная мольба Александры: «Пожалей, Андреюшка-а-а!»

II

По Узловску несло бумажной гарью. Город избавлялся от всего, что могло бы обременить его память. Власть жгла бумаги, которые не в состоянии была вывезти, обыватель — фотографии и письма родственников и знакомых, из тех, кем еще вчера считалось за честь при случае козырнуть.

Редкие гудки тревоги пока не завершались бомбовыми разрывами, но кружение в беззащитном небе разведывательных «этажерок» уже возвещало о приближении к городу фронтовой полосы.

Андрей едва нашел место для своего Гнедка у коновязи райисполкома: площадь перед зданием была густо запружена машинами и повозками, пешими и конными. Людской водоворот пестрел зеленым цветом — цветом войны. В коридорной сутолоке перед военными предупредительно расступались, подчеркивая этим самым их, в теперешней обстановке, главенствующее положение.

В крошечном закутке завсельхозотделом Туркина оказалось неожиданно тихо и пусто. Сам Туркин, тщедушный блондин в официальной индиговой паре, не поднимая глаз от бумаг, лежащих перед ним, отрывисто бросил:

— Откуда?

— Из Бибикова. Сами же вызвали.

— А, это ты, Лашков, — подслеповатые, василькового оттенка глаза его вопросительно уставились в сторону Андрея, — что у тебя? — Не ожидая ответа, он поспешно схватился за телефонную трубку. — Девушка, Туркин говорит, соедини-ка меня с первым... Василий Никифорович? — Заведующий по привычке, разговаривая с начальством, привстал. — Туркин беспокоит... Есть парень... Лашков... Нет, не тот... Брат его младший — Андрей... Объездчиком в Бибиково... Тот самый... Тридцати нет... Комсомолит еще... Холостой... Какой там, сам просится! — Он бережно опустил трубку на место, и блеклое лицо его приобрело соответствующую моменту начальственность. — Так вот, Лашков, тебе поручается эвакуировать скот.

— Какой скот, Владимир Палыч! — Андрей ожидал всего: взбучки по поводу участившихся хищений, нагоняя из-за провороненных потрав, мобилизации наконец, только не этого. — Куда я его буду эвакуировать?

— Какой? — Голос Туркина приобрел торжественную тональность. — Все колхозное поголовье района. Куда? — Значительность его модуляций сделалась еще более подчеркнутой. — В Дербент, Лашков, в Дербент, в горы... Районный комитет поручает тебе тысячу двести голов артельного достояния. За каждую голову отвечаешь лично. Документы оформишь в

оргтделе. Оружие получишь у военкома. О людях договаривайся сам с председателями. Старайся брать малосемейных. Не подведи фамилию, Лашков. — Он протянул Андрею коротколапую потную руку, и в вялом ее пожатии, вопреки натужно бодрому тону, не чувствовалось ничего, кроме безнадежной усталости. — Желаю успеха.

Новое назначение застало Андрея врасплох. Он не то чтобы растерялся, его скорее обескуражила неожиданно возникшая обязанность кем-то командовать, с кого-то спрашивать и за что-то отвечать. Сколько Андрей себя помнил, ему всегда приходилось подчиняться. Дома — отцу и брату, в армии — всем, начиная с отделенного, на работе — председателю и многочисленным районным деятелям любого ранга. И теперь, когда за ним закреплялось право распоряжаться самому, он никак не мог сколько-нибудь отчетливо представить себе свою роль в качестве начальника.

И, как всегда в трудных случаях жизни, его потянуло к брату. Брата он боготворил. При каждой встрече тот заряжал его своей ожесточенной решительностью и верой в их — Лашковых — назначение в общем деле.

Андрей долго блуждал по коридорам отделения дороги в поисках Петра Васильевича, прежде чем кто-то, проходя, не надоумил его:

— Лашков? В тупике за «горкой» архив от бухгалтерии принимает.

У классного пульмана, загнанного в тупик, Андрей еще издалека заметил Фому Лескова — старого братениного дружка и поездного напарника, суетившегося вокруг горы набитых гроссбухами мешков. А тот, в свою очередь, при виде гостя весело повел блудливым глазом в глубину вагона:

— К тебе, Васильич! Брательник — собственной персоной.

Встретиться с братом Андрею среди суматохи первых военных месяцев все недосуг было, и поэтому, когда тот вышел к нему, он со щемящей сердце грустью отметил про себя и наметившуюся уже сутулость Петра и частую проседь в его когда-то иссиня-вороном ежике.

— Здоров, Андрюха, — бодрое радушие давалось ему явно через силу, — вот работенку всучили, не дай Бог всякому.

Коротко поведав брату об исполкомовской встрече, Андрей без обиняков определил перед ним свое к ней — этой встрече — отношение.

— Погодки воевать уходят, Петёк, а я заместо пастуха — в другую сторону. Нехорошо получается...

Они уединились в спальном купе, и Петр, обычно немногословный, пространно, хотя и не совсем уверенно, стал втолковывать Андрею что-то о необходимости и дисциплине, но в конце концов сбился с тона и закончил неожиданно тихо и грустно:

— Говори не говори, кому-то и это дело делать надо... Куда-то нас с тобой раскидает теперь... По всему, большая, длинная война будет... Увидимся ли? Из всех Лашковых только двое — ты и я — остались... Всех поразметало в разные стороны... А жизнь-то — она на исход пошла, на исход...

И потому, какая сожалительная горечь сквозила в каждой фразе брата, Андрей уверился, что то, зачем он явился сюда, куда нужнее сейчас самому Петру, нежели ему, Андрею, и слова сочувствия, готовые уже было сложиться в нем, обернулись лишь кратким вздохом.

— Проводи.

Их путь вдоль насыпи к ближнему переезду был медленным и молчаливым. Пожалуй, как никогда раньше, ими постигалось в эти минуты, сколь много они всю жизнь один для другого значили. Братья служили один одному той единственной связующей нитью со всем, что зовется семьей, фамилией, родом, без которых они сами по себе ничего из себя не представляли.

У переезда братья слегка, словно стыдясь внезапного порыва, помяли друг друга за плечи и тут же разошлись всяк в свою сторону, уже не медля более и не оборачиваясь.

III

Обычно тихое Бибиково тонуло в гвалте и ржании. Вокруг правления сгрудились подводы с походным скарбом скотогонов. Посланцы шести ок-

рестных деревень ждали команды двигаться с голодно ревущим на затоптанном выгоне скотом к тихим кавказским пастбищам.

Андрей, запершись в председательской светелке, мысленно прикидывал деловую хватку каждого из своих подчиненных. В окно ему было видно, как Прокофий Федоров, курковский гуртоправ, бережно размещал посреди телеги беременную жену свою Пашу, обкладывал ее со всех сторон свежим сенцом, укрывал ей ноги стеганым одеялом, улыбчиво при этом поругиваясь с нею и дразнясь.

«Этот надежен, — облегченно следил за их игрой Андрей, — не подведет. И работу свою знает, дай Бог всякому. Жена вот только чуть не на сносях. Ну да ничего, баб много, примут».

У артельного амбара, приспособленного под клуб, хромоногий гармонист Санька Сутырин, уныло поводя в сторону хмельным глазом, веселил на прощание сбившихся вокруг него девчат:

Сапоги мои худые,
Дома лаковые.
Что у девок, что у баб —
Одинаковые...

«Задавала, конечно, — с крайней строптивостью избалованного всеобщим вниманием и единственного на всю округу гармониста ему приходилось сталкиваться не раз, — зато, как говорят, на все руки: и швец, и жнец, и на дуде игрец, обломается».

Старый торбеевский бобыль Прокофьич, с молодых еще ногтей крещенный пастушьим бичом, со вдумчивой старательностью ладил борт своего полухода. Пергаментное с клочковатой, медного оттенка бородой, лицо его светилось невозмутимой деловитостью хозяина, работника, мастера, крепко уверенного в собственном назначении в этом мире.

«За таким, как за каменной стеной, — любовался его ухватистой сноровкой Андрей, — клад, а не старик».

И вдруг, как во сне, когда внимание, обостренно сосредоточившись на одном предмете, перестает воспринимать все остальное, слух и зрение Андрея мгновенно отключились от окружавшей его действительности: Андрей увидел ее — Александру. Она уверенно пересекала дорогу перед окном, направляясь к конторе. И ни стоптанные резиновые сапоги, ни суконный, с мужниного плеча пиджак, ни темный старушечий платок, опущенный чуть не до самых бровей, не могли, не в состоянии были хоть сколько-нибудь обесформить ее рвущуюся сквозь одежду жаркую плоть, стереть с почти еще девичьего облика врожденное в ней выражение зова и желания.

Много воды утекло с той весенней поры, как, выпроводив именитых Андреевых сватов, она изо всех многочисленных своих воздыхателей выбрала Серегу Агуреева, самого что ни на есть отпетого свиридовского гуляку, но и теперь всякий раз при встрече с нею Андрей жарко обомлевал, не в силах унять гулкое биение под сердцем.

«Подсуропил мне Михайло Порфирьич, старый черт, — посетовал по адресу сычевского председателя Андрей, поспешно, даже несколько слишком бросаясь с ключом к запертой двери, — не было печали!»

А та, не давая ему опомниться, прямо с порога ошарашила его насмешливым вызовом:

— Драсте, дорогие гости, лучше б вас не было. Так, что ли? Уж не обессудь, не по своей воле, — не отказала себе в удовольствии глумливо поерничать Александра. Но тут же, словно спохватилась, взяла деловой тон. — Полтораста голов тебе пригнала. От Сычевки пойду я, да Пашковы всем семейством, сам Пашков с белым билетом, да Люковы трое: старуха с дочкой и снохой, да Петя-блаженный, вот и вся армия...

Ревниво следя издали за ее судьбой, Андрей знал о ней все, или почти все, что было известно самым ближайшим соседям Агуреевых. И хотя детей у них с Сергеем за три года супружества так и не состоялось, жили они вопреки всеобщим ожиданиям не вполне обстоятельно, но дружно. В первый же день войны Серега, то ли поддавшись общему тогда настроению, то ли ради сохранения отчаянной своей репутации, ушел добровольцем, и Александра, заколотив свиридовский дом его, перебралась к матери в Сычевку. Хваткая ко всякой работе, дотошная в деле, быстрая

на язык, она вскоре приобрела в артели уважение и силу и к тому времени, когда над округой засквозило фронтовым ветром, уже заведовала фермой. Поэтому Андрей, хоть и досадовал на сычевского председателя, про себя все же не мог не одобрить его выбора. «Знает, старый хрен, кому скотину доверить. Эта свое не упустит».

— Не густо. — Стараясь унять волнение, Андрей с силой раскатывал перед собой зажатый между ладонями карандаш. — Сто пятьдесят голов! Гнать-то их не хитро. Одного Пети хватит, а если зараза какая? Мор? Твоим старухам самим няньки нужны. Удружил мне ваш Михайло Порфирьич.

— А где он, Михайло наш, Порфирьич возьмет людей-то? — В сизых, едва тронутых женским веком зрачках ее, в самой их глуби наметилась сердитая искра. — Какие были стоющие мужики, все, — она кивнула за окно в сторону фронта, — там, а новых еще бабы не нарожали. Уж как-нибудь с вашей, Андрей Васильевич, богатырской помочью обходим скотинку.

— Сама знаешь, — оскорбленно подобрался он, слишком уж откровенным был выпад, — просился, не взяли.

— Понятно, шибко партейные в тылу нужнее. С бабами да ребятишками управляться, а то избалуются без руководства. Нам ведь без вас, без Лашковых, никак не обойтись...

— Ты это про Лашковых брось! — Когда дело касалось их фамилии, все Лашковы становились одинаковы: гнев, душный слепой гнев сразу растворил в нем недавнюю его растерянность. — Тебе Лашковы дорогу не переходили.

— Зато я им, — Александра даже не старалась скрыть своего мстительного торжества, — перешла. Думали Лашковы осчастливить Сашку, не вышло...

— Да ты... Да ты! — Его, будто спущенную с предохранителя пружину, подбросило с места, он кинулся было к ней из-за стола, но тут же, обессилев от стыда и обиды, снова сел и отвернулся к окну. — Иди...

С пронзительным до жжения в горле томлением следил Андрей за тем, как она, сойдя с конторского крыльца, размашисто вышагивает в сторону своего табора, слегка по дороге кивая встречным. Дорого дал бы он сейчас за один только хотя бы такой вот ее кивок. Сколько воды утекло с тех пор, когда Андрей впервые увидел Александру и загорелся по ней, а вот и сейчас, через годы, все в нем обмирало и загоралось, стоило ему только увидеть, как она проходит где-нибудь рядом. Фигура ее все удалялась и удалялась в сторону сычевского табора, и он все смотрел и смотрел ей вслед, а когда обернулся и пришел в себя, перед ним уже сидел печальный и усталый старичок, и в том, с каким вниманием тот изучал стену напротив, было ясно, что весь разговор Андрея с Александрой был им услышан, теперь же гость молча предлагает оценить его деликатность.

— Что вам, отец? В Совете никого, — хмуро опустил глаза Андрей. — Я здесь временно.

— А мне лично вас, Андрей, если не ошибаюсь, Васильевич, лично вас. — И в тоне, каким это было сказано, обнажилась вся канцелярская гамма: от услужливости до расположения. — Ветврач из исполкома, Бобошко Григорий Иванович.

И только тут Андрей вспомнил, что, прощаясь с ним, Туркин обещал подослать ему опытного ветеринара, старого, мол, испека, зато мастера первоклассного. Но ожидая всего, кроме этих живых мощей въяве, он слегка растерялся:

— Да, да, конечно... Только прошу учесть: путь долгий...

Старичок явно понял состояние хозяина, и склерозные глазки его засветились добродушной иронией:

— Я бы, разумеется, не отказался от курорта, но ведь, извините, сами видите, что делается кругом. — Тут он легко развел короткими руками. — Так что уж не взыщите.

— Простите, если что не так ляпнул. — Он не знал куда глаза девать. — Пойдемте к гуртам.

За околицей на выгоне ревели гурты. Каждая деревня держала свою скотину отдельным табором, и это сразу же породило первые споры и неурядицы. Люди оставались людьми, хотя им и предстояла дальняя и тяж-

кая дорога, где с любым из них могло случиться самое непоправимое. Но они жили еще старыми, довоенными представлениями обо всем, и поэтому всякий из них тащил в свою артельную кучу все, что, по их мнению, могло сгодиться в пути. Андрея на какое-то мгновение взяла жуть от того груза, который он взвалил на себя: «Господи, прорва-то какая! И куда я с ними! Разорвут при случае и не икнут!» Но обычная их — лашковская — уверенность в себе выручила и здесь: «Не боги горшки обжигают, перезимуем!»

От зоркого глаза ветеринара не укрылась эта его мгновенная растерянность, и он тут же, посмеиваясь, тихонько подсказал:

— Речь бы надо, Андрей Васильевич. Так сказать, момент!

И Андрей, взгромоздившись на выпряженную телегу, воззвал ко всей возникающей перед ним кутерьме, благо опыт у него по части собраний имелся немалый:

— Так что вот какие пироги, друзья-товарищи! Путь у нас неизвестный, и держаться нам всем надо сообща. В куче и котята — волки. Добро свое берегите, вам его артель доверила, а остальное — вместе. На нас смертная сила прет: фашист. Фашиста порознь не побьешь. Поодиночке нас, как кутей, передавят, так что в случае чего стреляю без предупреждения.— Он подумал и добавил для пущей официальиости: — Все на врага! Раздавим фашистскую гадину!.. Двинулись!

Ревущая и голосящая лавина потянулась к большаку, а когда тот вобрал ее всю до последнего подтелка, вперед вышел знаменитый в районе бык Евсей и повел колонну вперед, к дымящемуся пылью горизонту. Огромный Евсей величественно вышагивал по обочине дороги, и в коричневом до черноты глазном его яблоке явственно отражались и земля, и небо, и долгий путь впереди.

И снова Андрею стало не по себе: «Господи, какою же мерой надо будет воздавать им, чтобы довести до места и никого не потерять? А главное — ничего не потерять»

IV

В душной, щедрой близкими звездами ночи властвовала сутыринская гармошка:

Мой миленочек партейный —
Луженая глотка.
Самоваром жрет портвейный,
Запивает водкой.

«Она,— по голосу узнал Лашков Александру, объезжая свое хозяйство, ставшее здесь ночевкой,— ну погоди же, поговорим. Война, так, значит, все дозволяется?»

Но он хоть и ярился, и поигрывал в темноте скулами, знал, что говорить с нею не станет, потому как ничего из этого разговора, кроме нового для него конфуза, не выйдет. И от этого своего бессилия еще более распалялся и думал: «Стерва... Стерва... Стерва... Ведь для меня специально... Стерва...»

— Куда прешь, черт? — Кто-то шарахнулся в сторону чуть ли не из-под самой морды лошади — Не видишь — люди?.. А, Андрей Васильевич!.. Не признал...

— Чего не спишь? — Андрей определил по характерной искательности торбеевского пастуха Филю Дуду. У Дуды давно уже бегали внуки, а к его укороченному в детстве имени так и не пристало отчество.— Иди, спать, завтра не дам роздыху.

— Спать! — жалобно откликнулась темь.— Момент телка сведут. Сычевские давно зарятся. Пустят грязь какую — не то к нам, а нашего сведут. Известное дело: из Сычев — смотри воров. А у нас порода. Председатель опосля голову сымет. А сычевцев кто не знает: все воры.

Таким манером Филя мог — и уж о чем, а об этом Андрею было известно не в последнюю очередь — заговорить до смерти кого угодно.

— Ну, ну,— заторопился он дальше,— только все одно завтра потачки не дам. Бывай..

Его потянуло туда, ближе к сутыринскому наигрышу, и он тронул лошадь в сторону бибиковского гурта. А оттуда навстречу ему уже выплывала частушка:

Я любила тебя, миленький,
Любить буду всегда,
Пока в морюшке до донышка
Не высохнет вода.

«Взбесились бабы,— сочувственно посожалел Лашков,— когда-то теперь своих дождутся?»

Днем, перед самым переходом магистрали Москва — Харьков, путь гуртам отрезала долгая войсковая колонна. Мимо них шли, по большей части молодые, только что обмундированные в «БУ» ребята. Шли с той тревожной веселостью, какая обычно присуща всем новобранцам по веками освященному правилу: была не была! И потому мало кто из них пропустил случай, чтобы не отметиться забористым словцом у молча и скорбно глядевших на них баб из шести узловских деревень.

— Эй, чернявая, айда с нами — не пожалеешь!

— Девушки, вы подружки?

— Или не видишь, Сема, ясно — подружки.

— Тогда пусть берут меня в игрушки.

— Ты, Сема, рылом не вышел. Смотри у них какой молодец гарцует. Одно слово, сокол — это самое, как кол...

Но молчали, не обижались бабы. Даже самые языкатые из них, способные, казалось, под горячую руку переговорить самого черта, лишь горько усмехались в ответ из-под сдвинутых к самым бровям платков. «Тешьтесь, тешьтесь, милые,— как бы снисходили они,— сегодня вам все дозволяется».

И это их покровительственное молчание стало постепенно передаваться туда — в колонну: возгласы сделались реже и как-то стеснительнее, что ли, а затем и вовсе стихли, и только шорох сотен подошв об асфальт стоял в раскаленном воздухе, изредка прерываемый жалобным ревом скотины. Смерть казалась идущим чем-то таким, о чем еще можно было думать если не с воодушевлением, то хотя бы не без некоторого кокетства. Но женщины, молчаливо глядящие на них с обочины, этим своим молчанием обозначили для них в предстоящем ее — смерти — настоящую цену. И поэтому то, что всего минуту назад было подернуто героической дымкой, вошло в их сознание тревожным и пронзающим душу озарением.

В хвосте колонны, чуть даже поотстав, ковылял молоденький, совсем еще почти мальчишка, солдатик, на ходу укрощая строптивую обмотку, а укротив ее наконец, он выпрямился и обернул к бабам кое-как слепленное круглое лицо, грозя им при этом пальцем: смотрите вы, мол, тут!

И в это же мгновение будто прошлось солнечным зайцем по бабьим лицам: всю женскую половину лашковского табора забрал громкий, безудержный, до слез хохот:

— Ой, держите меня, девоньки, выкину!

— Чай, и есть разок на двор сходить по-легкому!

— Ой, бабы!.. Бабы!.. Ой, бабоньки!

— Вот, девки, грозильщик! Вот грозильщик! Умора!

Гурты двинулись в переход, но бабы и в пути все никак не могли успокоиться.

— Польк, видела, а?

— У них тут не забалуешься.

— Вернутся, будем знать, почем кнут, почем пряник.

— А ить, бабы, и правда, поберегись. Опосля хуже будет.

— Убережешься тут: кругом ловцы.

— А ты гони!

— Прогонишь, я — слабая...

Теперь же, в ночи, невольное дневное озорство оборачивалось в них горечью и зовом:

С неба звездочка упала
Четырехугольная.
С милым редкие свиданья,
Я и тем довольная.

По чести говоря, Андрей мог бы не подниматься сегодня ночью в объезд, надобности такой не было, а если и была, то ему давно следовало возвратиться в село, где его с ветеринаром определили на постой. Но снова и снова заводил он своего Гнедка в очередной круг, стараясь избыть в себе то не объяснимое еще им самим чувство вины перед кем-то или чем-

то, не отпускавшее его сегодня с момента встречи на дороге. И вовсе не совесть здорового тыловика мучила Лашкова. Как раз здесь все было для него ясным. Ему приказано — он выполняет. Прикажут идти на фронт — пойдет. Просто мир вдруг разделился перед ним на тех, кого гонят, и тех, кто гонит. Они — Лашковы — всегда, сколько Андрей себя помнил, принадлежали ко вторым. И в нем вдруг, как ожог, возник вопрос: «А почему? По какому праву?» Дальше для него начиналась бездна, и, чтобы не думать дальше, он пустил лошадь в галоп.

В село он въехал, когда на востоке, у горизонта, уже обнажилась первая полоска нового дня. Бобошко не спал. Бобошко страдал старческой бессонницей, а поэтому даже самый изнурительный переход мог свалить его от силы часа на два, на три. Он сидел в палисаднике, старое пальто внакидку, и птичьи глаза его грустно слезились.

— Все-то вам неймется,— встретил он Лашкова ласковой укоризной,— спали бы. Что там может случиться? Каждый стережет своих. А случится — прибегут. Вам одному все равно за всем не углядеть. А так, знаете, недолго и до нервного истощения, да.

— Сами-то вон...

— И-и! Разве я от забот? Я от старости. У вас все впереди, а я уже подвожу, так сказать, итоги. У меня есть о чем вспомнить. Разве вы, Андрей Васильевич, слышали когда-нибудь, к примеру, о Ледовом походе? Конечно, откуда? А мы тогда единой душой за Лавром Георгиевичем. Без страха и упрека, так сказать... Я ведь не страшусь теперь рассказывать: отбыл свое... Далеко — в Потьме... Чего-то мы тогда не учли. А чего, не знаю... Впрочем, знаю. Психологии русского крестьянина не учли. А ведь нас должна была научить пугачевщина. Максималист он, анархист, мужичишко наш православный. Он одним днем живет, а мы ему Царство Небесное... Впрочем, зачем это я вам? Идите-ка поспите хоть часок перед дорогой. По такой жаре не спавши, знаете...

Андрей лег, но заснуть так и не сумел. Едва ли из всей бессвязной речи Бобошко он усвоил и половину, но и ее — этой половины — хватило, чтобы путаница в его голове стала еще неразборчивей. Только теперь ему стало ясно, что вся его жизнь укреплялась братом, его опытом, его силой, его авторитетом наконец. Будь сейчас рядом Петёк, он моментально расставил бы все по своим местам. А без него, сам по себе, Андрей был способен запутаться в трех соснах. И уже запутался. Самостоятельная, без брата, жизнь начиналась для него совсем небезмятежно. Смутно для него она начиналась.

Засыпал Лашков под далекий сутыринский наигрыш:

Проводи меня домой
Тропкой неборонениой.
Милый мой, милый мой,
На сердце уроненный.

«Она,— снова, но уже умиротворенно прорвалось к нему в сонное забытье,— Александра».

V

Последние два дня гурты двигались вдоль железнодорожной ветки Ростов — Кавказская, то удаляясь, согласно госмаршруту, то от нее в сторону, то вновь следуя с нею вровень. В раскаленном воздухе плыло над табором крутое облако пепельной пыли. Пыль пронзительно скрипела на зубах, забивала дыхание, проникая в каждую складку одежды, в каждую пору тела. А пшеничная степь впереди, насколько хватал глаз, не сулила путникам ни воды, ни приюта. Вдоль дороги, жестко хрустя, тлели, осыпались неубранные хлеба. Скотина косила жадный глаз в сторону поля, и выставленному Андреем конному заграждению приходилось выкладываться до изнеможения, чтобы сдержать медленный, но упорный натиск тысячеголового стада, тянущегося к даровому, хотя и гибельному для него хлебу.

Поравнявшись с бричкой, в которой, несмотря на зной, зябко поеживался ветеринар, Андрей придержал коня:

— Думаю, у первой воды встанем, Григорий Иванович. Не тянут люди, сдают.

— Пожалуй, Андрей Васильевич, пожалуй.— Последнее время старик явно прихварывал, но вида старался не показывать, и только болезненная испарина, какую он то и дело стирал с уныло заострившегося лица, выдавала его.— Действительно, жарковато.— Воспаленные глаза Бобошко виновато мигали.— Занедужил вот... Застарелая малярия... С трех до пяти трясет... Часы проверять можно... Недельку потреплет, не меньше... Ничего, перетерпим...

— Может, отлежитесь где-нето поблизости, Григорий Иванович? — осторожно поинтересовался он у старика.— Потом догоните... Далеко не уйдем.

— Разве я давал повод? — Тот встревоженно оживился.— Или оплошал в чем? Ведь я, кажется, справляюсь?

— Вам и сказать ничего нельзя! — в сердцах вздохнул Андрей и тронул вперед.— Я как вам лучше хотел... Смотрите сами.

В который уже раз, сталкиваясь с Бобошко, Андрей попадал впросак. Что, какой интерес, какая корысть удерживала бывшего корниловца около в общем-то чужого и хлопотного для него дела? Пропасть, исчезнуть в безалаберной сумятице отступления не составляло ровным счетом никакого труда. И все-таки ветеринар с педантичной скрупулезностью продолжал справлять должность, ревниво оберегая от стороннего вмешательства свои маленькие служебные права. Не облегчала Андрея и давняя фамильная привычка отстранять с пути все для себя необъяснимое расхожими, но удобными в житейском обиходе понятиями. Обычно в таких случаях он, не затрудняясь раздумьями, отмахивался с брезгливой, заимствованной еще у брата краткостью: «блажь», «ересь», «чистоплюйство». Но здесь, изредка испытывая старика, Андрей видел, чувствовал, что имеет перед собой загадку особого рода, что что-то куда большее, чем привычка или закоренелая канцелярская исполнительность, движет ветврачом в его деловом рвении. И, казалось, отгадай он, Андрей, эту загадку, многое для него в жизни стало бы ясней и проще: «Не по зубам тебе, Андрей Васильич, товарищ Лашков, старичок попался, не по зубам».

У самого края горизонта, словно лезвие ножа, блеснув, обнажилась водная полоска, за которой постепенно, шаг от шагу все отчетливей стали выявляться очертания станционных построек. Конь под Андреем возбужденно напрягся, упрямо вздыбил холку и перешел в галоп. Подернутое болотной ряской озерцо развернулось ему навстречу, одним концом упираясь в низкорослую лесопосадку, другим — приникая к путевой насыпи, где перед семафором стоял товарный эшелон. «Место в самый раз,— облегченно вздохнул он,— встанем, обиходимся малость».

Близость воды и долгожданного отдыха заслонила в сознании людей все окружающее. Вместе со скотиной они самозабвенно вбирали в себя дарованное им облегчение, но, когда после утоления жажды мир для них приобрел законченную устойчивость, эшелон наверху оборотился в их сторону десятками, сотнями глаз,— устремленных к ним сквозь забранные колючей проволокой люки пульманов. И каждый взгляд с отчаянной обнаженностью взывал не к людям — к воде. И настороженное молчание, возникшее сразу вслед за этим среди скотогонов, только утвердило внезапно осенившую всех догадку: «Заключенные!»

У Андрея похолодело сердце. Что-то почти неуловимое в лицах за проволокой отличало их от тех уголовных, что ему приходилось изредка видеть за проволокой спецшахт в Узловске. И Андрею не то чтобы внове показалось их — этих людей — существование, нет, в годы перед войной в городах и окрестных деревнях брали налево и направо, и ему самому доводилось не раз бывать понятым при арестах, просто он никогда не предполагал, что вот такая, глаза в глаза, встреча с ними посреди безлюдной степи может так жгуче и горестно в нем отозваться: «Чего уж с них теперь-то взять? Одна беда нынче у всех, да еще какая!»

И, словно утверждая это его недоумение, выбеленное зноем небо над степью неожиданно рассек натужно завывающий гул штурмовых «юнкерсов». И все вокруг мгновенно откликнулось на их угрожающий зов: истошный визг ребятишек вплелся в рев и ржание обезумевшей от ужаса скотины, и, как ни силился Андрей криком и руганью сорганизовать среди панической колготни сколько-нибудь сносную самозащиту, проку из его

крика не выходило, неразбериха росла и усиливалась. И только глаза в сквозных проемах пульманов — десятки, сотни глаз — еще и еще, не воспринимая опасности, все так же, с надеждой и вожделением, взывали к близкой, но недоступной им воде.

Тогда Андрей положил Гнедка и лег сам, и лишь тут, обретя тревожную ясность, в калейдоскопе галдящей мешанины перед собой выделил хромоногую фигуру Саньки Сутырина, спокойно складывающего бутылки с запасной водой в пузатую грибную корзину. «Что еще удумал, черт полосатый,— тронуло Андрея недоброе предчувствие,— не может без фокусов?»

Санька складывал бутылки с обстоятельностью человека, готового к самым неожиданным последствиям своего замысла. Наконец, сложив их и устроив корзину на руку, он неспешно двинулся с колодезным багром наперевес прямиком к уже обстрелянной с первого же захода насыпи. Охрана и паровозники бежали ему навстречу, к ближней лесополосе, но не видя вокруг себя ничего, кроме спасительных деревьев впереди, никто из них не остановил его и не повернул обратно.

Тяжело припадая на укороченную ногу, Санька карабкался вверх по насыпи, и благодарность множества глаз из-за колючей проволоки оберегала парня в этом его пути.

К полотну Санька выбрался без особых, если не считать слетевшей с него по дороге фуражки, происшествий. Здесь он определил корзину у ног и, достав первую бутылку, связал ее с крючком багра. Затем, упершись здоровой ногой в торец шпалы, парень стал осторожно выбирать багор вверх, к самому люку, достигнув которого, ловко протиснул горлышко посудины между двумя рядами колючки. И в то же мгновение сквозь свист и завывание пикирующей машины прорвалась хлесткая дробь пулеметной очереди. И, будто от плоского камня, рикошетом пущенного в воду, выплеснулись при нескольких соприкосновениях с нею короткие фонтанчики: по вагонам вслед этой очереди пошел вториться крик за криком. Санька же, едва коснувшись коленями щебня, резко откинулся на спину и начал медленно сползать вниз головой, к водоотводной канаве.

«Посочувствовал на свою шею,— невольно зажмурился Андрей,— был человек — и нету!»

Но уже в следующую минуту из лесополосы темным колобком выделился Бобошко и, петляя по-заячьи, заковылял в сторону полотна. Целеустремленность его намерения не оставляла Андрею времени для раздумий. Сила, куда более властная, нежели страх, оторвала его от земли и бросила наперерез старику:

— Ложись!.. Ложись, говорю!.. Застрелю!..

И прежде, чем ветеринар услышал его и лег, он плашмя упал в траву и пополз к насыпи.

Не раз в пути разрывные трели «юнкерсов» приклеивали его к земле, и сердце у него смертно обмирало, уже не надеясь на спасение, но тихий костерок рыжей Санькиной шевелюры, маячивший впереди, облегчал ему его движение к цели.

Когда до Саньки оставалось лишь протянуть руку и Андрей задержался, чтобы хоть немного передохнуть, в горячечное сознание его пробился рвущийся изнутри вагонов, многоголосый и почти нечеловеческий вой. И только тут Андрею по-настоящему стало страшно. Воображение живо нарисовало ему все, что творилось сейчас в битком набитых и замкнутых со всех сторон вагонных коробках. «Мамочка моя родная,— зашлось в нем сердце,— что же это? Что же это делается-то!»

Санька, хоть и прошитый поперек щиколотки очередью, оказался жив и, с трудом размещаясь на спине Андрея, даже пытался шутить:

— Кажись, на другую захромал... Не оставляет Господь милостями Саньку Сутырина... Нет-нет да и подмогнет...

Обратный путь Андрей проделывал и совсем уже в полубеспамятстве. Среди кошмара гибельного столпотворения вокруг ему казалось, что выволакивает он к придорожному кустарнику много большую, чем Санька Сутырина, тяжесть. Тяжесть, какую отныне — и Андрей это знал теперь наверное — ему уже никогда у себя не избыть.

И первое, что он, опамятовавшись в лесополосе, реально ощутил, был

взгляд Александры, внимательный и долгий, прерванный лишь горестным вздохом Бобошко:

— Господа, что за люди, что за народ! Все терпит, все. Триста лет терпел татар. Столько же Романовых. Видно, перетерпит и это... Что ж, у него еще есть время...

Паровозный гудок со стороны насыпи сопровождал Андрея в гулкий, облегчающий душу сон.

VI

Небо от горизонта до горизонта затягивала серая, в темных наплывах пелена. Ветер осыпал по степи прерывистые косые ливни, и чавкающая грязь под ногами с каждым шагом становилась все непролазнее. Движение табора час от часу тяжелело и замедлялось.

Тронув коня к выглянувшей из дождевого марева навстречу гуртам станице, Андрей осадил по дороге у крытого возка, где под присмотром ветеринара колотился в бредовом жару Санька Сутырин.

— Ну, как?

— Плясать — нет, а жить будет.— Бобошко сожалеюще пожал плечами.— Я ведь не Господь Бог. И даже не Бурденко. Ихтиолка, йод — вот и все мои бальзамы.

— Не до плясок, продержался бы.— В нем все еще перегорало его недавнее напряжение.— Станица близко. Доктора найдем.

— Может быть... Может быть,— неожиданно заскучал тот.— Но едва ли... Немцы следом идут.

— Ну и что?

— Эх, Андрей Васильич, Андрей Васильич, верьте моему слову, я казака здешнего хорошо знаю, хлеб-соль он, конечно, приберег, да не для нас с вами. Так что теперь там не только доктора, коновала путного не сыщешь. Дождались станишники своего часа. И уж они, будьте покойны, они свое возьмут. И — с кровью.

— Мало, что ли, им Советская власть дала?

— Казачеству всегда кажется, что власть может и должна давать ему больше. Именно поэтому оно предало царя ради Корнилова и Деникина, затем их обоих заменило собственными атаманами, коим вскоре предпочло совдепы, а теперь постарается не прогадать и на них... Смесь унтерского гонора и лакейства, помноженная на звериную жестокость,— вот что такое казачество, дорогой вы мой Андрей Васильевич.

Едва Андрей нашелся с ответом, как из моросящей хмари вынырнул Филя Дуда,— ком влажной парусины на пегой, последнего разбора лошаденке,— посланный им вперед с тем, чтобы заранее определить место будущей ночевки.

— Негде, Васильич, скотину ставить. Нету загонов! Кругом объехал, нету.

По условиям госмаршрута каждое село, деревня или станция обязывались по пути их следования отводить специальный загон для стоянки скота. До сих пор правило это неукоснительно соблюдалось. И поэтому весть, сообщенная Дудой, не на шутку встревожила Андрея: «Неужто и в самом деле хитрят станичники?»

Не мешкая долее, он кинулся вдоль табора, туда, на запах близкого жилья, и вскоре Гнедок уже вымеривал станичный шлях, держа путь в сторону базарной площади.

Центральная усадьба выглядела заброшенной. Двери складских помещений с сорванными замками были распахнуты настежь, доска показателей у крыльца пестрела матерными изречениями, стекла в большинстве лицевых окон выбиты. Но когда, миновав темные сени и коридор, Андрей взял на себя дверь председательского кабинета, навстречу ему из-за стола поднялся низкорослый, почти квадратный горбун в застиранной ситцевой косоворотке и тюбетейке с кисточкой. Поднялся, но тут же, опытным глазом оценив визитера и в результате не найдя, как видно, причин для церемоний, снова сел и буркнул в стол перед собой:

— Слухаю...

Но слушал он Андрея вполуха, отсутствующим взглядом отворотив-

шись при этом к окну, и весь облик его выражал самую крайнюю утомленность пустыми домоганиями гостя.

— Приказ, говоришь? — Горбун вдруг уставился в него и обнажил свои крупные, кукурузного цвета зубы в издевательской улыбочке.— Обязаны, говоришь? А ето с каких же таких времен я тебе, кацапу, стал обязанный? Эй, Царьков! — Из смежной комнаты высунулась и замерла в угодливом внимании седовласая, с острым, усеченным книзу профилем голова.— Слышь, еще один за долгами явился... Мабуть, тебе и жинок наших доставить для полного удовольствия? Приказуй, ваше кацапское благородие! — Жилы его короткой шеи судорожно напряглись.— Хлеба хочешь? Мяса хочешь? Молоком тебя напоить? А горб мой не заберешь зараз? Мне его кацап вроде тебя в двадцатом еще годе на сохранность оставил, бери!.. Падаль! Ты у меня не токмо хлеба, дерьма собачьего не получишь... Я тебе...

Горбун вдруг умолк, сжался и, уставившись сразу же остекленевшими глазами куда-то поверх Андреева плеча, беззвучно зашевелил белым ртом. Голова в дверном проеме смежной комнаты мгновенно исчезла, а за стеной раздался грохот упавшего стула, затем звон выбитого стекла и следом — выстрел. Выстрел был сух и резок, как удар бича, и прозвучал он не оттуда, с улицы, а из-за спины Андрея. По утиному лицу горбуна будто пробежала тень, оно сделалось пепельным и как бы полым. Сучковатые пальцы его судорожно скомкали бумаги перед собой, но тут же разжались и вяло замерли в смертной истоме. Тюбетейка медленно съехала с безжизненно уткнувшейся в крышку стола головы и откатилась в сторону, обнажив голый, изрытый сабельными рубцами череп.

— Эх, Лашков, Лашков,— голос за спиной Андрея прозвучал устало и равнодушно,— оружие тебе, видно, выдали зря. С такими разговоры разговаривать — только время терять, а у тебя государственное дело в руках.

И человек, с которым Андрей в следующий миг оказался лицом к лицу, смотрел на него из-под выгоревших бровей отсутствующе и скучно. Шпалы в петлицах — по четыре в каждой — размещались вкривь и вкось, кобура болталась у впалого живота, стоптанные сапоги были чуть ли не до самых колен забрызганы грязью.

— Не уйдет,— по-своему истолковал полковник вопросительное молчание Андрея.— Во дворе мои ребята... Это здесь не тебя первого так привечали. Пошли.— Он кивнул в глубь коридора.— Тут я с бабами твоими говорил. Рассказали кой-чего. Парня раненого я у тебя заберу, сдам в первом же госпитале.— Слова давались ему как бы через силу, и он ронял их скупо и нехотя.— Выделишь моим молодцам с десяток лошадей. Наши уже не тянут. Плохих не возьму, запомни... Вот он, голубь.— Они спустились во двор, где в окружении трех хмурых красноармейцев сидел на корточках уже знакомый Андрею старик.— А ну, встать!

Тот, с живостью для его возраста удивительной, вскочил и, поводя в сторону подошедших искательными глазами, излился шепелявой скороговоркой:

— Я человек подневольный... У меня ограничение в паспорте... Всю жизнь, как на цепи... Что прикажут, то и делал... А семья — сам-пят... Поимейте рассуждение... Без меня вам здесь никто ничего не укажет... Все попрятали, все... И скотину угнали всю, как есть... Одно слово: станишники.

Старик, оказавшийся артельным кладовщиком, огородами вывел их к заброшенному кирпичному заводику у речки, где в тщательно замаскированных печах и хранились до лучших времен еще не початые общественные запасы.

— Вот что, Лашков,— говорил ему полковник, сидя с ним под берегом около печей, в глубине которых красноармейцы при услужливом содействии кладовщика отбирали себе провизию,— возьмешь, сколько сможешь... Остальное прокеросинь и спали. А этого,— он кивнул в сторону печи, и бесцветные глаза его загорелись вдруг мстительным бешенством,— убережь сам.— И тут же, без перехода, сбился на крик: — Носишь ведь ты наган для какого-то черта! Или это тебе дали вместо молотка, орехи колоть? — Он погас так же быстро, как и загорелся.— Они нас не пожалеют... Моих вон ребят... В Каунасе... Вместе с женой... Заживо...

И лишь тут сквозь внешнюю бесцветность и вялоту разглядел Андрей в, казалось, насквозь пропыленном лице сидящего рядом с ним человека след изнурительной муки, какой и придавал его чертам выражение усталой обреченности. И поэтому, когда четверка конных, загруженная до отказа, скрылась в дождевой мгле, Андрей только и сказал старику:

— Бери ноги в руки, папашка...

Они шли через кукурузное поле к ближним зарослям лиманного камыша, и сердце у Андрея колотилось в предчувствии скорого и уже непоправимого для него решения.

Бокастые, чернильного колера облака грузно сползались к горизонту, высеивая по пути стылую изморозь. От окрестных хуторов тянуло сладковатым запахом горелого кизяка, во дворах трубно перекликались петухи, возвещая вечер, и думалось, что никакая беда не грозит их безмятежной тишине.

— За что ты меня, сыне! — Дохлые будылья сыро хрустнули под его коленками.— Чем же я перед кем провинился, что какая-такая моя доля? — Мокрые от дождя и слез дряблые щеки старика студенисто тряслись.— Истинно говорю тебе, как зачали меня гнать в двадцать девятом, так и сию пору не найду места. А ведь их у меня трое... И мал мала... Скажи, где правда? За чей грех я кару несу? Не за себя прошу, мне и осталось-то всего ничего, за детей своих прошу, пропадут! Что мне жизнь? Не жизнь — дрожь одна. Только как же они без меня, да еще об эту пору?.. Казни, коли не мать тебя родила! Нету моих сил больше...

Старик, беззвучно сотрясаясь, уткнулся сивым своим ежиком в мокрую твердь. И что-то дрогнуло, стронулось в душе у Андрея, горечь еще неизведанного волнения подкатила к горлу, и, слезно обмякнув, он молча повернул назад — к станице, с обжигающе запечатленным в памяти напутствием старика:

— Храни тебя Господь, сыне!

Всю дорогу до самого табора Андрея не оставляло чувство тщеты и суетности той жизни, какою он жил раньше. Сомнения обкладывали его плотным кольцом жгучих до обморочного удушья вопросов: «Что же это все получается? Друг друга гоним, как скотину, только в разные стороны? А зачем, из какой выгоды?»

Уснул он сразу, едва коснувшись виском заботливо подоткнутого ветеринаром ему под голову полушубка. И снилось Андрею, будто стоит он по шею в быстрой воде, пытаясь выбраться на берег, но берег обламывается под его руками и все дальше и дальше от него отступает. И вдруг появляется над ним Санька Сутырин и угрюмо укоряет: «Ты чего это здесь балуешь? Совесть иметь надо». Вода уже захлестывает Андрея. И тут неожиданно выплывает рядом старик кладовщик в форме и с четырьмя шпалами и тянет ему руку: «Ты — мне, я — тебе, сыне. Не пропадем, Христос воскрес». Но здесь какая-то неодолимая сила начинает растаскивать их в разные стороны. И взволнованный голос Бобошко шелестит у него над ухом: «Андрей Васильевич, Андрей Васильевич!»

Пробуждаясь, Андрей уже явственно воспринял:

— Андрей Васильевич, Андрей Васильевич! У Федоровой схватки! Надо полагать, родит!

VII

У будки путевого обходчика, где под присмотром его жены и Бобошко исходила криком в затянувшихся схватках Пелагея Федорова, маятно кружился муж ее — Прокофий,— сухой, жердеватый мужик, с красиво разбойным лицом, чуть испорченным легким косоглазием.

— Ишь, как заворачивает, бедолага!.. Видно, парень... и какую только муку бабы принимают из-за нашего брата... Какое дно терпения нужно иметь!.. А ить она у меня слабая... И первый раз... Надо же, как, а?.. Эх, Васильич, коли бы сила!.. Ах, как хорошо бы!.. Только ее мне еще жальчее... Лишь бы разрешилась с добром...

Стоны в будке вдруг стихли, Прокофий замер на месте, вслушиваясь

в чуткую тишь, затем сделал было движение к двери, откуда в следующее мгновение выплеснуло ему навстречу пронзительный, исторгнутый, казалось, самой основой существа вой, который после недолгой тишины сменился торжествующе требовательным младенческим криком.

Прокофий жалобно покосился в сторону Лашкова, твердое лицо его дрогнуло, обесформилось, и он, потерянно разведя руками, сел на корточки и растерянно заплакал:

— Эх, Васильич, разве я так думал? Думал, с музыкой, по-человечески. Не вышло! Сам в борозде народился и своего дитю в чужом поле принимаю. Несчастливая, видно, звезда моя.

На пороге будки появился Бобошко и, насмешливо оглядывая их слезящимися от усталости глазами, добродушно съязвил:

— Что, проняло, горе-мученик? Пляши: парня тебе баба принесла. Иди, любуйся делом телес своих, папаша.

Когда Андрей следом за Федоровым вошел в будку, Пелагея уже дремала, неловко подвернув ладонь под голову. Серые, в кофейных пятнах щеки женщины глубоко запали, но болезненно заострившиеся черты ее смягчала блаженная, отмеченная нездешним покоем полуулыбка. Под локтем у нее сладко посапывал федоровский первенец — холщовый кокон с темно-красным, цвета перезрелого помидора, пятном в самой глубине. И то, что еще вчера представлялось Андрею вещим и таинственным — роды, изначальный крик, первое кормление,— выглядело сейчас так будично и просто и даже в чем-то отталкивающе, что он не выдержал, отворотился:

— С прибавлением тебя, Проша...

— Поглазели — и будя.— Обходчица — разбитная старуха в выгоревшей добела форменке, с мокрым тряпьем в руках — заслонила от них роженицу.— Покатаются жеребцы — и в сторону, а баба страдай. У-у, бессовестные, выставились! Пошли с хаты!

В усадебном сарайчике, разливая по кружкам припасенный специально для этого случая самогон, Прокофий не без смущения подытожил:

— Не обижайся, Васильич, дале я не пойду. Сам понимаешь, не могу я бабу с таким дитем тащить. Бог знает куда. Погожу где поблизости, а там видно будет.

— Государственный интерес, значит, побоку? — решительно отодвинул свою кружку Андрей и встал.— А я-то на тебя надеялся, Проша, как ни на кого надеялся.

— А рази дите мое — не государственный интерес? — Тот, заметно ожесточаясь, сцепил пальцы на коленях и угрюмо уставился в носки своих сапог.— Скотину развести — плевое дело, а здесь кровь моя. Можа, мне и не придется уже боле. Так что, как хочешь, а не пойду я.

— Крепка! — Маленькими глотками выцедив свою долю, ветеринар словно и не слушал их разговора вовсе.— Давненько не приходилось этакого пробовать. Без сомнения, ржаная. Умеют на Руси вино варить. Чтобы такого же здоровья молодому Прокофьичу!

— Бросьте, Григорий Иваныч! — Услужливая хитрость старика только подхлестнула в Андрее накипевшую за день злость.— Что нам в кошки-мышки играть? Не маленькие! Выходит, у каждого свой интерес на первом месте? У меня, выходит, только, окромя скотины, нету интереса? Один я воз везти должен? — Фамильная ожесточенность прорвалась в нем и понесла его.— Гляжу, и вы, Григорий Иванович, гражданин хороший, в лес засмотрелись? Так я не держу. Глядишь, за прошлые заслуги схватите у немчуры кусок послаще. Но уж больше, когда вернемся, не просите милости, по первое число влепим. Видно, сколько вас ни корми — все одно укусите в урочный час...

Через минуту он, не жалея плети, уже гнал своего коня вдоль лесополосы к дымящему дневными кострами табору, и садящее душу ожесточение билось в его висках: «Неужто все прахом пойдет? Кататься вместе, а саночки возить врозь? Вот оно, когда суть-то сказывается».

Дорога, размытая недавними дождями, вязко пружинила под конскими копытами, сырой ветер бил в лицо, окрашивая поля вокруг в цвета слякотной хвори и увядания. И никогда еще в прошлом не было у Андрея так мутно и одиноко на душе: «Кому верить, на кого надеяться? Сам не вытяну, значит, никто».

Андрей гнал, не замечая ничего вокруг, и поэтому, когда из придорожной заросли выделилась женская фигура и пошла ему навстречу, он в первую минуту лишь повел поводьем с тем, чтобы объехать ее стороной, но уже в следующее мгновение сердце его упало и тут же забилось отрывисто и гулко.

Александра шла, с каждым шагом разрастаясь в его глазах, пока не заслонила перед ним всего, что его окружало. Александра шла, и сизые глаза ее, сумеречно мерцая, как бы вбирали его в себя, и он, околдованный ими, осадил коня, соскочил на землю и шагнул ей навстречу.

— И как там Пелагея, родила? — Нарочито вызывающий тон ее, Александры, выдавал ее смятение, и по всему чувствовалось, что говорила она совсем не те слова, какие сейчас складывались в ней.— Бабы наши все гадают: малого или девку?

Александра бездумно роняла какие-то случайные, полые, первые попавшиеся слова, а все в ней — лицо, глаза, тело — текло, кричало, смеялось совсем от иной причины и по иному поводу. Андрей немо смотрел на нее, не в состоянии произнести ни звука, до того неожиданной увиделась ему эта, посреди дороги, встреча.

— Ну, чего уставился али не узнал? — тщетно прятала она в озорстве собственное смущение.— Немудрено, за коровьими хвостами света не вижу. Скоро самою себя узнать в зеркале не возьмусь. Такая уж моя доля.

— Отчего же? — Смиряя колотившую его дрожь, Андрей двинулся с нею рядом.— Чуть посомневался, правда: с какой, думаю, стати?

— Да так, вздохнуть вышла.— Голос ее слабел и прерывался.— А вот встретила тебя и, вправду, кстати. Не спешишь?

Хмельное, расслабляющее тепло коснулось сердца Андрея, и мир вокруг него внезапно приобрел звук, запах, окраску. Бурые подпалины увядающей листвы резко выделялись на фоне изреженного скудеющими облаками белесого неба, которое, в свою очередь, оттеняло стойкую зелень ивняка и орешника в желтом море брошенной на корню степи. Со стороны речки тянуло волглым деревом и тиной лиманов, где хлопотливо клекотали, готовясь к отлету, птичьи полчища.

— Разговор есть? — Он еще не верил ее зову, а потому выравнивал речь и сдерживался.— Говори, коли не шутишь.

— Иди сюда, Андрейка-а,— потянула она его за рукав, и это ее протяжное «Андрейка-а» отозвалось в нем благостно и жарко.— А то глазищ-то пропасть. Нашим бабам только попади на язык, такого наговорят! Сюда... Сюда иди.

Александра, видно, ждала Андрея загодя: под старым сучковатым абрикосом было разостлано байковое одеяло, а к самому корню дерева жалась бязевая сума со снедью. И едва он разглядел все это, как теплые ее ладони сомкнулись у него на затылке.

— Андрейка-а, Андрюшка-а! — уржились у его уха бессвязные слова.— Не по злобе, из гордости за тебя не пошла. Думала, люди комиссарским хлебом попрекать будут. А ить один ты и люб был. Бывало, встречу, свету не вижу. Всякий день считала: как ты там, с кем? Рыбочка моя, ягодиночка... Пожалей, Андреюшка-а!

— Эх, ты! — только и вырвалось у него. И еще раз. И еще горше: — Эх, ты!

Головокружительный туман лишил Андрея памяти и речи, выявив перед ним лишь ее глаза, мерцавшие тихой и преданной радостью. Глаза эти, как два бездонных омутка, высвеченных изнутри голубой искрой, маячили где-то совсем рядом, затягивая его в свой колдовской круговорот...

Потом, лежа рядом с ним и оглаживая его руку в своей, она, как о чем-то давно решенном и переговоренном, сказала:

— Детей у нас, слава Богу, с Сережкой не вышло, значит, и спросу ему с меня нету. Я к тебе теперича навек прилепилась, куда ты, туда и я.

Андрей моментально насторожился:

— Ишь, легко как все у тебя получается.

— А ты что — боишься?

— Не боюсь, а совесть иметь надо.— Он словно бы ждал этого ее вызова.— Да, да, Санек, нельзя нам так. Что люди скажут? Ребята, мол, воюют, а Лашков солдатских баб портит. Вот будет войне конец, сядем

мы с Серегой и поговорим ладом, как люди. Мы, Лашковы, по-разбойному чужое добро не берем.

— Эх вы — Лашковы! — Александра стремительно поднялась, коротким движением закинула растрепавшуюся косу за плечи и сверху вниз опалила Андрея горьким презрением. — По вашей указке жить — так и в нужник со справкой ходить придется. Слова в простоте не скажете. Из какой только плесени тянется порода ваша болотная? Я думала, хоть ты от них в отличку. А ты одно с ними дерьмо, только пожиже. Дай вам волю, баб заставите по свистку детей рожать. Да Бог миловал!

— Да разве вы люди? — Ее рассчитанный в самое больное место удар обернулся в Андрее яростным ожесточением. — Поперек горла вам Лашковы встали, потому как Лашковы по совести, по справедливости жизнь устроить хочут. Только слаже вам грязь ваша невылазная, чем новая доля. Дерьма вам своего в общий котел и то жалко.

— А вы эту самую справедливость, — уже откровенно издевалась Александра, — промеж себя поначалу устройте, а то едите друг дружку, будто пауки, все командирства своего не поделите. А мы уж как-нибудь без вашей богатырской помочи обиходимся. Вот эдак-то, Андрей, свет, Васильевич, товарищ Лашков.

И снова из всего, что было связано у него с Александрой, память выделила лишь обиды и унижения, и в нем, перехватив ему горло, взорвалась безрассудная злость:

— Уходи. — Он терял над собой власть. — Убью.

— Не хватит тебя на это самое, Лашков. — Уже отходя, она насмешливо покосилась в его сторону. — В ногах жидок, кровь не та. Покедова...

С ревнивой ожесточенностью смотрел Андрей, как она уверенно и споро пересекает несжатое поле, направляясь к табору, и сердце в такт ее шагам дергалось и обмирало. Понуро, не замечая ничего вокруг, брел он по дороге: «Куда же это я гребу, Господи! И отчего это у нас — Лашковых — все не как у людей!»

Догнавший его на линейке Бобошко тихонько притормозил и поехал вровень с ним. После недолгого молчания старик сочувственно откашлялся и заговорил, и голос его звучал глухо и печально:

— Ах, Андрей Васильич, Андрей Васильич! Далеко мы так не уйдем. Криком делу не поможешь. Он уже оглох от крику-то, мужик русский, не слышит. Да и прав Федоров. Где ж ему с грудным младенцем дальше идти? Никак нельзя. Война пришла небывалая, скоро жизнь человеческая станет дешевле полушки, а мы о скоте печемся. А ведь не скот нас, мы его производим. Нам бы с вами радоваться надо, Андрей Васильевич: еще одна живая душа Божьей красотой заполнилась. Какая уж тут амбиция! Да один вздох людской ценнее всех рек молочных и кисельных их берегов. И ни одно земное царствие не стоит человеческого волоса... А, впрочем, как знаете, Андрей Васильевич, как знаете, вам виднее...

Что Андрей мог ответить старику? Никакие слова уже не могли заполнить его опустошения. Он и двигался-то сейчас скорее по привычке, чем в силу надобности. Действительность на какое-то время потеряла для него всякий смысл и значение: «Будь оно все проклято! Мне все равно, кто из вас прав, а кто виноват! Я-то здесь при чем?»

VIII

Узкая горловина моста, словно воронка, медленно, но властно втягивала в себя разноголосый водоворот отступления. Повозки, машины, скотина, люди бесконечным потоком устремлялись к берегу, одержимые единственным порывом: во что бы то ни стало переправиться на ту сторону. В крике и ругани, в реве и гуле прослушивалось лишь одно желание: любыми способами оказаться за пределами моста.

Военный распорядитель — долговязый рябой майор, вконец измученный хлопотной и зряшной своей должностью, рассеянно выслушав жалобы Андрея о необратимых опасностях эпидемий от падежа, лишь досадливо отмахнулся от него:

— Брось, дорогой! Какая уж тут, к черту, санитария и гигиена. «Мессера» налетят, такую дезинфекцию оборудуют: любо-дорого, собирай только рожки да ножками обкладывай. — Острые, в крупных оспинках скулы его поигрывали в жесткой усмешке. — Жди, дорогой, придет и твоя очередь. Спешить тебе некуда, кроме как на фронт.

Упрек был слишком прозрачен, чтобы его не понять, и Андрей, сразу теряя интерес к делу, увял и стушевался: «Попал ты, Андрюха, в непопятную, только ленивый не лягает».

На подходе к табору Андрея перехватил ветеринар, за которым, в чем-то его горячо убеждая, след в след ступал рукастый, нестарый еще цыган в засаленном вельветовом жилете поверх новенькой офицерской гимнастерки.

— Андрей Васильич, голубчик! — Бобошко бросился к нему, как к спасению. — Выручайте, понятия не имею, что он от меня хочет? Куда я его возьму? Кто разрешит? Сами не знаем, когда двинемся. Да разве втолкуешь ему?

И лишь тут, возвращаясь к действительности, Андрей увидел приткнувшуюся к берегу одиночную кибитку. Ее латаный-перелатанный парус кричаще выделялся среди пестроты телег и бричек разномастного лашковского хозяйства. И Андрею без объяснений стало ясно, что цыган хочет пристроиться к их табору и с ним вместе, вне очереди, пройти через мост. Еще не опамятовавшись после разговора с распорядителем, он грубо отрезал:

— На одного ушлого десять хитрых. Я тебе не потатчик, вставай в хвост.

— Будь человеком, начальник! — Влажные глаза цыгана умоляюще засветились в его сторону. — Заставь за тебя Бога малить, вазьми в свой кагал. Ранятый у нас, бальной, памрет проста, вазьми. Не веришь, смотри сам. — Заученным движением он отдернул полог кибитки. — Вот он, сердешный.

Там в окружении гомонка старух и ребятишек истлевал сухим жаром молодой, городского типа парень, до подбородка укрытый зимним стеганым одеялом.

— Давай, давай, лей... Лей больше... А я поплыву... Поплыву на самую середину... Холодно... Очень холодно...

Андрей отвернулся, и тут же, прямо у его ног, аспидным бесенком объявился и пошел частить голыми подошвами крохотный цыганенок в продранной, с девчоночьего плеча рубашке. Преданно заглядывая ему в глаза, мальчишка в самозабвении отплясывал перед ним чечетку, и Андрей, нехотя сдаваясь, в конце концов безнадежно махнул рукой:

— Леший с вами, становитесь!

— Спасиба, начальник! — неслось ему вдогонку. — Не пожалеешь, начальник.

Цыгане осваивались недолго. Вскоре пестрые платки гадалок мельтешили между артельных костров и узловские бабы, не скупясь, наполняли им их объемистые подолы и пазухи щедротами своих жаждущих утешения сердец. Их ребятишки тоже не теряли времени даром, крутились рядом с ними, выпрашивая и приворовывая к общей добыче и свою долю. Лагерь ожил, и Андрей уже не жалел о своей вынужденной уступчивости: «Хоть подобреют бабы малость. Много ли ей — бабе — надо!»

А когда наконец где-то под вечер хозяйство переправилось и стало ночевкой за околицей ближайшего заречного хутора, Андрей, совершая вечерний объезд, лицом к лицу столкнулся с тем самым парнем, которого почти умирающим он видел утром в цыганской кибитке у берега.

— Добрый вечер! — В тоне парня не угадывалось и тени смущения. — Есть мысль! Оцените! — В его манере говорить, смотреть, двигаться было что-то необъяснимо притягательное. Казалось, все в нем жило, существовало по отдельности: глаза, лицо, руки; если смеялись глаза, лицо каменело, а быстрые руки лишь подчеркивали штатскую мешковатость фигуры.

— Я здесь договорился с местной властью: вечером устраиваем сольный концерт. По полтиннику с носа. Есть свободный амбар. Да, — расплываясь в застенчивой и как бы извиняющейся улыбке, — я, простите, не представился! Артист Курской государственной филармонии Геннадий Салюк: миманс, танец, художественное чтение. Прошу любить и жаловать. Как мысль?

Андрей никак не мог прийти в себя от изумления: «Ну и дурака же я свалял! Вот это номер! Провели, будто дитятю». Но тихое бешенство, охватившее его вначале, сменилось сперва растерянностью, потом безразличием, и, наконец, проникаясь неотразимой улыбчивостью артиста, он решительно обмяк, смущенно пробормотав только:

— Ловко это ты... Да...

— О чем это вы?

— Ну там, в кибитке.

— Ах, вы об этом! — Улыбка Салюка сделалась еще застенчивей и шире. — Уж вы не сердитесь. Я ведь у них кормлюсь вторую неделю, надо было помочь бродягам. Да и от вас не убыло. Рот-фронт, так сказать, все люди — братья. Маленькая мистификация ради пользы дела... Так что вы скажете по поводу моего просветмероприятия?

— Валяйте... Не возражаю... По полтиннику, значит?

Располагаясь к разговору, Андрей потянулся было за кисетом, но парень исчез так же мгновенно, как и появился, и Лашков, посожалев, тронул своей дорогой, а когда заканчивал круг, снова встретил ветеринара, за которым все так же, след в след, плелся уже знакомый ему цыган.

— Замучил меня этот марокканец. — Старик дурашливо развел руками. — Вы только послушайте его! Психология, как при первобытном натурообмене. Никакой логики. — Он обернулся к своему преследователю. — Вот тебе начальник, с ним и разговаривай, а то у меня уже ум за разум заходит.

Тот, словно и не заметив перемены лиц перед собой, сразу же подступился к Андрею:

— Гаварю тебе, начальник, настоящую цену даю. Сваих лошадей в придачу. Тебе так и так сдавать, хорошую — плахую один леший, а мине жизню жить, семью, детишек вазить по беламу свету, чистаму полю... Не пажалеешь, начальник, харошие деньги даю.

Напрасно Андрей чуть ли не до первых звезд втолковывал тому азы законов о государственной собственности, напрасно пугал последствиями и возмездием: тот лишь недоуменно хлопал круглыми, орехового цвета глазами, начиная свою речь с того же припева, каким всякий раз кончал:

— Пажалеешь, начальник, харошую цену даю, харошие деньги... Больше никак не могу, нету больше.

— Да пойми ты, голова садовая, прав таких мне... — Он осекся на полуслове: мимо, в окружении сычевских подруг проплыла Александра. Минуя их, она искоса взглянула в его сторону и царственно усмехнулась одними уголками плотно сжатых губ. И он безвольно потянулся за ней, уже машинально заключив: — ...не дадено... Нету таких прав у меня.

Стараясь не упустить ее из вида, Андрей по дороге кое-как отделался от своего бестолкового просителя и вскоре вышел к тому самому, наскоро приспособленному под клуб зерновому складу, где обещанное Салюком действо уже разворачивалось полным ходом.

Сооружение из двух мучных ларей служило артисту сценой, зритель же размещался по личному усмотрению и в зависимости от собственной сноровки, то есть как попало. Чад множества семилинеек плавал над головами, делая и без того темную коробку амбара еще более тесной и сумрачной.

— ...Признаться, я очень волнуюсь. Впервые мне приходится выступать перед столь взыскательной аудиторией. Но я надеюсь, что утонченный вкус сегодняшней публики будет равен ее снисходительности... Кстати, о вкусе. Подходит здесь ко мне в трамвае один гражданин и говорит: «Вы, говорит, тот самый Тьма-Тараканьевский, который вчерась в зеленом театре в концерте выступал?» Я, говорю, — сами понимаете, лестно: узнают! А он мне: «На паях, значит, говорит, с жульем работаешь, такой-этакий, рассякой. Зубы, значит, заговариваешь, а они бумажники у полноправных граждан прут!» Обернулся это он к пассажирам: «Грабеж, кричит, среди белого дня! Вчерась, кричит, на ихнем концерте, — тут он указывает в мою сторону — у меня бумажник сперли, а в ем трешница чистыми и билет МОПРа... Бей, кричит, пока не утек!..» Не смешно? Мне тоже... Итак, сейчас перед вами выступят лучшие творческие силы страны, мастера вокала и сопровождения к нему... Концерт открывает любимец публики, народный артист, звезда первой величины, Леонид Утесов... Прошу вас, Леонид Осипович! — Он повернулся спиной к слушателям. — Маэстро стесняется дышать в сторону публики. По случаю встречи с вами он немного пере... переутомился. Поэтому маэстро будет петь в несколько необычной для себя манере. — И он запел. И состоялось чудо: послышался характерный утесовский речитатив: — «Жили два друга в нашем полку, пой песню, пой. И если один из друзей грустил, пел и смеялся другой...»

Отыскивая взглядом Александру, Андрей не узнавал своих подчиненных: впервые за много дней обессиливающего пути лица их преобразила радость. Люди всем существом как бы перенеслись в иную, ту, мирную, уже полузабытую ими жизнь. Общий строй подхватил и Лашкова, и он, теперь окончательно прощая парню вынужденную его с ним — Андреем — проделку, вместе со всеми восторгался и аплодировал. А тот, ободренный приемом, старался вовсю:

— Концерт! Сколько в этой короткой фразе заманчивого, сколько надежд! И какой же концерт обходится без сюрпризов! Кстати о сюрпризах... Вот, к примеру, стучится на днях ко мне соседка и, лучезарно улыбаясь, говорит: «У меня, говорит, для вас сюрприз». «Какой-такой, говорю, еще «суприз»? «Повестка, говорит, из нарсуда, алименты, говорит, с вас взыскивать будут»... Не смешно? И мне — тоже... Так вот: второе отделение нашего праздничного концерта...

В эту минуту в проеме входной двери обозначился встревоженный профиль Фили Дуды.

— Увели! — Голос его сорвался почти на хрип. — Лошадей увели! Угнали... Цыгане угнали!.. Наших — торбеевских...

Трепетная тишина вмиг обрушилась, и народ, колготя и вновь озлобляясь, устремился к выходу. В давке, сразу же возникшей у двери, Андрей совсем близко от себя увидел памятное теперь навек лицо и встретился с единственными отныне глазами, и неизбывное чувство вины перед Александрой обернулось в нем щемящей к ней жалостью, и он, работая локтями, подался было в ее сторону, но толпа увлекла его наружу, где в гулкой ночи уже росла и множилась перекличка начатой погони.

Артельные интересы сразу отошли на второй план: извечный крестьянский инстинкт объединил еще вчера враждовавших соседей. Андрей долго метался в темноте в поисках направления, по которому растеклась погоня, но топот и гвалт доносились со всех сторон, и оттого определить ее успех не было никакой возможности.

Предчувствие близкой беды охватило Андрея. О том, чтобы в случае поимки конокрадов предотвратить самосуд, не приходилось и думать. Поэтому, когда откуда-то из-за реки выплеснулся к звездному небу пронзительный, почти животный крик, Андрей с опустошающей безнадежностью заключил, что непоправимое уже совершилось. Не медля ни минуты, он погнал коня на голоса за рекой, и вскоре замаячивший впереди огонек выхватил из темноты место побоища. Стоило Андрею сойти с коня, как толпа раздалась и свет чьей-то «летучей мыши» обнажил перед ним растерзанное тело артиста. Тот еще икал и дергался, но жизнь еле теплилась в нем, угасая с каждой минутой.

— Куда... Куда... Зачем? — Слова ломались в его непослушных губах. — Бывает... Вот так, граждане...

Растоптанный отходчивым людским отчаянием, лежал перед Андреем дважды обманувший его человек, но — странное дело! — в эту минуту он не испытывал к умирающему ничего, кроме пронзительного, саднящего душу сочувствия.

— Эх, вы! — только и молвил он, глядя в землю. — Люди — лошади...

На обратном пути ночь голосом Бобошко тихо зашуршала у него над ухом:

— Вот вам мужик русский в полной красе. Нету у него, у этого мужика, берегов. Убили человека, словно муху, а теперь жалеть будут, нудиться, пьянку, глядишь, по этому поводу затеют мертвую... А парень-то оказался с секретом... Мог спокойно уйти. Нарочно подставил. Сам себя подставил, заслонил цыганскую вольницу. Собой заслонил. Что ни говори, а чего только в российской голове не намешано!

Да,— из всего сказанного ветеринаром в нем отстоялось лишь одно,— мог бы уйти... Вполне мог бы.

И ночь сомкнулась над ним. И — в нем.

IX

Рано утром Андрей, едва проснувшись, погнал в сторону загонов. Мокрый, тяжелый снег ниспадал окрест. Снег, подобие ночных бабочек перед ветровым стеклом машины, разбивался об еще не остывшую от вчерашнего солнца землю и тут же таял, сгущаясь постепенно в шуршащую зыбкую кашу. Над селом, где застряло Андреево хозяйство, скользили брюхатые облака, и свинцовая безбрежность их не обещала ему скорого пути.

Лошадь вялой рысцой вынесла Андрея через все село к табору за околицей, и один вид стада объяснил ему больше, чем все рапорты и донесения. Сгрудившись в кучу, скот жался друг к другу, стараясь сохранить тепло. Снег на крупах подтаивал, стекая по впалым бокам. Андрей похолодел: для молодняка и немногих остальных это было чистой погибелью.

В снежном мареве перед мордой лошади вдруг оказало себя остренькое личико Бобошко.

— Что делать будем, Андрей Васильевич? — Его щуплая фигурка в заношенном драповом пальто, глухо заколотом у самого подбородка булавкой, выражала воплощенную деловитость.— Еще ночь, и падежа не миновать. Ждать погоды тоже не приходится.

— А чего вы сами-то считаете? — Ему было немного стыдно перед стариком: в тревожную минуту тот оказался у гуртов первым.— Какие меры?

— Попросите местных,— заторопился ветеринар, и видно было, что ответ у него готов заранее, но соображения субординации не позволяли ему до поры опережать начальство,— разместить у себя хотя бы молодняк. Стельных наши как-нибудь сами укроют.

Самоотверженная старательность ветеринара растрогала Андрея, и у него не хватило духу сказать старику, что все это он уже испробовал и что в местном правлении ему наотрез отказали: побоялись мора.

— Нельзя рисковать чужим скотом, Григорий Иванович. Но выход,— холодные, выцветшей голубизны глаза его недобро сузились,— выход есть... Гоните туда,— он указал на видневшуюся около кладбища церковь,— не пропадем... Едем.

Переведя Гнедка в галоп, он как ожог ощутил чей-то со стороны взгляд и сразу же подумал: «Александра!» И снова, будто и не было тайной обиды стольких лет, будто не его имениитых сватов поворотили от порога ее дома и будто не над ним издевалась она недавно в лесополосе, плоть в нем зашлась коротким и злым жаром: «Эх, Александра, Саня, Санюшка, родилась ты на мою погибель».

С батюшкой — лицо упругой репкой, васильковые глаза под веселыми пшеничными бровями — Андрей разговаривал недолго.

— Не дам — силой возьмете,— покорно вздохнул тот.— Чего ж мне сопротивляться? Только я вам не советую.

— Грозишь, что ли? Видали.

— Не мне вам грозить, вы — сила. Только вам не последний год жить.

— Не будет твоей власти, на немцев не надейся. Уж как-нибудь одолеем.

— Власти моей никогда не было. И немцы для меня такие же враги, как и для вас. Но в смертную минуту приходится человеку задуматься о содеянном. Трудно вам тогда будет.

— Ладно — ключи.

— Вот — берите...

Если бы тот сопротивлялся, если бы пробовал блажить, если бы, наконец, хоть смотрел волком, Андрею было куда бы легче. Но сейчас, после разговора с ним, Лашковым овладела какая-то смутная еще тревога, какое-то неопределенное стеснение под сердцем, и поэтому, когда он шел открывать храм, ноги его ступали тяжело и неровно.

У самой церкви Андрея ожидала тихая ватажка мужиков и баб, больше — кондровские, среди которых выделялся бородатой статью и ростом Марк Сергеев. В их необычном спокойствии сквозили тревога и предупреждение. Едва Андрей поднялся на паперть, Сергеев заступил ему дорогу и, обнажив перед ним голову, внятно и вдумчиво заговорил:

— Андрей Васильич, я с твоим отцом, Царство ему Небесное, не одну выпил, братьев твоих наперечет знаю, крепкие люди, дай им Бог здоровья, тебя вот с этаких лет замечал, радовался: человек растет... Христом Богом, Вседержителем нашим, прошу тебя: не обездоль обители Божьей, сохрани храм от поругания. Зачтется тебе сторицей доброе дело твое. Миром просим.

— Да ты что, Сергеич! — Ему даже горло от возмущения перехватило. Уж в ком-в ком, а в кондровских он не сомневался: уравновешенный, знающий дело народ.— Общественная скотина гибнет, а вы в дурь ударились?.. Пусти с дороги!

— Тварь Божья, она под Богом ходит, когда час придет, тогда и отдаст душу. А храм на вечные времена, в нем душа всенародная соблюдается. Миром просим.— И теперь это его «миром» прозвучало уже, как угроза.— Не искушай Господа!

Гнев, от которого у него похолодели кончики пальцев, захлестнул Андрея:

— А ну прочь с дороги, лампадная рожа! — в исступлении заорал он, и кровавые круги вспыхнули у него перед глазами.— Народное добро гибнет, а ты, гад, церковную саботажь разводишь?

В удар он вложил все — и неудачную любовь свою, и знойную горечь пройденной дороги, и все отвращение к окружающей слякоти, и даже обиду за эту вот личную свою слабость. Марк, скатившись по ступенькам паперти, ткнулся головой в снег. И темное пятнышко стало взбухать на мокром снегу прямо под его теменем.

— Загоняй! — Андрей уже совсем не помнил себя, срывая отомкнутый замок.— Загоняй, говорю!

Промерзший молодняк, мыча и посапывая, потек сквозь распахнутые створки. Лашков стоял у входа и уже без нужды, а чтобы только заглушить в себе круто берущее свою власть похмелье, кричал:

— Давай!.. Давай!.. Давай!..

Свет тусклого дня, струившийся в узкие витражи, стал еще мертвенней от поднимающегося к сводам пара. Голубые светлячки лампадок в разных углах храма вскоре, трепетно помигав, сникли, и лишь свеча под образом Спасителя не гасла в спертом и почти осязаемом на ощупь воздухе.

— Без моей команды не выводить! — Голос Андрея гулко отозвался под высокими сводами: «И-и-ить!» — Понятно?

Загоняя в притвор своих, торбеевских подтелков, Филя Дуда молодецки пощелкивал бичом, приправляя каждый удар забористой руганью или скороговоркой:

— Поспешай, шелудивые! Нет теплей, чем у Бога за пазухой. Отпускай нам грехи наши, граждане святые отцы! В тесноте — не в обиде. Богу богово, а нам свое... Куды, куды, мать твою лапоть!

Когда Андрей вышел из храма, кружок мужиков все так же, тесной кучкой, топтался у входа. Только Сергеева уже не было среди них. Навстречу Андрею выступил теперь Дмитрий Сухов — робкий мужичонка, ничем раньше не выделявшийся, кроме этой самой своей робости, и, строго глядя в глаза ему, тихо и коротко сказал:

— Мы с тобой, Андрей Васильев, дале не пойдем. Нам с тобой дале не по дороге.

— А трибунал за саботаж ты слыхал? — Багровея, он стал рвать пуговицу заднего кармана галифе.— А это ты видел? Имею полномочия...

— Трибунал нам, конечно, ни к чему. И пистолет тожеть ни к чему, жить всякому хочется. А пойти — не пойдем. Не обессудь, разные у нас пути, Андрей Васильев, и все другое разное. Потому и не пойдем.

В его словах не чувствовалось и тени вызова, но сквозило в них что-

то такое, отчего Андрей сразу же уверился про себя: не пойдут. Тогда он решился на самое для иих, по его мнению, болезненное средство.

— Ладно, будь по-вашему. Только скотину вы не получите. За нее полностью я в ответе. За всю тыщу двести голов. За вашу в том же разе. Понятно?

— Понятно,— неожиданно легко согласился Сухов.— Только роспись дай иам за нее в полной мере.

— Роспись, говоришь? — Ему показалось, что он овладевает положением.— А шиш не хочешь? Ты обязанный гиать скотину до самого Дербента, вот и гони. На чужом горбу в рай захотелось? Не пойдет. Другие пилить будут, а тебе роспись? Дудки!

Но сбить Сухова с толку ему не удалось.

— Ладно,— спокойно укоротил он Андреевы словесные восьмерки,— можно и без росписи. Бывай, Андрей Васильев, не поминай лихом. Бог тебе судья.

Они стояли перед ним, лучшие его пастухи и гуртовщики, невозмутимые в своей правоте. Он иеожиданно показался сам себе нашкодившим мальчишкой, и так-то ему вдруг захотелось, так захотелось поваляться у них в ногах, лишь бы они не бросили его среди этой проклятой снежной хляби, за сотни теперь верст от дому. И Лашков уже и решился было уиизиться, пойти на мировую, но сила кровной связи с тем, что считалось у иих в семье всегда правым и иепогрешимым, взяла-таки верх, и он лишь угрожающе процедил сквозь зубы:

— Скатертью дорога.

Мужики двинулись разом, ступая по снежному месиву с твердой уверенностью людей, хорошо знающих силу своих рук, которым везде определят заслуженную цеиу. И простуженный вздох старого ветеринара сопровождал их уход:

— Всерьез обиделись мужики, не вернутся.

— Не плясать же мне перед ними? — сорвал на нем досаду Андрей.— Когда-никогда все одно подвели бы. Горбатого могила исправит. Знаем мы их — кондровских.

Уже сидя у пышущей жаром печи приходского дома, Андрей долго еще сердился и клокотал, зло честя дремучее упрямство ушедших от него мужиков, но чем сильнее растравлял он свою злость, тем определениее укреплялось и росло в нем ощущение собственной неправоты.

— Двадцать с лишком лет Советской власти,— суетно кипятился он,— а у них все ладаи в голове. Долбишь, долбишь им: «Нету никакого Бога, сами себе хозяева». А они опять за свое. Сколько же долбить можно? Пора бы ихнему брату и за ум взяться. Вот вы, Григорий Иваныч, ученый человек, вам и карты в руки разъяснить темноте, что к чему.

— Говорится в Писании: Господь создал человека в один день.— Ветеринар всматривался в огонь тлеющих в печи углей и, казалось, видел сам что-то ему одному открытое.— Только ведь это был не один земной день, а одна земная вечность. А мы с вами возомнили за двадцать быстротекущих смертных лет содеять то же самое. Рано, раненько мы возгордились, не по плечу задачку взяли. Вот и пожинаем плоды. Впрочем, это я так, к слову, вместо присказки... Только трудненько нам без них, без кондровских, придется, это уж определенно.

Старик умолк, и тягота предстоящего пути оказала себя Андрею такой долгой и беспросветной, что теперешняя обида его увиделась ему до смешного пустой и незначительной, и, тревожно холодея, он невольно потянулся к огню: «Неужто и вправду зима завязалась? Тогда дело худо».

X

Ранняя поземка с шорохом и свистом сквозила по степи. Артельные гурты давно смешались, и скотина двигалась сквозь снежную замять одним общим для всех стадом. Андрей выбивался из сил, помогая пастухам подгонять вконец обезножевшую скотину. После ухода кондровских пастухов и без того изрядно поредевшее в людях хозяйство едва-едва справлялось с дежурством. И хотя старожилы заверяли Андрея, что ранние снега в этих местах редкость и что устойчивое тепло не заставит себя ждать,

на душе у него скребли кошки: «Больше двух переходов по такой метели не продержимся, факт».

Ледяная крупа хлестала в лицо, и Андрей, взбычиваясь навстречу колкому ветру, то и дело поглядывал в сторону ехавшего сбоку от него на бедарке ветеринара, старался определить: каково сейчас старику? Последнее время Бобошко заметно поскучнел, замкнулся, стал избегать обычных ранее разговоров с Андреем, и вообще в его поведении обозначилась несвойственная ему до сих пор нервозность. «Устал, старик,— без особой уверенности снисходил Лашков,— холода пройдут, отогреется». Он потянулся было к ветеринару с сочувственным словом, но здесь в морозном мареве перед ним замаячила опушенная инеем борода Дуды:

— ...мот-ри-и, Васильич!

Впереди, вдоль примыкавшего к дороге проселка вытягивалась длинная вереница саней. По мере приближеиия к ним Андрей все явственней различал в них необычный их груз. С каждых розвальней настороженно и печально смотрели в засиеженное пространство несколько пар иссиня-угольных глаз. Глаза эти на фоне матовой белизны зимнего поля казались почти неправдоподобными.

Оттуда по обочине к Андрею, сильно припадая на одну ногу, направлялся человек в жиденькой шинели со споротыми петлицами и пилотке, опущенной на уши.

— Здоров, браток.— Заросшее, в сизых пятнах лицо его просительно оттаивало.— Понимаешь, детишек испанских эвакуирую. Погрузка у меня на двенадцатом разъезде, а тут незадача с одним.. без памяти. Видать, жар... Боюсь, не довезу. Вы же на Боровск гоните, недалеко здесь, верст десять... Я и сопровождающего дам. А то ведь на двенадцатом не токмо лекаря, собаки путной ие сыщешь. Я бы и сам, да нету у меня тяги свободной, по завязку набито. Выручай, браток. Государственное дело.

— А ближе ничего нету?

— Какой там! На сто верст ничего.

— Задал ты мне задачку.

— Поди знай, где упадешь.

— Не было печали...

Два чувства боролись в Аидрее: с одной стороны, ему трудно было отказать инвалиду, который уже, судя по всему, выбивался из сил, с другой — всякая новая обуза означала для него новую задержку, а следовательно, и новые осложнения. Горькие уроки недавних потерь приучили его к осторожности. Он, раздумывая, колебался, а взыскующее ожидание там, в розвальнях, обращенное теперь только к нему — к Андрею, все нарастало и нарастало, пока не сделалось положительно нестерпимым, и Андрей наконец не выдержал, сдался:

— Давай сюда своего пацана.

— Спасибо, браток.— Обмороженные скулы инвалида благодарно дрогнули.— Сгинул бы пацан, жалко... Я сейчас...

Обрадованно торопясь, он ринулся обратно к своему обозу, в спешке то и дело соскальзывал с обочины, проваливаясь одной ногой в рыхлый снег, и с каждым его шагом ребячья настороженность, обращенная к нему в эту минуту, гасла, скрашивалась, уступая место спокойствию и надежде.

После недолгих переговоров у головных саней от обоза отделился человек в овчинном тулупе, с овчинным же свертком в руках. Вблизи человек оказался усатой старухой с хищным, почти касавшимся верхней губы носом.

— Куда яво? — неожиданно басом озадачила она Андрея.— И куды мине?

— Лезь сюда, мать.— Бобошко, заметио оживляясь, гостеприимио освободил место около себя.— Удобней располагайся. Авось, не потесню.— Он помог старухе взгромоздиться на сиденье и при этом как-то вздобрился весь, ожил и даже повел искательным взглядом в сторону Андрея.— Ничего, в тесноте, да не в обиде. Поехали!

Вскоре из вьюжной пелены выступили ступенчатые очертания степного хутора, и на сердце у Андрея отлегло: «Наконец-то!» Но чем явственней выявлялись сквозь метель хуторские постройки, тем определеннее стаиовилась их нежилая тишина. И первая же хата с крест-накрест зако-

лоченными окнами утвердила Андрея в его худших предположениях: хутор оказался брошенным. Но так или иначе Андрей облегченно вздохнул: появилась возможность отогреться и обнходить скотину.

И все же толком прийти в себя Андрею в этот день так и не удалось. Едва он после объезда перешагнул порог жарко протопленной ветеринаром хатенки, чтобы, наконец, прилечь, ио, взглянув на распластанного поперек взрослого полушубка мальчишку, понял, что отдыхать ему уже не придется. Тщедушное тельце маленького испанца беспрерывно сотрясал горячечный озноб. В обметанных белым налетом губах чуть слышно теплилась бредовая речь. Старуха сопроводительница, меняя — одно за одним — мокрые полотенца на его воспаленном лбу, шумно вздыхала:

— От жись пошла, детишки и те маются... Господи!..

Чтобы не поддаться слабости и не разомлеть в тепле, Андрей подавил в себе властное желание присесть и хоть немного согреть ноги.

— Заворачивай пацана, мать.— Он принял решение, н ему стало легче: отступить теперь он, даже если и захотел бы, не мог.— Здесь и дороги-то всего ничего, часа за два обернусь.

Бобошко тут же бросился на помощь старухе, хватался то за одно, то за другое, помогая ей собирать больного. При этом ветеринар трогательно пламенел, огорчался, когда у него что-либо не получалось или выходило неловко, а после того, как Андрей уже взял на себя дверь, грустно посожалел у него за плечом:

— Трудно вам будет жить, Андрей Васильевич, ох, как трудно. Да и было, видно, не легче. Ну, да Бог не выдаст...

Последнее, что Андрей услышал, было короткое напутствие старухи с крестным знамением вслед:

— Храни тебя Бог, душа голубиная.

Андрей гнал коня наугад, держась, чтобы не сбиться с пути, полотна железной дороги. Порывы ветра доносили оттуда горьковатый запах шлаковой пыли. Поземка матерела, временами оборачиваясь пургой. Гнедок все чаще проваливался в сугробы и оседал на задние ноги. Заунывно пели над головой телеграфные провода. В отдалении призывно вскрикивали паровозные гудки, и только они, эти гудки, скрашнвали Андрею его зябкое одиночество.

Жар истлевающей в бредовой лнхорадке мальчишеской плоти, притороченной к спине Андрея, почти ощутимо сообщался ему, и он невольно теплел к своему незадачливому спутнику ласковым сочувствием, если не сказать нежностью: «Потерпи чуток, милый, выберемся».

Озаряясь неведомым ему дотоле сомнением, Андрей серьезно озадачился неожиданными для себя вопросами. В самом деле, когда и почему вышло так, что все сдвинулось на земле, перемешалось, сошло с места? Какая сила бросает людей из стороны в сторону, сталкивает друг с другом, ожесточает их души, лишает людского облика? Отчего, с какой стати престарелый корниловец, пройдя одному ему ведомые огни, и воды, и медные трубы, тащится сейчас с чужим ему добром к черту на кулички, а еле живой несмышленыш с зеленых берегов сказочной страны бредит в заснеженной кубанской степи за многие тысячи верст от родной матери? Что же произошло в мире? Что же с ним наконец случилось? Что?

Плотная, клубящаяся шероховатым снегом завеса густела со всевозрастающей быстротой. Единственный ориентир — железнодорожная ветка — неожиданно исчез из вида. Гнедок уже не двигался, а только перебирал ногами, вскоре же и вовсе стал. Напрасно Андрей понукал его кнутом и уговорами, конь лишь коротко вздрагивал заиндевелыми ушами и не трогался с места. Андрею пришлось сойти в снег, взять его под уздцы и таким манером вслепую пробираться дальше. В глубине души он давно понял, что заблудился и движется безо всякого направления, но гулкое биение мальчишечьего сердца за спиной не позволило ему остановиться, и он шел вопреки безнадежности и здравому смыслу, шел, потому что теперь отвечал не только за одного себя. А когда силы уже оставили его и впервые в жизни он ощутил жуткую близость конца, в снежном разрыве перед ним блеснула золотая полоска света. С каждым шагом полоска становилась все явственней и резче, пока наконец не обозначилась в снежном обрамлении крестом церковного купола. Поднимаясь из-под обрыва впереди, крест как бы освещал ему его путь, и Андрей, вновь обретая дыхание, пустился к цели.

— Ну вот, Барселона, мы и добрались,— идя, вслух облегчался он.— Нас с тобой, может, голыми руками не возьмешь. Битые! Сейчас будем греться. Так-то, брат.

И только чуть слышное беспамятное бормотание позади было ему ответом.

XI

Поутру снега словно и не бывало. За окном больничной сторожки, где Андрею довелось ночевать, бушевало солнце. Не по-осеннему оголтело струились по дорожным водостокам ручьи. «Вот это клнмат,— просыпаясь, ошарашенно поразился Андрей,— не угадаешь, когда сватать, когда хоронить». Погожее утро сообщало ему чувство праздничного облегчения: «Дотащил-таки, незадарма, значит, хлеб жую, и я к делу пришелся».

Память живо восстановила в его воображении все перипетии пройденной им дороги, вплоть до крестного видения в ее конце: «А пожалуй, и не выйти бы тебе, Андрей Васильев, колн б не церквуха эта самая, да. Чудно, в Узловске своими рукамн ломал, а здесь выручила. Не знаешь, где найдешь, где потеряешь».

И вспомнилось ему, как в Узловске сносилн храм у Хитрова пруда. В церковной ограде, на могильных плитах захороненных здесь священников, духовой оркестр из депо играл «Все выше, и выше, и выше», и Серега Агуреев, уже вполпьяна, выбрасывая в окно содранные со стен иконы, озорно скалился в сторону зевак:

— Держи, раба, Николая Угодника, два пятака пара! А вот кому Божью матерь с придачей, даром отдаю! Эй, дамочка с радикулем, не желаете заместо брошки на ваши белоснежные груди патрет святого ероя Егория Победоносца? Кому паникадило, хошь под горшок, хошь под соленья! Держи, бабоньки!

За ним с крыльца прнходского дома внимательно следили ребятишки местного батюшки, отца Дмитрия, и было в их молчаливом бдении что-то такое, отчего Серега, взглядывая на них, всякий раз скучнел и тушевался.

Изо всего в этот день Андрею отчетливее другого и запало в память недетское молчанне батюшкиных ребятишек на крыльце приходского дома...

К действительности Андрея вернула кастелянша, принесшая ему казенную одежонку мальчишки и расписку главврача, удостоверявшую, что больной доставлен и принят.

— Вот, тут все.— Отечные, со следами недавней беременности щеки ее печально опали.— Совсем плох и худющий, кожа да кости.

— Выживет?

— Еще как! — Она улыбнулась, и улыбка эта лучше всяких слов утвердила ее правоту.— Исхудал он сильно, а так ничего, держится. Выносливый парнишка. Скоро поправится. Во все глаза смотреть будет.— Как бы застеснявшись внезапной своей разговорчивости, она деловито спохватилась: — Лошадь ваша в нашем гараже привязана.— Не выдержав взятого тона, кастелянша снова умиленно засветилась.— Выкормим, не пропадет. Вернется к своим — не узнают.

— Любите, видно, детишек?

— Своих не получается, так хоть около чужих нагреюсь.— Снисходя к его недоумению, женщина печально объяснила: — Снова вот выкинула... Не везет... Порчь, видно, у меня какая-то, вот и не везет.— И заторопилась: — Пойдемте, я вас провожу, а то вы у нас заплутаетесь еще.— На крыльце она подала ему руку лопаточкой.— Всего вам хорошего.

Уже выехав за больничные ворота, Андрей все еще чувствовал спиной, что она смотрит ему вслед, и это ее — на прощанье — нечаянное внимание к нему долго не оставляло его в обратном пути. Над темными островками хуторов в оттаявшей степи струилось трепетное марево. В глубоком и словно бы умытом небе кружили птицы, и в торжествующем крике их слышались печаль и прощание. Лесополоса у насыпи истекала парной

изморосью, и, казалось, ветви ее каждым своим листком и суставом вытягивались к солнцу, позванивали тихо и благодарно. Вода в колеях проселка дымилась, высыхая почти на глазах. Теплый, сухой ветер обтекал лицо, заполняя душу чувством облегчения и простора.

Скрытый от него железнодорожным полотном хутор выдвинулся ему навстречу сразу же после того, как он свернул руслом высохшего ручья под безарочный мост. Но, едва слева от хуторского озерца обозначились вздернутые к небу оглобли таборных повозок, сердце Андрея потерянно дрогнуло: над загоном клубилось летучее облако пыли, и ветер доносил оттуда еще неясный, но все крепчавший галдеж. Лашков заторопил коня, и вскоре он уже безошибочно мог определить, что в загоне идет лютая, трезвая до обстоятельности драка.

«Что, что такое, из-за чего? — Память лихорадочно перебирала причины, по каким могла заняться распря. — Чего не поделили?»

Осадив Гнедка у самой изгороди загона, Андрей трясущейся от ярости рукой выхватил револьвер и, силясь утихомирить кровавую сечу, стал палить в белый свет, как в копеечку:

— А ну, прекратить безобразие!.. Кому приказываю прекратить!.. Стреля-ять бу-ду-у! Стой, дьяволы-ы!

Но на его крик никто не обратил внимание. Злоба, отчаянная, удушливая злоба лишила людей слуха и разума. Истошный детский визг вплетался в крикливые причитания старух, перебиваемые забористой руганью дерущихся, и все это, вместе взятое, сливалось в сплошной многоголосый рев.

Клим Гришин, приземистый бородач со скрученной наподобие жгута шеей, — результат ветрянки в детстве, — размахивая тяжелой слегой, волчком кружил среди людской мешанины и честил всех подряд захлебывающимся дискантом:

— Дармоеды сычевские, туды вашу растуды! Чужим добром холку нажрали да ишшо и нашим салом нам же по сусалам, а мы вас дубьем да кольем, чтоб без похмелья опамятовались... Держи, свашенька-стерьва, хоть бы за мной не оставалось!

Торбеевская колдунья Акулина Бабичева — нос пятачком на плоском, оплетенном паутиной тонких морщин лице, — бесшумно подскакивала сзади то к одному, то к другому мужику, ловко выдирая со спины у каждого из них полоску истлевшей за дорогу рубахи.

— Ироды стоеросовые, нет на вас погибели! — исступленно бормотала она. — Куды ж ты, куды ж ты, окаянный, лезешь, когда я тебе не велела?.. Ходи теперича с голой задницей посередь народу... Ух, супостаты беспортошные!

Поодаль от всеобщей свалки с облезлого тарантаса, барахтаясь среди узлов и тряпья, голосила безногая дурочка Ася, подобранная дубовскими бабами Христа ради уже где-то по дороге:

— Крау-ул!.. Зарезали-и-и!.. Убиваю-ю-ют!.. Жизни-и-и лишаю-ю-ют!.. Ратуйте-е-е... Пожа-ар!.. Ку-ка-ре-ку-у!.. Удах-тах!.. Смерть немецким оккупантам!.. Ма-а-ма-а!

Александру Андрей заметил не сразу, а когда заметил — ее окружал такой плотный клубок воя и ругани, что пробиться к ней по-доброму не было никакой возможности. Спиной прислоняясь к сенному возу, она с молчаливым презрением опускала увесистый, натруженный в неженской работе кулак на головы окружающих.

Рядом с ней мешался у всех под ногами ветеринар, хватал драчунов за руки, пробовал даже вставать между ними, но, грубо отброшенный кем-то чуть ли не к самой изгороди, обескураженно затих, жалобно поводя по сторонам быстрыми слезящимися глазами.

— Эх вы, свободные радетели, как были дуболомы, так и остались — ни меры, ни совести. За пятак друг друга убить готовы. Звери и те соображают, своих не трогают. А ведь вы люди! Остановитесь же вы, наконец! Да побойтесь же вы Бога, пьянь косопузая, опомнитесь!

В горячечной суматохе никто и не заметил нагрянувшего следом за Андреем милицейского наряда. И лишь после того, как гришинская слега обрушилась на голову одного из них, и тот — щуплый скуластый парнишка с двумя треугольниками в петлицах — без звука рухнул под ноги Климу с раскроенным надвое черепом, толпа вмиг отрезвела и стала медленно растекаться от середины в стороны, оставляя убийцу и убитого наедине друг с другом.

И чем шире становился круг около Гришина, тем заметнее нескладная, но крупно сколоченная фигура его сникала, уменьшалась в размерах. И без того безвольный бабий подбородок мужика испуганно ослабел, речь непослушно ломалась:

— Ить хто ж яво знал... Ненароком вышло... Куды ж яво несло под самое колье!.. Да рази я с умыслом?.. Рука сорвалась...

К нему, бесцеремонно растолкав толпу, вразвалочку подошел бычьего обличья пожилой милиционер, поднял было руку, чтобы ударить, но на глазок оценив, видно, во сколько ему может обойтись ответ, сипло выдавил только:

— Проходь поперед, побалакаем.

Второй — в очках, с комсоставской планшеткой на боку и двумя авторучками в кармане гимнастерки — разъяренной наседкой бегал по кругу, воинственно задираясь:

— Разойдись!.. Живо!.. Разговорчики!.. Всех под закон подведем! Одна шайка... Что смотришь, что смотришь, вражина? Комсомольца убил, замечательного товарища жизни лишил и смотришь? Мы с тобой разберемся. Со всеми разберемся! Ишь, собрались архаровцы московские! Мы вас быстро свободу любить научим... Вот ты, рыжая, говори, где старший? — Он резко обернулся к выбравшемуся к нему из толпы Андрею, очки его вызывающе вскинулись. — Ты? Откуда ты набрал этих рецидивистов? Под судом не был? Теперь побудешь! — Он рванул было на себя планшетку, но тут же, внимательно взглянув в лицо Андрею, осекся: — Фу, черт, да где ты обморозился-то так? Ладно, пройдем, запротоколируем происшествие... Скажи бабам, пусть накроют отделенного... И свидетелей давай.

— Да ведь не пойдут, — устало охолодил его Андрей и огляделся: встречаясь с ним взглядом, люди уклончиво опускали глаза. — Вы уж сами.

— Это как так не пойдут? — снова взвился тот, и очки его гневно блеснули в солнечном фокусе. — Ты что, лавочку здесь собрал? Рука руку моет, да? По тюрьме соскучился? Ты мне арапа не заправляй, не таких обламывали!

Глухая и все нараставшая в нем с каждой минутой неприязнь к очкастому сменила его примирительную усталость, еще мгновение — и он высказал бы непрошеному гостю все, что накипело у него на душе, но событие опередил Дуда. Вызывающе сияя во все стороны объемистым свекольного цвета кровоподтеком, Филя встал между ними и с обезоруживающей предупредительностью ткнул себя кулаком в грудь.

— Свидетелев, говоришь? Я и есть наипервейший свидетель всему смертоубийству. — Не давая очкастому опомниться, он темной стеной надвигался на него. — Ей-Богу, не сойти с энтого места. Все, как есть, видел... Мы, значится, с Климушкой из-за скотины на спор тягались, держь, право слово, возьми и сорвись у мине с руки, а парняга ваш, значится, тут как тут, головой и подвернулся... Уж такая жалость, жальчее некуда... А то как же, молодой совсем... Вот и мине задело, тоже не сладость...

И такое откровенное простодушие светилось в его водянистых, испещренных красными прожилками глазах, и так бесхитростно складывал он свою речь, что очкастый, нерешительно потоптавшись на месте, в сердцах сплюнул и двинулся через толпу.

— В Боровске мы с тобой потолкуем, — погрозил он Андрею уже на ходу. — Там мы твою шпану быстро в чувство приведем.

Через час, составив протокол и уложив труп отделенного на запряженную для них Андреем подводу, милиционеры двинулись в обратный путь. Впереди со связанными за спиной руками, низко опустив голову, шагал Клим Гришин. Перед тем как свернуть на мост, он резко вскинул голову, обернулся, вытянул шею, словно желая что-то крикнуть на прощанье, но не крикнул, а лишь еще круче ссутулился и вскоре исчез за поворотом насыпи.

И Андрею показалось, что все разом посмотрели в его сторону, как бы ожидая от него ответа на какое-то снедающее их всех недоумение.

— Кому надоело, пускай уходит, не держу. — Он нечаянно встретился глазами с Александрой и стал говорить только для них, прямо в сумасшедшую их глубину. — В другой раз у меня рука не сорвется. Мне полномочия дадены. У меня один интерес: скотину до места довести в целости и сохранности. И душу с того мотал, кто у меня поперек дороги встанет... Запрягайте, пора двигаться.

И по той тишине, какая сопровождала его уход, он с удовлетворением заключил, что короткая речь, произнесенная им, принята всерьез и не без одобрения.

XII

Едва хозяйство расположилось на очередную стоянку, Андрея в самом начале вечернего объезда остановил Дуда.

— Тут один старче тебя добивается, Васильич. Главного, говорит, ему надобно.

— Ну, так где он?

— А ближе к пруду таборок его встал. Сам-то уж и не подымается вовсе. Пастушонок при ем заместо хозяина. Да и всего-то у них голов сорок. Из-под Курска сами-то вроде.

У крохотного, полузаросшего камышом озерца, в просторном шалаше, затянувшись стеганым одеялом до подбородка, лежал костистый бородач, неподвижно глядя прямо перед собой. В знак приветствия он лишь опустил тяжелые веки и затем глазами показал на сложенные в углу седла: садись, мол.

Старик, прежде чем заговорить, долго собирался с силами, озабоченно сопел, оценивающе косясь в сторону гостя. Видно было, что решение, принятое им, дается ему с трудом. Наконец, вяло расклеивая тонкие, обметанные лихорадкой губы, старик заговорил:

— Дело к тебе есть, малый, нешуточное... Тридцать восемь их у меня в остаток. Как одна... А пошел, шесть десятков было. Да уж, видно, и этих не устерегу. Ты, я слыхал, на Дербент своих гонишь?.. Вот и нам туда нуждишка... Возьми, малый, моих до кучи. Все одно уж тебе. Где тыща, там и сорок приткнутся. Изделай доброе дело. Я тебе документ весь, честь по чести, передам. А ты мне — роспись. Не осилю я дале... Внишь, совсем ногами ослаб.

— Отлежаться тебе, отец, надо, пройдет. Переболеешь.

— Чудак ты, малый, не больной я — старый.

— Вот я и говорю: отлежаться надо.

— Лежи — не лежи, годов мне никто не убавит. — Он внезапно оживился, костистое лицо его пошло взволнованными пятнами. — Ты не думай, у нас скотина — одна к одной... Рекордисток полдюжины — и все стельные... Не пожалеешь... К примеру, хоть Ромашку взять, дорогого стоит... Сементалка!.. Еще Дорофей Карпов — крепкий мужик наш — породу эту завез из самой Костромы. Карпова энтого мир в Сибирю услал, а хозяйство его в артель пошло. Так мы и разжились... А вот нынче задарма дохнут... Уж ты понмей сочувствие, возьми.

— Да взять-то можно. — Андрея вдруг обожгло рискованное, но заманчивое соображение. Однако, еще не укрепившись в нем, он мялся и осторожничал. — Только без надобности это. Малость очухаешься и пойдешь за милую душу. Еще и нас обставишь.

— Чудак ты, малый. Говорю тебе, старый я. Года кость проели, откуда силе быть?

Где-то в глубине души Андрея еще грызла совесть, но соблазн был настолько велик, что он наконец махнул на все рукой и решился. Принимая от старика подорожную опись, он лихорадочно прикидывал: «Почти сорок голов! Весь падеж покрыть можно, еще и останется. Война все спишет. Не себе же — государству! Расписку, правда, придется дать. Ну да Бог не выдаст, свинья не съест, выкручусь!»

— Хворые есть?

— Ни, ни! — Бородач даже обиделся, засопел еще чаще. — Сам врачую. Сроду без коновалов обходился. Чай, не чужое, свое — артельное. Опосля все, как есть, сами заберем, нам обмен ни к чему. Себе дороже.

— Объясненне написать сумеешь?

— Не обучался я, малый, грамоте. Ты уж как-нето по совести оборудуй.

Удача сама шла Андрею в руки. Последние сомнения заглохли в нем, и он, возбужденно холодея, заторопился:

— Гляну пойду для порядка на животину твою. Потом и порешим. А то вроде как кота в мешке обговариваю.

— Не сумлевайся, в полной справности скотина, — кивнул тот одобрительно. — А проверить — проверь. Порядок во всем нужен.

Дуда, до сих пор не проронивший ни слова, сопровождая Андрея к соседскому загону, неожиданно сказал:

— Не дело ты задумал, Васильич.

— Не каркай, Филя. — Если еще минуту назад им и могло бы еще овладеть раскаяние, то упрек Дуды лишь подхлестнул его. — Не твоего ума дело.

— Украсть большого ума не надобно. — Обычно квелое лицо Дуды замкнуто окаменело. — Обездолил человека и пошел себе дальше, поминай, как звали.

— Что ты мелешь! — Злость неправоты подхватила и понесла его. — Кого я там обездолил? Что я, для себя стараюсь, что ли? Об себе одном думаю? Прикинь дурьей своей башкой, какая мне корысть? Какой резон?

— Оно, можа, и вправду не для себя, — упрямо настаивал тот, — а выходит по всему, что все одно свой интерес на перьвом месте. Потому как себя отличить хочешь и от того самого выгоду получить. И все вы, которые наверху, так-то. Обчественную пользу блюдете, да таким манером, чтобы себя не обидеть.

— В случае чего ваш брат в стороне, а холку нам подставлять.

— А ты не подставляй, за ради Бога, как-нето сами обойдемся, лишь бы ослобонили вы нас от своего глазу, да и рта заодно. — Искательно смягчаясь, он повернулся к Андрею. — Я к тебе, Васильич, полное доверие имел. Кондровских прогнал? Ладно. Прокопия Федоровича обидел? Бог простит. Скотину в общую кучу собрать велел? Значит, польза есть. А каково нам было своих чистопородных со всякими обсевками мешать? На веру тебя брали, думали, за тобой не пропадет. Так ты теперича и обокрасть норовишь человека нашими молитвами. Нет, Васильич, этим разом мы несогласные. Скотина нам наша известная, что по маткам, что по запаху, враз отличим. А с дедом этим твоя совесть, тебе и ответ держать перед Господом. Не боись, разговор наш промеж нами. Артельщикам я другим манером дело растолкую. Бывай.

Дуда взял прямиком через луг, шагал широко, ступал твердо, словом, двигался, как человек, неожиданно обретший собственную силу и значение. И перед этой спокойной уверенностью, власть, какой и жив и силен был Андрей, показалась ему незначительной и пустой. Поэтому, когда дорогой его нагнал ветеринар и с обычной своей вопросительностью взглянул ему в глаза, он, угрюмо отворотившись от старика, приказал:

— Примите у деда скотину. Расписку заверьте по форме. И отнесите ему, пускай не тревожится, доведем его скотину до места без убытка.

Сказал и пошел, и первая же копна лугового сена приняла его, и он сразу же забылся в ней тревожным и переменчивым сном...

Ехал он лесом, куда-то в сторону зарева, полыхавшего над верхушками дальних деревьев. Гнал коня, торопился, чтобы успеть до наступления ночи. Но внезапно из-за поворота навстречу ему вышел Филя Дуда и, подняв руку, остановил его: «Поздно, Васильич, сгорело давно все дотла». Но Андрей, не слушая его, погнал дальше. А вдогонку ему понесся жалобный зов Александры: «Пожале-ей, Андреюшка-а-а!..»

Приходя в себя, Андрей со взволнованным содроганием почувствовал на своем лице дыхание Александры.

— Не спишь?

— Увидют!

— Мне-то что!

— Люди же. — От волнения у него едва попадал зуб на зуб. — Им для того и глаза дадены, чтобы глядеть. Сегодня на слабине возьмут, завтра на шею сядут.

— Будет о людях-то. — Голос ее звучал тихо-тихо. — Али промеж нас с тобой других разговоров не найдется?.. Обиделся за прошлый раз? Эх ты, да рази это я взаправду все говорила? Сорвала душу за холод твой, а ты уж и осерчал... Иди-кося поближе... Андреюшка-а-а!

Потом, после усталости и опустошения, наступивших вслед за беспамятством, Андрея проникло умиротворяющее тепло.

— Я теперь согласный. Будь, что будет. Чего нам, в самом деле, скрываться? Авось не маленькие.

— Нет, Андрейка, не надо. Я как тебе лучшей хочу. Не хочу, чтобы из-за меня тебе худо было. Когда помашешь, тогда и приду, а напоказ не надо... Пойду я... Ой, как не хочется!

— Вот и не уходи.

— Нельзя, Андрейка, уж, как порешили, так тому и быть. Завтрева жди, сызнова приду.

Ее шаги затихли в ночи, и Андрей остался наедине со своим счастьем и звездами над головой. Лунный свет заливал окрест ровным уверенным сиянием. И Андрею показалось, что лежит он вот так, в копне осеннего сена, давным-давно, без дум и желаний, отрешенный от всех своих дел и забот, лежит и будет лежать еще долго-долго, и никакая сила уж не сможет разъять его с этой бесконечной тишиной и покоем.

Его одиночество нарушил Бобошко. Темным силуэтом выявляясь на фоне звездного неба, он сообщил:

— Все в порядке, Андрей Васильевич. Расписку заверил и передал. Дед кланялся. Даже записочку вам накорябал благодарственную.

— Сам?

— Сам.

Кровь бросилась Андрею в голову, задохнувшись от оглушающего стыда, он только и смог выдавить из себя:

— Добро.

У него возникло такое ощущение, будто кто-то незримый и неведомый ему, вроде этого старика, каждодневно устраивает проверку каждому его поступку и мысли с тем, чтобы однажды спросить с него каким-то своим, особым спросом. И впервые в жизни Лашкова обожгла простая до жути мысль: «И ведь ответишь, Андрей, свет, Васильев сын, за все ответишь!»

XIII

Когда в проеме между двух скал у дороги возникло море, Андрей даже поперхнулся от растерянности, до того тихим и безмятежным оно ему увиделось. В его представлении море всегда выглядело охваченным величественной бурей, здесь же насколько хватало глаз перед ним простиралась ровная, будто стол, чуть подсиненная гладь, и ни один парус или пароходный дымок не скрашивал ее безбрежной пустынности. Перед этим сквозным простором Андрей показался себе убогим и беспомощным кутенком, случайно выброшенным в чужую и непонятную для него жизнь.

Дорога, по которой двигался табор в обусловленное госмаршрутом хозяйство, вскоре свернула в горы, и выделенный Андрею еще в Махачкале проводник, пожилой черкес с маленькими васильковыми глазками на выдубленном ветрами и солнцем, почти черном лице, указывая плетью куда-то в глубину ущелья, ободряюще прицокнул языком:

— Адын пэрэвал будыт. Далшэ дорога сапсем хароши...

Пропуская мимо себя стадо, вытянутое узкой каменистой дорогой в длинную цепочку, Андрей поневоле был вынужден рассмотреть каждую свою животину в отдельности. И если до этого все они сливались для него в одно пестрое, но безликое пятно, которое повседневно маячило перед глазами, не давая душе ни покоя, ни отдыха, то сейчас каждая из них открыла ему свой, отличный от прочих цвет и характер. Бежевые, с меловыми подпалинами, волоокий взгляд завораживающ и влажен; бурые, короткие рога бодро роют пространство перед собой; красные, круто посаженная шея которых отливает чернью. И всякая с одной лишь ей присущими повадками и статью.

«Ишь ты, — снисходительно оттаивал он, — скотина и та друг от дружки в отличку».

Но лишь только табор углубился в горы, как из-за первого же поворота появилась группа всадников, один из которых сразу же отделился от остальных и поспешил им навстречу. В нескольких шагах от Андрея он осадил коня и, прижав единственную свою руку к груди, склонил голову в бараньей папахе.

— Здравствуй, друг! — По-русски он говорил совсем без акцента, и только слишком старательное произношение выдавало его. — Привет тебе в моем доме. — Он лихо развернулся и поехал рядом с Андреем. — Сколько привел?

— Тысячу двести голов без малого. — Андрей поймал себя на том, что невольно начинает оправдываться: об одноруком директоре совхоза и его крутом нраве он уже слышал по дороге от проводника. — Под расписку кое-что роздал. Ну и падеж, ясное дело.

— Людей, людей сколько, друг?

— Со мной считать — пятеро.

— И все?

— Дорога длинная, всякое было.

— Без людей мне твой скот лишний. Скот у меня есть. Людей нету. — Медальное лицо директора сразу же потускнело, сделалось отсутствующим. Он как бы мгновенно потерял всякий интерес к собеседнику. — Нехорошо получается, дорогой. Скот сберег, люди разбежались. Ладно, устраивайся, потом поговорим.

Пустив коня вскачь, он присоединился к ожидавшим его спутникам, что-то сказал им, они дружно повернули, и вскоре вся группа скрылась за поворотом.

— Ничего себе привечают, — не скрывая обиды и горечи, встретил Андрей подъехавшего к нему Бобошко. — Хоть обратно оглобли поворачивай.

— Что же вы хотите, Андрей Васильевич, он хозяин, ему действительно люди нужнее коров. — В примирительности ветеринара сквозила откровенная усталость. — К сожалению, скот воспроизводится гораздо быстрее.

— Пускай бы на моем месте похозяевал.

— Да уж, наверное, было бы то же самое. Люди вроде вас, Андрей Васильевич, одинаковы. Вы хотите сделать как лучше для всех и поэтому обязательно попадаете впросак. Природа той тьмы, которую вы взялись осветить, не приемлет света вообще. Пусть будет хуже, но поровну — вот ее принцип. И сколько вы ни старайтесь, те, кого вы вздумали облагодетельствовать, не поймут вашего порыва и разбегутся от вас рано или поздно... Вы уж меня простите, старого, за резкость, но лучше, если вы это услышите от меня сейчас, потом будет поздно. Вы стоите того, чтобы знать это. Привык я к вам за это время. Не снесете вы того груза, Андрей Васильевич, какой взвалили на себя. Да и взвалили-то скорее из фамильного гонора, нежели по убеждению. Чисты вы уж очень. Думается даже, что в конце концов и веровать начнете... Поеду, извините, на Евсея взгляну, что-то с ним неладное сегодня творится. Бесится бугай, перестоял, надо полагать.

Пожалуй, лишь теперь, в самом конце пути, Андрей по-настоящему ощутил всю тяжесть обузы, которую взвалил он на себя в Узловске. Тоска по ласке и бесхитростному, умиротворяющему слову погнала его к Александре, но еще издали, заметив его, она не потянулась, как обычно в таких случаях, навстречу ему, а, наоборот, сделала движение в сторону, как бы желая избежать разговора.

— Ты чего? — подъехав вплотную и чувствуя недоброе, забеспокоился он. — Ты чего?

— Худо мне, Андрейка, — чуть ли не простонала она, избегая его взгляда. — Как увидела я нынче однорукого этого, так и захолонуло мое сердце. А ну как беда с Сережкой. И сон мне нынче дурной был. И вправду, видно, грех это у меня с тобой. Не сойдет это мне по-хорошему.

— Брось, Саня, что это тебе взбрело? Заморилась ты в колготне этой, вот и все. Завтра вниз спустимся, и все пройдет. Мне ведь тоже несладко.

— Уж ты прости меня, Андрейка, только не смогу я нынче с тобой,

душа не на месте. Дай отойду маленько, охолону. А то ведь и до беды недолго.

— Пожалей хоть ты меня, Санек!

— Нам-то легко миловаться, а ему там каково? Вон директор здешний, черкес сказывал, и нездешний вовсе. Пришел с войны, домой такой иттить постеснялся, здесь осел. И Сережка мой так же вот, может, без рук, без ног где мается... Уж ты прости.

— Санек! — опаленно выдохнуло все в нем. — Санек!

— Нет. — Александра порывисто отвернулась от него и тронула лошадь вперед. — Негоже нынче. Завтра сама приду. Куды ж мне теперь от тебя деваться?.. Прости, Андрейка.

К полудню табор миновал гребень перевала, и внизу взору открылась просторная долина, ровным прямоугольником обозначились постройки совхозной усадьбы. Неподалеку от поселковой околицы двумя свежевыбеленными времянками за добротной изгородью выделялся не обжитый еще загон.

Едва табор расположился на новом месте, как директор через посыльного вызвал Андрея к себе. Седлая Гнедка, он поймал на себе взгляд Александры, и было в этом ее взгляде что-то такое, отчего небо над головой показалось ему с овчинку, а на душе стало вконец глухо и пакостно.

XIV

Когда, уже под вечер, Андрей вернулся, Александры на месте не оказалось. «Скучно одной-то, видно, — заключил он, — на люди подалась, не без того». Но время шло, солнце вязко стекало за ребристую стену заснеженного хребта, обнажая в холодеющей вышине контуры первых ночных звезд, а ее все не было. Сомнение, словно ржа, принялось точить душу, час от часу все более в нем укрепляясь: «Неужто ушла?!» В конце концов он не выдержал, вернулся в усадьбу, покружил около конторы, наведался в магазин, но, не найдя Александры и там, решил спуститься к самой железной дороге: «Больше ей идти некуда, один здесь путь, вдоль ветки».

Андрей еще тешил себя надеждой, еще смирял нетерпение успокоительными догадками, но чем ближе он подходил к цели своего пути, тем безотчетнее росла в нем убийственная для него уверенность: «Ушла!» Обида, отчаянье гнали его туда — к паровозной перекличке у подножья, — и он все ускорял и ускорял шаг, уже ни на что не рассчитывая и не надеясь. Дорожная галька осыпалась у него под ногами, с протяжным шорохом скатываясь по обрывистому склону к гремящему где-то глубоко внизу потоку. В свете крупных, по-южному отчетливых звезд темь вокруг выглядела потаенной и вещей. Лишь после того, как спуск остался за спиной и впереди замельтешили огоньки выкрашенных синькой фонарей осмотрщиков, Андрей отрезвел, опустошающе осознавая, что идти дальше не имеет смысла, что попытка его связать несвязуемое тщетна и что Александру ему уже не вернуть.

И он почти бегом повернул обратно. Звездная бездна, обтекая Андрея со всех сторон, бежала вместе с ним, у самых его глаз, и временами ему чудилось, что, если только захотеть, до любой звезды можно дотянуться рукой. Поток внизу истончался и глох, и камни, катившиеся из-под ног его в ущелье, уже не возвращали звука: высота давала себя знать.

Наконец, тягостно холодея, Андрей пластом рухнул в колкую траву придорожной поляны и, переполненный горечью и яростным сердцебиением, заплакал. Заплакал по-бабьи, в голос, не таясь и не сдерживаясь. Какое ему было дело сейчас до кого-либо? Кто теперь для него указ в этой вдруг потерявшей всякий смысл жизни? Впервые за короткий век недолгая надежда засветила ему, но и здесь судьба лишь поманила, чтобы тут же выбить из-под ног счастливо найденную было опору. Он вдруг увидел себя бессловесной тварью, какую гонят неизвестно куда и неизвестно зачем, не давая сделать без спроса и шагу. И от сознания этого своего бессилия ему становилось еще горше и нестерпимее: «Куда? Зачем? Остановиться бы мне. Всем остановиться».

Вскоре сквозь жаркое оцепенение Андрей услышал мелкие неторопливые шаги по дороге, затем легонькое, из деликатности, покашливание, протяжный шорох сухой травы и по характерной шаркающей походке догадался: ветеринар. «Черт тебя принес! — хмуро подосадовал про себя Андрей. — Твоей милости мне только и не хватало!» А вслух сказал:

— Не спится, что ли?

— Извините, Андрей Васильевич.

— Поздновато вроде мне нянька-то заводить. Да и ни к чему это.

— Зря вы. Нельзя вам себя попускать, никак нельзя. Времена не те, чтобы расклеиваться. У вас не поле, а вся жизнь впереди. Нервишки-то еще ой как пригодятся.

— Теперь мне один черт, все равно нехорошо.

— Ах, Андрей Васильевич, сто раз вам еще гореть этим пламенем и не сгореть. Это не вы, это молодость в вас плачет. Радоваться надо: не засохла, выходит, еще душа.

— А! Мне теперь лучше и не жить вовсе. Не жизнь, а маета одна.

— Жизнь, она как трехполка, Андрей Васильевич, — сочувственно вздохнул над ним Бобошко, — три поля. Одно цветет, другое дышит, третье — в залежи. А в целом это очень организованное поле. И, заметьте, прекрасно организованное... Есть такая притча, скорее даже сказка. Хотите? — Голос его слегка завибрировал. — Когда-то, очень, очень давно, на одной далекой и прекрасной планете жили удивительные люди. Они создали себе бесподобную жизнь: жизнь без войны, без болезней, без смерти. Все онн были равны перед, так сказать, разумом. И единственное, чего им недоставало, это соседей для духовного, видите ли, общения. Самые совершенные летательные машины мчались к соседним мирам, чтобы найти там себе подобных. Но все эти путешествия не приносили успеха. Планеты вокруг, даже самые отдаленные, были необитаемы или заселены, извините, страшными чудовищами. Так хочешь не хочешь проходили тысячелетия. Цивилизация прекрасной планеты старела в скучном одиночестве. Но вот как-то один корабль возвратился из самого отдаленного уголка Галактики и принес добрую весть. Оказалось, что самая крохотная планетка, где-то на задворках вселенной, обитаема. К сожалению, правда, существа, населяющие эту планетку, были еще на самой низкой ступени развития: войны и грабежи, обман и насилие царили у них. И тогда самые Разумные этой замечательной планеты собрали Лучших из Лучших. И самый, самый Разумный сказал им: «Нужен только один из вас, кто бы решился подняться к ним и возвестить им Истину. Я не хочу скрывать, что скорее всего смельчака ждет смерть. Но все-таки надо попробовать. Кто из вас решится на это?» И каждый приглашенный наклонил голову в знак согласия. И был избран Лучший. И вот самый огромный корабль отправился на другой конец неба, чтобы оставить там смельчака. В конце концов смельчак оказался наедине с себе подобными, то есть, извините, Андрей Васильевич, с людьми. Он врачевал больных, воскрешал мертвых, утешал страждущих. В общем, он возвестил им Истину. Но они, можете себе представить, распяли его. Ибо Истина, извините, была им ни к чему. Он умер в муках, о каких на своей прекрасной планете даже не имел представления. Но Разумные не оставили его тело на поругание землянам. Оно было возвращено назад и воскрешено вновь. На высоком совете Разумных решено было прекратить всякие попытки общения с дикими и негостеприимными соседями. Но Воскрешенный, как это ни странно, запротестовал. Разумные, конечно, немало удивились: «Неужели ты хочешь попытаться вновь?» И он ответил им: «Хочу». Тогда они спросили его: «Неужели тебе пришлась по душе их жизнь?» И он ответил: «Она почти невыносима, но прекрасна...» Может быть, это смешно, Андрей Васильевич, но ведь это, ей-Богу, так.

«Зачем он все это мне рассказывает? — закипала в Андрее лютая и необъяснимая для него самого злость. — Что ему надо от меня? Какие такие у него права есть влезать ко мне в душу?»

— Мне-то что? — еле сдерживая ярость, выдавил из себя Андрей. — Что мне до этого?

— А вы подумайте.

— Не хочу. Хватит. Голова от дум пухнет.

— И это пройдет, Андрей Васильевнч, пройдет.

— Что пройдет?

— Все.

— Слушай, дед, — безотчетное исступление душило его, — иди-ка ты отсюдова к чертовой матери. Я этими байками сыт по горло. Надоели вы мне все хуже дерьма, ненавижу я вас всех как не знаю кого. Будьте вы все прокляты! И не дразни ты душу мою грешную, бери ноги в руки и дуй своей дорогой, а то не отвечаю за себя...

Оглохнув от собственного крика, он не слышал, как Бобошко все той же шаркающей походкой направился к дороге и молча растворился в ночи, оставив Андрея наедине с темью и его криком.

XV

Дербент ошеломил Андрея прежде всего своим неслыханным разноязычием. Толкаясь по базару, чутким ухом ловил он русскую речь, но она то возникала, то вновь гасла, заглушенная иноплеменным говором. Но и там, где ему порой выпадало перекинуться словом с кем-либо из случайных земляков, ничего нового об Александре узнать не удавалось. Никто ее не видел и не слыхал о ней.

У пивного ларька безногий инвалид — рябые скулы в пороховой зелени — вяло подмигнул ему, кивая на кепку, опрокинутую перед ним:

— Поможем калеке, браток!

В ответ Андрей беспомощно развел руками:

— Ей-богу, друг, ни копейки.

— Садись, — радушно пригласил тот, — будут.

Часто еще потом вспоминался Андрею безногий инвалид этот и его веселое радушие, от которого зябко сводило спину.

После долгих и бесполезных поисков Андрей забрел в какую-то базарную харчевню и здесь, в крикливой толчее у стойки, лицом к лицу столкнулся с земляком и даже по дальней, впрочем, и давно забытой линии родственником. Звали его Левкой, родом он был из Торбеевки, хотя работал с незапамятных пор в депо, где его и встречал, наведываясь к брату, Андрей. И если в Узловске Лашков и поздороваться-то с ним поленился бы, то сейчас он долго и обрадованно тряс парня за плечи, по-детски радуясь этой неожиданной встрече.

— Ты-то как сюда попал, черт кудрявый? Ну, удружил, ну, удружил. Вдарим ныне по паре-другой. Ой, вдарим!

Тот, видно, польщенный обходительностью именитого роднча, возбужденно замотал нечесаной головой:

— А вот сейчас... А вот сейчас, Андрей Васильевич, все как есть доложу... Об вас-то я еще тогда слыхал, что коров в Дербент погнали... Сейчас... Очередь наша.

Большими глотками втягивая в себя теплое прокисшее пиво, Левка весело похохатывал, и блеклое лицо его оплывало при этом текучими тенями.

— Нам, слесарям, теперь цены нет. Как эвакуация началась, нас всех кого куда. Меня, значит, сюда. Дуй, говорят, ворота Каспия укреплять надо. Ну, и укрепляю.

— А что у них своих, что ли, здесь не хватает?

— Ныне все по фронтам, — Левка замялся, — а у меня плоское стопие. Ну, и бронь, конечно. Как для высококвалифицированного. Да! — Он снова оживился, заерзал на месте, засучил под столом ногами. — Я здесь еще одну нашу видел...

— Кого? — выдавил Андрей и почувствовал, как у него спирает дыхание. — Может, обознался?

— Скажешь тоже, обознался! — Тот открыто торжествовал козырное свое положение. — По Агуреевой этой, Сашке, сколько у нас ребят позасыхало. Да и ты. — Он тут же осекся, избегая враз осатаневших глаз Андрея. — Скажешь тоже, обознался...

— Где?

— Что — где?

— Видел, говорю, где?

— Случаем, из депа шел... На посадке. Куда-то в сторону Баку подавалась.

— Говорил?

— Не. Я ее и в Узловске-то не знал совсем. Так издаля глаза пялил. Не по нашим соплям девка.

Говорить с Левкой как-то сразу расхотелось. Пиво показалось кислее прежнего, жара и базарная вонь еще удушливее, а всего минуту тому вполне сносная рожа собеседника окончательно опостылела. И Андрей заторопился:

— Бывай, кудрявый.

— Ну, куда ты, ей-Богу? — хмельно заканючил тот. — Только-только разговорились. А ще грозился: вдарим! Вот тебе и вдарили. — Его вроде даже усекло в размерах от огорчения. — А у меня и бабы есть, первый класс, эвакуированные с укладки... А?

Уже от двери Андрей усмехнулся вполброви:

— Меня сейчас хоть самого зто самое... Пока.

В военкомате, куда он завернул, проходя мимо, издерганный капитан с медалью поднял на него от бумаг злые, тронутые желтухой глаза.

— Ну, чего еще? — Он бегло просмотрел поданные Андреем документы и, посветлев лицом, крикнул через плечо в соседнюю комнату: — Мухин! Оформляй вот человека... Иди, парень, воюй.

И капитан опять склоннл голову над бумагами.

XVI

Когда Андрей Васильевич очнулся, небо над ним было сплошь затянуто тучками, хотя и жиденькими, но с явным намерением устояться надолго. И, как это бывает в такую погоду, запахи сделались резче и обстоятельнее, а подспудная жизнь леса — живее и громче. «Не ко времени затянуло, — решил он, — для сена плохо, да».

Поднялся Андрей Васильевич, думая о своем, повседневном: распределенни лесных сенокосов, билетах на порубку, скором ремонте конторы и множестве другой всякой всячины. Но — странное дело! — его при этом не покидало чувство, что сегодня, даже вернее вот сейчас, им перейдена какая-то очень важная для него черта, вещий какой-то рубеж, после чего жить ему будет яснее, проще, просторнее.

С этим облегчающим душу чувством он и запряг, и двинулся в путь, и въехал в усадьбу лесничества.

(Продолжение следует).

Владимир КОРМЕР

Наследство

РОМАН

XIV. *Отец Иван*

Отец Иван отпер, неуверенно всматриваясь в лицо гостя. Кажется, он решил, что Муравьев пьяноват, и, убедившись, что это не так, как будто потускнел и чем-то обеспокоился.

— Что-нибудь случилось? — спросил он.

— Ничего особенного, — сказал Муравьев, удивленный такой встречей. — У меня к вам небольшое дело. Извините, что так поздно. Вы один?

Отец Иван кивнул. От Муравьева не ускользнуло, что он потускнел еще больше. Муравьев не понимал, чем это вызвано.

Муравьев знал его еще с довоенных времен. Отец Иван тогда только появился в столице, был живой, умный, любознательный и наивный провинциал. Муравьев, случайно познакомившись с ним, покровительствовал ему, считая его многообещающим молодым человеком. Тот был моложе его лет на десять. С началом войны отец Иван ушел в армию, был полковым священником, попал с русским экспедиционным корпусом во Францию, и они встретились с Муравьевым уже в двадцать втором году в Париже, где сдружились по-настоящему. Потом они опять не виделись года три и лишь изредка писали друг другу, а спустя время Муравьев, по письмам зная, что отец Иван тяготится парижской жизнью, завлек его в N.

При новой встрече Муравьева поразило, насколько переменился отец Иван: прежние легкость и живость куда-то исчезли, отец Иван стал замкнут, как бы сосредоточен на чем-то одном, сторонился людей, заметно было, что ему нужно делать над собою усилие, общаясь с ними. С самим Муравьевым — то же; они виделись почти ежедневно и разговаривали помногу, но былой близости и открытости уже не ощущалось. Муравьев приписывал эту перемену в отце Иване семейной истории: у отца Ивана осталась в России жена с двумя мальчиками, еще в самом начале революции она оформила развод с якобы пропавшим без вести мужем и вышла замуж за другого; отец Иван в браке с нею страдал, но, видно, был глубоко привязан и к ней и к детям, и теперь случившееся постоянно угнетало его.

Муравьев, хоть и говорил себе, что сочувствует отцу Ивану, отчужденностью того бывал нередко задет. Сегодняшнее же поведение отца Ивана переходило всякие границы. Сидя в эту минуту перед ним и видя, как тот избегает смотреть на него, Муравьев заколебался, правильно ли будет доверить ему свое особенное дело. Мелькнула мысль: может быть, отцу Ивану уже известно все про Катерину, может быть, эти дела давно ни от кого не секрет и смущение отца Ивана вызвано именно этим?

Отец Иван действительно был немало наслышан о делах Муравьева, но сегодняшнее его поведение объяснялось иным.

Причиною (а так же причиной всей произошедшей с ним перемены) было одно решение отца Ивана, решение для него самого дикое и страшное. Суть заключалась в том, что за этот год отец Иван, как и Катерина, окончательно укрепился в идее, которую вынашивал давно, но долго считал фантастичной: он решил, что должен во что бы то ни стало вернуться

П р о д о л ж е н и е. Начало см. «Октябрь», № 5 с. г.

в Россию. Разные картины рисовались ему при этом, и, безусловно, ни одна из них не выдерживала испытания разумом — какие-то странные планы семейной жизни, то есть соединения с семьей, хотя бы с родителями, от которых он не получал известий уже около десяти лет и не знал, живы ли они; не менее странные представления о том, как он устроится там, в России; ему слышались смутные голоса о долге, служении, ж е р т в е, — все это, он понимал и сам, было бредом; но так же твердо он понимал и то, что здесь, вне России, он жить не может и не хочет, здесь он пропадет еще скорее, чем там, пропадет наверняка, сгинет, а т а м, — говорил он себе, — у него еще есть шанс выдержать, там он будет н а м е с т е. Придя к этому сумасшедшему решению, он стал обдумывать практические возможности возвращения. Никакими легальными способами вернуться при том положении, в каком была Церковь в России, он не мог; это было ему более или менее ясно. Перебрав все варианты, он обратился к Проровнеру, к его организации. Не разделяя их идеологии, он сговорился с ними, что они пошлют его для нелегальной работы в Россию, помогут туда пробраться. Он не сомневался, что по приезде, зацепившись, сумеет послать их к черту, скрыться от них и целиком работать на них категорически отказался, согласился лишь выполнить некоторые их поручения; они и сами, не имея опыта, на большем особенно не настаивали.

Увидев Муравьева, да еще такого взвинченного и в такой необычный для него час на пороге своего дома, отец Иван тут же заключил, что его сугубо тайное соглашение с Проровнером каким-то образом всплыло наружу, и ужасно огорчился. Он не сомневался, что Муравьев, напуганный такими действиями его, прибежал его отговаривать; еще хуже, конечно, было то, что если слух о его решении просочился, то фактически это означало провал всей затеи.

Поэтому отец Иван сидел теперь униженный, проклиная в душе и Муравьева, и Проровнера со всей его компанией болтунов и мерзавцев и ждал, что скажет ему Муравьев.

Муравьев не осмеливался начать говорить прямо о деле и, задавая бессмысленные вопросы: как вы живете, что читаете? — напряженно всматривался в угрюмое лицо отца Ивана, выглядевшего при его природном здоровье на сей раз измученным. Пегая борода, росшая у отца Ивана чуть ли не от самых глаз, и почти закрывшие лоб еще густые с едва начавшей пробиваться проседью локоны не могли скрыть его сегодняшней болезненной желтизны.

Неожиданно для себя Муравьев стал жаловаться, как скверно развиваются у него отношения с Университетом.

Два года назад знаменитый Университет пригласил его к себе по рекомендации одного выходившего в отставку немца-слависта. Получив приглашение, Муравьев с удовольствием вообразил себе средневековое, бюргерское существование, которое ждет его там, но в самый последний момент отказался поселиться при Университете, испугавшись университетской замкнутости, и выбрал N, где жило много русских и много знакомых; отсюда до Университета было меньше часа езды. Конечно, это было ошибкой — продемонстрировать свою независимость от Университета. В Университете этого не любили, и хотя желание держаться поближе к соотечественникам (в N) было извинительным, заподозрили тем не менее, что тут примешаны еще гордыня, своенравие, опасная склонность к индивидуализму и так далее. То, что материально он не нуждался в Университете, усиливало недоверчивость. Вероятно, натянутость новых отношений со временем прошла бы, прояви Муравьев чуть больше внимания и интереса к университетской жизни. Он, однако, и в России последние годы не чувствовал вкуса к университетским делам, хотя там и дела и люди были будто поживее, — здесь же едва ли не с самого первого дня его коллеги с их учеными разговорами, университетскими интригами по поводу назначений и перемещений стали ему совершенно несносны. Среди университетской профессуры, возможно, были и достойные люди и немало талантливых, но все они без исключения для Муравьева несли на себе печать мещанства, плоской благопристойной ограниченности, поразительной поверхностности. Не говоря уже про домашний их быт — про одинаковые, обставленные вошедшей в моду грубо геометрической мебелью квартиры, одинаковые ковры,

занавески, библиотеки, про одинаковых хозяйственных жен, вдохновенно судачивших о карьерах мужей, Муравьева раздражал также их быт факультетский — ритуалы заседаний кафедр и семинаров, церемониалы утверждения диссертаций, серьезность, с которою велись дискуссии. Сама научная добросовестность университетских была, по его твердому убеждению, липовой, за ней ему мерещились какие-то низменные мотивы; в каждом слове университетских ему чудились страх или самодовольство и уж никак не бескорыстие и не отрешенность. Университетские не были чужды и политики: Университет был разделен на несколько враждующих партий, по квартиркам у преподавателей, в аудиториях, окрестных пивных и скверах проходили бурные собрания и тайные совещания, но Муравьеву и гражданские их страсти — националистические или либерально-гуманистические — равно казались неестественны, вымученны и карикатурны.

Поэтому он избегал встречаться с университетскими вне Университета, никого не приглашал к себе и за два года не завел в Университете никаких знакомств, предпочитая проводить вечера в N, у Анны, среди «своих», хотя порою такое предпочтение удивляло и его самого.

Первое время роль университетского чудака забавляла Муравьева, ему нравилось эпатировать пресных немцев; видя, что среди них все равно находится немало таких, которые ищут его дружбы, он полагал, что и остальные рано или поздно с ним примирятся. Холодность по отношению к нему меж тем продолжала возрастать и сделалась почти всеобщей. Студенты, как по команде, перестали посещать его лекции. К нему и раньше ходили немногие, теперь остались лишь самые дисциплинированные тупицы. Ему стало трудно появляться в Университете. Под разными предлогами он начал пропускать занятия, а вчера — в который раз — взял внеочередной отпуск среди семестра. Разговаривая с факультетским деканом, он знал, что тот еле терпит его, но не может допустить, чтобы человек уволился совсем, не найдя ничего замечательного в Университете, и опасается, что если это случится, то произведет невыгодное впечатление на «общественность».

— Я долго убеждал себя, — сказал Муравьев отцу Ивану, — что эта затянувшаяся и глупая история с Университетом оттого, что на самом деле я не ученый... Что я не верю, будто мои занятия, моя наука или их занятия, их наука имеют касательство к установлению истины. Что мне все равно: будет она установлена или нет... Теперь я вижу, однако, что корень проблемы не здесь. Да, я не ученый! Но ведь и они тоже не ученые! То, что творится в Университете, — олицетворение распада прежнего духа европейской учености! А почему?! А потому, что в наше время нельзя быть ученым, вот почему! Нельзя заниматься «чистой наукой», такое занятие — безнравственно! Можно не сознавать этого, но реальность все равно не дает им возможности вести старый образ жизни! Европейская культура распадается, гибнет. Появились люди, поставившие себе целью увлечь в пропасть весь мир. Вы их отлично знаете. Ими владеет страсть к разрушению, какими бы лозунгами и широковещательными программами они ни прикрывались... Ими движет чудовищный антихристианский, античеловеческий порыв!

— К чему такое вступление? — Отец Иван заворочался на шатком венском стуле.

Он безнадежно подумал: если Муравьев, человек к религии в общем-то равнодушный, заговорил на такой высокой ноте о нравственности, о христианстве и о людях, которые поставили себе целью разрушить весь мир и которых отец Иван отлично знает, — то, значит, по всему городу сейчас идут пересуды об его, Ивановой, затее, и Муравьев только что с кем-то изрядно поспорил на этот счет. «Через кого же это стало известно? — терзался отец Иван. — Скорей всего через самого же Проровнера. Значит, несерьезные это все люди. Бог мой, кругом только несерьезные люди! Хорошо еще, что это открылось именно сейчас, пока я еще здесь. Хуже, если б я был уже на дороге туда. Или вообще там!».

Ему стало грустно, что мечта его оказалась несбыточной (теперь она представлялась совсем простой и легко осуществимой). Отец Иван вообразил, как уедет, к свиньям, обратно в Париж, и там, в суматохе и толчее большого города, быстро сопьется. Дед по отцу был у него алкоголиком — таким образом, возможна была наследственная предрасположенность.

Увлеченный этим видéнием, отец Иван пропустил большую часть из того, что говорил Муравьев, и опомнился только тогда, когда тот сказал:

— Мне кажется, что в этой ситуации мы не можем сидеть сложа руки. На нас лежит ответственность. — («О чем это он? — силился сообразить отец Иван. — Ах да, о европейской культуре...»). — Ведь они-то не ждут, они действуют. Посмотрите, что делается в Италии. Через некоторое время то же самое будет здесь у нас, потом во Франции, везде! Необходимо бороться с этой заразой, иначе все рухнет еще страшнее, чем рухнуло в России... Я полагаю, что думаю так не один, — сказал Муравьев после паузы. — Я хочу сейчас поехать в Лондон, навещу детей, но заодно и кое-кого из своих. Там их сейчас много. Они меня поддержат. Я хотел было бросить совсем партийную деятельность. Но вижу теперь, что это невозможно. Невозможно потому, что теперь нечестно не заниматься политикой. Это безнравственно, если хотите. Я повторяюсь... и... я, конечно, далек от... Словом, я так и не знаю, как у вас принято думать на сей счет, но полагаю, что христианин да и сама Церковь не могут стоять в стороне от политики, когда политика решает не тот или иной частный вопрос, а затрагивает саму судьбу европейской культуры, того же христианства, если угодно...

Муравьев прервал свою речь и застыл, ошеломленный тем, что только что нагородил, ибо буквально минуту назад у него и в мыслях не было, что он едет в Лондон договариваться со своими партийными товарищами вместе бороться с растущим национализмом. Он виновато поднял глаза на отца Ивана, не сомневаясь, что тот догадывается об истинной причине поездки и презирает его за такую высокопарную ложь.

Но отец Иван, захваченный целиком своей версией, видел во всем этом только уловку, изобретенную для того, чтобы загнать его в угол и заставить отвечать. Непроизвольно отец Иван даже вскочил, как будто так поймать его было труднее, и начал ходить по комнате. «Хитрец, какой хитрец! — думал он. — Вот что значит политик и светский человек. Разумеется, если я признаю, что я тоже отвечаю за судьбу европейской культуры — будь она проклята, — то как я могу сотрудничать с этой сволочью типа Проровнера?! Впрочем, поскольку дело провалилось, все это не имеет никакого значения». Он подумал также, что не знает, правда ли эти идеи, с которыми выступают, в частности, Проровнер и компания, так ужасны. Совсем уже ни к чему появился вдруг соблазн сказать сейчас Муравьеву, что он (Иван) считает также, что социализм — это более справедливое общественное устройство, что Муравьев сам раньше говорил, что страсти, которые сопровождают рождение социализма в России, в Италии, которые предстоят теперь, наверное, Германии, — явление только временное, переходное. «И гонения на Церковь в России утихнут, — хотел прибавить отец Иван, — кажется, уже утихают». В его размышлениях насчет будущей своей жизни в России последнее соображение занимало важное место... Он, однако, сдержался: дразнить Муравьева ему все же не пристало. Он сел за стол опять, выжидая.

— Так вот. Я уезжаю, отец Иван. Я хотел бы просить вас об одной услуге. Дело в том, что... как вы, вероятно, знаете... я заинтересован...

Он собрался в Лондон проконсультироваться со своим поверенным по вопросам, связанным с отъездом Катерины, и, опасаясь, как бы Катерина не выкинула здесь какого-нибудь очередного фортеля, хотел попросить отца Ивана понаблюдать за событиями, а в случае чего экстренно, телеграфом сообщить о происходящем.

— Ах, вот как? — воскликнул отец Иван. — Вы за этим и пришли?!

Он покраснел от стыда и вместе с тем от восторга при мысли, что, стало быть, о нем самом ничего никому неизвестно и планы его еще могут осуществиться. Муравьев, этот бедный, запутавшийся человек, — как он тут же про себя назвал его, — вновь сделался ему близок и дорог. С умилением, склоня голову набок, впервые за много последних встреч он посмотрел Муравьеву в глаза.

— Конечно, конечно, Дмитрий Николаевич, я все сделаю, — растроганно вымолвил он.

Муравьев изумленно поднял бровь, усмотрев в этой внезапной ласковости лишь типичный поповский профессионализм.

Отец Иван остановился не столько потому, что заметил муравьевскую гримасу, сколько потому, что ему сделалось еще более стыдно, что он обманывает Муравьева, скрывая от него свои истинные планы, тогда как это был, может статься, единственный человек, с которым стоило посоветоваться, и не сейчас, а гораздо раньше. Отец Иван подумал, что перед разговором с Проровнером он даже намеревался пойти к Муравьеву, но не сделал этого, боясь, что Муравьев будет против. А представив себе Проровнера и тот разговор, отец Иван почувствовал себя совсем плохо, потому что припомнил вдруг, как Проровнер и седой лейтенант Ашмарин, присутствовавший при разговоре, расспрашивали у него про Муравьева. Отец Иван вполне искренне убеждал их тогда, что ему доподлинно известно, что Муравьев ездит в Англию главным образом ради своих детей. Его даже удивило тогда, что они так сосредоточены на Муравьеве, но он не придал особого значения их интересу. Услыхав теперь от Муравьева, что тот едет в Лондон все-таки затем, чтобы вместе со своими «партийными» предпринять какие-то неведомые меры именно против Проровнера и его кружка, он смутился: «У этих-то, — реалистично сказал себе он, понимая под этими Проровнера и лейтенанта, — у этих тоже ведь Муравьев с приятелями будет враг «номер один». Страшнее-то кошки зверя ведь нет... Но эти-то, пожалуй, слов даром терять не будут, они в демократию играть не любят», — добавил он, прикидывая, каковы же могут быть взаимные действия обеих сторон. Он, однако, по-прежнему сознавал, что ничего не скажет Муравьеву, так как это повлечет за собой выяснение прочих подробностей, потребуется рассказать все, а на откровенный разговор о своих планах он не способен.

Отец Иван опять встал, задев головой низко висящий матерчатый абажур, и в волнении заходил по комнате, кругом, натыкаясь на стулья.

— Простите, Дмитрий Николаевич, — обратился он с надеждой, — вы уезжаете насовсем?

Муравьев, которого злила эта беготня по захламленной комнате, возмущенно распрямился:

— Почему вы так решили?! Конечно, нет! — Он выкрикнул это чуть-чуть горячей, чем надо: все это время он боялся признаваться самому себе, что ему именно следует уехать отсюда насовсем.

— А почему бы вам не уехать совсем? — овладев собою, спросил отец Иван, остановившись и облокачиваясь на комодец. — Вы же англоман, вот и живите себе в Англии. Я давно собирался поинтересоваться: зачем вы живете здесь?

— Я и не знал, что так вас здесь раздражаю.

— Ну что вы, что вы, это ведь шутка, — поспешил отец Иван.

Муравьев потупился:

— Я связан Университетом...

— Ах да, Университет, — неопределенно промямлил отец Иван. — А наладить отношения с каким-нибудь английским университетом вы не можете? — спросил он, одновременно прислушиваясь к чему-то на стороне: в дом кто-то вошел и поднялся по лестнице. — Это тут поселился теперь один вечный студент, «из наших», — неловко пояснил он вполголоса; неловко потому, что «из наших» прозвучало для него самого двусмысленно — студент был из компании Проровнера; но Муравьев ничего не заметил.

— Договориться с английским университетом трудно, сейчас сложные времена, но, честно говоря, я как раз хочу попробовать, — солгал Муравьев; впрочем, какая-то мысль в этом роде у него иногда появлялась.

— Ну, а в Америке? — продолжал настаивать отец Иван чуть ли не шепотом.

— Не люблю Америки.

— Вы же там не были...

— Что это вы так хотите заслать меня подальше?!

— Потому что я думаю, что вам все же нужно заниматься наукой, а не политикой, — неудачно возразил отец Иван.

— Я же только что сказал вам, что занятия наукой безнравственны...

Отец Иван махнул рукой и рассмеялся:

— Мало ли когда и что мы говорим!

— Ну, это уж слишком! — вскипел Муравьев.

— А вы шутите, я вижу, — хохотнул отец Иван, не сдаваясь. — Вы же ученый, у вас и вид настоящего ученого. Я лично никогда не верил, что вы политик. Мне всегда казалось, еще даже до войны, в Петербурге, что вы только придумали себе все это — партию, политику, парламент, а на самом деле вам нужно одно — добраться до своего письменного стола и сесть за книги. Ведь верно?

Муравьев совсем помрачнел, подавленный и всем оборотом разговора, и идиотским гаерским полушепотком отца Ивана. Он ясно видел, что отец Иван думает сейчас: «Ах, зачем тебе вообще нужно все это — университет и политика?!» — то есть думает опять-таки о том, что раз уж у него (Муравьева) есть деньги, раз уж ему не надо заботиться о заработке, о хлебе насущном, так почему бы ему не жить попросту, богатым барином, и если уж очень скучно, работать для себя, потихоньку и не лезть никуда, не морочить голову себе и людям. Не исключено, что у отца Ивана и впрямь вертелось на языке что-нибудь в этом роде; пытаясь как-то смягчить форму, он даже придвинулся, чтобы сесть не напротив, как раньше, а для интимности поближе к Муравьеву, но так и не найдя необходимой интонации дружеского участия, которая могла бы убедить Муравьева, заставить поверить, что товарищ его говорит правду, утомленно откинулся на спинку стула. Он был сейчас грешен вдвойне: ему пришло в голову, что он поступает нехорошо, уговаривая Муравьева бежать от женщины, которая ждет от него ребенка. Это было некрасиво и неблагородно, как священник и просто как человек он не должен был бы этого делать. «Но ведь она хочет его поймать, — решил он называть вещи своими именами, — а ему это вряд ли нужно...» Отец Иван был растерян и видел, что бессилен выбраться из этого положения. Он еще не знал, а Муравьев так и не сказал ему, что Катерина уже получила выездные документы.

Муравьев вытащил из жилетного кармана часы (была половина двенадцатого).

— Извините, отец Иван, — перебил он его, когда тот снова наклонился к нему. — Мне, наверное, пора.

Отец Иван, отшатнувшись, вскочил и торопливо сказал:

— Разумеется, разумеется. И не беспокойтесь, пожалуйста. Я все сделаю. Я буду обо всем извещать вас регулярно... Только вот что... — Он замялся, потом, нагнувшись, в самое ухо Муравьева быстро зашептал: — Я буду посылать для вас телеграммы на адрес своего приятеля в Лондоне, а он уже будет пересылать их вам. Вот его адрес...

Муравьев встал, выпятив грудь, показывая, что все это ему изрядно надоело. Отец Иван страдальчески скривился, затем лицо его приняло строгое выражение.

— Осторожность не помешает, Дмитрий Николаевич, — наставительно сказал он.

Муравьев натянул плащ и направился к двери. Отец Иван спустился по лестнице за ним. Уже в самом низу, отпирая дверь, он закончил:

— Если вы действительно будете заниматься политикой и воевать против здешних, а я буду регулярно вам телеграфировать, то меня сочтут за вашего агента. А я этого не хочу, мне здесь жить... Разве вы не видите, что это настоящая шайка?..

Муравьев сделал вид, что пропустил это мимо ушей.

— Я вряд ли буду отсутствовать больше недели... В Университете против моей отлучки...

Наверху, было слышно, отворилась дверь одной из комнат: кто-то, должно быть, выглянул в коридор и осторожно притворил ее снова. Отец Иван обернулся и, изогнувшись, некоторое время вглядывался: есть там, наверху, на площадке, кто-нибудь или нет? Распрямясь, он посмотрел на Муравьева, пошевелил губами, но ничего не сказал.

— Я говорю, — повторил Муравьев, — что в Университете против моей отлучки среди семестра. Мне не хотелось бы с ними слишком ссориться... Я прошу вас телеграфировать мне лишь в крайнем случае, потому что беспокоюсь... как бы Катерина с ее характером... не натворила бы здесь чудес...

Отец Иван глубоко вздохнул.

— К сожалению, мы оба с вами, видимо, многого не договариваем.

Да всего и не скажешь... Чего бы вам не уехать и не жить с детьми?.. Все-таки лучше этого ничего нет. Я теперь думаю, что это лучшие часы в нашей жизни, что мы провели с ними,— сказал он печально.

XV. Почва

Мелик вошел в храм Рождества Богородицы к своему приятелю, отцу Алексею, когда служба уже кончилась и народ разошелся. В опустелом дворе на паперти сидело только несколько постоянных здесь нищих. Он кивнул им, бросил копеечку безногому дряхлому деду и, перекрестившись, вошел внутрь. Церковные старушки со швабрами и тряпками, убиравшие полутемный храм, отперли ему застекленную входную дверь.

— Давненько, давненько тебя не было,— сказала одна из них, благоволившая ему.— Иди, он уж спрашивал, я говорю, нигде не видела что-то.

Поцеловав икону Богородицы, только что нацелованную до него сотнями губ и, чудилось, еще сохранившую тепло, и снова крестясь, он вошел через боковую дверь в иконостасе в алтарь. Алексей с другой стороны от алтаря, в глубине ниши, переодевался, стоял в брюках, голубой рубахе и подтяжках. За последние два-три года Алексей как-то сразу нездорово растолстел (Мелик помнил его еще совсем юным худосочным студентом Духовной академии; они познакомились как раз тогда, когда Мелик вышел из лагеря), и, подходя к нему, Мелик не выдержал и засмеялся.

— Ты что возрадовался, сын мой? — спросил Алексей, натягивая жилетку и поправляя съехавшие подтяжки.

Он называл Мелика «сын мой», хотя был лет на пять моложе, но благодаря своей толщине, появившейся хриплой частой одышке и, может быть, положению (Мелик предпочитал не думать об этом) чувствовал себя старше.

— Не жалеешь ты себя,— сказал Мелик и похлопал его по мягкому животу, одергивая жилетку.

— Что делать, что делать, сам не знаю,— вздохнул Алексей.— Ты видишь, как живу. Не жизнь, а каторга. Всего не успеваю, приходится ездить, то на машине, то на такси. Воздуха не вижу, вот и толстею. Загружен, очень загружен. Вот так...

Хрипя и задыхаясь, он провел ребром ладони по тройному, жирному, гладко выбритому подбородку с крошечной аккуратной бороденкой размером не больше спичечного коробка. Он говорил тенорком с простонародными интонациями, немного еще иногда утрируя их,— он был из семьи самой простой, Мелик знал его отца-алкоголика и двух братьев, работавших на стройке малярами. Правда, он давно уже не видел их— Алексей в последнее время сделал в некотором роде карьеру и к себе их по настоянию жены не приглашал, но сам бывал у них часто. Помимо протоиерейского чина здесь, в храме, он преподавал еще в Академии, и, хотя, безусловно, не знал ничего, в том числе и языка, год назад стал доцентом, считаясь специалистом в протестантской теологии, и много ездил теперь за границу для участия в богословских диспутах и светских конференциях по развитию дружественных связей. Так что то, что сказал он насчет своей загруженности, было верно.

— Ну, что, пойдем?— Алексей наконец оделся, влез в пальто, расчесал потные кудри, взял маленькую кожаную шляпу с узкими полями.

В левой руке он нес большой, набитый чем-то портфель и зонт, правой благословлял на ходу старушек уборщиц и нищих. Идти, впрочем, было недалеко: если разрыв между службами был невелик или скоро предстояло еще какое-то дело, Алексей радовался случаю не ехать домой, на другой конец города, а оставался отдыхать поблизости, в соседнем переулке, где знакомая богомольная семья, муж и жена, предоставляли ему для этого комнатку и кормили.

Мелик не раз бывал там у него. Он шел за ним чуть сзади, наблюдая, как Алексей смешно солидно семенит по переулку, как все смотрят на него и дети прекращают на несколько мгновений свои игры, зная, что идет поп. Он вдруг увидел и себя самого со стороны, глазами детей,— маленького, взлохмаченного, поспешающего за толстым, пыхтящим попом,— и решил, что дети наверняка думают про него: а вот бежит служка,

прихлебатель. Иногда он гордился тем, что сохранил юношескую фигуру, подвижность, легкость, сейчас это казалось ему постыдным.

Алексей, видно, истолковал его молчание по-своему и скороговоркой, отдуваясь, пробубнил:

— Не забыл, не забыл, не бойся. Был, разговаривал, надо еще обождать маленько.

Он остановился перед подъездом, опираясь обеими руками на зонт, тяжело дыша и глядя вверх на ранние сумерки.

— Ты не спеши, дай дохнуть воздуха. Вот, только так и дышу. А ты все торопишься. Куда, спрашивается, сын мой?

Мелик почувствовал неудовольствие в его тоне, но и сам был раздосадован даже, ибо когда шел сюда, то надеялся все же, что вдруг его дело сдвинулось.

— Ну, хватит,— резко сказал он, толкнув ногой дверь парадного.— Вот на тебя смотрят. Пойдем.

Тихие хозяева в тесной прихожей ласково кланялись им. Мелик повесил пальто, прошел в комнатку, сел в углу под иконками, боком к столу, повернув на подоконнике тяжелый цветок алоэ, чтобы листья не лезли ему в лицо, и отодвинув, натужась, к дивану ножную швейную машину. Он сам не предполагал, что будет так подавлен отрицательным ответом: ему казалось, что он почти не верил ни во что, заранее и давно уже примирился, что все так и будет.

Алексей за дверью быстрым и любезным, но властным тенорком говорил хозяйке, что обедать не будет, сыт, и Мелик разозлился еще больше, что тот забыл про него. Алексей вошел, плюхнулся на диван, расстегнул, положив на колени, портфель, вынул оттуда несколько яблок, пачку печенья, порылся еще и, кряхтя, достал со дна бутылку коньяку.

— Сдерни-ка салфетку со стола, там что-то есть еще,— показал он. На столе в тарелке, прикрытые салфеткой, лежали печеные пирожки, рядом стояли два граненых стаканчика.

— Так ты что, принял уже сегодня?— поинтересовался Мелик.

— Да ты что? Как можно, сын мой, как можно! Я перед службой не пью. Это вчера мы тут с одним святым отцом беседовали... Вот, смотри, книгу я у него купил. Давно хотел купить, он все не соглашался. А тут я ему из Берна кое-что привез, он и продал, отмяк. А у меня как раз этого тома не было, видишь, в каком состоянии. Как только вчера из типографии.

Мелик нехотя полистал тисненый томик, усмехаясь тому, что, наверное, он первый и последний человек, который листает эту книгу, если только Алексей, собравший себе для престижа большую библиотеку, но не прочитавший оттуда ни единой книги, не обменяет эту на что-нибудь еще.

— О тебе мы вчера говорили, между прочим, сын мой,— заметил Алексей, пересаживаясь к столу на табуретку верхом и откупоривая тугую пластмассовую пробку зубами.— Ты ешь пироги. Я от обеда отказался, ты не обижайся. Начнут хлопотать, туда-сюда, ну их. Устал. Хочется посидеть спокойно.

— О чем же говорили?— не утерпел Мелик, досадуя на себя за это.— Он кто, твой святой отец-то? Белодедов, что ли?

— Белодедов,— подтвердил Алексей.— Ты напрасно, сын мой, к нему плохо относишься. Он весьма достойный муж и тебя возлюбил.

— Ну ладно,— буркнул Мелик, которому отец Белодедов казался всегда хитрой старой лисой.— И что же он сказал?

— А вот сказал как раз, что очень уж ты нетерпелив, сын мой. Смирения в тебе настоящего нет, тишины. Давай выпьем. Ну, Господи, помилуй.— Он крякнул и вытер заструившуюся по подбородку влагу.— Не чувствую, говорит, в нем умиротворения. Люблю его, говорит, очень, но неспокойный он. Хе-хе... Ну, я, конечно, ему цену знаю,— прибавил Алексей, внезапно что-то вспомнив.

Мелик кивнул, выпивая.

— Я ему говорю,— продолжал Алексей.— У него, мол, жизнь трудная. А он отвечает, что, мол, все равно, нужно, чтобы смирение было. Смиренно нести бремена свои, сын мой. Чего, говорит, он не женится, а? Жена, говорит, и покормит, и напоит, и спать уложит, и подштанники постирает... Хе-хе!— опять засмеялся он.— Тебе бы, думаю, мою жену!

— Так что, она тебе теперь уже и не стирает, что ли? — угрюмо спросил Мелик.

— Эхе-хе-хе-хе-хе, — протяжно завздыхал Алексей. — Ты что, сам не знаешь? И кормит, и стирает, да ведь лучше бы ее и не было, а? Ведь сука, прости, Господи, мою душу грешную, прости, Господи. — Он обернулся на икону над головой Мелика и перекрестился. — И не хочешь, а согрешишь. Сколько крику, сколько ругани, сил моих нет. Ведь нельзя людей в дом позвать. Третьего дня пришли люди, сидим у меня в кабинете, беседуем. Вдруг она, как с цепи сорвалась, влетает: «Где моя зажигалка?!» Зажигалку я ей привез золотую, не золотую, конечно, так, ерунда какая-то. «Ты ее, говорит, дьякону продал!» Дьякон Васильев у меня перед этим был. Я говорю: «Помолчи, милая, найдется. Нельзя же так. Тут люди». «Нет, орет, давай сейчас, ищи, без нее не уйду!»

— А куда она собралась?

— Да никуда, на работу к себе. Зажигалку эту, между прочим, я ему действительно продал. Так надо было. Но ведь не в этом дело, верно? Эх, сын мой, как я жалею, что в монастырь ие ушел. Ведь можно было. Хотел даже. Какая бы жизнь была! Налей еще. Ешь, не стесняйся. Яблочком закусывай... Не женись, сын мой, так, как я, не женись. Почему б тебе в монастырь не пойти?

Мелик почувствовал себя еще больше мальчишкой, взглянул мельком в круглое зеркальце, висевшее на ленточке над диваном напротив, — оно отразило смуглое худое, нервное лицо — и отвернулся.

— Тяжело, — объяснил он коротко.

— А чего тяжелого-то, сын мой? — удивился Алексей. — Ничего тяжелого нет. Ну-у, тяжело, конечно... Зато как хорошо, а? Ни забот, ни хлопот. А какие возможности... Я, например, очень жалею, что по этой линии не пошел. Возможностей больше. Я бы, конечно, кого-нибудь имел. Это уж так... — Он неопределенно покрутил пальцами. — Денег бы тоже имел не меньше. Помогать родителям мог бы даже лучше — на эту-то козлицу трат никаких. Ну, и возможностей больше, — еще раз повторил он. — Соглашайся, сын мой, а?

«Боже мой, — подумал Мелик, — когда я пятнадцать лет назад выходил из лагеря и сказал себе, что буду служить Богу, посвящу теперь всю свою жизнь Ему, предполагал ли я, что все обернется вот так, гадко, пошло, что все потонет в этих пьяных переговорах с попами, в этих советах, просьбах поговорить еще с тем-то и тем-то. Пятнадцать лет прошло, пятнадцать лет. — Он вдруг точно увидел их перед собой, эти пятнадцать лет, на вышитой простенькой скатерти. — Ну, хорошо, первые пять лет я чувствовал, что еще недостоин, что ничего не знаю, читал, учился, лишь только подходил к Церкви. Искал себе в ней людей, мне близких, у которых бы я мог учиться. Нет, не пять, даже лет, пожалуй, семь. А потом, когда я решился?.. Началось вот это... разговоры, унижения. Я ли уж не смиренен? Да я смиреннее всех вас раз в десять!»

— Да что, соглашайся, не соглашайся, — саркастически засмеялся он, — опять ведь будет то же самое!

Алексей поглядел на него подозрительно:

— Что то же самое, сын мой?

— Да то же самое! Вот ты скажи, скажи мне хоть раз по-честному, в чем дело? Ведь они ко мне неплохо относятся, я знаю. Я вон и к владыке Михаилу прихожу, я же вижу, он рад мне, и в Ленинграде, те, как они меня принимали! В чем же дело? Почему нельзя сделать такую простую штуку? Скольких рукополагают, что, они достойнее меня все? Ты мне ответь по-честному, чего они боятся. Почему не хотят, чтобы я мог посвятить себя Тому... Тому делу, единственно которому хочу я себя посвятить?.. Хорошо, я сидел. Так ведь все сидели. Я был тогда еще мальчишкой. Я реабилитирован полностью. Кто-то пустил слух, что я стукач, я знаю. Ну, хорошо, говорю я, пусть даже будет так, я даже не хочу спорить. Но ведь у вас в Церкви их не меньше половины, не так ли? Пускай проверят. — (Он немного осекся, потому что сообразил вдруг, что про Алексея самого говорили то же, и Алексей однажды по пьянке туманно каялся ему, что в чем-то грешен.) — Ну ответь мне, скажи правду, — добавил он менее уверенно.

Алексей, и правда, оторопел от его слов. Ему было жарко, он не-

сколько раз вытер рукою пот со лба, скинул пиджак на стул, расстегнул жилет и верхние пуговицы брюк.

— Видишь, сын мой, какое тут дело... Налей еще, давай выпьем за тебя. — (Мелик налил по полной, они чокнулись, Мелик поблагодарил кивком Алексея, выпил и разочарованно покривился на то, что Алексей не стал пить до дна, а, отпив немножко, поставил рюмку.) — М-да, сын мой, — продолжал Алексей. — Беспокойство в тебе большое заметно. М-да. Вот в чем дело. Они это видят. Вот и боятся. Почвы в тебе нет. Почвы.

— Почвы?!

— Да, сын мой. Ее самой, — подтвердил Алексей, неуклюже задом сползая с табуретки обратно на диван. — Они и боятся... неприятностей.

— Тоже почвенники нашлись! — вырвалось у Мелика. — Знаю я цену этой почве! — Он вдруг услышал (второй раз сегодня будто со стороны), что сам дышит, как Алексей, шумно, со свистом и сипеньем. Злоба душила его. Ему внезапно захотелось крикнуть и кричать, не останавливаясь, дальше, пока не выложит все, что на самом деле думает об этих людях, об их почве, об их Церкви! Нет, этого нельзя было делать. Он стиснул руки, прихватив и скомкав край скатерти под столом. «Разнести бы сейчас все. Ах, как они бы все забегали!» Со злорадством он представил себе встревоженные добрые лица хозяев и, внутренне дрожа, разжал руки.

— Эх, тяжело тебе, понимаю, — посочувствовал Алексей. — И деньги, они, конечно, тоже играют роль. У меня тут есть несколько книжек... продай, часть себе возьмешь, пополам.

Мелик, закрыв глаза, чтобы не видеть его, кивнул в знак благодарности. Потом, чтобы показать, что вспышка была вовсе случайной и он не придает всему этому никакого значения, спросил:

— А помнишь, ты обещал меня свозить к Никифору? — (Это был новый, быстро выдвинувшийся епископ, от которого теперь многое зависело.)

— Как же, как же, сын мой! — откликнулся Алексей, тоже тотчас же попадая в обычный тон. — Обязательно исполним. Сейчас не время только еще. Я с ним говорил уже о тебе. Сделаем, сделаем. Он сейчас в Крым уехал на неделю.

Мелик вдруг ясно увидел почему-то, что он врет, — не про Крым, а про то, что говорил с епископом и будет говорить еще.

— Ну что ж делать, — услышал он опять будто издали свой вялый голос. — Потом поговори обязательно... Тебе и самому надо отдохнуть. Поспи, а я пойду, пожалуй.

Он хотел уйти сразу, но вдруг ощутил голод и, хотя Алексей обрадованно начал уже устраивать себе изголовье из вышитых подушечек, не ушел, а начал жадно есть, хватая вперемежку холодные пирожки с капустой, яблоки, печенье и наливая себе одну рюмку за рюмкой, пока не опорожнил всю бутылку. Торопливо жуя, он отрывисто рассказывал Алексею еще что-то, якобы сокровенное, и, вероятно, с тайной целью доказать свою почвенность — о своих планах женитьбы, о тетке под Москвой и других, возможно, еще живых родственниках, которых он собирался обязательно разыскать.

Алексей уже не пил, он мучился, задыхаясь, пот лил с него градом.

Когда Мелик вышел на опустевшую теперь улочку, было еще не поздно, еще не стемнело совсем, но дети уже разошлись по домам. Отяжелев от питья и еды, он казался самому себе большим, грузным и даже пожалел, что дети не видят его. «А что это я ему рассказывал такое? — постарался он вспомнить, немного отрезвев на свежем весеннем вечернем воздухе. — Ах, да, про женитьбу! Получилось почему-то, что я хочу жениться на Таньке Манн. Вот чудеса! Нет уж, благодарим покорно. Это в юности мне представлялась богиней, а теперь...»

Он вышел к метро, на освещенную замусоренную, вытоптанную площадку скверика, в толчею случайных спешивших домой прохожих, местных забулдыг, патлатых молодых людей с деревенскими простецкими лицами и девок с горевшими щеками. Он порылся в кармане, отыскивая мелочь и собираясь уже спуститься в метро, но тут же раздумал, ехать домой не захотелось; он почувствовал, что эта вечерняя лихорадочная толпа не отпускает его. К тому же вдруг он ощутил снова приступ голода. Некоторое время он постоял нерешительно у самого входа, послонялся вокруг,

рассеянно оглядывая девушек и рассуждая, к кому бы ему пойти. «Ба, к Левке, — наконец сообразил он, — ведь это недалеко, можно дойти пешком».

Он пошел быстро, набирая скорость, становясь снова подвижным и легким, но теперь это почему-то не огорчало его. Он даже заметил с удивлением, что настроение у него вопреки тому, что было, хорошее и обычного после таких разговоров неприятного осадка нет. Что-то случилось, и он ощущал себя сейчас свободным не только ото всего, что связывало его с Алексеем, но даже от чего-то еще большего.

Он попытался определить, что именно это такое, в чем тут дело, но запутался. Быстрая ходьба мешала сосредоточиться, а сбавить шаг он не хотел, боясь, что дойдет слишком поздно.

Лев Владимирович открыл ему дверь, не выразив особой радости на обрюзгшем бледном лице с усталыми припухшими глазами, но сказал между тем, проходя вперед, что очень, очень рад, что Мелик зашел, а то он сидел один, все думал, с кем бы выпить.

— А где ж твой сосед? — спросил Мелик. (У Льва Владимировича был единственный сосед по квартире, такой же разведенец, шофер.)

— Он в рейсе, он теперь на грузовике. Вот такой огромный грузовик, в любой конец страны. Тебе ничего не надо привезти?

— Нет, благодарю.

— А ты уже успел где-то приложиться?

Мелик смущенно махнул рукой.

— Я у Алексея был. Знаешь? Я рассказывал, наверно.

— А ты, значит, э т и м все еще занимаешься? Я уж думал, ты давно отстал от этого, — сказал Лев Владимирович, хотя был, конечно, в курсе всех его дел, а со встречи у Ольги и в Покровском прошло меньше недели. Но он все равно повторил: — Я думал, что ты этим больше не занимаешься. Мне кто-то сказал даже, что ты с этим завязал. Подожди, кто же это мне сказал? Я спрашиваю: «Как Мелик? Все еще т о г о?» А он мне говорит: «Нет, давно уже нет».

Лев Владимирович захохотал, довольный своею шуткой.

— Иди ты в ж... — нехотя огрызнулся Мелик. — Ты говоришь, есть выпить? Давай, если есть. Мне твоя болтовня... — Он выругался сложно и бессмысленно.

— Ого, — поднял разросшиеся брови Лев Владимирович. — Нервишки? Мы чем-то расстроены? Ну ладно, пойдем на кухню, садись.

Они прошли на кухню, где, Мелик знал, Лев Владимирович всегда и питался, с тех пор как от соседа ушла жена, а то и проводил целые дни, раскладывая по кухонным столам и подоконнику свои книги, — здесь было, наверное, теплее.

— Ты будешь у меня кухаркин гость, — Лев Владимирович теперь развеселился уже по-настоящему, хлопотал, доставая из фанерного шоферского шкафчика рюмочки и тарелки. — Но сегодня я, так и быть, тебя угощаю по-царски, с барского, так сказать, стола, хе-хе-хе, — воскликнул он, полезая за окно и доставая оттуда кастрюли. — Холодильник проклятая баба увезла-таки. Живем без холодильника. Что будем делать летом, не знаю. Я деньги должен получить за книжку, но ведь обидно тратить деньги на холодильник, а? Лучше пропить, верно?

— А что в кастрюльках, суп? Я супа не хочу, — предупредил Мелик.

В кастрюльках, завернутая в промасленную бумагу, оказались красная и белая рыба, копченая колбаса.

— Так, так, — сказал Мелик. — Хорошо живешь.

— А ты думал! — оглянулся Лев Владимирович, доставая еще какие-то баночки.

Мелик разглядел: грибы.

— А это уже домашнего приготовления? Любовницу завел?

— Тебе не все равно?

Лев Владимирович ушел в комнату и вернулся с бутылкой коньяку.

— Второй раз сегодня коньяк буду пить! — искренне восхитился Мелик. — Вот это да! Новая жизнь. Вита нуова.

— Вот и пей, милый, — посоветовал Лев Владимирович, расставляя всю эту снедь. — А то сразу — откуда, кто принес? Что вы за народ такой! Нехорошо. Нехорошо.

— Ты тоже не суетись особенно, — заметил Мелик.

Лев Владимирович сразу неожиданно успокоился, охладев к своим хозяйственным приготовлениям, сел, равнодушно оглядывая стол.

— Ну, расскажи о себе, — предложил он.

— А что рассказывать-то?

— Значит, у тебя все это дело опять срывается? Ох-хо-хо. Значит, так и не увидим мы тебя в митре, с епитрахилью через плечо, с чем там у вас еще полагается, сын мой?

От этого «сын мой» Мелик вздрогнул и замер. Мелькнула мысль: неужели они знают друг друга, связаны, а сам он все время на таком приколе? Нет, этого не могло быть.

— Тебе надо это бросить, — сказал Лев Владимирович сочувственно. — Бросил бы ты это. Твое здоровье.

Мелик выпил. Коньяк горячо и сильно заново обжег грудь изнутри.

— Хороший коньяк, поповский был хуже, — с трудом выговорил он.

— Вот то-то и оно, что хуже.

— Это когда как, — возразил Мелик смеясь и неожиданно для самого себя беспомощно (или с какою-то тайной мыслью — он и сам не знал толком) обратился ко Льву Владимировичу: — Ну хорошо, а что же мне делать?

— То есть?! — с готовностью откликнулся Лев Владимирович.

— Ты говоришь, бросить. А сколько мне лет-то, ты знаешь? Мне уж поздно что-нибудь менять. Мне уж за сорок. У меня ведь ничего, кроме этого...

— Что за ерунда! — запротестовал Лев Владимирович, жуя. — Я, когда вышел из лагеря, мне тоже было сорок. И ничего!

— У тебя уже была специальность.

— Какая? Литературоведение. Это разве специальность. Ты что, не можешь писать? Ты же пишешь какие-то там заметки? Или ты, как Вирхов, взялся за роман, что ли? Обнять всю Россию с точки зрения экономической, географической и так далее. Что это вы все дурью мучаетесь?

— Нет, я не могу писать этих идиотских твоих статей! — брезгливо потряс головою Мелик. — Что я, их не читал, что ли? Это, по-моему, насильственно кастрировать самого себя! Что такое — тыр-пыр, «нельзя не заметить», «вместе с тем», — это же гадость! Лучше уж помирать с голоду.

— Да вы ведь и с голоду не помираете. В том-то и дело! — оскорбленно закричал Лев Владимирович. — А живете химерами! Нереальной жизнью живете!..

— Почему нереальной? — упрямо возразил Мелик. — Наоборот. Я как раз, мне кажется, исхожу из реальной своей жизни. Я так живу. Я не могу жить иначе. Я п о с т а в и л н а э т о. Мне поздно заниматься чем-нибудь иным. Я уже не могу делать ничего другого. Я могу играть только в эту игру. Переучиваться поздно... И если они передо мной эту дверку закроют... тогда я пропал. У меня ничего нет, я нищий. Понимаешь? — ожесточаясь, прошептал он. — У тебя тут икорка, рыбка, ты как-то устроился. Книжки пишешь, врешь там с три короба...

— А ты не врешь? — успел вставить Лев Владимирович.

— Может, и я вру тоже, — согласился Мелик, лицо его исказилось. — Но, видишь, мне никак не удается соврать как следует. Чтобы мне за мое вранье заплатили побольше. Я и хочу, понимаешь? А меня обратно выталкивают! Не дают мне пролезть! — Паясничая, он вскочил и заметался по узкой кухоньке. — Нет, я не могу больше выдержать этого, — сказал он, наклоняясь над Львом Владимировичем. — Не могу. Я их ненавижу, понимаешь?.. Слушай, — сказал он вдруг, — я хочу уехать. Отвалить отсюда совсем, из Союза. А? Как ты на это посмотришь? Мне кажется, они не должны мне препятствовать, ты как считаешь? — спросил он с внезапной безумной надеждой на то, что если Лев Владимирович действительно служит у н и х и приставлен к нему, то он сейчас подтвердит это принятое и м и решение: не препятствовать (это и была, как он теперь понял, именно та тайная мысль, с которой он затеял весь этот разговор о том, что ему делать).

Но Лев Владимирович лишь скептически хмыкнул и слушал безразлично, посчитав это, вероятно, лишь за обычную болтовню.

— Я, мне кажется, им здесь не нужен,— решил настаивать Мелик, пытаясь все же вытянуть из него что-то.— Зачем я им? Без образования, без специальности. Личность сомнительная. На службе я, как ты знаешь, только числюсь — курьером. Начальник у меня верующий, вот он меня и почитает за апостола... Я бы на их месте мне не мешал, а? Ха-ха-ха. Ты как считаешь?

— Я не понимаю, как ты хочешь поехать? В туристическую поездку? Тебя не пустят. Или ты надеешься просто подать заявление? «Выпустите меня». Или хочешь жениться на еврейке? Хватит вздор молоть!— досадливо поморщился Лев Владимирович.

— У меня сейчас как раз приоткрылась одна возможность,— осторожно заметил Мелик, следя за его лицом.

— Какая?!— раздраженно воскликнул Лев Владимирович.— Что за херня! Какая у тебя может быть возможность? Что, тебя через границу, что ли, кто-нибудь будет переправлять? На черта ты им нужен. У них других дел нет, кроме как кретинов принимать из России?! Что вы все как с ума посходили! Кому вы там нужны за границей? Эти теперь тоже рехнулись со своим еврейством— Турчинский, Митенька Каган. Турчинский сидел у черта на куличках, спятил, теперь приехал, как бык,— ух, ух! Но эти-то похитрей тебя. Они хоть сразу из-за границы какого-то сиониста нашли. Они-то свое дело сделают, если только их не посадят. А ты-то так на мели и останешься. Все будешь рассуждать: препятствуют, не препятствуют...

— Какого сиониста?— заинтересовался Мелик, отмахнувшись от последних слов.

— Да вот к Таньке сейчас бегает. Теща звонила, говорит: каждый день сидит, не знаю, что делать. А у нее свои бзики, тоже не приведи Господи. Тьфу!

Мелик засмеялся:

— Ладно тебе, хватит. Расскажи лучше, что за сионист.

— Я почем знаю. Худенький, скромненький, теща говорила, и на еврея-то не похож, глазки светлые, так только что-то проскальзывает— в ушках. Он ей, видишь, все кого-то напоминает. Так она третью ночь не спит, извелась бедная. Ее тоже пора уже кой-куда отправить. Вот только сына она моего пасет, за то и терплю. А Танька, зараза...

— Скажи, как интересно,— перебил его Мелик, полуприкрыв глаза, чтобы не выдать своего волнения.— А откуда же они заключили, что он сионист? Он сам им признался? Это мне кажется странным. Судя по всему, они ведь с ним только что познакомились?

— Почем я знаю?— повторил Лев Владимирович, слишком увлеченный своими мыслями о семье и химерах друзей.— Это мне умный мальчик Митенька Каган сказал. Да мне наплевать, кто он. Меня бесит только, что Танька, зараза, так ведет себя. Дешевка. Обязательно, б..., чтоб вокруг были несчастненькие, обязательно кого-то учить, наставлять, кому-то проповедовать. Только чтоб вокруг нее сидели и смотрели ей в рот, а она будет им мозги пудрить. И она кому хочешь, что угодно наплетет. Святая Тереза Авильская. Сука. Талант, ничего не скажешь. Вон и ты тоже с раскрытым ртом до сих пор ходишь, вместо того чтобы переспать с ней в свое время... Да, ладно!— замахнулся он на Мелика через стол, потому что ему померещилось, будто Мелик хотел сделать какой-то протестующий жест.— Мне наплевать, если и переспал. Только ты не переспал. Меня не обманешь. Теперь уже не переспишь! Если смолоду не переспал, то потом никогда ничего не выходит. У меня сколько раз так бывало. Встречаешься через десять лет, и она вроде еще ничего и хочет, а обязательно что-нибудь да и помешает. Вот интересно, почему так?

— Ты несколько увлекся,— рассерженно прервал его Мелик.

Лев Владимирович вскинул на него живые глаза, на миг сверкнувшие. Мелику стало не по себе.

— А тебе чего нужно-то?— спросил Лев Владимирович, придавая взору снова прежнее дурашливое выражение.— Ах да, ты все об этом, об загранице... Так я и говорю,— в том же темпе переключился он,— я и говорю, что вы все идиоты. Что вы, какая вам заграница, кретины! Кому вы там нужны? Сидели бы уж лучше здесь и не рыпались. Ведь вы же там не сможете жить, дурачки. Вы должны Бога благодарить, что здесь

живете. Вы же ни хера тут не делаете, кантуетесь, языками мелете туда-сюда и еще жалуетесь. Свободу вам подавай, свобода вам нужна! А зачем вам свобода? Да и потом, разве у вас ее нет?— сказал он уже спокойнее.— Ну вот ты сам, посмотри на себя, как ты живешь. Ты же свободный человек! То туда пойдешь, то сюда, то там поднесут, то здесь, то у того перехватишь, то у другого. Попы твои тебя к себе не подпускают? — так радуйся. Такое на себя взвалить. Пожрать, выпить дают— и хорошо. А там?! Там уж за так не выпьешь. Там сразу «вифиль копеек»? Битте-дритте! Там сразу за горло! Эх, милый, и т а м т о ж е л ю д и.

— Я и не собираюсь там бездельничать,— возразил Мелик.— И ни о какой такой свободе я не мечтаю. Единственное преимущество, которое я там вижу, состоит в том, что, как мне кажется, там можно заниматься тем, чем ты хочешь, и получать за это деньги. В этом смысле там действительно существует свобода. Это несомненно. Вот ты сам, например, неужели ты не веришь, что там мог бы делать то, что ты делаешь, гораздо свободнее, лучше и получал бы за это больше?..

Он недоуменно замолчал— реакция Льва Владимировича на эти слова показалась ему в первый момент странной: тот неожиданно как-то ссутулился, по-обезьяньи скорчился, согласившись что-то уж слишком быстро, печально усмехнулся.

«Значит, то, что я предполагал о нем,— правда,— догадался Мелик.— Да, похоже, что там он действительно э т и м заниматься не сможет лучше, чем здесь».

Лев Владимирович сидел с немного отсутствующим, рассеянным видом, глядя куда-то в сторону, живые картины его настоящей деятельности, вероятно, представали сейчас ему там, на желтой кафельной стене над газовой плитой.

— А, все это херня!— выругался он, встряхиваясь.— Все это пустословие. И в свободе вы ничего не понимаете. Вы все хотите от самих себя убежать, потому и придумываете себе игрушки. То Церковь, то Америка. Сионизм теперь тоже еще. Сионисты х...евы. От самого себя не убежишь, мой милый. Ни в Церковь, ни в Америку. Вы все врете себе, самих себя стараетесь одурачить. Ничего это вам удается, надо признать. Удается. Я, впрочем, и сам отдал этому немало, пока понял, что это все херня! По мне сейчас будь ты хоть кто — понимаешь? — но только помни все время, кто ты есть, п о з н а й с а м о г о с е б я! Вот это великий лозунг! Мне Сократ теперь нравится очень. Познай самого себя,— торжественно повторил он, подымая палец.— Не забывай о себе ничего т а к о г о! Вот. А вы все стараетесь о себе забыть как можно больше, в ы т е с н я е т е. Делаете вид, будто ничего не произошло... И ты знаешь,— задумался он, удовлетворенно поглаживая длинной своею рукой плешивую седую голову,— у кого я научился этому? Не поверишь. У Таньки! Ха-ха-ха. Не веришь, да? Потому что она первая все забывает, хоть память у нее знаешь какая. Но научился у нее. Потому что она как буйвол!— вдруг зарычал он, ударяя ладонью по столу.— Как танк! Напролом! Напролом ходит. Это все штучки— тоненький голосочек, кресты, поклоны, а на деле— танк! Мотор. Как машина идет. Не в ярости, а так, напролом, через тебя. Потому что ты для нее не существуешь. Тебя нет, ты меня понимаешь?! И вот тут я вдруг постиг для себя...

Мелик не понял последнего, но был уязвлен внезапно другой мыслью. «А ведь он меня поймал,— поразился он.— Сократ. Как же! Подлец! Он же специально втравил меня в этот разговор: что нашли сиониста. Нет, я сам его затеял. Все равно он знал, что я на это попадусь. Тонкая работа! А это уже теперь идет камуфляж. А я, дурак, поддался. Значит, он знал, что я встречаюсь с Гри-Гри, знал и нарочно сказал, что он сионист, чтобы меня проверить, посмотреть, как я прореагирую. И я прореагировал. Купился! А он ведь сам, наверняка сам, пустил эту «утку» о сионизме. Сократ. Осторожненько подпустил той же теще, а уж от той пошло дальше. Ну хорошо, а сам Гри-Гри? Если он с этими поддерживает ту же версию, то следовательно... Что следовательно? Нет, этого не может быть. Наверно, Танька просто спросила его, а он не стал возражать, она и решила, что это правда. Хитрая скотина. Тогда это еще ничего. Они ведь привыкли хитрить, умалчивать. Когда шли к Хазину, согласился же он со мной— не открывать себя, сказать только, что он просто интересуется обществен-

ным движением в России. Да, но это ничего не доказывает. Если они связаны со Львом, а тот ведет двойную игру, ему ничего не стоило согласиться. Обмануть и меня, и Хазина... Провал, полный провал,— панически рассуждал он.— Что же мне делать? Теперь уже по-настоящему, что же мне делать? Неужели они так обложили меня? Ведь я же, в сущности, ничего не делаю. Одни же разговоры, больше ничего нет. Сейчас же за разговоры не сажают. Боятся, значит. Превентивные меры. Да, религии они боятся. Надо что-то предпринять, иначе слопают. Надо выяснить. Нет, спокойно, спокойно. Надо еще выяснить. Они подозревают, что я играю какую-то роль. Потому и э т и не берут. Одна система. Но у кого узнать? Этих дураков тоже облапошили. У Ольги. Она, конечно, в курсе всех сплетен, но может знать только внешнюю сторону. Хотя этого тоже нельзя упускать, там могут быть важные факты... У Таньки! Она не соврет. Она, конечно, тоже не знает ничего, но она умная баба, она может догадываться и в таком деле не соврет. Она чувствует, интуиция есть. Будет плести ахинею, конечно, но из этого можно выудить что-нибудь. Я за словами пойму. Да, надо пойти к Таньке...»

Громко затрещал телефон, принесенный на длинном шнуре сюда же, в кухню, и поставленный в углу возле плиты на табурет. Звонил приятель Льва Владимировича, Мелику неизвестный. Разговор был явно деловой: о каких-то деньгах, даче и неудовольствии кого-то третьего. Лев Владимирович как будто немного оправдывался, был смущен тем, что Мелик присутствует при этом, и несколько раз даже машинально понижал голос, прикрывая трубку рукою, хотя Мелик сидел в двух шагах и слышал, конечно, все, что говорил тот.

Мелик жалел только, что не мог разобрать второй стороны: приятель звонил, вероятно, откуда-то издалека, и смысл разговора оставался неясен. Утомясь вслушиваться в резкое щебетанье аппарата, Мелик стал пристально разглядывать Льва Владимировича, пытаясь, пока тот говорил, отыскать в его лице черты, наложенные печатью предательства.

— Ну, ладно. Привет Понсову. Жму руку... Что ты на меня смотришь?! — возмутился Лев Владимирович, кладя трубку и, видно, по-своему оценивши взгляд Мелика.— Да! Вот представь себе — я такой! — закричал он полным голосом.— Я всем жму руку! Кто мне протягивает, я тому и жму. Ты мне протянешь, я и тебе пожму. Это и есть свобода. А вы все хотите в скорлупку залезть, чистенькими остаться. Остальных презираете!

— Послушай, а о чем это ты все же беседовал в Покровском с моей теткой? — спросил Мелик.

— А тебе что?! Испугался?! Не бойся, это тебя не касается. О твоем прошлом не спрашивал, не бойся...

— Чистая работа, чистая,— прошептал Мелик.

XVI. «Я — математик!»

Зайдя к Наталье Михайловне в палату, милая пожилая врачица сказала:

— А я только что познакомилась с вашим сыном, Наталья Михайловна. Какой очаровательный малый! Он сейчас придет сюда.

— Да уж малому-то сорок,— сказала Наталья Михайловна, ничем не обнаружив своего волнения, и лишь потом поинтересовалась: — Он что же, заходил к вам?

— Нет, не совсем. Представьте себе, Споковскому (это был директор клиники) давно был нужен математик для исследований, для консультаций, и вот кто-то указал ему на вашего Сергея. Какие бывают совпадения, правда?

Наталья Михайловна только и подумала про себя: верно ли пожилая докторша не знает, как было на самом деле, или, разумеется, обо всем догадалась, но хитрит, чтоб не расстраивать ее. И тотчас же в душе ее стала разрастаться тревога: здешние врачи, конечно, были достаточно опытны, и прекрасно поняли ситуацию с ее сыном, и лишь приняли на время его игру.

Сама она не сомневалась, что значат эти слова — «кто-то указал ему на вашего Сергея», и картина происходящего нарисовалась ей точно. Все это значило, что те две, почти уже три недели, пока она была здесь, ее

сын, боясь как огня сумасшедшего дома, боясь просто так прийти сюда и навлечь одним видом на себя подозрения в сумасшествии, вынашивал фантастические идеи п р о н и к н о в е н и я и после долгих трудов разработал план, который был, наверное, не лишен т е о р е т и ч е с к о й с м е л о с т и, изящества, был построен на тонком понимании чужой психологии, но который тем не менее практически должен был обязательно разрушиться из-за того, что главный исполнитель не мог выдержать до конца свою роль — быть по-настоящему расчетливым,— брал близко к сердцу чужие отношения вокруг, ввязывался в них, кого-то защищал, кого-то ненавидел и кончал тем, что пробуждал всеобщее беспокойство, страхи и желание отделаться от него любой ценой.

Он был физик-теоретик, вероятно, очень способный, хотя Наталья Михайловна в этом ничего и не понимала. Но об этом говорили еще в школе, и уже на втором курсе института его заметили и взяли работать в одну огромную сверхсекретную Лабораторию, в которой он, судя по всему, также выделялся и был личностью весьма популярной, несмотря на то, что там для разработки секретной их проблемы собрали немало талантов. Наталье Михайловне не очень нравилось, что это с е к р е т н а я Лаборатория, что сын ее работает за колючей проволокой, но не нравилось не потому даже, что она догадывалась, что работают они над о р у ж и е м. Об этом всерьез почему-то не думалось, да она и не знала точно, в чем там дело. Беглые размышления лишь оставляли в душе неприятный осадок, оттого что все равно нельзя было решить, хорошо это или нет, и она не считала себя вправе сказать сыну: «Это б е з н р а в с т в е н н о. Как ты можешь заниться этим? Ведь то, чем ты так увлечен, предназначено для убийства людей».

Иногда ей даже хотелось сказать ему нечто в таком роде, когда он слишком радовался какой-нибудь лабораторской удаче и, захлебываясь, толковал о ней с зашедшими к ним друзьями-сослуживцами. Наталья Михайловна с смутным испугом слушала их речи, из которых был исключен и тщательно обходился (из соображений секретности) главный о б ъ е к т, конечная цель, а мелькали только становившиеся постепенно знакомыми фамилии, имена, шифры тем и объектов или в а р и а н т ы р е ш е н и й, но тут же ловила себя на том, что с удовольствием наблюдает, как ровно и быстро пишут они строчки формул, как аккуратно делают численные выкладки — школа, привычка к тяжелому, черному труду уже чувствовалась в них. Так, то пугаясь, то любуясь ими, сыном, который — она не сомневалась — говорил ярче их всех и работал лучше их всех, она не могла решиться вдруг заговорить об оружии, о бомбе, о гибели,— слова эти начинали казаться ей пошлыми, высокопарными, и оттого, что, осаживая себя, ей приходилось повторять себе другую пошлость, что, дескать, «так уж устроен мир», она злилась и на себя, и на своего сына и спешила уйти под предлогом, что не хочет мешать им.

Таким образом, гораздо более все это — с секретностью и колючей проволокой — было ей неприятно потому, что она видела, как нравится это ее сыну, какого очарования исполнен для него режимный распорядок, эти шифры, «особый» отдел, военные мундиры, которые временами нашивали глубоко штатские евреи-академики, с каким рвением сын предается этой игре в солдатики и торжествует, воображая и себя солдатом. Он и был похож на солдата. Наталья Михайловна хорошо представляла себе, как среднего роста, крепкий, квадратный, породой в отца, с горящими глазами (в Александре Матвеевиче была цыганская кровь) он не ходит, а стремительно носится по лабораторским коридорам, топоча, будто боевой слон, в башмаках сорок пятого размера, останавливается с кем-нибудь, развивая свои идеи, и в разговоре все время прыгает, не в силах сдержать кипящую в нем энергию. «Что ты все прыгаешь?» — укоряла его Наталья Михайловна, замечая, что собеседники его на улице, например, часто смущаются. «Чтоб быть в постоянной боевой готовности! — отвечал он.— Николай Николаич учит нас: «Вы — солдаты! Вы как должны?! Ружья наперевес! Где тот интеграл, который надо взять?» — и прыгал на месте, имитируя удар штыком, раз-два.

Наталья Михайловна не находила в нем ни честолюбия, ни тщеславия. Она полагала одно время, что ему, может быть, льстит ощущение исключительности, которое неизбежно должно было возникнуть у этих маль-

чиков, поставленных в такие условия (да и не только у мальчиков), но у ее сына не было и этого или, если и было, то несколько особое: по-настоящему он был поглощен лишь своей принадлежностью к этой Лаборатории, к этой организации, он был человеком оттуда, гордился только этой принадлежностью, но не собой, и ничего вокруг для него не существовало. Были только свои лабораторские кумиры, боги, идолы — начальники, профессора и академики, учившие его считать и ровно выписывать столбцы и строчки формул, и он был всецело их человеком, душою и телом. Наталья Михайловна заочно недолюбливала его учителей и наставников, зная насквозь по его отрывочным рассказам, по шуткам, которые он с восторгом передавал ей, их истинный облик, мелкие человеческие привычки, слабости, жалкие пристрастия, и не могла уразуметь, почему ее сына так опьяняет этот стиль — смесь солдафонства и дешевого академизма. И, страшась, что это калечит его, она не могла простить им, что они, его кумиры, по существу, равнодушны к нему, что они видят в нем лишь молодого, сильного зверя, который прыгает по их команде, и чем выше он прыгнет, тем лучше, и важны красота прыжка, искусство прыжка, а остальное неважно. Он же не раболепствовал перед ними, не старался сделать карьеру, пролезть, наметить себе иные выгоды, он хотел от них одного: чтобы они научили его прыгать еще выше, еще ловчее. Он даже не подражал им, словно знал, что это для него невозможно, — он мечтал лишь принадлежать им, раствориться в них, отказавшись от своей воли.

«Как монастырский послушник, — говорила о нем Таня. — Не иметь своей воли. Странное послушничество».

Дети уже много лет — едва вышли из отрочества — стали совсем равнодушны друг к другу, хотя в отрочестве — Наталья Михайловна знала это — Сергей был тайно влюблен в Таню. Он нелепо скакал тогда вокруг нее, тщился объяснять ей математику, интегралы и уравнения, она понимала, способности к этому были и у нее, но не упускала случая показать ему, насколько это неинтересно. Она пыталась, в свою очередь, проповедовать ему, пылко обращала его в веру, но, убедившись, что это не удается, охладела, смотрела с тех пор на него и слушала его рассказы с вежливым сожалением.

«Послушничество. Послушание. Нет, это солдатчина. Бедный мальчик, дитя военного времени», — думала иногда Наталья Михайловна, надеясь все же, что, может быть, наваждение пройдет и сыну предстанет и еще что-то, кроме высоких, неприступных стен, местных богов и службы.

К тому времени он уже окончил институт; почти сразу ему предоставили комнату рядом с Лабораторией и обещали квартиру, как только он женится. Действительно, он вдруг собрался жениться на девушке оттуда же, из Лаборатории. Наталью Михайловну это ободрило: женитьба была все же чем-то иным, подлинной жизнью, — хоть он и нашел, как ей показалось, из всего многотысячного коллектива жену наименее привлекательную. Молодая жена была расчетлива, практична, плохо воспитана и скоро стала груба и стервозна, но Наталья Михайловна сперва находила в этом даже хорошую сторону: такая жена могла совершить то, на что оказалась неспособна мать, — вернуть сына к реальности, здраво разобъяснить ему настоящую цену его учителей и богов, настоящее значение их к нему отношения.

Она не ошиблась. Выйдя замуж, конечно же, не без обольщения перспективами, простиравшимися перед супругом, молодая жена приложила все усилия, чтобы направить его дикую волю в нужное русло, и начала и впрямь с того, что безжалостно ввела его в курс всей лабораторской закулисной механики, поведала ему истории всех возвышений и падений, взаимных счетов, тайных деловых связей и всем известных адюльтеров. «Они тебя используют. Неужели ты не видишь этого?! — кричала она мужу в гневе оттого, что он так инфантильно смотрит им в рот и ждет, пока они его похвалят. — Они используют тебя, твой талант, твои способности. Они сами уже ничего не хотят делать, хотят, чтобы за них работали другие, такие дурачки, как ты!» Примерно то же говорила она ему о его сверстниках, из которых многие нередко пользовались-таки его помощью, и немалой, обгоняя его, делая на его плечах карьеру, добиваясь чинов, благ и тому подобного.

Однако эффект в целом был не тот, какого обе женщины ожидали. Реальность приоткрылась молодому человеку, он узнал, что, кроме учителей и интегралов, есть еще доброжелатели, недруги, личные склонности, давняя вражда, тайные цели, дипломатия; он обнаружил, что имеется еще и внешний мир, который тоже по-своему относится к их Лаборатории, и с этим надо считаться. Он вдруг ощутил себя гражданином. Наталье Михайловне показалось, что он впервые за всю свою жизнь заметил наличие того, что называется социальными отношениями. Но было уже поздно, что-то было упущено безвозвратно: он не перестал чувствовать себя солдатом.

Только прежде он был солдат чистого разума, чистой науки (учителя его были жрецами этой чистой науки, и все вместе они воевали против абстрактного мирового хаоса), теперь же вся Лаборатория разбилась для него на ряды враждующих групп, взаимно простреливаемых огневых точек, опорных пунктов. Он был обязан воевать уже не с хаосом самим по себе, а с людьми, его олицетворявшими, и поддерживать других людей, олицетворявших порядок, разум. Со всем своим пылом, говоря короче, он ввязался в институтскую Интригу. Остальной мир начал существовать, но и он тоже участвовал в Интриге, то выступая на стороне «Николая Николаевича» и «Александра Петровича», то изменяя тому и другому и выдвигая новые фигуры, внося новый элемент хаоса в едва начавшую налаживаться структуру.

Наталья Михайловна с ужасом смотрела, как добрый ее сын, горя возбуждением, но, как всегда, ровно и аккуратно чертит планы-схемы военных действий, строит временные диаграммы введения свежих сил, возможных измен и контрударов со стороны других Лабораторий (она уже знала, что это называется «применением кибернетических методов») или, безумно волнуясь, запинаясь от старания по-военному рубить ясно и твердо, тоненько кричит в телефон:

— З-з-дравствуйте. Я Л-летороcлев, я сотрудник с-с-ектора Лаборатории... Николай Николаевич п-поручил мне...

Слова «проникновение», «группа прорыва», «психическая атака» не сходили у него с языка.

Наталья Михайловна не сомневалась, чем это кончится: и кумир Николай Николаевич, и все его присные должны были возненавидеть своего добровольного помощника, которым еще недавно гордились. Молодая жена уже не могла спокойно смотреть на него. Беременная (она упустила время сделать аборт или все-таки не решилась), с выступившей вкруг глазниц пигментацией, страшная, она к концу срока, боясь выкидыша, вообще переехала к своим родителям да там и осталась. Счастливый отец прибежал туда раз, второй, на третий его не пустили. Пытаясь хихикать и дурачиться, он попрыгал на газоне под окнами (они жили на первом этаже), крича: «Ната, ку-ку-ку-ку, выгляни в окошко», — до тех пор, пока Ната, приоткрыв створку и высунув наружу голову с накрученным после ванны полотенцем, не заорала ему яростным шепотом (соседи уже выглядывали из других окон, и старухи с детьми у подъездов, уставясь на него, поджимали губы): «Пошел отсюда на х..., мудак!» — и в истерике что-то еще уже за закрытым окном, когда родители оттаскивали ее и задергивали штору. Он приехал к матери потрясенный, в лихорадке, то стараясь острить и тоненько смеяться, то начиная непослушными руками рисовать свои схемы и, к удивлению Натальи Михайловны, ухитряясь все так же ровно и толсто вырисовывать стрелки и кружочки. Из этого отрывочного бреда Наталья Михайловна и восстановила всю картину происшедшего, с отчаянием размышляя, что с годами эта процедура реставрации по кусочкам сыновьего бреда — того, «что было на самом деле», — становится все более обязательной и привычной.

Между тем в Лаборатории, точно, его кумиры, раздраженно кидая ему вослед «услужливого дурака», один за другим выставляли его. В это время умирал, изъеденный раком, многожды раз облученный главный руководитель Лаборатории. Он еще приходил и сидел иногда у себя в кабинете, но дни его были сочтены и Лаборатория готовилась к новой жизни и коренным перестройкам, неизбежным с явлением нового начальства. Улучив минуту, когда в коридорах никого не было, Летороcлев скользнул в кабинет больного с пачкой вычислений и диаграмм в руках.

— Судьба проблемы в руках посредственности! — воскликнул он, подбегая к столу и становясь навытяжку.

Умудренный сложной жизнью и близкой смертью, больной посоветовал ему на это — уходить из Лаборатории немедленно, и сам звонил своим высоким министерским знакомым, рекомендуя им замечательного, подающего большие надежды математика, который наверняка поможет им решить задачи, возникающие в связи с внедрением кибернетики и вычислительной техники в народное хозяйство...

...Лаборатории больше не существовало. Изредка заходил один прежний сослуживец, правдоискатель и романтик, погрустневший и сделавшийся скептиком, да сосед-слесарь приносил невероятные рассказы о том, как пьянствуют разработчики и работяги на новых неудачных многомиллионных установках; остальные, встречая во дворе, в окрестном парке, где они прогуливали своих детей или бегали в тренировочных костюмах, шарахались. Наталья Михайловна видела, что сын забыл все и простил их скорее, чем они его, но не знала — радоваться или нет. Лаборатории не существовало, существовали Комитет, Главк, Министерство, и сын ее тем же срывающимся от волнения голосом кричал в трубку: «З-з-дравствуйте. Я Летореслев. Я с-сотрудник... Иван Александрович п-поручил мне!..» И на другом конце провода снова поражались, зачем Иван Александрович связался с таким, а Иван Александрович, еще вчера очарованный блеском молодого ученого, его умением быстро, логически четко разбираться в том, что и самому ему, сорок лет проработавшему здесь и прошедшему всю служебную лестницу, оставалось неясным, потихоньку злился. Сын же пока еще не замечал этого — он опять был в бою на стороне чистого разума против хаоса, против посредственности, служившей этому хаосу агентом и забравшей в свои руки судьбу важнейшей государственной проблемы.

Друзьями сына теперь стали какие-то вовсе странные, малопонятные типы: полуэкономисты, полуинженеры, как ее сын, деквалифицированные, если не деклассированные, не знавшие, по-видимому, ничего толком, излагавшие свои мысли сбивчиво, поспешно, но одержимые одной идеей — она одна и звучала рефреном во всех их горячих речах, ее на все лады они повторяли и писали во всех бумагах, которые в изобилии отправляли «наверх» — как можно скорее внедрить кибернетику и вычислительную технику в народное хозяйство, и в частности в работу того Комитета, куда их так опрометчиво взяли в качестве группы «перспективных исследований», прикрепив организационно к главку этого самого Ивана Александровича.

Правда, в эти годы вся страна, казалось, только и говорила о «внедрении кибернетики», но Наталья Михайловна, слушая такие разговоры, всегда думала, что это чистая авантюра — пытаться внедрить электронные машины там, где еще считали на деревянных средневековых счетах, и, наблюдая новых приятелей сына, утверждалась в мысли, что, пожалуй, права. Впрочем, они были не совсем уже молодые люди (в том числе и ее сын) — им было около тридцати, а то и побольше, и в возбуждении их чудилась некоторая нервозность. Они подогревали себя, бодрились и смеялись коротким смешком, словно собирались «на дело». Наталья Михайловна профессионально прикидывала, есть тут состав преступления или нет: обойти начальство, распропагандировать его, заставить дать деньги на покупку машины, на ставки для сотрудников вычислительного центра, самим возглавить центр и, не ведая, что делать дальше, жить обещаниями, векселями, уверениями, что все будет «о' кей», «эффект колоссальный».

— Давайте мы и вам в тресте кибернетику внедрим, — шутя предлагали они Наталье Михайловне.

— Нет уж, — тоже в шутку отвечала она им. — У нас, между прочим, своих аферистов хватает.

— Кому-у киберне-е-е-тику-у внедря-ять? — начинал петь ее сын, подражая точильщикам. — Кому-у киберне-е-е-тику внедрять?

Наталья Михайловна смеялась вместе со всеми, но тревожилась все больше. Слова «группа прорыва», «круговая оборона», «необходимый оперативный простор» раздавались чаще и чаще. У Натальи Михайловны иногда возникало ощущение, будто она окончила по крайней мере школу Генерального штаба, настолько легко из обрывков этих условных военно-технических текстов она восстанавливала истину о состоянии все ухудшавшихся дел.

Еще один ход долго оставался для нее нерасшифрованным, хотя возникал часто, — «Понсов». Наталья Михайловна предполагала вначале, что это сокращенное наименование организации (последняя часть явно расшифровывалась как «научный совет»), потом решила, что это чья-то резиденция, сельцо, где расположился этот институт (вроде Панкова), и лишь затем поняла, что это субъект из плоти и крови. В один прекрасный день Понсов появился у нее, расшаркиваясь, кланяясь и улыбаясь. Он принес Наталье Михайловне торт и коробку конфет, и Наталья Михайловна, приняв незаслуженные дары и глядя на него в продолжение вечера, сообразила, кто он и в чем тут дело. Он был вылитый гоголевский Чичиков, но только Чичиков современный, который еще успел прихватить конец войны в парашютно-десантных войсках под Кенигсбергом, окончил после демобилизации какие-то юридические курсы, поработал следователем районной прокуратуры и лишь затем уже, то ли согрешив, то ли заскучав от однообразных и тяжких обязанностей, отправился искать счастья в столицу, где его и вынесло неизвестно как на «внедрение кибернетики». Тронутая слегка сединой голова его была коротко острижена «под бокс», затылок был прям и составлял одну линию со спиной, впереди торчала гангстерская или фельдфебельская нижняя челюсть. Он ходил в костюме спортивного покроя, водил автомобиль, но по душевному складу был Чичиков.

С ним два мотива — один, правда, не новый — перекрыли все остальные. Во-первых, появился некий отставной генерал-покровитель, у которого Понсов с ее сыном теперь часто по вечерам пили на кухне чай и намечали планы многоцелевых операций. Хуже, однако, было другое — то именно, что с некоторого момента в их беседах Наталья Михайловна слышала без конца повторяемое: «Первый отдел, первый отдел». Наталья Михайловна долго не понимала, при чем тут «первый отдел», то есть секретная часть; не удержавшись, спросила однажды у Чичикова: «Егор Петрович, а что же секретного в вашей работе?» — и только из тарабарщины, которую он посыпал в ответ, смекнула. Они намеревались объявить свои разработки секретными, чтобы их недруги не имели бы доступа к материалам, не имели бы возможности сказать, что все это ерунда и никакого смысла не имеет. Сама Наталья Михайловна была убеждена, что последнее справедливо, и не ошиблась.

Скандал не замедлил разразиться. Специально составленная комитетская комиссия, и в ее составе приглашенный со стороны кандидат наук, математик, затребовав секретные материалы «группы Летореслева и Понсова», увидела только испещренные формулами и стрелочками с кружками листки, и чем дольше толковал Летореслев стороннему математику про «информацию, пропускную способность канала, избыточные коды» и чем громче вопил Понсов: «Генерал Аксельбантов поручил мне!..» — тем подозрительней комиссия внимала претензиям старого генерала, а математик, краснея, что подставляет ножку коллегам, но исполненный сознания ответственности и долга, бубнил: «Непосредственно практического применения не имеет и секретного ничего нет».

Уволясь из этого Комитета всей группой, они некоторое время сидели без работы, продолжая, как утверждал сын, начатую тему и ожидая, кажется, что вот-вот комитетское начальство одумается и позовет их обратно. Потом кто-то из друзей-инженеров, устроясь первым в другой Комитет, убедил новое начальство, что такой человек, как Летореслев, им необходим до зарезу. Началась новая история, как две капли воды похожая на предыдущую, и снова была «группа прорыва», «первый отдел», и проблема снова была «в руках посредственности». Только если прошлая операция заняла два года, то на сей раз хватило нескольких месяцев, и снова было сидение дома, работы продолжались, и Понсов-Чичиков, взявши руководство на себя, твердыми шагами отставного служаки обивал пороги комитетов и министерств, убеждая на своем военно-птичьем языке «внедрять кибернетику» и обещая представить «единственного в своем роде математика, который один лишь и способен решить все специфичные для данного ведомства проблемы».

Однако слава о них уже прокатилась, их уже знали, и хотя, как объяснил Наталье Михайловне тот же прежний сослуживец сына по Лаборатории, грустный скептик, — хотя то, что предлагал Летореслев, было не вполне все-таки бессмысленно, никто уже не хотел связываться с ними и рис-

ковать. Генерал Аксельбантов тоже лишил их своего покровительства. К тому же и вид у сына был теперь далеко не самый свежий — сидя периодически без денег, он обносился да и вообще постарел. Но главное, он потерял уверенность в себе, хорохорился, но разговаривать с людьми, предлагая им свои услуги, вовсе не мог, особенно с начальством; начинал не к месту хихикать — не угодливо, а раешничая, — читал стихи, запинался, заикался (опыт, неудачи ничему не научили его), на короткое время загорался, но, обещая прийти назавтра продлить беседу, уходил уже обреченно. Энергия у него еще была, носился он еще довольно быстро, но быстрей, чем прежде, и бросал начатое. Понсов тоже постарел, поседел, обтрепался, и машина его едва ходила, бренча всеми составными частями, а чаще стояла, как он выражался, «на консервации». Остальные из компании, облагоразумясь, постепенно осели по разным учреждениям. Этим двоим пришлось спуститься на уровень ниже, предлагать свои таланты второразрядным институтам, трестам чуть побольше того, в котором служила Наталья Михайловна. Года на полтора они осели в ветеринарном эпидемиологическом центре, там опять был взрыв энтузиазма, сын много работал, и к концу срока у них было достаточно материала, чтобы Понсов мог защитить диссертацию, в которой, естественно, сам он не написал ни буквы. Но они решили, что защититься должен именно он (Леторослев, конечно, не мог представить себе — себя, защищающим в сорок лет халтуру по внедрению кибернетики в ветеринарное дело), что так им будет легче п р о б и в а т ь с я. Получив аттестат, Понсов, безусловно, сразу сделал все, чтобы заставить своего приятеля уйти из этого центра, ибо резонно полагал, что с ним все рано или поздно закончится, как обычно, а бывший десантник испытывал уже усталость от похождений и хотел дожить свой век в этой тихой заводи мирно. Он нашел ему другое место, Леторослев не согласился и, взбешенный таким вероломством, отплатил тем же, рассказав всем о диссертации. В центре, конечно, и без того догадывались обо всем. Наталья Михайловна была возмущена, хотя отчасти предвидела все это, но сына уже ничто не могло остановить. Опять началась заварушка с «первым отделом», теперь уже они обвиняли друг друга в нарушении секретного режима и использовании секретных документов; опять появилась комиссия, было назначено общее собрание, на котором общественность требовала отдать мошенников под суд, а кто-то кричал о психиатрической экспертизе. Оба приятеля оказались на улице и разошлись, не попрощавшись.

Наталья Михайловна и сама терзалась, не сумасшедший ли он, и как могла она так упустить сына, просмотреть момент, когда затрудненность общения, стеснительность вылились в чудовищные гримасы, прыжки и хиханье; как не уберегла от военщины и всего прочего. Но он и сам терзался. Наталья Михайловна даже поражалась иногда, до чего он умен: начиная в чем-то убеждать его (например, еще до ссоры в том, кто такой Понсов), она вдруг обнаруживала, что он и сам все превосходно видит. «Зачем же тогда? — удивлялась она. — Какой во всем этом смысл?» Вот на это он не мог ей ничего ответить. Он давно подозревал самого себя, не сумасшедший ли он, это мучило его, но, разумеется, ни о каких консультациях или лекарствах речи быть не могло: это было бы для него крушением, и Наталья Михайловна не заводила об этом разговора, да и сама не понимала, могут ли помочь здесь врачи и лекарства, а вновь услышав от сына какое-нибудь весьма трезвое и ясное суждение о том, чем он так казался только что увлечен, или видя, как быстро и четко разбирается он в незнакомом материале, помогая кому-то (когда он не работал, это иногда становилось чуть не основным его занятием, и он проводил целые дни, бесплатно трудясь ради каких-то бездарных проходимцев, которым тоже хотелось защитить диссертацию), вовсе не знала, что сие означает, и думала: «Кто его знает? Может быть, это он прав, а сумасшедшие все остальные? Может случиться и так».

Услыша от милой врачицы, как сын появился в клинике, Наталья Михайловна догадалась, что он решил сыграть в а - б а н к, рискнуть, но удостовериться окончательно: кто он. Если он сумасшедший, врачи быстро определят это, но он сдастся с честью — о н п р и ш е л с а м. Если же, работая с ним бок о бок, они не найдут ничего ненормального, то тогда... тогда все прежние его хулители, узнав, г д е он работает и к а к к нему относятся, должны будут заткнуться и отдать себе отчет, кто же прав и кто

шизофреник, а кто нет. Притом, как всегда, он, конечно, старался уверить себя, будто предпринял все это не для чего иного, но лишь для того, чтобы выручить мать.

— И как он вам понравился? — продолжала спрашивать Наталья Михайловна у милой врачицы, стараясь прочесть в ее лице тайную мысль о диагнозе.

— Ну-у, очаровательный малый, — лучезарно улыбнулась та, быть может, даже искренне. — Он всех нас просто очаровал. И какая умница. Так сразу все понял. Они со Споковским сразу же придумали что-то. Споковский ведь тоже, знаете, большой фантазер. Даже Геннадий Иваныч заинтересовался. Автоматическая модель лечения шизофрении — это любопытно. Я, правда, к сожалению, ничего в этом не смыслю. Уж я ушла, они еще остались.

— Математическая модель, — поправила Наталья Михайловна. — Понятно...

— Странно, как долго его нет. Неужели они все разговаривают? — удивилась милая врачица.

Споковский, высокий, сутуловатый старик, с лицом, изборожденным расходившимися в самых неожиданных направлениях резкими морщинами, с большим орлиным, съехавшим отчасти набок носом, в заключение прокаркал, со своей тоже совершенно неожиданной артикуляцией, так, что звуки произносились одни, а рот шел вроде бы прямо в противоположную сторону:

— Прекрасно! Продолжайте работу над своей моделью. Но одновременно мы с вами начнем одно исследование, провести которое мне хочется уже давно. Мы с вами будем разрабатывать теорию «ядерной шизофрении», — торжественно объявил он хорошо поставленным лекторским голосом.

— Ядерной? — удивился Леторослев. — Почему ядерной? Ах, понимаю, потому что разлетается, как взрыв! Ба-бах! — Он подпрыгнул несколько раз на обеих толстых ногах и показал руками. — Здорово! Ха-ха-ха! — тоненько засмеялся он. — А цепная реакция, это потому что «как с цепи сорвалась», да? Ведь говорят: «Вот бешеный, верно, с цепи сорвался». Это и есть «цепная реакция». Да?

Споковский недоверчиво криво ухмыльнулся. Присутствовавший при разговоре Геннадий Иванович недовольно фыркнул, не одобряя фантазий начальства.

— Нам бы использовать его для внедрения вычислительной техники, Всеволод Константинович. Ведь сколько лет говорим. Вычислительная машина нам необходима. Сейчас у меня как раз находится на излечении один инженер из Ростова, с завода сельхозмашин, он обещал, как выйдет, сконструировать именно такую, какая нужна нам.

Леторослев посмотрел на него с изумлением и стал раскланиваться.

— А насчет матушки не беспокойтесь, — продолжал Споковский, обращаясь к задним рядам сверху амфитеатра, — ваша матушка практически здорова, через неделю-две она будет дома.

Щелкнув в поклоне стоптанными каблуками, Леторослев выскочил в коридор.

— Из Ростова, что ж такого? — прошептал он про себя въевшиеся в память детские стишки, аккуратно притворяя дверь.

Он нервно хохотнул, повторив эту строчку двум стоявшим у окна молоденьким сестрам, и помчался по коридору в наброшенном на широкие плечи развевающемся маленьком, не по размеру, халате, опустив голову вниз, не глядя по сторонам (Споковский объяснил ему, что на больных, чтобы их не тревожить, смотреть не нужно, но Леторослев забыл совсем, что здесь не было больных, — это была половина администрации), похожий на боевого слона в атаке, круто в последнее мгновение разворачиваясь, чтобы не наткнуться на кого-нибудь, или вдруг пружинисто отскакивая и переходя на галоп. В гардеробе он не стал надевать свою синюю лыжную курточку, в которой ходил с начала марта, а схватил ее под мышку, на ходу кинул гардеробщице халат и, прыгая в старинном вестибюле только на большие редкие красные кафелины, выбежал на улицу, прики-

дывая, где может ждать его мать, которой, конечно, уже сказали, что он здесь.

Пошевелив губами и поглядывая на небо — он ориентировался по солнцу, — он рассчитал возможные варианты и решительно двинулся к намеченному перекрестку парка. Матери там не оказалось. Он постоял, постепенно поворачиваясь вокруг своей оси.

В эту секунду сзади он услышал шорох кустов и скрип гравия, по хриплому дыханию понял, что это не мать, замер на мгновение и затем резко обернулся.

Он увидел перед собой худого человека в кепке, обвисшей на его треугольной голове, длинном пальто, больших байковых бесформенных штанах и галошах, надетых прямо на шерстяные носки. Глаза незнакомца искрились.

— Сергей Александрович Леторослев, вы должны помочь вашей матери, которая вас родила, — проговорил незнакомец, останавливаясь шагах примерно в пяти от Леторослева и запахивая пальто без пуговиц, как тогу.

— П-простите, мы, мы с вами, кажется, не знакомы, — вежливо, но твердо возразил Леторослев, поклонившись.

— Да. Но я вас хорошо знаю. Пойдемте, я хочу поговорить с вами о смысле техники.

— А, вы тот изобретатель из Ростова! — обрадовался Леторослев. — Из Ростова, что ж такого? Верно? Геннадий-то уже про вас говорил.

По словам Геннадия Ивановича он представил себе инженера молодым и теперь всматривался в желтое лицо незнакомца, пытаясь определить, сколько же ему лет.

— Да, да, — подтвердил инженер. — Пойдемте. Здесь есть один такой уголок, там хоть стреляй, никто не услышит.

Они прошли в глубь парка, к забору, отделявшему парк от леса, инженер сзади, Леторослев, озираясь, впереди, и сели за трансформаторной будкой на доску — местные алкоголики (больные и прислуга) давно облюбовали себе это местечко. Леторослев брезгливо отгреб ногою в сторону осколки бутылочного стекла и бумажки, расчищая на утоптанной сырой земле перед собою некоторое пространство.

— Вот смотрите, — едва они сели, приступил он.

Он подобрал щепочку и нарисовал в центре пространства кружочек, а от него расходящиеся веером линии.

— Это информационная машина. А это система передающих каналов. Здесь картотека, в которую занесены данные о всех без исключения больных района. Я понятно говорю? — переспросил он, быстро взглядывая на сумасшедшего и тотчас опуская глаза, потому что сумасшедший оторопело и сердито молчал, уставясь в схему. — Данные, это что значит? Это значит пол, возраст, а также история болезни, анамнез, ну, словом, все. Если больной обращается к врачу, то немедленно по каналу связи идет запрос к машине, и машина выдает все сведения, а также заносит в картотеку новые. Это понятно? Такая система картотек должна быть создана по всей стране. Я сейчас объясню почему. — Он медленно, раздельно произнес: — Только такая система может нам помочь покончить с бесправием и произволом...

Он ободряюще улыбнулся собеседнику, как бы призывая того не бояться, но тот не внял призыву и смотрел молча, в оцепенении.

— Но ведь машина разговаривает цифрами, верно? — спросил Летораслев у него тоном, каким говорят с детьми. — Значит, нужно научиться с ней разговаривать на ее языке. А мы-то говорим словами, да? Значит, нужно ей наши слова переводить. Понятно, да? Это изывается программа-транслятор. У машины должен быть толковый словарь. Понятно, да? Только ей не нужен словарь для всех слов, которые мы используем. Пускай она знает только необходимые слова! — Он вдруг затороп[illegible]ся и пошел в ускоренном темпе, запинаясь, забирая все выше и выше: — Должна быть осуществлена специализированная языковая программа! А этого никто не понимает. Каждый разговаривает на своем языке, и машину нужно учить ему! Понятно, да?! Но сначала иадо уяснить самим себе, что это за язык, его правила. А потом уже только покупать машину. А ваш Геннадий хочет, наоборот, истратить деньги, а потом разбираться, да? Какой он Геннадий, он Генка, мальчишка, да? Нажить капиталец, надавать векселей, без

расчета, без предварительного исследования, да?! Создать шум в канале! Объем памяти ограничен, да?!.

Сумасшедший наконец опомнился, глаза его засверкали, и Летораслев теперь разглядел, что они были с красноватой подоплекой, словно кровь, в бешенстве приливавшая к ним, запеклась и выцвела на солнце.

— Это справедливо, — заговорил он и остановил собеседника, положа ему желтую голую руку на рукав куртки, — если прежде всего, что познание слова будет вестись не по правилам грамматики, а на основании и через посредство категорий, потому что каждое слово образуется различно, по-разному, но в то же время имеет единство в образовании.

— Пожалуй, верно, — поколебавшись, согласился Летораслев, надеясь еще перехватить инициативу. — Только я хотел заметить...

Но сумасшедший не дал ему ничего заметить.

— Корнем в слове, — повел он, слегка раскачиваясь всем телом, отчего оно поскрипывало где-то в глубине, нутром, все быстрее и тоньше, как вагон, набирающий ход, — в обычном смысле понимается как основное в слове, как ядро в слове, от которых путем изменения окончаний, приставок можно получить еще целый ряд слов. От корня сел, например, путем изменения окончания можно получить следующие слова: села, селась, селся, сели, селись, селися; путем изменения приставок: присел, надсел, засел, приусел, приподзасел, приподзаусел, приподнасел, приподнаусел и другие; смежно: надселся, надселась, подселись, приуселся, приуселась, приуселись, приуселися, приподзаселись, призаселся, приподзауселись, приподнаселся, приподнаселися...

Он посмотрел, переводя дыхание, как Летораслев, в свою очередь, немного опешивший от такого оборота, чертит что-то на земле своей щепочкой.

— Здесь следует заметить, — сумасшедший нервно затряс ногой, — что изменение, то есть синтаксикация в слове, уходит в бесконечность, так как причин есть множество. В слове «сел», например, не происходит резкого изменения, то есть синонимум в основном сохраняется. Кроме того, многие корни синтаксируются с другими корнями, словами и тоже различно, по-разному, в соответствии с происхождением и действительностью слова. Вся наша речь состоит из звуков, причем каждый звук имеет свою интонацию, букву. Возьмем, например, слово белка, то это слово в основном состоит из двух основных корней бел и ка. Корень бел — он взят нашими предками из понятия или синонимума бело (белое), а корень ка из синонимума или понятия как (две первые буквы). Корнем как предки, по существу, отобразили синонимум удивления, то есть как она беленька, и в то же время, как она красива, мила, быстра и так далее. То есть корнем как предки отобразили не только одно качество, как она беленька, но и как она миленька, как она красивенька, как она легка, быстра, как справляется с орехами, шишками. И действительно, все эти качества присущи белке, из них исходило слово. Корень бел здесь является основным корнем, так как под ним подразумевается сама белка, а корень ка — он перечисляет свойства.

Он попытался умильно сложить потрескавшиеся губы, собираясь еще что-то сказать о том, как миленька белка, но Летораслев поглядел на него исподлобья, без улыбки. Вскинувшись, затрясшись, стуча одной коленкой о другую, возбужденный тем, что ему, по-видимому, оказывали сопротивление, сумасшедший закричал:

— Возьмем, например, слово змея — то это слово в основном состоит из трех основных корней: з-ме-я. Мне долго не удавалось обнаружить, из чего предки могли взять корень «з». Я изучил все особенности, свойства змеи, но корня не обнаруживалось! И только через посредство категории «единичное, общее, всеобщее» мне удалось найти этот корень, который заключается в свойстве шипенье, ш-ш-ш...

Он зашипел, разбрызгивая слюну. Летораслев, смотревший на него теперь неотрывно и все мрачнее, отодвинулся, но не отвел глаз, словно был уже заворожен этой самой змеею.

— Однако, — развивал свою идею собеседник, — этот корень предки опять же взяли не из самого свойства шипенья, так как в таком случае слово змея выглядело бы в слове шмея. А они его взяли из свойства жужжания осы, шмеля, овода и пчелы (з-з-з-з-з), чем достигли отображения

той необходимости, которая внутренне присуща змее, потому что в шипении и жужжании существует общее — звук, притом у них подобна и защита — ядом!

Леторослев хотел что-то спросить, но удержался и только сам начал слегка дрожать от холода в своей легкой курточке, которую он теперь натянул через голову.

— Продолжайте, п-п-пожалуйста, — попросил он, съеживаясь в комочек.

— Возьмем слово концлагерь, — сказал сумасшедший.

— Вот-вот, — подхватил Леторослев, как будто заранее знал, что сейчас они займутся именно этим. — Из Ростова, что ж такого?..

Собеседник посмотрел на него с подозрением. Он выпрямился теперь и говорил довольно твердо, хотя по-прежнему сучил ногами, топча полы своего длинного расстегнувшегося пальто.

— Это слово состоит из двух основных корней конц и лагерь, то есть методика образования слова одна и та же. Корень конц, он исходит из слова «конец», упущена только буква «е», и заключает в себе жизнь человека как самого человека. Корень лагерь, он в основном в себе заключает материальную часть, его персонал. И слово «концлагерь», оно образовано не случайно или из ничего, а оно образовано из обстоятельств, из фактов действительности, из условий жизни и смерти. Слово конец, оно в любом случае отображает понятие конечности, а в слове «концлагерь» — конец жизни, образуемой насильственно эгоизмом. В этом слове в основном заключаются два основных понятия: условия, приводимые к смерти, и конец жизни.

— Угу, угу, — откликнулся Леторослев, затем, резко повернувшись к нему, звонко отчеканил: — Позвольте, а кто вы такой?! Ведь вы никакой не инженер и не из Ростова. Не так ли?!

Сумасшедший сгорбился, поник и, только сейчас заметив, что испачкал пальто, подобрал полы и стал очищать их одна об другую.

— Я несчастный, одинокий человек, — с усилием прохрипел он после долгого молчания. — Обижен от людей... На железной дороге...

— Вы железнодорожник?

Сумасшедший, пошамкав, не ответил, потом неожиданно вскочил, побежал за будку и долго мочился, приплясывая там, отхаркиваясь и сморкаясь. Леторослева передернуло от отвращения.

— Но у меня есть знакомые во всех семьях нашего общества, — прошептал сумасшедший, появляясь из-за будки, довольный, пошатываясь и поблескивая красноватыми глазами. — Я и языки знаю. Их воль мейне шмерцен ергоссен... Но об этом ни слова... Молчок. Молчок. Унд заген мит ейнигем ворт. Вам нужно знать языки.

Леторослев гневно уставился на него:

— Для чего мне знать языки? Чтоб защитить диссертацию?!

Сумасшедший снова уселся на доску рядом с ним, взял под руку и доверительно в самое ухо прошептал:

— Вы без меня не сможете этого сделать.

— Защитить диссертацию?! — закричал Леторослев возмущенно.

— Да. Потому что против вас, и вашей матери, и вашей сестры сговорились некоторые люди. И только я знаю, как подействовать на них, потому что они у меня вот где. — Он раскрыл испещренную странными линиями желтую ладонь и постучал в нее указательным пальцем другой руки. — Вот где. Один оперативный час, и их нету! Но они меня боятся и держат здесь обманом. Я скоро выйду, я уже написал о них несколько заключений. Мы должны действовать вместе, иначе мы никогда не покончим с бесправием. Но не говорите никому. Ни-ни-ни. Это очень опасно. Вы в опасности, а в опасности спасение. Корень в этом слове будет пас и происходит из значения пасть у зверя. Р-р-р-р!!! — Он вдруг оскалился зарычал так, что Леторослев вздрогнул.

— Понял, — перебил его Леторослев, наконец сорвавшись с места и несколько раз прыгнув на земле, затем остановил себя и слегка поклонился, щелкнув каблуками. — Я-я вам ч-чрезвычайно благодарен.

— Ты куда?! — Его собеседник не ждал этого.

— Я должен идти. Я еще не навестил маму.

— А-а, хорошо, — успокоился сумасшедший. — Я скоро выйду, и мы им покажем, — пообещал он, подымаясь. — Я знаю все.

— Я вам очень благодарен, — повторил Леторослев. — Я должен сейчас идти.

— Иди, иди, — напутствовал сумасшедший.

Увидя сына, взъерошенного, бледного, задыхающегося от возбуждения, Наталья Михайловна была подавлена и чувствовала, что стыдится перед Лизой, детской писательницей.

— Ну, как твоя модель? — постаралась спросить она, как могла весело.

Схватив с Лизиной тумбочки обрывок бумаги, в которую завернуты были цветы, принесенные ей поклонником, он лихорадочно начал чертить какую-то схему.

— Вот смотри, это информационная машина, это канал связи... Понятно, да? — (Присутствие Лизы смущало его.) — А вот ось времени. Скажи, а кто это у вас ходит тут, такой старик?

— Какой старик? — изумилась Наталья Михайловна.

— С треугольной головой?! — захохотала Лиза и захлопала в ладоши.

Леторослев тревожно посмотрел на нее.

— Да. А что, вы его знаете?

— Ну, разумеется, мы часто его видим, — спокойно сказала Наталья Михайловна, жестом останавливая Лизу. — А тебе он чем понравился?

— Понятно, понятно, — не ответил сын. — Он с тобой разговаривал?

— Нет.

— И не проявлял к тебе никакого интереса?

— Нет. — Наталья Михайловна знала, что не стоит говорить ему о давешних Цыганкиных намеках.

— Значит, это была разведка боем, — прошептал сын.

— Что ты городишь? Опять эта военная истерия. Ты что, с ним разговаривал? О чем?

— О происхождении и действительности слова. Прежде всего, что познание слова будет вестись не по правилам грамматики, а на основании или при посредстве философских категорий, — выпалил он одним духом, и Наталья Михайловна против воли даже улыбнулась тому, что у него такая память и он с одного раза мог запомнить весь этот бред. — Корнем в слове в обычном случае понимается как основное в слове, как ядром в слове, от которых путем изменения окончаний, приставок и так далее... — Он засмеялся, но принужденно. — Возьмем, к примеру, слово «белка», то оно образовано из двух корней... Бел-ка, бел-ка, — несколько раз повторил он задумчиво. — А возьмем, к примеру, слово сексот, сек-сот. — Он поднял голову и посмотрел матери в глаза. — То оно образовано из двух слов — секретный и сотрудник. Верно, да? Сек-сот. Секретный сотрудник. Он секретный сотрудник, сексот, да?

— Что за ерунда! — с досадой воскликнула Наталья Михайловна, морщась от внезапной неприязни к сыну.

— Это ерунда, конечно, — поспешно кивнул Леторослев. — Конечно, конечно. Но только он слишком много знает. Откуда он, например, знает меня, по имени-отчеству. Он как-нибудь связан с Генкой, да?

— С каким Генкой?!

— С Геннадием Ивановичем. Он же ведь Генка, мальчишка, да?

— Я ничего не понимаю, — вздохнула Наталья Михайловна. — Знаешь, я очень устала. Иди домой. Как там Танечка? Ты давно был у нее?

— Я был недавно.

— Пустили?

— Пустили. Мы ходили с ней в зоопарк. Я ей решал задачки и сочинил стихотворение про тигра... и про белочку... как она миленька... Только ты напрасно к этому так относишься. Ведь я недаром столько лет работал в Лаборатории. Я их столько насмотрелся там. Они у нас ходили тогда зимой в таких ботиках «прощай молодость», помнишь, носили такие?

— Даже если он и сексот, как ты говоришь, то сейчас он прежде всего больной.

— Но он может завтра выйти. Он, по-видимому, написал доносы на

всех здешних врачей, они испугаются и его выпустят. Генка ему поможет. Он заинтересован в том, чтобы прорваться наверх, и готов на все. Ты же видела его и сама знаешь, что это так. А этот — бывший разведчик, он был в Германии. Подрывал железные дороги. Он мне сам сказал.

— Таких все равно не выпускают, — сказала Наталья Михайловна безнадежно. — Ну, а если даже и выпустят, то что? Или ты полагаешь, что он притворяется? Так все равно, что из того?

Он посмотрел на нее с некоторым упреком, как будто это не он, а она ломала теперь комедию, но Наталья Михайловна не стала выяснять, что он имеет в виду, и, прикрыв глаза, легла на койку, повторив:

— Иди домой, иди. Ты ведь будешь теперь приходить сюда часто, у тебя же работа со Споковским...

— Да-да, да, — тоненько откликнулся он уже в дверях. — Т-только в эту н-неделю, я, к-к сожалению, н-не смогу н-начать.

Наталья Михайловна заключила из этого, что он испуган и больше, наверное, не придет сюда ни разу.

XVII. Обручен со свободой

Хазин лежал на раскладной кровати в своей пристройке, сооруженной когда-то, чтобы полностью отделиться от родителей жены, сумасшедших дряхлых евреев, для которых брак их дочери с ним был трагедией и которые соглашались еще терпеть у себя иногда его детей, но не его самого. После нескольких лет скандалов они выделили дочери одну комнату, а Хазин наглухо заколотил к ним дверь, прорубил себе отдельный вход и построил клетушку-кабинет, соединявшийся с комнатой через тамбур, где помещались еще умывальник, кухонный стол и полки с кухонной посудой. Дом был двухэтажный, деревянный, черный от времени. Сзади находился общий двор с личными сараями и уборными, как и сараи, запиравшимися владельцами на ключ. Спереди перед домом были палисадники, поделенные в личное пользование неизвестно когда и по какому принципу. Хазину через жену тоже принадлежал такой палисадник. Он расчистил его в прошлом году под свою рассаду, и его пристройка на высоких столбах без засыпки (он так и не мог собраться довести ее до конца) диковинно возвышалась посреди заброшенного огорода, как избушка на курьих ножках.

Лежа на спине, со скрещенными на груди руками, наполовину укрытый своим старым пальто, Хазин был сегодня худ, желт, небрит и выглядел больным. У него было что-то с печенью; напряженная жизнь, которою он жил последнее время, в бегах по знакомым, с долгими спорами, куреньем и питьем, вредила ему. Тихий, печальный, он казался Вирхову совсем не похож на себя, третьеводнишнего, когда он куражился над Целлариусом у Ольги и, сверкая глазами, рассказывал о своей поездке.

Напротив него на разваливающемся венском стуле, крепко опершись кулаком о колено, крупный, тяжелый, с выражением ума и силы сидел его еще школьный приятель Турчинский; он тоже побывал в лагерях, потом так и застрял на Севере и только теперь, когда жене его стало там невмоготу, решил возвращаться сюда, в столицу. Человек осторожный, спокойный (о качествах его говорило, например, то, что при всем своем еврействе и молодости он был в лагере бригадиром), он сознавал себя сейчас провинциалом и, желая осмотреться и понять, что же здесь происходит, внимательно слушал быструю речь своего друга, словно отмечая про себя что-то в памяти, и только слегка покачивал головой, удивляясь после периферийной устойчивости такому неожиданному развороту событий.

Вирхов знал его немного по прошлым его приездам, поздоровался и присел к Хазину на койку. Ему было приятно видеть этого уравновешенного, рассудительного человека и нравилось, что Хазин при нем будто успокоился и говорит ясно, ровно, слегка иронично, не как функционер и деятель, а как умный и усталый от чужой суеты, в которую почти против своей воли, из снисхождения втянулся, посторонний.

— Они принимают меня не за того, кто я есть, — продолжал Хазин, подбирая ноги, чтобы Вирхов мог усесться или, вернее, полулечь на продавленной койке. — Я хочу остановиться и подумать, а меня все время толкают, чтобы я крутился еще быстрее. Я понимаю, конечно, им трудно. Они тянут на себе большой воз. Но меня все время е...ть нельзя тоже. Я делал и делаю немало, но полагаю, и здесь нет нескромности никакой, что я способен не только к этому. Я хочу подумать, кое-что записать. Почему я должен считать, что это второстепенно, если Иван (Иван был другой лидер того движения, идеологом которого позавчера называл себя Хазин) не может сам жить иначе? Я ему так и сказал вчера: «На той неделе я уеду. Уеду месяца на два, на три». Конечно, с ним истерика: я уезжаю в самый горячий момент, это безответственно, это чуть ли не трусость и не предательство. Ну хорошо, а если меня сцапают и я снова отправлюсь на Колыму? Это что, будет большая польза? Это будет ответственно?!

Вирхов еще вчера в кафе, в «стекляшке», слышал от Григория об этой ссоре, весть о которой уже распространилась повсюду. Но там был еще один момент: говорили, что Хазин собирается уехать не один, а с женщиной. Вирхов видел ее на людях один или два раза — это была молодая, высокая девка, довольно симпатичная, хотя немного косоватая. Еще раньше Ольга говорила: «Ну конечно, у него ведь теперь секретарша! Он будет диктовать свои мемуары секретарше!» Он с интересом посмотрел на Хазина: обойдет или нет тот эту проблему?

Хазин запнулся, быть может, почувствовав, чего они ждут от него, — потому что и Турчинский, разумеется, уже слышал об этом, — затем продолжал:

— За мной ходят уже по пятам. Там, на чердаке, — он показал в направлении дома, стоявшего наискось через улицу, — кто-то сидит все время. От них просматривается все.

— Да, за мной вчера шли, когда я вышел от тебя, — подтвердил Турчинский. — В метро я потерял их из виду. Действительно, тебе хорошо было бы сейчас уехать куда-нибудь. Сейчас уже можно в Крым. Через неделю уже можно.

— Я там был в пятьдесят восьмом году с Жоркой, — подхватил Хазин, мгновенно выпадая из разумного и сдержанного стиля и входя в другой свой образ — хитрого рассказчика, из тех, которые «знают народ, чем он живет и что ему нужно». На лице его появилось выражение веселого назидания, и он поднял палец, как бы призывая поразмыслить над тем, что он сейчас расскажет. — ...У Жорки был тогда мотоцикл. Мы закупили в Крыму килограмм сто помидор и решили везти их к нему в Донбасс, чтобы оправдать дорогу.

Он начал историю, которую оба гостя его слышали уже не раз, но они не перебили его, терпеливо выслушав ее снова.

Когда он кончил, Турчинский повторил:

— Да, тебе хорошо было бы уехать. Здоровье уже дает себя знать. Я сам это чувствую, а я живу более размеренно. Уезжай, временно отложи все.

— Понимаешь, — тотчас же возразил с живостью Хазин, — как раз вот в данную минуту это невозможно. Недели две я еще должен подождать.

— Деньги? — спросил Турчинский.

— Нет, деньгами помогут. Это теперь не проблема. Помидорную рассаду высаживать не придется. Это был ложный путь. Видишь, главное — найти самого себя. Остальное, когда нужно, приходит. Деньги берутся. Помогают. То один, то другой... Люди чувствуют себя обязанными. Совесть... Так что дело не в этом... Тут наклевывается одно дело... Я расскажу потом... — Хазин взглянул вверх, на потолок, знаками показывая им, что, по его предположению, комнатушка может прослушиваться. — Тут на днях какой-то тип приходил, проверять, дескать, коллективную антенну, — прошептал он.

Турчинский кивнул и, прекращая разговор, дотянувшись до стола, взял наугад несколько книг и журналов из наваленной и неразобранной горки.

— Это вот как раз вчера принесли, — сказал Хазин, сделав неопределенный жест, из которого им, однако, стало ясно, что между тем, что «наклевывается», и этими книжками существует связь.

Вирхов поискал глазами вокруг: нет ли еще каких-либо приобретений или вообще изменений, указывающих на тот же источник. Всех вещей

в комнатке было, кроме койки, — загроможденный вперемежку всяким барахлом стол, среди всего прочего и каким-то детским, маленький стеллаж с журналами, книгами и папками, огромный старый приемник и магнитофон в железной коробке, на который в былые времена, когда ему еще не привозили со всех сторон разные издания, Хазин записывал с приемника наиболее интересные передачи «Би-би-си» или «Голоса Америки». Все было захламлено, навалено одно на другое и покрыто толстым слоем пыли. Из угла торчали еще фотоувеличитель, пишущая машинка, водопроводные разводные ключи, обрезки труб от прошлогоднего огорода и просто железки. На оставшемся незанятом пространстве стояла самодельная электрическая печка — керамическая труба на железных ножках, обернутая толстой спиралью, называемая в народе «козел». Второй провод от нее, как и от всего освещения, был воровски заземлен: Хазин платил за электричество не больше двух рублей в месяц и всегда с гордостью, раскрыв подпол, показывал гостям, светя фонарем, толстый железный штырь заземления.

Печка, отгороженная от деревянной стены куском асбеста, была раскалена докрасна, но не прогревала худо сколоченной пристройки, и, замолчав, они вдруг все почувствовали, что озябли.

— Мы пойдем купим... — предложил Турчинский.

— Я сейчас скажу Таньке, чтобы приготовила нам что-нибудь, — сказал Хазин, спуская ноги в драных шерстяных носках на пол.

Вирхов с Турчинским вышли, невольно оглядываясь по сторонам и ища признаки слежки.

— Ему надо уехать, — сказал Турчинский.

— Конечно, — подтвердил Вирхов. — Нельзя жить такой жизнью. Он уже год, по-моему, как ничего не читает. Это ведь все так, без пользы. Он сам чувствует это. Сплошные салоны, разговоры, бахвальство, — сказал он, немного стесняясь этих обвинений, ставших уже привычными.

— Да, тут что-то не так, — согласился Турчинский.

Они вернулись. Хазин соорудил стол, положив на табурет лист фанеры. Его жена казалась сегодня печальней, чем обычно, — слух вчера дошел и до нее. Полное детское лицо ее от удерживаемой обиды обрюзгло. Она прислуживала покорно, только каждый раз, перед тем как что-то сделать, особо взглядывала на мужа и внутренне была готова к бунту, но от характера и преданности открытый бунт никак не удавался ей, и она лишь удивленно топорщила брови и округляла глаза, раздражая этим мужа еще сильнее.

Когда она принесла наполовину обглоданную детьми селедку с картошкой и остатки кислой капусты, он сорвался и закричал:

— А что, больше подать нечего?

— А у нас больше нет денег, ты все проездил на такси, — возразила она.

Хазин пояснил для друзей:

— Да, приходится много ездить. Иначе невозможно. Я устаю как собака. Иногда в день бываешь в четырех-пяти местах.

— У нас теперь гораздо больше денег, чем когда он работал, — улыбнулась она. — Нам помогают. Но из этих денег ничего все равно не остается. Все время эти такси, пьянство. Один Иван чего стоит, когда они соберутся вместе.

— Ну, хватит, довольно! — оборвал Хазин. — Ты все это расскажешь своим подругам, Ире и Оле, нам это неинтересно.

Присев на краешек стула к Турчинскому, она замолчала.

— Сейчас, понимаете, самый такой интересный момент, — начал Хазин, едва они выпили по полстакана, чтобы согреться. — Сейчас возникла качественно новая ситуация.

Турчинский знаком напомнил ему насчет подслушивающих аппаратов, Хазин кивнул, но сейчас все равно не мог не рассказать об этом «новом качестве», чтобы доказать и им, и жене, что все это не напрасно — и суета, и безденежье, и голодные дети.

— Видите ли, — он приглушил голос, но говорил так, словно должен был убедить не только их троих, а и еще кого-то, — я начну немного издалека. Чтобы вам была ясна объективная закономерность... Мы уже давно изменили отношение к загранице... Прежде нам представлялось, что там только сидят и ждут, пока (...), что они так же, как и мы (...). Но теперь мы вдруг увидели, что это далеко не так. На это можно реагировать по-разному, но в целом мы должны признать, — он говорил теперь так, будто уже диктовал секретарше, — что русские мыслители, знавшие Запад и утверждавшие, что он гниет, были в чем-то правы. Митя Каган довольно верно это ощущает, утверждая, что Запад эгоистичен. У них свои домашние проблемы, и они вовсе не столь охотно, вернее, не столь безоговорочно, готовы заниматься нашими делами. Интерес у них, правда, некоторый имеется. Но у них есть определенные традиции, подходы — мы в этом убедились...

Турчинский снова показал ему на потолок, но теперь Хазин только небрежно и презрительно отмахнулся и продолжал громко, почти в полную силу:

— Так вот. Одним из наиболее важных недостатков нашего дела было то, что до сих пор им с той стороны занимались главным образом случайные люди. Какие-то Васенькины знакомые студенточки, приятели этих студенточек, ну, несколько, может быть, людей посолидней, но опять же все это на уровне дилетантства. Как вы знаете, мы сошлись также с иностранными корреспондентами. Там есть неплохие ребята, Бобби, Гарри. — Он усмехнулся в усы, подчеркивая, что отлично сознает условный и несерьезный характер этой дружбы. — Нет, нет, они неплохие ребята, — возразил он скорее сам себе или опять кому-то еще, потому что присутствующие с ним не спорили. — Но все это так или иначе дилетантство. Они, естественно, нашими делами интересуются, но у них есть и свои задачи, в том числе — не вылететь отсюда раньше времени, и с этим нужно считаться. Потом, большинство просто не понимает ситуации, не знает толком языка, общается не с тем, с кем нужно, с какими-нибудь филистерами, и набирается понимания нашей жизни у них. Эти контакты ведь не запретишь. — В тоне его послышалось как бы некоторое сожаление. — Словом, теперь мы не так наивны и знаем, что такое иностранец, — помолчав, заключил он.

— Так в чем же новое качество, в этом? — спросил Вирхов, видя, что тот погрузился в раздумье.

Хазин вскинул голову.

— Нет, конечно. Как раз вчера тут впервые, как раз на том самом месте, где сидит господин Турчинский, — сострил он, — появилась фигура принципиально нового типа, так что ты некоторым образом должен еще чувствовать его тепло своей ж..., — сказал он, захмелев, но тут же спохватился и зашептал так, что они едва разбирали по губам. — ...Новая фигура. Человек, который специально поставил своей целью заняться нашими делами, посчитал наши интересы своими и, главное, располагает для этого возможностями. Тут дело не в деньгах, в идеях. Общение на идейном уровне! То есть я хочу сказать, это не обычное доброхотство, а нечто иное. Понятно? То есть это, видимо, какой-то комитет. Понятно?

Он схватил клочок бумаги и написал — «комитет».

— А ты в этом уверен? — поинтересовался Турчинский без особого недоверия, но как человек опытный и не склонный к поспешным решениям.

Хазин поморщился:

— Соображения конспирации диктуют такие вещи лучше не говорить, но вам можно. Дело в том, что его привел вчера... — Он написал «Мелик». — К Мелику у нас отношение у всех, наверное, одинаковое. — Он вопросительно посмотрел на Вирхова. — Я этого христианского ханжества терпеть не могу. Да и ты, я знаю, тоже, — сказал он Вирхову. — Ты интересуешься этим, это другое дело. Мне это тоже не безразлично, ты, я думаю, в этом не сомневаешься... Но Мелик, как мне кажется, только в этой косности остаться не может. Я это хорошо вижу. Он тянется к нам, он при всем том, что мы с ним часто не сходимся, шире этого клерикального (...) фарисейства. Оно ему самому претит. Ведь интеллигентный советский верующий — это совершенно особая формация. Мелик не таков. Не-е-т.

— Дело же ведь не в том, — угрюмо охладил его увлечение Турчинский.

— Я понимаю, о чем ты говоришь, — встрепенулся Хазин. — Видишь ли...

Но Вирхов, который был поражен сообщением, что того человека привел сюда Мелик, не дал ему докончить.

— Подожди, а что это за человек? — волнуясь, спросил он шепотом. — Маленький, худенький?

— Ну, не такой уж маленький, среднего роста, худощавый. Верно, производит впечатление субтильное. Светлые глазки. Хорошо говорит по-русски. Сам из Испании, что ли. Ты что, его видел?

— Да.

— У Мелика? Почему ты так забеспокоился?

— У отца Владимира...

— Да, он говорил, что знаком с ним по прошлым приездам. — «Университет, культурный обмен», — написал Хазин.

— Да, это так, — согласился Вирхов. — А что, он сам сказал тебе, что он оттуда? — Он показал на слово «комитет».

— Нет, он не говорил прямо, но они дали так понять. А у тебя другие сведения?

— И Мелик тоже не сказал этого прямо? — продолжал настаивать Вирхов.

— А в чем дело? Что мы тут задаем друг другу загадки! — Хазин рассердился и нервно стал есть, вслепую тыча вилкой в кастрюле, роняя куски и брезгливо стряхивая с усов застрявшие крошки.

— Извини меня. — Вирхов постарался смягчить его. — Дело в том, что я позавчера понял так, что он как раз вовсе не оттуда.

Он смутился и не знал, хорошо ли сейчас сделает, если скажет, откуда иностранец, и выдаст Мелика. «Ведь я знаю, что Хазин фантазер и мог все это вообразить себе, — подумал он. — С другой стороны, Мелик ведь тоже не сказал ничего определенного. Может быть, мне самому это померещилось? Сказал Мелик, что тот из ордена, или не сказал? Нет, он сам говорил, что сомневается, что это за человек. Его привела к нему «Марья Александровна». «Мы ничего не можем проверить, и в этом наше несчастье!» — вспомнил он. Наконец ему пришло в голову также еще и то, что Мелик мог просто не доверять ему самому, мог не захотеть посвящать его во все подробности и для того сбить с толку, назвав первое попавшееся слово. «Они относятся ко мне, в сущности, как к человеку, который проявляет ко всему этому лишь некоторое любопытство, — обиженно подумал он, сознавая в то же время, что они в чем-то правы. — Значит, Мелик темнит... Но здесь есть и еще одна возможность».

Совсем погрустнев, жена Хазина встала, одергивая старенькое платье на раздавшемся теле, и вышла. Хазин, однако, забыл, что Вирхов мог сообщить ему нечто важное, и начал возбужденно и подробно рассказывать дальше: о чем они говорили с иностранцем, как толково и хитро он объяснил ему обстановку, настроение различных групп общества и прочее.

Вирхов ждал, почти не слушая его или слушая с досадой и не веря ни единому слову, пока тот с воодушевлением описывал (снова забыв про подслушивающие устройства или считая, что это даже будет полезно, если там узнают), как быстро согласился с ним «комитетчик», как сразу понял, что им нужно, как горячо он выразил признательность за науку, как рад был знакомству. «Насколько все просто. Насколько наивно. Если это действительно подсадная утка, — шептал про себя Вирхов, — то это замечательно, как все просто. Какое бахвальство. Воображаю, как тот должен был в душе смеяться, выслушивая эти объяснения... если только это все так...» Он с трудом дождался, пока Хазин кончит.

Почувствовав, что увлекся и рассказывает только о своих делах, совсем не интересуясь планами Турчинского, Хазин наконец остановился. (Или, быть может, настоящей целью его была «агитация» и он рассказывал все это лишь для того, чтобы воодушевить приятеля, перетянуть его на свою сторону.)

— Да... Ну что ж я все о своем да о своем. Позволь поинтересоваться также: какие-такие твои намерения? — спросил он немного напряженно, ироничным тоном, словно уже заранее ожидал неблагоприятного ответа и приготовился снова долго и упорно переубеждать того.

Вирхов, заметив это, испугался, что сейчас начнется новый спор, ибо Хазин, вероятно, как ни странно, совсем забыл, что в истории с иностранцем имеются неясности.

Турчинский, грузно опершись на колени локтями, сидел, не поднимая головы, и явно не собирался отвечать сразу. Судя по выражению лица, он все еще обдумывал то, что рассказал Хазин.

— Подожди, — медленно произнес он. — Так что сказал про него Мелик тебе?

Он повернул к Вирхову свое крупное лицо с густыми, в палец шириной бровями.

Вирхов смутился, все еще не зная, хорошо ли поступает, но сказал:

— Мне он сказал, что это человек клерикальный, что ли... — Он запнулся. — Словом, из одной религиозной организации...

— Это может не противоречить одно другому, — тут же возразил Хазин.

Турчинский тяжело вздохнул:

— Мелик у меня всегда вызывает сомнения, мне самому неясные. Я не хочу сказать о нем ничего плохого. Но каждый раз, когда поговорю с ним, обязательно остается что-то. Осадок. В нем всегда есть какая-то лишняя озабоченность.

— Может быть, сексуальная? — пошутил Хазин.

— Вряд ли, — пробасил Турчинский. — Это ерунда, значения не имеет.

Хазин умно сощурился.

— А тебе не кажется, что мы, к сожалению, часто становимся жертвами некоторых привычных для наших интеллигентов мнений? — Он с отвращением покривился. — Интеллигенция привыкла судить людей так, а не иначе, и мы послушно это принимаем! Вот я сейчас расскажу одну историю... Как раз в те дни, когда мы написали письмо Верховному Совету, к Ивану в квартиру звонок. Открываем дверь, стоит беленький парнишка. Говорит, услышал о нас по зарубежному радио, разыскал, пришел. С завода. Зовут Толя. Да ты его прошлый раз у меня видел... Так что ж ты думаешь? Ну, мы поговорили с ним, пригласили бывать еще, но как только он вышел, Иван сразу — «стукач»! И до сих пор, вот уж сколько времени прошло, парня знаем вдоль и поперек, и все равно стукач, и все. Разве так можно, это же, прошу заметить, трусость! Кроме того, мы хотя и осудили недавно клерикалов, но Иисуса Христа не отвергаем. Церковь, христианство, религиозность — разные вещи.

— Ты это к чему? — исподлобья посмотрел на него Турчинский.

— А к тому, что с Меликом у нас, к нашему стыду, происходит ...произошло то же самое, — раздраженно и резко стал отчеканивать Хазин. — Кто-то, когда-то, что-то про него сказал. Правда это или нет, никто не знает. Даже если это и правда, это еще ни о чем не говорит. Но с тех пор мы с подозрением относимся к незаурядному, одаренному, ищущему человеку. Это все интеллигентские штуки: сидеть в г... и обязательно стараться посадить туда другого. Извалять его, понимаешь ли, получше. Эти Оленьки, Ирочки, суки, е... их мать! Он, конечно, человек трудный, что и говорить, и его носит и туда и сюда. Я сам с ним ругался немало... Ну, а кто нетрудный?

— А откуда, собственно, возникла эта версия, что он кого-то продал? — тихо спросил Вирхов.

— Это, по-моему, ребята, которые сидели с Григорием, рассказывали. — Турчинский, хмурясь, опять вздохнул. — Они были переведены из другого лагеря, где сидел он, а там об этом было известно.

— В лагерях все известно, — пояснил Хазин. — Кого и за что, там не скроешь...

— Одно время и там считали, что он подослан, потом не подтвердилось, и его оставили в покое.

— Ну, это не совсем так, — уточнил Хазин, снова оживляясь и сияя. — Мы об этом услышали впервые не от них, а из другого источника. Я это хорошо помню. Хотя по времени и те, и другие сведения почти совпали.

Он выждал паузу. Они с любопытством смотрели на него.

— Нам сказала об этом впервые Ольга, а ей ... твоя, если не оши-

баюсь, новая...— склонив голову набок, испытующе поглядел Хазин.— Они ведь, кажется, были в юности знакомы.

— Таня? — переспросил Вирхов, страдая, что нарвался на это, вспоминая высокий Танин писк и Меликову сбивчивую речь, надеясь только, что со стороны эти, может быть, решат, что он почти не удивился и ожидал чего-то в этом роде. — Понятно, понятно, — повторил он несколько раз, наполовину про себя. — Понятно.

Турчинский не без сожаления взглянул на него, чуть улыбнувшись.

— А Лев Владимирович здесь совсем ни при чем? Как ты думаешь? — обратился он к Хазину. — Он ведь был муж. Некоторая ревность к прошлому. Это не значит, что он все и придумал, но, сам знаешь, он мог поддерживать легенду, огонек немножко подраздуть. Шуточки, хиханьки, хаханьки. Это тоже важно... Интересно, конечно, выяснить, что тут к чему. Но я думаю, что мы этого никогда не узнаем.

— Да, — задумался и Хазин. — Лев Владимирович тоже почтил тут меня и тоже не далее как вчера. Только эти за дверь, слышу опять кто-то барабанит. Я даже думал, что эти чего-нибудь забыли, вернулись. Открываю, смотрю — скажите, пожалуйста! — Левка. Больше года не был, все: некогда, некогда, извини. А тут вдруг печален, тих, ласков...

— Один? — машинально спросил Вирхов.

— Один. Ты имеешь в виду его дружка? Ты его видел?

— Нет.

— М-м, — промычал Хазин. — Я тоже не видел, но слышать слышал.

— М-да, интересные тут у вас дела, — заключил Турчинский, крутя головой и снова надевая маску скромного провинциала, тогда как что-то, неуловимо появившееся в нем, говорило им, что внутренне он все взвесил для себя за это время и готов к действию.

В пристройку опять заглянула жена. Глаза ее покраснели еще больше, видно было, что она только сейчас плакала.

— Я давно уже, — заметил Хазин, когда она прикрыла дверь, — давно уже, еще в период жениховства, сказал ей, чтобы она на многое не рассчитывала. Я о б р у ч е н с о С в о б о д о й. Это — главное. Это единственная и вечная моя любовь...

XVIII. Пустые хлопоты

Анна, увязавшись идти провожать Муравьева, всю дорогу участливо заглядывала ему в глаза и, держа его под руку, дружески похлопывала по руке.

— Возвращайтесь скорее и ни о чем не тревожьтесь.

— Какая странная все-таки штука с этим Катерининым отъездом, — неловко проговорил он.

— Да, да, — поспешно отозвалась Анна. — Очень странная. Зачем это ей все понадобилось?

— Непонятно, что она будет делать в России... Кроме того, она же не могла предположить, что я ее с ребенком оставлю без средств. А как я смогу помочь ей там, я не очень себе представляю. Как все это устроить, ума не приложу... Ну да ничего, в Лондоне мне подскажут...

Они немного помолчали еще; вернее, молчал Муравьев, а Анна время от времени приговаривала: непонятно, непонятно, — но ничего более осмысленного придумать не могла.

Муравьев спросил:

— А ее не могло что-нибудь здесь испугать? Мне кажется, она чем-то напугана... Может быть, ее вовлекли в какое-то дело, обманули?

— Скорее уж тогда она обманула их, — живо возразила Анна, начиная быстро тараторить. — Эльза ведь, по-моему, не ожидала, что она уедет. Нет, нет, здесь ее собственное упрямство. Упрямство, одно упрямство. Вы-то знаете, как она была упряма. Увлекающаяся натура. Вы, конечно, правы, — они разожгли ее. А уж дальше она полетела сама. Она вся ведь в этом.

Муравьев не успокоился:

— Анна, а что, как вы думаете, Катерина едет просто так, ей не давали никаких поручений? Странно, если б они этим не захотели воспользоваться. Беременная женщина — это удобная «легенда», так это, кажется, называется?

Анна взглянула на него с интересом:

— Вы уж хотите на нее всех собак навесить.

— А чем эти лучше собак?

Анна засмеялась, закидывая голову:

— Что же они, дураки, по-вашему, что ли? Не видели, с кем имеют дело? А у вас тоже нервишки разыгрались. Плохо, плохо, Дмитрий Николаевич. Вам надо бы отдохнуть.

— Подождите, — досадливо прервал он. — А почему тогда Катерина последнее время избегала меня?

Анна фыркнула, но Муравьев не разобрал, что это значит.

— А чем вы удивлены? — насмешливо спросила она. — Вы разве не знаете?

— Что я должен знать?

— Вы что, не знаете, что это вас здесь считают за шпиона?

— Меня? Час от часу не легче! — возмутился Муравьев.

— Кого же еще? Они здесь все, впрочем, на этой почве перебесились. Говорят, что вы английский шпион.

— Английский?

— Ну да.

— А почему английский?

— Я откуда знаю, почему. Говорят, что знают точно, что очень будто бы похоже. Говорят, что Англия не хочет все это дело выпускать из своих рук, из-под контроля. Эх, сболтнула я, дура! — захохотала она. — Вы меня не выдавайте. Смотрите, а то и меня вместе с вами. Я на вас надеюсь.

— Вот до чего меня мое англоманство довело! — с трудом пошутил Муравьев, так и не понимая, разыгрывает она его или нет.

— А вы думали как?! Сами на себя со стороны посмотрите. Бродите здесь один, как волк, только людей смущаете. Деньги у вас есть, так почему не уезжаете?! Вы же богач, а они нищие. Что вам здесь делать? Не можете сказать? Вот то-то и оно... Эх, Дмитрий Николаевич. — Она снова поглядела на него, уже сочувственно, неожиданно остановилась, обняла его одной рукой и поцеловала в щеку. — Милый Дмитрий Николаевич. Это шутка, шутка. Не более чем шутка. Простите дуру... Вы только не сердитесь, — стала тормошить она его, видя, что он все-таки огорчен. — Впрочем, я действительно такую версию слышала. Но вы не придавайте этому значения. Надо же людям чем-то заниматься. Им нужна пища для умов. С этим ничего не поделаешь. Ах, если б вы знали, как они мне все надоели! Когда стали сюда приезжать соотечественники, я так радовалась, я так скучала без них. Я думала, какая теперь начнется веселая жизнь. Свои, землячки!.. А что вышло? Я теперь только и думаю: черт бы их всех унес! Ведь шагу нельзя ступить! Жить невозможно!

Она долго еще ругалась, понося их всех сообща и каждого порознь, сделав исключение только для Муравьева и Наташи Вельде. Муравьев не перебивал ее, потом упрямо спросил:

— Ну, хорошо. А все-таки, что за история с Катериной? Чего они могли хотеть от нее?

— По-моему, единственно чего они могли добиваться, так это обчистить вас! — категорично сказала Анна. — Ну, а Катька все-таки порядочный в некотором отношении человек, ее это возмутило. Она решила пойти им наперекор, и им, и вам... Тем более что... — Анна спохватилась, страдальчески вздернула брови и замолчала; Муравьев только по виду ее догадался: вероятно, она хотела сказать, что просто-напросто ребенок не его.

Следующую неделю Муравьев провел в Англии. Дети его жили теперь порознь. Дочь, бросив университет, где она занималась на филологическом отделении, жила в Лондоне; сын доучивался в Оксфорде. Муравьев ехал с тайной мыслью подготовить свой переезд в Лондон, однако план этот был нереален.

Дочь его давно слыла «красной». Муравьев никогда не верил этому, но, войдя в ее лондонскую квартиру, еще до того, как пришли приятели дочери, понял, что люди говорили правду.

В квартире все стояло вверх дном. Все вещи были выдвинуты на середину комнат, диван, на котором спала дочь, со скомканными одеялами и простынями стоял неубранный, повсюду валялись какие-то женские тряпки, кофты, головные платки вперемешку с книгами и пластинками. Обои были засалены и частично оборваны; возле покосившегося стеллажа с книгами на уровне человеческого роста видны были отпечатки мужских, судя по размеру, сапог. («Это мои друзья занимались здесь каратэ»,— позже пояснила ему дочь.) Занавеси на окнах были давно не стираны, в кухне их не было вовсе. Кухонная раковина заполнена была немытой посудой, в углу громоздились заросшие пылью пустые бутылки, и вообще всюду, куда бы ни посмотреть, в комнатах, в ванной, в уборной, по углам от грязного пола подымались горки какой-то дряни, обломки кресел, рваные журналы, битые пластинки, снова тряпки, книги, искореженная настольная лампа, пишущая машинка и тому подобное. Дочь с подругой лежали среди этого развала на диване, слушали граммофонные пластинки и читали книгу некоего Нейберга под названием «Вооруженное восстание», изданную в Швейцарии. Потом явились приятели (или соратники?) дочери — трое лохматых молодых людей, англичанин, еврей и русский. Последний тут же удалился в другую комнату, прихватив с собой пишущую машинку, как оказалось, действующую, и там лихорадочно печатал, выходя только для того, чтобы выпить водки. Остальные долго, детально обсуждали этого самого Нейберга, снисходительно пояснив Муравьеву, что Нейберг — псевдоним, а на самом деле книга написана военным отделом Коминтерна (Тухачевский, Пятницкий, Хо Ши Мин, Волленберг и др.) как учебное пособие к грядущим боям. К вечеру пришло еще человек десять. Муравьев от табачного дыма, выпитой водки, а более — от всей обстановки, не оставлявшей ему никакой надежды, чувствовал себя нехорошо и удалился, сославшись на усталость после дороги.

На другой день приехал сын, но свидание с ним тоже не принесло особой радости. Внешне все выглядело гораздо благопристойней, за исключением того, что у сына в это время разворачивался бурный роман с юной леди, сын приехал не один и, будучи вынужден пробыть два дня с отцом или и с отцом и с нею, постоянно обнаруживал нетерпение, желая как можно скорее спровадить отца и остаться с ней наедине. Муравьеву-старшему юная леди показалась чересчур жеманной, крохотного росточка и не слишком хороша собой. Он не одобрил сыновнего выбора; нетерпение, которого сын не умел скрыть, раздражало его, и, находясь под впечатлением увиденного у дочери, он опасался, что и здесь, у сына, за этим на первый взгляд невинным нетерпением может таиться какая-нибудь каверза.

Проводив сына и юную леди обратно в Оксфорд, Муравьев навестил там университетское начальство и некоторых полузнакомых ему ученых лиц, которым писал еще раньше о своем желании поработать в каком-нибудь английском университете. К его удивлению, предложения его были встречены почти всеми благожелательно, ему обещали место или обещали поговорить и разузнать, но подчеркнули, что раньше лета найти вакансию будет чрезвычайно трудно. Он не знал, что так отвечают просителям всегда, но неприятное чувство у него тем не менее возникло, и он даже спросил себя: зачем, собственно, ему так уж нужно читать кому-то лекции? После одного из таких визитов он даже сказал об этом дочери, но она, безусловно, полагала его большим ученым и была удивлена.

Всю эту неделю Муравьев со дня на день откладывал посещение своих старых партийных друзей и вообще людей, которых знал по России, хотя слух о его приезде уже распространился, и многие звонили ему в отель или к дочери, чтобы увидеться. Лишь в предпоследний день, когда откладывать далее эти свидания стало нельзя, Муравьев отправился в редакцию своего партийного ежемесячника, — редакция эта представляла собой нечто вроде проходного двора или клуба, там вечно толклась масса народа, зашедшего без всякого дела, только чтобы узнать новости, и там легче всего было встретить сразу почти всех, кто был ему нужен, не отдавая никому предпочтения и не тратя времени на долгие персональные рандеву.

В журнале этом многие годы тому назад Муравьев принимал самое деятельное участие, считался даже или по крайней мере считал себя сам одним из основателей журнала и долго был членом редакционного совета. Журнал начинался когда-то как единственный в России общественно-политический орган подлинно демократического направления, выступавший против безответственности охранителей-консерваторов, с одной стороны, и мечтающих о захвате власти заговорщиков-революционеров — с другой; против правого и левого экстремизма; за политику постепенных, но глубоких освободительных преобразований в экономике, в области просвещения, в организации государственного управления, за политику социальных реформ, основанную на добровольном содружестве всех общественных классов, на разумном и нравственном подходе к решению возникающих перед страной проблем. В былые годы эта программа пользовалась известной популярностью, и журналу удавалось достичь некоторого влияния. Еще и теперь находились почитатели, которые говорили, что журнал «всегда был оплотом», и что теперь это «последний оплот», и что «кроме журнала, нет никого, кто отстаивал бы...», и тому подобное. Журнал традиционно гордился этой своею маркой, то есть тем, что он «оплот» и что он «отстаивает», но, к сожалению, это все больше и больше переставало быть похожим на правду. Правда же заключалась в том, что журнал теперь едва тлел, все последние годы он был перед угрозой банкротства, различные фонды и частные лица все чаще отказывали ему в субсидиях, прежние его подписчики частью были уничтожены войной и революцией, а частью остались в России, ряды нынешних подписчиков, задавленных эмигрантской нуждой, год от году редели, теоретический и профессионально-журналистский уровень публикуемых материалов все время снижался, несмотря на то, что, выпуская номер или организовывая статью, теперь затрачивали вдвое или втрое больше энергии и изобретательности, чем прежде. Редакцию лихорадило, сотрудники нервничали, и главный редактор, бессменно остававшийся на этом посту со дня основания журнала, измученный каторжно тяжелым своим трудом, много болел. Но хуже всего было то, что ни в редакционном совете, ни в аппарате редакции никто давно не верил, что журнал — действительно «оплот» и «отстаивает» что-то там такое; правильнее сказать, не верил, будто это что-то действительно нужно «отстаивать» и быть ему «оплотом». На знамени, как и раньше, были написаны слова о разумном и нравственном подходе, о политике глубоких освободительных преобразований, журнал, как и раньше, выступал против безответственного экстремизма справа и слева, печатал статьи с научным анализом случившегося в России и с анализом нынешней мировой ситуации, но все это было — что знали и сами выпускавшие журнал — смешно и на редкость нежизненно. Потому что давно уже не к чему было прикладывать политику освободительных преобразований, и не к кому было обратить призывы о добровольном терпеливом содружестве общественных классов, и давно уже добивался успеха лишь один экстремизм, справа или слева, но вовсе уж никак не мудрый государственный или высокоморальный гражданственный подход. Чтобы спасти журнал, поддержать тираж и получить возможность маневра, следовало пойти на союз с более или менее приемлемыми умеренными элементами из тех самых, кого журнал называл экстремистами, выработать с ними какую-то общую платформу; такие предложения неоднократно делались и справа и слева. На какие-то контакты в журнале, за последние годы особенно, и впрямь согласились, но от слишком далеко идущих шагов упрямо отказывались, отрицая авантюры и предпочитая погибнуть, не предав своей смешной и нежизненной принципиальной линии. Быть может, эта героическая позиция и привлекала еще к журналу людей; по крайней мере — в его прокуренную прихожую, где все разговоры начинались обычно с выражения сочувствия и вопросов о тираже.

Войдя в эту полутемную без окон прихожую, Муравьев увидел, что за полтора года, пока он здесь не был, таких любителей посмотреть на агонию больного организма значительно поубавилось — верно, зрелище стало приедаться. На старом кожаном истертом диване с нелепой высоченной спинкой, на другом диванчике поменьше и в двух креслах, с виду удобных, но продавленных настолько, что, севши в них, человек падал чуть не до пола, располагалось в приглушенной беседе лишь четверо. Трое из них были в пальто и, следовательно, не принадлежали к числу работников журнала, четвертый, явно здешний, был запросто в жилете и рубахе с за-

катанными рукавами. Как раз когда Муравьев вошел, один из них, худой, с аскетическим лицом, изрезанным глубокими морщинами, человек, колени которого торчали из продавленного кресла вровень с иссушенной головою, спрашивал у остальных: «Ну что, господа, плохо дело?» — и в голосе его звучала странная надежда. Муравьев не знал из них никого, но они скорей всего узнали его и, приподнявшись с мест, неопределенно кланяясь ему, проводили его изумленными загоревшимися взглядами; однако не успел еще Муравьев пройти, как выражение это сменилось выражением глубокого понимания. Поворачивая направо к секретариату редакции, Муравьев краем глаза увидел, как они в полутьме многозначительно и согласно кивают друг другу.

В секретариате, обложенная как обычно, выше головы листами верстки, машинописи, бухгалтерскими ведомостями, поспешно строчила что-то, согнувшись, боком у сдвинутой куда-то в сторону пишущей машинки, заведующая редакцией, маленькая седенькая старушка с аккуратно завитою головкою. Она работала в редакции, как и главный редактор, с самого первого дня существования журнала, в революцию вместе с журналом перебралась в Крым, затем в эмиграцию, и, сколько помнил Муравьев, и в Петербурге, и в Крыму, и в Лондоне она была все такой же, маленькой и седенькой, аккуратно завитою, и всюду в любое время, с раннего утра до позднего вечера, пребывала в состоянии крайней, лихорадочной спешки, боком у пищущей машинки, печатая, правя, подсчитывая знаки в строке или накладные расходы. На ней держался весь журнал, вся техническая сторона дела, она безропотно делала и свою и чужую работу, работала и за корректора и за технического редактора, расплачивалась с сотрудниками, авторами, с типографией, руководила наймом и ремонтом помещений, и все знали, что если даже журнал не развалится от иных причин, он все равно не сможет выходить, когда старушка уйдет на покой. Возможно, чувствуя это и сознавая свою миссию, она тянула изо всех сил, хотя ей было уже за семьдесят (Муравьев помнил, что в прошлый или позапрошлый его приезд в редакции праздновали ее семидесятилетие), — у нее была психология старого слуги из крепостных. Сейчас она сидела в комнате одна, время было обеденное, остальные, сидевшие тут, ушли обедать, но она вообще никогда не ходила обедать и питалась бутербродами, взятыми с собою из дому, или пирожными, которые приносили ей сердобольные редакционные дамы, курьер и литературный редактор.

Она встретила Муравьева по старой памяти тепло, но была чуть-чуть встревожена его появлением. Пока она расспрашивала Муравьева о его житье-бытье, о детях, о Германии, в комнату стали как бы невзначай заходить сотрудники. Муравьеву ближе всех были здесь двое — маленький лысый толстячок Матвеев, добрый и неглупый, с которым они даже писали однажды, лет десять тому назад, статью о п р и р о д е р е в о л ю ц и и; и второй — бывший муравьевский ученик по историческому факультету, подававший когда-то большие надежды, Енютин — теперь старый и обрюзгший, замороченный двумя или, если не врали, тремя семьями, которые тянулись за ним еще от самой России. Оба поспешили увести Муравьева в укромное место, чтобы рассказать новости.

— А наш-то, вы знаете, опять болен, — успела сказать старушка, имея в виду главного редактора. — Опять был сердечный приступ. Да какой сильный. Ну, да они вам все расскажут, — безнадежно сказала она (безнадежно оттого, что была уверена, что эти двое сейчас выдадут постороннему, в сущности, человеку все редакционные тайны) и, подергивая головой, погрузилась опять в свои бумаги.

Уведя Муравьева в укромный, обитый по стенам и потолку материей загончик редакционной машинистки и усадив на пустовавший ее стул с плоской подушечкой (машинистка сегодня была выходная), они сели против него, один на стол, другой в продавленное кресло (целых кресел в редакции, кажется, отроду не бывало), и придали своим лицам печальное и строгое выражение, приличествующее разговору о погибающем, затравленном издании. Впрочем, у бывшего ученика в выражении проскальзывало еще и что-то такое, отчего Муравьев вдруг хорошо вспомнил, как тот выглядел в своей студенческой тужурочке в университетские годы.

Посидев немного с постной миной, толстяк Матвеев в силу природного жизнелюбия сказал, что надо надеяться на лучшее, хотя все очень трудно, а сам он только что похоронил мать, и брат его находится в психиатрической лечебнице. «Я страшно измотался за последнее время», — поведал он, благодушно улыбаясь и сияя румянцем гладких щек. Муравьев знал, что это один из самых добросовестных людей в журнале, а то и вообще на свете, и ему можно верить. Но бывшему ученику показалось, что толстяк самим видом своим все равно дает слишком упрощенное представление о разыгрывающейся здесь трагедии.

— Я все-таки не понимаю, каковы основания для такого оптимистического взгляда, — проскрежетал он. — Главный редактор лежит в клинике и вряд ли оттуда выйдет.

— Почему, почему?! — в отчаянии заломил руки добрый толстяк.

— Ты сам это знаешь не хуже меня. Редакция в руках негодяя.

Толстяк опять попытался протестовать.

— Ты знаешь это не хуже меня! — отрезал другой, взглянув на него с той ненавистью, какая бывает вызвана только различием идеологий. — Ну хорошо, скажем, не негодяя, а человека... сомнительного... Слушайте, господа, — вдруг тихо сказал он, и взгляд его сделался мечтательным, — а может, мы сейчас пройдем на «уголок»? И поговорим там обо всем? — (Муравьев помнил, что на уголке помещалась пивная, где часто коротали время работники журнала.) — Нет? А жаль, — вздохнул он, и его лицо стало безвольным.

Негодяем и сомнительным человеком называл он руководившего журналом в отсутствие главного редактора его заместителя. Муравьев немного знал того. Тот был, так сказать, интеллигентом в первом поколении, из деревни, чудом выучившийся и окончивший незадолго перед войной университет в Саратове. Он был не без способностей, трудолюбив, упорно образовывал себя и обладал, как не раз убеждался Муравьев, еще каким-то врожденным пониманием проблем, доступных лишь изощренным, отягощенным культурой умам. Это был тип русского американца, то есть человек с неизвестно откуда взявшейся деловитостью, любовью к хорошо сработанной вещи, будь то железнодорожный мост, стол, журнальная статья или политическая интрига, и отвращением к тому, что называется русской халтурой и разгильдяйством. Еще перед войной он начал делать быструю карьеру в Министерстве просвещения, занимаясь вместе с тем и общественной деятельностью, и уже тогда злые языки поговаривали, что его участие в прогрессивном демократическом движении вызвано единственно желанием нажить себе политический капитал, а не настоящей приверженностью идеалам свободы. Уверяли, что он якшается с отпетыми реакционерами и черносотенцами и чуть ли не с тайной полицией и что, если бы только ему это было выгодно, он сам немедленно стал бы реакционером. После войны, в эмиграции, это мнение о нем продолжало держаться.

Разговор на минуту был прерван — в комнатку вошел тот самый аскет из коридора, так и не снявший пальто. Обведя всех не соответствовавшим его суровому виду жалостливым собачьим взглядом, он почтительно поздоровался с Муравьевым и снова спросил со своей странной надеждой:

— Ну, что, братцы, плохо дело?

— Вот, он сейчас подтвердит! — тотчас же встрепенулся обличитель. — Скажи, ведь правда же это человек сомнительный!

Но аскет, севши чуть не с ногами на стол, только прикрыл глаза, по-детски обнял худые свои колени и ханжески простонал:

— Не знаю, я ничего не знаю. Кто бы мне все объяснил? Вы, Муравьев, не можете, а?

Раздосадованный этим разнобоем в своем же кругу, от возбуждения покраснев и плюясь, бывший ученик продолжал настаивать, что тот, о ком они сейчас говорили, — все-таки не просто сомнительный человек, а настоящая сволочь, что ему нужна только власть, пусть даже самая маленькая, что, придя к власти в журнале, он немедленно заключит союз с самыми оголтелыми врагами журнала, потому что журнал сам по себе и то, за что журнал всю жизнь борется, — нисколько не интересуют его, журнал для него — только трамплин, только ступенька, он использует журнал и забудет о нем. «Он вые...т нас всех вместе и каждого в отдельности! — (Муравьев только сейчас заметил, что бывший ученик его с утра уже немного принял.) — Он нас всех вые...т, помяните мое слово. Но тогда уже будет

поздно. Мы должны сплотиться... Должны сказать свое слово. С нашим главным мы привыкли, что играем в одну игру, теперь мы должны понять, что с новым руководством у нас разные линии. Это надо показать ему сразу же! Это страшный человек, поймите!» Внезапно он остановился: чудовищное подозрение охватило его, расширенными, совсем уже пьяными глазами он впился в лицо Муравьева. «Позвольте, — задохнулся он, — а вы, вы зачем приехали? Это он вас вызвал! Нет? Скажите правду, почему вы не хотите сказать нам правду?»

Добрый толстяк, совершенно сконфуженный таким поведением, бросился его успокаивать. Аскет сидел, обняв колени, покачиваясь, с задумчивым просветленным лицом. К счастью, в это время, приоткрыв дверь, седенькая старушка (с тревогой) сообщила, что «он пришел» и ждет Муравьева. Сокрушенный своим прогрессистским горем, бывший ученик почти лежал, уронив голову на подлокотник продавленного кресла.

«Страшный человек», фамилия ему была Попов, встретил Муравьева еще в коридоре. У него был вид расторопного маленького деревенского печника, пышные, вьющиеся кудри, теперь уже с проседью, зачесанные на косой пробор, и сердечная тихая повадка в обращении, какая бывает только у старых царедворцев или у людей, долго проработавших в партийном аппарате. Муравьев не испытывал к нему особого недоверия: ему казалось, что — карьерист этот человек или нет — он все равно слишком любит хорошо сработанную вещь и слишком много понимает, так что эта любовь и это понимание в конечном счете всегда пересиливают у него любые другие чувства, зачастую вовсе не принося ему никакой выгоды. Муравьеву казалось также, что тот должен как-то ощущать это муравьевское к нему отношение, должен видеть, что Муравьев может оказать ему поддержку. Действительно, Попов был как будто рад гостю. Мягко улыбаясь, он внимательно слушал о Германии, об университетских немцах, рассказать о которых Муравьев счел необходимым, прежде чем перейти к разговору о своих, русских. Скоро Муравьев, однако, заметил, что слушатель чем-то обеспокоен, что, более того, его беспокойство все возрастает. В какой-то момент Муравьев даже подумал, что Попов его не слышит, но нет, — тот не упускал, по-видимому, ничего, переспрашивал, кстати смеялся. И в то же время что-то не переставало волновать его, хотя он внешне старался не обнаружить этого, от напряжения лицо его деревенело, и — телепатически — за стеной в проходной комнате перед кабинетом все увеличивалось, вероятно, волнение седенькой старушки, которая уже дважды заглядывала к ним в немом испуге.

— Националистические партии, русские эмигрантские или германские, — говорил Муравьев, — по моему глубокому убеждению, имеют и могут иметь только одну-единственную цель: постепенно подавляя оппозиционные демократические силы, бесчестя их, играя на их противоречиях, подготовить Европу, и прежде всего Германию, к предстоящей войне. Их деятельность, их пропаганда не могут иметь никакой другой цели, никакого другого смысла и оправдания. Они без колебаний взяли на себя право принести в жертву идеалы свободы, справедливости, они готовы даже на преступления, и все это во имя одной цели — во имя необходимости воспитать народ, молодое поколение для войны. Как только отпала бы идея войны, так сразу же вся их философия оказалась бы совершенно бессмысленной и никому не нужной. Но эта война невозможна...

Говоря это, Муравьев вдруг понял, что примерно происходит с Поповым: у него, на самом деле, — как и уверяли журнальные прогрессисты, — должно быть, были далеко идущие планы заключения союзов с самыми различными движениями и группами, в том числе и с теми, на которые нападал сейчас Муравьев, и он не мог сообразить, каким образом отразится приезд Муравьева на его политике, хорошо это или плохо, как это будет воспринято теми или другими, и сейчас лихорадочно просчитывал все возможные варианты.

— Так вот, — сказал Муравьев. — Я хочу написать об этом для вас статью. Может быть, даже серию статей. — Как и в памятном разговоре с отцом Иваном, до этой минуты Муравьев вовсе не помышлял ни о чем подобном, слова о статье или даже о серии статей вырвались у него почти непроизвольно, сами собой, но тотчас же ему стало казаться, что это, и правда, неплохая мысль и что он давно подспудно вынашивал ее.

— Отлично, отлично, — прошептал Попов. Лицо его было уже не деревянным, а точно перехвачено кататоническим спазмом.

Седенькая старушка тотчас же снова заглянула в кабинет с таким выражением, как будто спрашивала: не пора ли уже позвать полицию?

— Вы собираетесь писать только о русских группировках или дадите обзор по всем странам? — едва слышно поинтересовался Попов. — У вас уже есть материал?

Муравьев с неудовольствием признался, что материала у него еще нет.

— Ах нет? — Попов наморщил лоб, еще присматриваясь к Муравьеву: говорит тот правду или шутит. Затем облегченно откинулся в кресле и, кажется, готов был рассмеяться. У него был вид человека, избегшего ловушки.

Он и впрямь всю неделю, с тех пор как его известили о приезде Муравьева, мучился кошмарной загадкой, зачем и с чем тот явился, в какой мере появление этой некогда значительной персоны может повлиять на развитие событий в журнале и вокруг журнала, и теперь, убедившись, что Муравьев приехал ни с чем, что за ним, по-видимому, не стоят никакие круги, от всего сердца потешался над самим собой, над своими страхами и презирал Муравьева, как только может презирать труженик-профессионал прекраснодушного дилетанта-любителя. Неразрешенным у него оставалось еще лишь одно подозрение: он побаивался, что тяжело заболевший главный редактор мог тайно вызвать Муравьева с тем, чтобы попытаться помешать ему, Попову, занять редакторское место. Ему следовало, таким образом, ни в коем случае не допустить Муравьева до свидания с главным наедине. Ему передавали, что свидания этого еще не было, и это не успокаивало, а, наоборот, настораживало его.

— Конечно, пишите, пишите, такая статья нам очень нужна, — ободрил он, в первое мгновение почти не заботясь о том, чтобы скрыть свои чувства. — То, что вы рассказали, — в следующую минуту, взяв себя в руки, ласково обратился он к Муравьеву, — очень интересно. Пойдемте завтра навестим нашего главного, расскажем ему тоже. Старик будет рад, что вы приехали не с пустыми руками, а с... идеями, — сказал он, и в глазах его мелькнула такая усмешка, что Муравьев даже удивился и подумал, что, конечно, совсем не знает, как много чертей в этом человеке.

XIX. Ищи и обрящешь

Вирхов был раздосадован и обеспокоен неясностью, возникшей вокруг ставшего теперь таинственным иностранца Григория Григорьевича. Хотя ему самому (Вирхову), по-видимому, ничего не грозило, мысль о том, что Мелик может быть нечист, что за приятельской сердечностью, за жизнью, вызывавшей сочувствие и предполагавшей родственную душу, на самом деле скрывается трезвый служебный расчет, — эта мысль выводила его из себя, но не потому, — как он признавался себе, — что он начинал так уж презирать и не уважать Мелика. Но если Мелик был в действительности не тот, за кого себя выдавал, то его игра, которую он вел, столь глубоко и верно постигая чуждый ему мир, означала такую силу характера, такую искушенность, что рядом с ним никак уж нельзя было чувствовать себя ровней, а в качестве писателя, «знатока человеческих душ», Вирхов никуда не годился. Мелик грезился ему чуть ли не в форме, сам на себя не похожий, почему-то высокий, с седыми висками. Он разговаривал со своим начальником, умно и скептически улыбаясь. С трудом Вирхов отгонял это видение.

Еще хуже было, что во все это оказывалась замешана и Таня. Воображение, не угомонясь, уже рисовало ему роковой, мрачный роман, который был между Меликом и Таней; вернее, рисунка как раз и не было, контуры никак не прояснялись, оставалось лишь ощущение чего-то тягостного и опасного. Он видел лишь их статичные образы, они казались ему величественными, не то на старинный, не то на западный католический манер. Последнее было, несомненно, под влиянием Таниных разговоров, и, осознавши это, Вирхов даже улыбнулся, сказав себе, что и вообще-то, наверное, все гораздо проще, обыкновеннее, он зря себе все придумывает, и скорее всего здесь недоразумение, клубок сплетен. Скепсис его проснул-

ся. Ему припомнились какие-то Ольгины рассказы о Таниной матери, Катерине Михайловне, которая, по словам Ольги, не любила Мелика, зато любила саму Ольгу, — но к чему все это приложить, Вирхов не знал. Ему мерещилось, что Ольга мимоходом говорила и еще, уже непосредственно о Тане и Мелике — (всегдашнее Ольгино злоязычье), — что-то насчет того, что «прежде Татьяна была далеко не так добропорядочна и даже хотела совратить Мелика, но у нее ничего не вышло».

«Мелик-то будет поумней Льва Владимировича, — добавила, как он помнил, Ольга. — И тогда уже был поумней. Понял, во что ему это обойдется».

Позвонить Тане снова с утра казалось ему неудобным; в волнении он не мог выдумать предлога и, чтоб умерить нелепое свое волнение, сказал себе, что сегодня звонить вообще не будет и не будет больше заниматься этой ерундой. Он отправился в Армянский переулок к Ольге.

Ольга торопилась куда-то по делам. Вокруг были разбросаны ее вещи; переворошив груду белья, кинутую на диване, она раскрыла створки большого шкафа и, спрятавшись меж ними, стала переодеваться.

Вирхов, не снимая пальто, присел на диван. В тусклом зеркале в углу ему была видна Ольга, полуодетая, озабоченно поправлявшая чулки.

— Ты все болтаешься? — спросила Ольга. — Нехорошо. Зачем ты это затеял? Ты же не сможешь зарабатывать деньги. Зачем ты уходишь с работы? С этими бездельниками связался и им подражаешь?.. Что-нибудь делаешь?.. — вскользь, помедлив, поинтересовалась она; Вирхов понял, что она имеет в виду его сочинительство.

Он неохотно поморщился.

— Нет, ничего особенного. — Потом, имитируя рассеянность, спросил: — Слушай-ка, а вот эта история, что Мелик кого-то продал, откуда она идет?

— Да это ребята говорили, когда вернулись в пятьдесят шестом, — с готовностью, будто и не удивясь вопросу, заговорила она, натягивая узкую юбку, затем снова снимая ее и примеряя другую. — Там был такой Танькин ухажер, он теперь в Ленинграде, большой профессор, филолог... У них якобы с Меликом вышел спор, ну, ясно насчет чего...

— А, я читал его статьи, — вспомнил Вирхов.

— Вот-вот. А тогда через неделю его забрали. Правда, и Мелика самого забрали, через две недели. Я вообще во все это совершенно не верю. Тот-то изображал дело так, что, мол, — ревность, Мелик от ревности выдал его, а потом то ли раскаялся и сам на себя донес, то ли просто им не угодил. Я в это не верю и этих сплетен не люблю. Да и никто не верит. Так, языками потрепать любят, поэтому и вспоминают иногда. И Танька сама не верит. Мы с ней говорили об этом.

— Да, я все вспомнил. Конечно, зачем Мелику было ревновать? — согласился Вирхов. — Ты же сама говорила, что он боялся Тани и норовил удрать. Это было бы нелогично.

Ольга, надев юбку, но еще без кофты, с голыми плечами, остановилась и посмотрела на него в зеркале:

— Ха, нелогично! Ты, верно, всегда делаешь все логично. Это только одна сторона, мой милый. А с другой стороны, ему нужно было остаться в Москве, нужна была прописка. Он жил без прописки. Милиция могла поймать в любую минуту. На постоянную работу не брали. Ему было выгодно на ней жениться. А тут соперник. Соученик, интеллектуал.

— Отчего же ему было не жениться на тебе? — скорее пробормотал, чем сказал вслух Вирхов.

Ольга догадалась.

— А я, между прочим, была еще девица, — объявила она его отражению в зеркале и затем взглянула из-за створки — проверить, какое у него выражение. — Не как-нибудь! Мне сколько было лет-то, ты знаешь? Шестнадцать. Да. Я не могла так уж сразу...

Она вышла из своего укрытия, поскучнев. Кажется, она жалела, что тогда все получилось так нелепо и она постыдно испугалась, причинив немало несчастья человеку, которого, пожалуй, любила, и — в конечном счете — себе.

— Он всегда был слишком нетерпелив. — Она почти бесцельно бродила по комнате, собирая какие-то из своих вещей, а другие так и оставляя валяться. — Увидел, что здесь не выходит, заминка. Бросился туда. — Ольга ожила снова, бросила все барахло, не разбирая, охапкой на дно гардероба и, подбежав к зеркалу, стала намазывать ресницы. — Бросился туда. Не уверена, обломилось бы ему там все так быстро, как ему хотелось. Танька хоть и старше меня, но, по-моему, тогда тоже была еще... Она-то молчит, разумеется. Болтает много, но, когда нужно, не скажет никогда. Мне по крайней мере. Но это все неважно. А самое главное то, что тогда вдруг объявилась ее мамаша. Ты с ней как будто уже успел познакомиться? Вот-вот. Она как узнала про Мелика!.. Что это было, описать невозможно. Катастрофа полная! Поверишь ли, я даже жалела его. Если бы он вернулся, я бы все для него сделала...

Уже на лестнице она спросила Вирхова:

— А сам-то он разве не рассказывал тебе, как сел? Ты почему вдруг заинтересовался? Из-за Таньки?

— Нет, он рассказывал, — успокоительно сказал Вирхов. — Все эти-то подробности он, естественно, опускал. Говорил, что никак не мог устроиться на работу, а потом наконец устроился и еще радовался, что устроился. А там, видно, отдел кадров, постепенно стали выяснять, кто да что, юноша необычный... Он ведь и тогда, я думаю, был уже незауряден, да?

— Да, да, безусловно, — не без гордости подтвердила Ольга. — Может, все так и было... А теперь пропал малый совсем. Все как-то устроились, прижились, а он все так вот... Жалко мне его.

— Так выйди за него замуж, — предложил Вирхов, отворяя тяжелую дверь с грязными стеклами.

— Да нет, теперь уж поздно. Много времени прошло. Зачем? Я теперь мудрая стала, как змея... Ты вот, смотри только, не попадись.

Вирхов заверил, что не попадется. Ольга печально сказала:

— Нет, это Танькина рука, я вижу. Дурак ты. Ну, пока. Не пропадай.

На улице было зябко. Чтобы согреться, Вирхов зашел по пути к Кировским воротам, в букинистический магазин, бездумно, мельком взглянув, что выложено на прилавках, — книг он последнее время не покупал, экономил деньги. От нечего делать он зашел и на главный почтамт, посмотреть, как суетятся там люди, и, выходя оттуда, сообразил, что если сейчас пройти бульваром к Сретенке, то рядом будет Сергиевский переулок.

Он был опять в ее комнатке, на той же кушетке, только на этот раз она открыла ему сама.

— Мама с сыном ушли к знакомым, — пояснила она. — Вы знаете, ведь он сидит целыми днями дома, мама не пускает его гулять во двор. Она говорит, что такой ужасный двор, помойка, подвалы. Она думает, что там только и делают, что заманивают детей и учат их самому нехорошему. Мальчик гуляет только с нею или с Михаилом Михайловичем.

— Да, это тяжело, — согласился Вирхов.

— Я не могу ее винить, в ее жизни действительно было так много страшного. С тех пор как она вернулась в двадцать седьмом году в Россию, она столько перенесла. И все не может привыкнуть, хотя видела, кажется, немало. Она умеет, конечно, держаться и в магазине, и в очередях, не то что я... Это ведь очень важно, как вы себя ведете в очереди, отталкиваете ли вы старушек. Сколько из наших знакомых, считающих себя твердыми христианами, отталкивают! А мама не отталкивает... — Она хотела сказать что-то еще, как понял Вирхов по ее сведенным бровям, опять про знакомых твердых христиан и старушек, но другая, приятная мысль, также тотчас отразившаяся в ее лице и глазах, мгновенно изменивших цвет с темного на светлый, отвлекла ее. — А вот тетя была совсем иная, чем мама. Она никуда не уезжала (мама-то уехала совсем еще девочкой), оставалась здесь, в России, и водила дружбу, по ее собственным словам, иногда с таким сбродом, что сама удивлялась. Тетя сама говорила, что никому никогда не отказывала.

Она посмотрела с юмором, совсем не смутясь оттого, что выдавала такие семейные тайны, и Вирхов увидел здесь, кроме уже ставшего для

него в ней обычным выражения свободы, очаровательной и смелой светскости, еще и знак некоторого расположения и доверия.

— Я ее очень любила,— продолжала Таня.— И она меня. Она умерла, бедняжка, несколько лет назад. Мне стало гораздо тяжелее без нее.— Она мелко перекрестилась.— Они с мамой были совершенные антиподы. Тетя была единственный человек, который поддерживал меня, когда мне было трудно,— шепотом сказала она. (Вирхов собрался спросить про Наталью Михайловну и про бабушку-францисканку, но не успел.) — Хотя мы, конечно, тоже были очень разные: во мне никогда не было тетиной веселости, легкости, я долгие годы прожила как в тяжелом сне. Я плакала иногда целыми днями. Тетя всегда сочувствовала мне. Это теперь я уже стою твердо,— сказала она, хотя Вирхову показалось, что в глазах ее блеснули слезы.

За дверью раздалось шарканье туфель и голос пожилого мужчины позвал:

— Таня, можно тебя на минуту?

Она почему-то поднесла руку к сердцу, потемневшее лицо ее отобразило смятение. Вирхову показалось, что, подымаясь с кушетки, она сказала одними губами: «Боже мой, Боже мой». Вирхов был встревожен этой реакцией, потому что голос принадлежал, очевидно, мужу Катерины Михайловны, а о нем и о его отношениях с Таней как будто не сообщалось ничего чересчур плохого.

Из прихожей сначала доносился тихий голос этого человека (Вирхов не мог расслышать, что тот говорит), потом Таня с напряжением, высоко, чуть не плача, вскрикнула:

— Простите, простите, простите! Я никогда больше...

Вирхов не разобрал конца фразы, но тут они подошли ближе (Таня, вероятно, повернулась, чтобы идти в свою комнату), и он услышал, как отчим у самых уже дверей растерянно и раздраженно спрашивает:

— Что случилось, Таня? Я не понимаю... Зачем это?

— Простите, простите меня! — с силой повторила Таня дрожащим голосом.— Я виновата перед вами.

— Зачем это? К чему?..

— Простите! — воскликнула она настойчиво, но тот, кажется, уже удалялся.

Таня остановилась на пороге, как бы не зная, на что решиться. Вирхов вопросительно поднял голову.

— Это Михаил Михайлович, мамин муж,— пояснила она, прерывисто дыша.— Я так и знала.

— Что-нибудь случилось? — еще более обеспокоился Вирхов.

— Мне звонили тут по телефону, и я довольно долго говорила. А Михаилу Михайловичу тоже был нужен телефон, он ждал чьего-то звонка и думает, что звонили как раз в те полчаса, когда говорила я... Я не знаю, что мне делать. Посоветуйте.

Она бессильно опустилась на кушетку, подперев голову руками.

— Я так беспомощна перед этими людьми, перед их уверенным себялюбием...

— Он тяжелый человек? — осведомился Вирхов, будоража свои рыцарские чувства, но одновременно представляя себе круглую плешивую голову отчима.

— Нет, он просто безнадежно слабый человек. Мытарь, гедонист, человек, который заботится лишь о своих удовольствиях. Раньше это были девочки, теперь он стар для этого, хотя они все равно появляются. Он запутался, безнадежно запутался. Он весь в долгах. Недавно приходили судебные исполнители описывать имущество. Только здесь нечего описывать. Одно издательство подало на него в суд. Он заключает с ними договоры и не исполняет их, а деньги тратит. Мама так переживала, была просто в отчаянии, он обещал ей, что этого больше не случится. Но это бесполезно, он слишком слабый, привыкший к своему образу жизни, да и старый уже человек... Я боюсь, что нашего с вами друга,— внезапно она сделала быструю озорную гримаску,— ожидает в недалеком будущем то же самое.— (Вирхов понял, что она имеет в виду Льва Владимировича.) — Они оба так беспринципны, так хорошо ладили друг с другом, что я не убеждена, не было ли у них среди этих девушек и общих.— (Вирхов опять

поразился ее прямоте.) — Конечно, Лев Владимирович, как я теперь понимаю, был заинтересован в Михаиле Михайловиче. Это была для него ступенька, он попадал тем самым в определенный литературный круг. И женитьба на мне была ступенькой, не говоря уже о том, что я учила его работать, учила как школьника, буква за буквой, выправляла ему все его переводы, статьи. Но с Михаилом Михайловичем, я убеждена, у них были общими не только литературные интересы! Я столько раз видела, как они договариваются о чем-то за моей спиной. У них были какие-то общие шуточки, словечки, какие-то общие дела, они куда-то отправлялись вместе. Этот комплот слабых людей всегда так ужасен!

Она замерла на секунду, тревожно и напряженно держа шею.

Воспользовавшись этой паузой и видя, что на самом деле, пожалуй, отчим ее не вовсе дракон, Вирхов попробовал успокоить ее, сказав, как и прошлый раз, что она, наверное, принимает это слишком близко к сердцу.

— Они действительно просто слабые люди, нужно сочувствовать, жалеть их, а что ж так расстраиваться,— сказал он, ощутив фальшивость своего тона.

— Это значит становиться на одну доску с ними, отвечать им тем же!

— Но, мне кажется, он сам был испуган не меньше вашего,— не утерпел и возразил Вирхов, показывая, однако, всем своим видом, что шутит.

— Михаил Михайлович был испуган?! — возмутилась она.— Но это значит только, что он пожалуется маме и мама устроит мне новый скандал. Прежде он не позволял себе хотя бы этого, теперь для него не существует уже ничего... Боже мой,— сказала она, прижимая руки к вискам,— я помню, как у меня была температура сорок, я лежала на диване в большой комнате, а он сидел на моей постели и звонил по телефону, занимал деньги. А потом, когда я получила деньги за перевод, большие деньги, он брал их у меня, так что я в конце концов просто написала на него доверенность в сберкассу, чтобы он сам, помимо меня, мог брать, сколько хочет. Вот тогда у нас были с ним замечательные отношения. У этих людей привычка рассматривать других только как средство, как ступеньку или помеху к чему-то. Мне везет на таких с самого детства. Мои друзья и знакомые почти всегда смотрели на меня только так: я или помогала им, или начинала мешать, тогда они меня бросали. Лев Владимирович и Михаил Михайлович — это последние. Только теперь, слава Богу, это кончилось.— Она замолчала, вспоминая остальных.

Услышав про детство, Вирхов обрадовался, что она сама заговорила об этом, потому что до этого не знал, как лучше спросить.

— Таня...— начал он, запинаясь,— вот вы сказали, что это у вас с детства. А почему это так? Что-нибудь было еще в детстве? — спросил он насколько мог сочувственно.

Вспыхнув, но не от гнева (сказав, он испугался было, что она рассердится), а словно бы от какого-то тайного торжества, она твердо ответила: да. Ласково глядя на нее, он ожидал дальнейшего.

Она вдруг разволновалась, ей почти стало плохо с сердцем, лицо ее помертвело. Не стесняясь Вирхова, она чуть приоткрыла на груди халат, сунув туда руку, чтобы прижать сердце. С легким стоном она наконец задышала ровнее.

— Да, в детстве, в отрочестве, правильнее сказать,— сразу же заговорила она, давая понять, что приступ — случайность, на которую не нужно обращать внимания,— были разные события. Они выбили меня из колеи. До этого, я, по-моему, была доверчивей и радостней. Я вам как-нибудь потом расскажу об этом. Но тогда я еще мало понимала. По-настоящему я поняла и оценила все позже, уже в юности, когда люди, которым я верила, оказались недостойны. Вам кто-нибудь уже рассказывал об этом? — неожиданно спросила она так, точно заранее была в этом уверена и заранее презирала тех, кто наболтал ему, сам ничего толком не зная.

Вирхов чистосердечно сказал, что нет, попытавшись прямо посмотреть ей в глаза.

— Это связано с одним человеком...— с грустью произнесла она, затем пристально посмотрела на него.— Он жил здесь... ну, словом, жил...

Нет, я не знаю, можно ли уже говорить об этом. Главных действующих лиц давно нет, они погибли или умерли, но еще живы другие люди, которые тоже знали... Это не моя т а й н а. Я никогда об этом никому не говорила. Хотя сейчас это как будто становится известным. Вот и отец Владимир интересовался этим и даже спрашивал у Наташи, у Натальи Михайловны. Я вам, быть может, расскажу потом. Вы, правда, ни от кого не слыхали об этом?—спросила она вновь с подозрением и выделив при этом «ни от кого».

Вирхов опять заверил ее, что не слышал ничего и ни от кого. Он все еще старался сообразить, не говорила ли чего-нибудь в этом роде Ольга, когда Таня, согласно кивнув, решила:

— Да, он не мог вам рассказать об этом.

— Кто он?—удивился Вирхов.—Лев Владимирович?

Таня пренебрежительно скривила угол изящного, тонкого рта. «Остается только Мелик.—Вирхов почувствовал, что и у него самого теперь забилось нерегулярно сердце.—Вот, значит, откуда это все тянется...»

— Так это Мелик,—подумал он вслух.

Она подтвердила, полуприкрыв глаза.

— Это он причинил вам столько неприятностей еще в детстве?—изумленный, спросил Вирхов.

Она снова едва кивнула, начиная немного дрожать и сжимать перед грудью руки.

— Что же он сделал?

Она не столько произнесла, сколько вздохнула, опять близкая к обмороку или сердечному приступу:

— Ужасно, ужасно. Он ужасный и несчастный человек. Как мне жаль его!

— Так что произошло? Он выдал кого-то? Это когда было?—торопливо вставил Вирхов.

Закусив нижнюю подрагивающую губу, она остановилась, помотала головой:

— Я не могу вам сказать этого сейчас. Я и не поняла ничего тогда. Хотя... Нет, нет... Для меня все это началось гораздо позже, когда он вернулся. Мне было так плохо.

— Вернулся, откуда?

— Он ведь жил... со своими родственниками. Когда их арестовали, то его тоже отправили в ссылку или в детскую колонию. Ему было тринадцать лет. Я не знаю, где он был, от него ведь нельзя узнать правды, он всегда все выдумывал, он был маленький фантазер, м а л е н ь к и й л ж е ц. Я понимаю его. Что ему еще оставалось? Отца своего он, по-моему, совсем не знал, мать его была, кажется, попросту говоря, обыкновенная... Так что отец был, может быть, совсем случайный человек, которого она и сама-то больше не видела. Мелик о нем говорил самые разные вещи. Но тут, возможно, и мать сама ему рассказывала небылицы, чтобы не огорчать мальчика... Она умерла, когда ему было лет девять, от туберкулеза. Они жили там...—она судорожно глотнула,—в Покровском.

— Так Мелик жил в э т о м д о м е?!

— Нет, нет! Боже избави!—почему-то испуганно сказала она, даже как бы отстраняясь от него рукой.—Он жил там, в деревне... А это его двоюродная тетя... Но я ничего не знаю наверное,—уже утихомирясь, сказала она прежним, очистившимся от простуды и сильного чувства, серебряным голоском.—Он был такой выдумщик. Он, когда вернулся в Москву в сорок восьмом, тоже без конца изобретал все новые истории, что с ним было. Он даже говорил, что был на фронте, но потом отказался, сказал, что не говорил. Не понимаю, зачем ему нужно было тогда так обманывать меня? Неужели он не видел, что со мной нужно по-другому? Мне было очень плохо тогда. Я так хорошо помню тот год, лето, и я одна в квартире у Наташи. Это был необыкновенный год. В тот год я могла сказать себе: я сейчас пойду туда-то и туда-то, и по дороге мне встретится такой-то человек. И действительно, я шла, и тот встречался мне, там, где я загадала. У меня были видения в том году, и я все видела очень отчетливо. С тех пор такая отчетливость была только еще раз... Я расскажу вам потом. Я помню тот год день за днем. Я вообще помню все годы, все дни более или менее точно. Но эти мистические годы помню особенно. Вот, например, в этот же день, что сегодня, этого же числа, тогда я с утра была дома, и Наташа была дома, мы долго с ней пили утром кофе, разговаривали, потом пришел ее сын, Сергей, Наташа пошла ставить еще кофе, а мне нужно было бежать в университет, меня там ждали... Я помню, как шла и думала о том человеке, с которым мне предстояло увидеться. Нет, я не любила его,—улыбнулась она,—я вам опишу его потом, если захотите... Вы, может быть, его знаете.

Улыбаясь, она затихла, склонив голову набок и прислушиваясь к самой себе. Вирхов ожидал, что дальше, после этого тихого начала, должна следовать драматическая развязка, но собеседница его все сидела в своей милой задумчивости, и лишь неясные быстрые тени пробегали по ее лицу. Вирхов почтительно молчал.

— Таня,—осмелился он.

Она вскинула голову:

— Ах, простите, простите!—Она покраснела и стала поправлять волосы.—Я вспомнила свое тогдашнее платьице и принялась соображать, где же оно может быть теперь. Последний раз я его надевала, когда мы ездили с мамой осенью пятьдесят первого года в Ленинград. Мама, конечно, очень сердилась на меня за это платье. А такое прелестное было платьице! Неужели она его выбросила?

Совсем смутившись, что ему приходится так грубо перебивать это приятное ее воспоминание, стыдясь своей невоспитанности, Вирхов тем не менее сказал:

— Таня, простите и меня тоже, вы не дорассказали о Мелике.

— Мелик?—Она нахмурилась, будто даже досадливо, но, быть может, это только так показалось ее мнительному гостю, потому что тут же серьезно, померкнувшим тоном она произнесла:—Что ж Мелик... Он вернулся, уж не знаю откуда, из лагеря или из ссылки, или из армии. Не знаю. Скорее всего из ссылки. Ему, кажется, не было запрещения проживать в Москве, но прописки у него тоже не было. Он вернулся летом, двенадцатого июня, и хотел поступить в университет.

— Это какой был год?—уточнил Вирхов.

— Сорок восьмой. В этом же году вернулась и мама, но позже, осенью. А тогда, летом...— На лице ее опять набежала тень, углы рта вздрогнули, и Вирхов ощутил мгновенный ток жалости к ней, а также ревности, ясно представляя себе, что могло быть летом, когда вернулся Мелик.

Видно, почувствовав это его сострадание, словно в благодарность уже не опуская глаз, она продолжала:

— Я помню, как он вернулся. Я стирала в ванной, это было там, в Трубниковском, у Наташи. У меня был еще экзамен, я должна была четырнадцатого сдавать классическую латынь. Я стирала и вспоминала глагол perire (находить), может быть, потому, что перед этим долго искала поясочек от своего халатика и не могла найти. У меня был тогда очень милый халатик. Этот-то, что сейчас на мне, старый, мамин, она отдала мне, сама в таком ходить она уже не может, а тот был мой, собственный...

Не решаясь снова ее перебить, Вирхов долго слушал, как она описывала свой халатик, спрягала глагол perire и объясняла, какому святому надо молиться об утерянных вещах. Наконец она сама сказала:

— ...Ну вот. А потом в дверь постучали. У нас тогда вечно срывали звонок и приходилось стучать. Я открыла, а он стоит, такой худой, черный, привалился так к притолоке и не входит. Я его сразу узнала. Я ему тут же и рассказала про то, как спрягала только что «находить». Ведь я его нашла, правда?

— Ну, скорее уж это он нашел вас,— решился пошутить Вирхов.

— Это не имеет значения,—строго возразила она.—Я говорю о мистической стороне дела.

— Да, безусловно,—поспешил Вирхов.—Ну, а потом?

— Потом он готовился в университет,— сказала она суховато, несколько все же обиженная нетонкостью своего собеседника.—Я с ним занималась. Помогала ему. Он жил по знакомым, то у одних, то у других, чаще всего даже не в Москве, а где-то поблизости. Но не в Покровском. Потом его не приняли, то ли он сам провалился на экзамене, то ли его

провалили намеренно, понять было трудно, хотя я провожала его до самых дверей и все время ждала его, никуда не уходила. В чем дело, узнать было трудно. Он поступал на психологический факультет, я там никого не знала, а те люди, которых я просила узнать, этого для меня не сделали. Может быть, нарочно,— жестко сказала она.— Я попросила об этом одного человека, который клялся, что любит меня. Но он этого не сделал. Вернее, сказал, что ходил, но ему якобы ничего не ответили. Если бы я тогда была не так наивна, я бы догадалась, что он обманывает меня, и это уберегло бы меня и от других вещей, достаточно неприятных.— Она не выдержала и посмотрела в сторону.— Но он уверял меня, что сделал все и что это еще вдобавок было для него чрезвычайно опасно, так как навлекло подозрение. Он был старше нас, воевал, был в окружении, может быть, даже в плену, он говорил — в окружении, и на него действительно иногда косились, но как будто он мог доказать алиби, так что был и в партии и вообще продвигался быстро. Он и сейчас существует, пишет без конца статьи, книги. Встретил как-то меня у знакомых: «Таня, дорогая, почему не заходишь? Мы с Эрной будем так рады». Какое радушие! — с презрением повела она плечами.

— А Мелик? — напомнил Вирхов.

— Мелик очень переживал. Очень переживал, я даже не совсем понимаю отчего. Почему ему обязательно нужно было поступить? Наверное, как всегда, напридумывал себе что-нибудь. Для него эта неудача оказалась вдруг непомерно большим ударом. Он сразу как-то выбился из колеи, занервничал, сразу изменился в отношении ко мне. Стал злым, все время обижался, так мелко ругал моих друзей, говорил: «Твои интеллигентные друзья, ну, конечно, они ведь образованные, а я, видишь ли, чернорабочий». Он долго не мог никуда устроиться, без прописки не брали, потом все-таки взяли куда-то на стройку. Это было уже в начале сентября, вот-вот должна была вернуться мама. Мы договорились с ней, что если это будет получаться, она в письме нарисует цветочек. Может быть, известие подстегнуло его, он почувствовал, что мама будет против, я рассказывала ему о ней. Он попросил, чтобы я вышла за него замуж...— Она растерянно оглянулась по сторонам, точно Мелик и сейчас был перед нею.— Но я не могла...— едва слышно вымолвила она.— Я скажу вам, что я даже хотела выйти за него. Я, быть может, даже любила его, любила по-настоящему. Я тогда решилась. Я считала, что спасу его, но я не могла забыть того, что он сделал... тогда... Нет, нет, я простила его. Могу ли я не простить?! Я даже написала маме...

Она на мгновение поникла. Вирхов заметил, что во всех этих словах есть некоторое противоречие, но, как и все время с нею, решил, что, вероятно, в конце концов так и надо и это он сам чего-то не понимает.

— Да, я решилась, хотя мама и запретила мне делать это до ее приезда. Но в это время я и сама вдруг узнала, что он бывает у Ольги, я ведь познакомила их тогда, что он с ней... Ну, словом, все обыкновенно, очень обыкновенно. Мне было тогда плохо, очень плохо...

Она остановилась, ее лицо снова совсем помертвело, как будто ожили, наоборот, та обида, та жестокость, с которой люди обманывали ее. Но она не прятала слез, сидела, распрямясь, гордо, глядя перед собой, поверх его головы.

— Ну что вы, что вы, Таня,— растерянно пробубнил Вирхов, не зная, правильно ли будет сейчас подсесть к ней, взять ее за руку, погладить. «Если бы плач был по другому поводу, тогда бы еще ничего»,— подумал он.

Вдруг она счастливо улыбнулась сквозь слезы:

— Ничего, ничего, это «дар слезный». Этого не надо бояться. Это первый шаг. Ведь Тереза, Тереза Авильская, иногда плакала целыми днями. Прямо заливалась слезами. Даже слепла от слез. Это ведь наши идеальные христиане только так считают: святая, ходила, увещевала, к королю являлась, организовывала. А она плакала и еще как. Нашим, тому же Мелику теперь, это кажется унизительным, душевностью. А мы-то сами — люди, верно? Жалобные люди, и в нас есть все — аффектация, чувства, все, что осудит член Ефесской церкви. «Мы» и «не-мы», то есть Христовы и не-Христовы, узнаются, как овцы, как сор для мира, и на этом стоят. Я очень хочу и прошу,— воодушевясь, с высохшими от жаркой речи глазами, сказала она.— Их прошу, это не в нашей власти, чтобы вы стали любить и тех, кто вам совсем не нравится. И любить не вообще, так тепло — хладно, а мучительно, чтоб и по-дурацки отдать себя на растерзание за них!

Последнего Вирхов опять не понял, что отнес опять на счет своего несовершенства, но тем сильнее ему хотелось сидеть вот так, напротив нее, и слушать, вбирая в себя ее жизнь и учась ее богословию. Незадолго перед тем он прочитал взятую у Мелика книгу о великом немецком мистике Мейстере Экхарте; в частности, о том, что к мистическому служению, к окончательному выбору подвигла того женщина, сестра Катрей, которая и дальше, почти всю жизнь как бы вела его, будучи в чем-то сильнее и мужественнее этого гениального человека. Теперь эта пара внезапно предстала ему как образец, аналогия его возможных отношений с Таней. «Да, да, это именно такой человек. Сестра Катрей»,— сказал он себе. Он заколебался, сопоставляя себя с Мейстером Экхартом и не находя в себе ни грана мистического дара. Собственная его жизнь, от которой мистик наверняка отшатнулся бы в ужасе, также не соответствовала аналогу. Вирхов подавил нехорошую усмешку.

— Ну ладно, Таня,— сказал он, предпочитая больше не думать об этом.— Не сердитесь, что я так влезаю во все это. Что было дальше с Меликом?

— Я не сержусь,— прошептала она, тоже о чем-то задумавшись.— Я вас понимаю, вы дружите с Меликом... Вы даже, может быть, мне не верите сейчас. Он рассказывал вам много плохого обо мне.— (Вирхов поспешно замотал головой: «Нет, нет, что вы, никогда, он скорее избегал этой темы».) — Ну все равно,— решила она.— Тогда, в тот год, он словно взбесился. Он, по-видимому, не ожидал, что я откажусь. Он стал требовать. Говорил, что я должна, что я обещала. Он говорил, что я однажды взяла его руку и приложила к своей груди.— Она приостановилась, склонив голову набок, словно проверяя, прислушиваясь к еще сохранившемуся ощущению.— Он плакал, устраивал мне истерики, клеветал на меня же моим друзьям. Господи, как он орал, как топал ногами. Убегал, говорил, что уезжает совсем. Стоило так любить, чтобы потом так ненавидеть. Он даже пытался шантажировать меня, говорил, что если так, то он на самом деле выдаст меня, моих друзей, маму.— Она опять всхлипнула.— Друзья отговаривали меня. Тот человек, который говорил, что влюблен в меня, и который обманул меня тоже... Не тогда, потом, через несколько месяцев уже зимой...— Губы ее задрожали, доставая из кармашка халата скомканный платок и сморкаясь, она с трудом сказала: — Я не могу сейчас, простите, простите. Я обещаю рассказать вам, но не сейчас... Очень трудно...

В эту минуту у входной двери позвонили.

Слышно было, как Михаил Михайлович отпер замок. Снова раздалось торопливое шарканье. Круглая лысая голова отчима, просунувшись в комнату, и вся его показавшаяся затем на пороге фигура в длиннополом древнем халате изображали крайнее изумление.

— Таня, это к тебе,— сообщил он.— Ты кого-нибудь ждешь?

— Ах, простите, простите! Я не знаю, может быть, это кто-нибудь из девочек? Спасибо, спасибо, что вы открыли. Простите!

Она вскочила немного тяжеловато и бросилась к двери.

— Нет, это не девочки,— прошептал он, пятясь.

Из прихожей донесся и впрямь совсем не девичий, гнусаво-хриплый голос, повторивший несколько раз: «Благодарю за внимание, благодарю за внимание». Таня возбужденно, с чрезмерной, как показалось Вирхову, приветливостью предлагала гостю раздеться и пройти в комнату. Тот почему-то не хотел снять пальто.

— Благодарю за внимание,— последний раз произнес гость, поддавшись на уговоры, после чего раздались неверные шаги, и в комнату на цыпочках вошел, пританцовывая, худой человек с голым черепом неправильной формы и лукавым сияющим взором. Костлявые руки торчали из рукавов обтрепанного и залатанного на локтях пиджака. Под пиджаком был старый, тоже весь дырявый свитер с вытянувшимся воротом, обна-

жавшим чуть ли не до ключиц жилистую шею. Брюки с отвисшими коленями кое-как заправлены были в грязные сапоги.

Приподнявшись, чтобы поздороваться, Вирхов почти онемел и лишь пробормотал что-то, узнав в нем того сумасшедшего, которого видел всего несколько дней назад за решеткой в клинике, когда навещал Лизу и познакомился с Таней.

Таня тоже, без сомнения, узнала его. Но, утвердительно кивнув Вирхову на его немой вопрос, она была в непонятном радостном возбуждении и срывающимся, звонким голоском упрашивала посетителя садиться и познакомиться с Вирховым.

Сумасшедший не двигался с места, тоже, кажется, узнав теперь Вирхова. Таня, умильно сложив руки на коленях, уселась на кушетку, с улыбкой оглядывая старика.

Гость засуетился, стал мяться с одной ноги на другую, затем, наклонясь вперед, таинственно и сипло выдавил:

— Я пришел к вам принести привет от вашего отца.

Таня побледнела и, перекрестясь, сжала на груди руки.

— Боже мой, он жив?! — вскричала она.

— Нет, он давно умер, — отвечал сумасшедший.

— Но тогда как же?!

Тот, видно, смекнув, что выбрал малость не ту линию, затоптался, потирая руки. Пауза затянулась.

— Садитесь, прошу вас, — снова предложила Таня дрогнувшим голосом.

Сумасшедший тряхнул треугольной головой и старательно, глядя себе под ноги, изображая смущение, вкривь и вкось переступая своими сапожищами, обошел кушетку и плюхнулся на нее рядом с Вирховым, почти ему на колени.

Не обратив на него никакого внимания, сумасшедший сказал:

— Я пришел к вам принести привет от друзей вашего отца.

— А-а, — кивнула Таня, еще больше бледнея, — от друзей, тогда понятно. От кого же?

— Вы его не знаете, — быстро ответил сумасшедший. — Он умер у меня на руках. — И он, должно быть, в доказательство повертел у себя перед глазами своими костлявыми желтыми руками.

— Да, но как же это может быть? — спохватилась Таня. — Ведь вы же, простите... простите меня, были... там... Мы вас видели там. Мы с вами виделись там, — поправилась она, придав своему обращению некоторую светскость. — Вас выпустили? Вы выздоровели?

Она смутилась, испугавшись, что совершила бестактность.

— Злые люди чинят мне препятствия, — сказал тот. — Я старая жертва подлой банды Берии, культа личности и его последствий. Много лет тюрьмы и лагерей. Неоднократно преследовался за свои и чужие убеждения по ложному доносу, но в результате справедливость торжествовала свою победу, и я был восстанавливаем в своих лишенных правах. Прав был Маркс, писавший: «Славяне и русские — враги демократии». Карл Маркс ненавидел подлую банду Герцена. — (Вирхов даже хотел сначала поправить его, полагая, что он оговорился, но тот продолжал.) — Славяно-московские философы Герцена прокляты Марксом самым энергичным образом. Вот они: «банда мошенников, клика Герцена и К°, подлая банда негодяев, лицемеры, хуже ордена иезуитов, все жулики, царисты коварные, пустозвоны, бычьи головы, реакционные народы, враги демократии, русский кнут, варвары, диверсанты, шарлатаны, воображалки-иллюзионисты, монголо-финны, татары...»

Он задыхался, из горла его слышались некоторое время только клекот и бульканье.

— Я, я могу их всех назвать поименно. Я уже докладывал об этом в соответствующие инстанции, что Маркс прочел всю печать о славянах и московитах и нашел их неспособными к демократии и социализму, как татар и финнов Азии. Русские — те же татары Чингисхана! В случае угроз необходимо отбросить московитов в Азию. Границы русских претензий не Одер — Нейссе, а Днепр — Неман.

— Господи помилуй! — воскликнула Таня, пугаясь. — Простите, разве вы...

Она не осмелилась докончить, но Вирхов понял, какой вопрос она хотела задать, и, с трудом выползая из-под придавившего его сумасшедшего и пересевши на ветхий пуфик у окна, спросил насколько мог хладнокровней, потому что все же и сам побаивался, не выкинет ли сумасшедший какой-нибудь фортель:

— Так вы не русский?

Сумасшедший переменился в лице.

— Я?! — застонал он страдальчески. — О-о-о, о-о-о. Их бин дейч! О-о-о! — Шатаясь из стороны в сторону, он закрыл лицо руками. — Какой несшастий. Я здесь совсем один. Я не знай языка! Ы-ы, ы-ы, — замычал он, в подтверждение вертя руками, как глухонемой и показывая пальцем себе в рот. — Ы-ы. Их ферштее нихт. О-о, о-о! — почти зарыдал он, обхватывая голову руками и раскачиваясь всем телом.

Потом, устремляя на Таню по-настоящему мокрые глаза и с мольбой протягивая к ней руку, попросил:

— Вы должны мне помочь. Только вы можете мне помочь. А я помогу вам, — быстро прибавил он.

— Конечно, конечно! — сразу же горячо воскликнула Таня. — Я с удовольствием вам помогу всем, чем нужно. Скажите только. Как же можно не помочь?

— Одна женщина цыганского племени предсказала судьбу, что я должен прийти к вам, — торжественно распрямился сумасшедший.

— Цыганка? — изумилась Таня. — Это та, что лежит с Наташей в клинике? Что же она вам обо мне говорила?

— Она предсказала вам судьбу жениться.

Таня опять, опершись одной рукой на кушетку, другою перекрестилась; она порывалась что-то сказать, но голос ее срывался. Затем она собралась с силами:

— Вы хотите сказать, выйти замуж? Но ведь я замужем. Мой муж, Лев Владимирович Нарежный, сейчас придет сюда и будет очень недоволен.

Сумасшедший, бесспорно, не был подготовлен к такому заявлению — информация цыганки была другой — и не без опаски поглядел на дверь.

Вирхов и сам, удивясь вначале, но сообразив затем, что это Танина хитрость, нашел ее все же не слишком удачной и, чтобы сгладить неловкость, сострил, что гадание было неправильно, по его мнению, оттого, что эта цыганка в клинике на самом деле все-таки не цыганка, а еврейка.

Сумасшедший погрузился в размышление.

— Значит, вы не хотите мне помочь? — спросил он, поворачивая к Вирхову свою треугольную голову, вдоль хребта которой, ровно посередине, лег от окна солнечный блик.

— А чем я могу вам помочь? — вопросом на вопрос отвечал Вирхов.

— Напрасно, — сказал сумасшедший. — А ведь мы могли бы дружить в Москве.

Вирхов пожал плечами:

— Спасибо, мне как-то это... — Он хотел сказать «ни к чему», но не решился.

— Вы недобрый человек, — заметил сумасшедший.

— Наверное.

— Вы опасный человек. Вам будет очень плохо в жизни.

— Ничего, мне уже плохо.

— Вы очень пожалеете, что так говорите.

— Пожалею.

— Перестаньте, Николай, перестаньте, — вскричала Таня, едва ли не заламывая руки. — Прошу вас. Как вам не стыдно. Это не по-христиански.

— Да, вы не христианин, — сказал сумасшедший.

— Да, я не христианин, — подтвердил Вирхов.

— И вы не русский, — настаивал сумасшедший.

— Да, я не русский... Их бин дейч! — сострил Вирхов, хотя сердце его малость екнуло.

— Ах, Боже мой, не надо, не надо! — снова воскликнула Таня. — Не ссорьтесь, — попросила она, как будто они были старые друзья или сопер-

ники, который раз сошедшиеся здесь у нее. — Хотите чаю? — предложила она.

— Я не пью чаю, — веско ответил сумасшедший.

Она немного растерялась, посмотрела, ища помощи, на Вирхова, но тот был рассержен всей этой сценой и отвернулся. Это как будто немного отрезвило ее, и, вспомнив о первых словах сумасшедшего, она спросила:

— Да, простите, пожалуйста. Вы ведь сказали, что знаете друзей моего отца и пришли за помощью?

Тот кивнул:

— Да. Друзья вашего отца сказали мне, что ваш муж, Лев Владимирович Нарежный, мне поможет.

— Боже мой, — прошептала Таня, в который раз сегодня едва шевеля побледневшими губами, отчего Вирхов почувствовал себя близким к припадку, — так захотелось ему вскочить и затопать ногами. — Разве Лев Владимирович знает их?

— Да, они сказали мне.

— Ах да, ведь они могли быть вместе в лагере. Странно, что он не рассказывал мне ничего об этом. Впрочем, это так похоже на него. Он даже не подумал, что меня это может волновать.

— Он забыл.

— Нет, он просто не счел нужным сказать мне об этом. Мое волнение при этом известии только раздражило бы его. Он прикинул в уме и решил, что спокойнее будет промолчать. Это мусульманское презрение к женщине... (При этих словах Вирхов устыдился.)

— Двоеженство — это мусульманская пародия на многоженство, — вставил сумасшедший.

— Да, да, мусульманская опасность существует, — воодушевилась она его согласием. — Лев Владимирович, чтобы далеко не ходить за примером, к этому очень предрасположен. Еще Честертон говорил в «Перелетном кабаке»...

— Честертон, в кабаке? — насторожился сумасшедший.

— Ах нет! — засмеялась Таня. — Честертон — это писатель. Он был почти святой, хотя и писал юмористические рассказы.

— Эти святые — обычно не те, за кого себя выдают, — угрюмо заметил ее собеседник. — Мы этих писателей знаем.

Он мрачно покосился в сторону Вирхова, или тому так показалось, и Вирхов про себя обматерил Лизу, детскую писательницу, решив, что это наверняка проболталась она, а цыганка услышала и передала старику. Он только подивился цепкости, с какой эти сумасшедшие (старик и цыганка) удерживали в памяти вещи, которые, казалось бы, вовсе не должны были их трогать и запоминаться.

— Нет, нет, — между тем продолжала Таня. — То был английский писатель. Когда он умер, то на похоронах все говорили: «Быть может, мы хороним святого».

Старик лишь что-то прорычал в ответ, впрочем, довольно неопределенно.

— Вы правы, — еще убедительней и ласковей сказала Таня, заключившая, что ей уже удалось повлиять на него. — Я понимаю, вы много страдали и не верите. А есть люди и были тогда. Я знала одного человека и до сих пор верю, что он...

— Как фамилия?! — не дал ей кончить сумасшедший.

— О, нет, нет, — поспешила она. — Его давно уже нет в живых. Он уже не может вам... нам... ничем помочь... Но вы напрасно думаете, — встрепенулась она, — что вам может помочь Лев Владимирович. Поверьте, он не из тех людей, кто пошевельнет хотя бы пальцем для ближнего. Тем более для незнакомого человека. На него надежда плохая... Нет, вам нужен не он.

Она задумалась, затем, посмотрев на своего протеже ясными глубокими глазами, сказала:

— Я знаю, кто вам нужен. Я дам сейчас вам адрес одного человека, он сделает для вас все.

Сумасшедший вознамерился было, кажется, опуститься перед ней на колени, неловко переставляя ноги в своих грубых кирзовых сапогах, но

она порывисто вскочила, подбежала к шаткому ломберному столику и, схватив листок бумаги, села писать адрес, спиною к Вирхову и чуть ли не прикрывая локтем то, что писала.

— Скажите, Таня, если, конечно, это не секрет, к кому же вы его посылаете? — («Неужели к какому-нибудь священнику?» — подумал он про себя.)

Она вспыхнула и опустила глаза.

— К Мелику, — попыталась сказать она ничего не значащим голосом.

— К Мелику?! — переспросил Вирхов вне себя от возмущения, потому что после всех ее рассказов это казалось ему верхом нелепости. — Зачем?! Почему именно к Мелику? Вы что, с ума сошли тоже?!

— Прошу вас не разговаривать со мной таким тоном, — дрожа от обиды, потребовала она.

Прижав листок к груди, сумасшедший долго кланялся, шаркая сапогами по паркету; видно, так и не зная, достиг он чего-то своим визитом или нет.

Проводив его, Таня вернулась в комнату, раскрасневшаяся, не глядя на Вирхова.

Теперь Вирхов вдруг понял, что ее манеры все-таки раздражают его, но сказал себе, что надо терпеть, хотя и не знал толком, во имя чего это ему надо. Вслух он так и не успел сказать ничего...

В дальней комнате вновь зазвонил телефон, и вновь раздались по коридору шаги отчима Михаила Михайловича, и он третий раз совсем робко позвал Таню, все еще не пришедши в себя от предыдущего.

Таня вышла и, не проговорив и двух минут, возвратилась, вся сияя, преображенная, снова торжествуя какую-то победу.

— Вот видите, вот видите, — повторяла она, простив Вирхову его тон. — Вы даже не поверите, кто мне сейчас позвонил! Не отгадаете!.. Это — Мелик, представляете себе?! Поразительно! Это провиденциально, понимаете? Не успела я сказать старику про Мелика, как он звонит уже сам. Ведь он не звонил десять лет. Какое там десять, больше. Сейчас позвонил, справиться о здоровье Наташи. Но какое совпадение с этим несчастным стариком! Как я угадала, кто ему нужен! Значит, о н и хотят этого, значит и м это важно. Когда о н и чего-нибудь хотят, то всегда выстраивается такая сетка совпадений. Все чаще, чаще. Это знак того, что о н и ведут сами. Что дело в и х руках. Когда есть грех, зло, то этого никогда не бывает. Наоборот, начинается разброд, никак ничего не удается, вы не можете встретить кого вам нужно. А тут все сходится в линию, как по сетке.

Вирхов, однако, и сам устыдился уже своих выкриков и волнений.

— Не сердитесь, — извинился он. — Я просто ревную.

— Вы тоже не сердитесь, — трогательно улыбнулась она. — Он совсем неплохой человек. Нельзя забывать об «образе и подобии». Вот видите, он и про Наташу вспомнил, пожалел ее. Он успокоился, многое передумал, я это вижу. Он стал другой. С н и м и и б е з н и х — ведь это совсем разные вещи... И, видите, этот старик, он тоже пришел за помощью ко мне, он почувствовал...

XX. Большая политика

Они договорились идти в больницу, где лежал главный, на другой день после обеда, и если Муравьев, проснувшись наутро, решил отправиться туда тотчас же, один, обманув Попова, то не потому, что так подсказывал ему его растревоженный политический инстинкт, но скорее потому, что исходивший от Попова американо-крестьянский дух, дух неуемного функционерства, показался ему наутро особенно тяжел; Муравьеву захотелось просто посидеть и поболтать со старым товарищем, н е д е л а т ь д е л а и, может быть, даже не заикаться ни о какой статье, а вспомнить старое, старых знакомых с человеком примерно одного с ним возраста и круга, способным с полуслова понять столько, сколько Попову при всем его уме все-таки ни за что не понять. Правда, Муравьев никогда не был особенно близок с Кондаковым — такова была фа-

милия главного редактора,—с ним было довольно трудно быть близким, но сейчас Муравьеву верилось, что тот всегда вызывал в нем искреннюю симпатию, и, оттого что Кондаков был теперь в трудном положении, эти теплые чувства к нему у Муравьева еще возрастали.

Кондаков лежал в отдельной палате маленькой чистой больницы, которую курировала какая-то религиозная организация. Это был большой, крупноголовый и крупнотелый шестидесятилетний мужчина, абсолютно седой, прежде с довольно молодым, живым, располагающим к себе лицом. Он поседел и растолстел еще в сорок лет, сразу же, от неправильного обмена веществ или от сердца, и все давно привыкли видеть его седым и толстым, но сейчас Муравьеву показалось, что за последние полтора года этот человек успел сначала осунуться, обрюзгнуть, а теперь заново не растолстел, а совсем уже нездорово распух, и серые глаза его, окруженные синевой, источали невыразимую тоску, забивавшую их природную живость. Несколько дней назад он оправился от приступа стенокардии, но сердце его было испорчено уже безвозвратно, и очевидный для Муравьева недосмотр врачей грозил нынче опять поставить его на грань катастрофы.

Недосмотр заключался в том, что, уступая настойчивым просьбам больного, не зная его как следует, не вняв его единственной родственнице, двоюродной сестре, которая обязательно должна была уговаривать их не делать этого, врачи разрешили ему читать газеты и слушать радио. После долгого перерыва, с непривычки, думал Муравьев, это занятие может вышибить из колеи и здорового. Кондаков же не был, так сказать, в о о б щ е чувствителен к состоянию мирового целого, которое нелепо открывается сегодня в бездушных газетных сообщениях,—это был политик до мозга костей, настоящий п о л и т и ч е с к и й г е н и й, человек, живший т о л ь к о политикой и ради политики, ощущавший напряжение мирового политического пульса всем своим существом. Во всем мире не могло произойти такого события (кроме, разумеется, наводнений и землетрясений), о котором Кондакову не было бы заранее известно, не совершалось такого государственного переворота, подноготной которого он бы не знал, не было такого политического деятеля, биография которого со всеми ее темными и тайными изгибами не была бы ему знакома. У него была необыкновенная языковая одаренность, он читал газеты чуть не на всех языках мира, включая китайский, который освоил уже в зрелом возрасте, и, обладая великолепной памятью, помнил все за все годы, с тех самых пор, как впервые одиннадцати лет от роду открыл газету. Не менее хорошо ориентировался он и в истории любого государства, имел понятие об экономике, о залежах полезных ископаемых, о живших на окраинах этих государств забытых племенах. Он мог бы с полным на то правом быть внушительной фигурой во всякой из этих держав, занимая самые верхние ступеньки в правительственной иерархии, будь это республика, конституционная монархия или тоталитарная диктатура, и не было такой политической программы, изъянов которой он бы не видел, такой комбинации, которую он не разыгрывал бы в уме, такого преступления, на которое он внутренне не был бы готов, такого обмана, которого он не совершил бы в своей душе. В былые времена отечественные и некоторые европейские общественные деятели, имевшие удовольствие и счастье познакомиться с Кондаковым, его политические сторонники и противники, в один голос твердили, что он гениален или по крайней мере дьявольски умен; он был обаятельный светский человек, блестящий оратор и искусный собеседник, и Муравьев думал, что тот же Попов, например, прилепился к журналу не столько оттого, что ему дороги были какие-то там демократические идеалы, сколько оттого, что, встретив на своем пути Кондакова, не смог уже отойти от него, был покорен его всемогущим умом, его всезнанием, его сверхъестественным профессионализмом. Будучи скрытен, в свою личную жизнь Кондаков не допускал никого, и никто не представлял себе ее. Он почти не пил, не курил, никто не знал, есть ли у него женщины, хотя известно было, что он был дважды женат, но, кажется, оба раза неудачно; сын от первого брака не поддерживал с отцом никаких связей; только двоюродная сестра, старая дева, оставалась ему верна; он жил, по-видимому, лишь политикой и для политики.

И если тем не менее такой человек пребывал сегодня в совершенном ничтожестве, оставаясь всего-навсего главой безвестного эмигрантского журнала, то винить все же в этом было некого, помимо него самого, и он знал об этом, и все окружающие об этом знали тоже, а тот же Попов за это ненавидел его. Кондакову изрядно не повезло со страной, в которой началась его политическая карьера, но еще более ему не повезло с самим собой, со своим проклятым характером. Ибо при всех кондаковских феноменальных талантах, при всей его теоретической готовности идти на любой обман, на любую хитрость, при всем его головном цинизме этот человек вместе с тем был помешан на идее ч е с т и, причем помешан до такой степени, чтобы всерьез надеяться, что эту идею можно распространить и на политику. То есть он считал; да, политика все еще грязна, лжива, бесчестна—н о о н а н е д о л ж н а б о л ь ш е б ы т ь т а к о й! Это—варварство. Она должна быть благородна, разумна, исходить из подлинных интересов людей, а не из интересов правящей клики или оппозиционной партии, современная политика должна быть гуманна, или, если угодно, х р и с т и а н и з о в а н а. Он, безусловно, понимал, что все это чистейший идеализм, но, к своему же собственному сожалению, был напрочь лишен идеализма другого сорта—заурядного идеализма политика, который свято убежден, что та ничтожная прагматическая борьба, которую он ведет ради осуществления им самим намеченного курса, необходима, что он один с своей партией действительно понимает, что нужно человечеству, которое само, конечно, ничего не смыслит в этом, и потому его нужно вести, направлять, перестраивать и перекраивать, и именно это понимание, и эта великая цель исторически оправдывают использование некоторых методов, могущих шокировать обывателя. Такого идеализма у Кондакова не было, и отсюда вообще почти не было веры в то, что политическое действие на самом деле что-нибудь меняет в мире.

Когда-то в молодости он начинал как марксист, его первая работа была посвящена проблеме формирования промышленного пролетариата на юге России. Позже он порвал с марксизмом, остался в «центре», сделался либеральным демократом западного толка, реформистом, критиковал в своих статьях марксистский вульгарный политэкономический материализм в теории и раскольническую тактику подрыва государственных основ на практике, писал о задачах просвещенного слоя, о праве, о принципах парламентаризма. Однако классическое противоречие марксистской диалектики—противоречие между утверждением существования объективных законов истории и субъективностью, произволом политического действия,—не давало ему покоя и разъедало душу. Он отлично знал, что это противоречие в марксизме как раз очень легко снимается: надо лишь действовать в соответствии с требованиями исторической необходимости, для познания коих марксизм и предоставляет адекватные средства, но ему самому не хватало какой-то пружинки, чтобы не усомниться в реальности этой спасительной формулы. И вот, будучи гениальным аналитиком у себя за письменным столом, сплетая бессонными ночами честолюбивые коварные интриги или бестрепетно обсуждая сам с собой подробности тайного злодеяния, которое нужно было б совершить, дабы достичь такой-то или такой-то цели; всегда зная точно, каков должен был бы быть следующий конкретный шаг—к кому нужно обратиться в р е ш а ю щ и й день, кого привлечь, кого подкупить, кого обмануть,—этот человек с наступлением решающего дня не совершал, не подкупал, не обманывал, чаще всего даже не обращался—не делал ничего из того, что считал нужным, или не делал вообще ничего. И чем безудержней его истерзанное сознание бывшего социального реформатора, революционера ночами соблазняло его, внушая, что в этом мире только политическое насилие открывает дорогу к успеху, тем упорней днем, в журнале, в каком-нибудь комитете, на публичной дискуссии он стоял за свободу печати и слова, за равноправную выборную систему, за представительное и ответственное министерство, за честь, за совесть, за благородство общественного деятеля. Более того, как и отец Иван Кузнецов, он полагал себя человеком г л у б о к о г р е х о в н ы м, порочным, гораздо хуже других, считал низменной саму свою страсть к политике, отталкивающим само направление или устройство своего ума.

Он принял Муравьева в постели, вставать или даже сидеть ему все еще не разрешали, хотя, наверное, ему лучше было б встать, чем лежать так, как лежал он,—беспорядочно заваленный со всех сторон кипами

газет, разбросанных по одеялу, по полу возле кровати, под кроватью рядом с больничным судном и на столике поверх лекарств и нетронутых фруктов, газет русских, английских, испанских и каких-то еще, за все последние числа, а то и недели, что он был лишен возможности читать; между газетами видны были и книги, раскрытые где-нибудь посредине на нужной странице или заложенные бумажными, наспех нарванными из газетных полос закладками. Едва увидев его, Муравьев понял, что никакого задушевного разговора, конечно, не получится. Этой ночью переменилось давление, барометр падал все ниже; Кондаков плохо спал и с самого утра чувствовал знакомую сердечную слабость; больничный цирюльник плохо выбрил его, клочки седой щетины торчали у него под носом и на скулах, раздражая его, он поминутно ощупывал их руками, и вообще ему было неприятно предстать сейчас перед Муравьевым таким жалким, больным, в ночной рубахе, обнажавшей его белое дряблое тело. С утра он уже начитался по горло и теперь никак не мог выключиться из этого; жуткое видение — аграрная реформа, провести которую посулил латиноамериканский диктатор Карлос Ибаньес, — не оставляло его. Воспаленный взор его блуждал где-то по осыпям и отрогам Кордильер. Наконец с трудом, задыхаясь, он заговорил.

Рассказ его был невеселый. Он считал, что до приступа его довели специально. Последние несколько месяцев, пересиливая свое отвращение, он потратил на то, чтобы договориться о материальной поддержке журнала с одним крупным международным евреем, негоциантом, родители которого происходили из Могилева, убежденным демократом, но стоявшим обычно вне политики. Речь шла о довольно значительной сумме единовременно и о постоянных дальнейших субсидиях. Дело было уже на мази, обольщенный Кондаковым и преисполнившийся сочувствия к несчастной русской демократии торговец готов был выдать требуемое, когда кто-то, скорей всего из самих же журнальных доброхотов, сказал ему, что дни главного редактора все равно сочтены, он болен неизлечимо, а после его смерти к власти придет его заместитель, человек сомнительный, связанный в прошлом с царской охранкой, который тут же заключит (тайно уже заключил) союз с самыми реакционными элементами среди русской эмиграции, и, стало быть, деньги, предназначенные ко благу, обратятся во зло. Демократ, испугавшись такой перспективы, напрочь прервал переговоры, уплыл в Америку, в свою главную штаб-квартиру, и перестал отвечать на письма. Это была уже не первая сорвавшаяся таким образом сделка, и Кондаков слег в постель. По его мнению, не исключено было, что всю историю мог спровоцировать сам Попов.

— Но ведь он тоже заинтересован в получении денег? — выразил сомнение Муравьев.

— Он заинтересован прежде всего в том, чтобы отделаться от меня, — сказал Кондаков. — А деньги он достанет еще в тысяче мест. За предательство хорошо платят. — Он нахмурился и стал смотреть мимо Муравьева: ему было стыдно, что он так безоговорочно зачислил в предатели человека, с которым столько лет бок о бок работал, еще хуже было то, что он не удержался и в раздражении начал разговор с своих собственных горестей. — Ну, да ладно, — сказал он с перекошенным лицом, пытаясь взглянуть на гостя. — Это в конце концов должно быть скучно. Расскажите о себе. Пожаловали сюда с каким-нибудь делом? Что там творится у вас в Германии? — стал быстро и нервно спрашивать он. — Вы, кстати, не знакомы с Ахметели? Вы должны его помнить, он был в Добровольческой армии, молодой грузин, помоложе нас с вами. До последнего времени он был в Бреслау. Я потом скажу вам, почему он меня интересует. Ну, рассказывайте, рассказывайте...

Муравьев, стараясь угодить этому человеку, который разваливался прямо на глазах, физически и морально, начал рассказывать, уже не уклоняясь в сторону, про то, что Кондакову должно было быть интересней всего, — про группу Ашмарина-Проровнера. Кондаков слушал нетерпеливо, оценив как будто только рассказ об Эльзе и пророчице Волюспе.

— Это неплохо, это неплохо, — коротко рассмеялся он. — В основном я все это примерно знаю. Ваш Проровнер ведь приезжал сюда. Мы с ним встречались. Есть и другие источники. Но мне кажется, что вы сами не очень четко представляете себе, что это за группа, каковы ее связи — с русскими, с немцами. Таких групп много, эта не занимает, конечно, центрального положения, но выяснить, какое именно, было бы важно.

На минуту он попытался стать прежним Кондаковым: опухшее лицо его подтянулось, сделалось живее, рельефнее, глаза очистились от застилавшей их до этого тяжелой мути. Уверенней и строже он начал задавать привычные свои вопросы: с кем именно из евразийцев эта группа поддерживает контакты? Каковы у них связи с Поремским, с Казем-Беком? Вообще с Национально-трудовым союзом? С Ост-институтом, которым руководит Ахметели (вот, оказывается, кто он был такой)? Связаны ли они с национал-социалистской партией в самой Германии? Муравьев упомянул о немце, националисте-метафизике, возглавляющем патентное бюро, — так что это за немец, и что это за патентное бюро? Не имеет ли оно отношения к авиастроению? Или, может быть, оно только «крыша» для какой-то тайной организации? Кстати, что производит завод в N? Патентное бюро имеет к нему какое-либо отношение или нет? Где, собственно говоря, работают Ашмарин и Проровнер? Ашмарин в театре? Это очень странно! Не может ли быть театр также лишь «крышей»? Видел ли Муравьев хоть один спектакль? А может быть, им помогает кто-нибудь из крупных промышленников типа Форда или Базиля Захарова? Установлено, что последний поддерживает такие группы. Если завод в N и правда занимается вооружениями, то прямо или, скорей всего, косвенно он может контролироваться Базилем Захаровым. Тогда картина приобрела бы законченность. Но все же это маловероятно. Что это за дама по имени Катерина, вернувшаяся в СССР? Что Муравьев может сказать о других пожелавших вернуться? В какие районы страны они направились? И так далее.

Муравьев не мог вразумительно ответить ни на один из вопросов, даже о том, какова фамилия немца-метафизика из патентного бюро и что это за дама по имени Катерина. Кондаков был разочарован, принялся покусывать тонкие губы и трогать чесавшиеся под щетиной скулы и шею.

— Да, вы, конечно, ничего не знаете, — зло сказал он. — Для того чтобы написать статью — ведь вы хотите выступить со статьей, я вас правильно понял? — это все надо выяснить. В статье это может остаться «за кадром», но выяснить это надо.

Обиженный тем, что Кондаков, как и его заместитель вчера, погряз в своем профессионализме и смотрит на него как на прекраснодушного дилетанта, Муравьев (его смутило и то, что Кондаков заговорил о статье, хотя сам он не произнес о ней ни слова) тоже зло сказал:

— Я ведь в конце концов не шпион. Знаю я что-нибудь об этом патентном бюро или нет, не имеет значения! Я представляю себе их идеологию и идеологию подобных же групп, и это, а не что-нибудь иное, играет решающую роль! Об этом, и только об этом, нужно говорить! И эта идеология ясна: это идеология войны! Она одна у всех националистических партий, по крайней мере в Германии! Идеология подготовки к будущей войне. Есть у них сейчас контакты с Базилем Захаровым или нет, не суть важно. Он будет поставлять пушки, когда война начнется, и этим сказано все! Кстати, почему вы решили, что я хочу выступить со статьей? Вам что, успели уже передать?

Кондаков выслушал его на сей раз с любопытством. Легкая усмешка тронула его губы при последних вопросах. Откинувшись на подушках, скрестя руки на груди, он устремил взгляд куда-то вдаль, вероятно, еще далее Кордильер — на идеальные просторы исторического мирового целого. Сейчас он был даже красив, как в старые времена.

— Хорошо, — медленно промолвил он, так и не ответив на вопрос и не отведя взора от того, что открывалось ему в его необъятной дали, — вот вы говорите — война. Но война с кем? Кого и с кем?

— Вы полагаете, что поскольку это будет война с коммунизмом, с Советской Россией, то не важно, кем она будет развязана и кто будет в ней участвовать? — переспросил Муравьев. — Вы что, подозреваете меня в тайных симпатиях к коммунизму? Вы не можете подозревать меня в этом. Я воевал в белой армии! Но ведь я говорю не о том. Не важно, будет ли в новой войне разбит коммунизм или нет, важно, что эта новая война, в которую так или иначе будут втянуты все народы, невозможна!

Разволновавшись, Муравьев еще некоторое время продолжал говорить об уровне современной военной техники, о европейской культуре

и гуманизме. Кондаков, очевидно, был заранее не согласен и чуть-чуть морщился, но молчал, дожидаясь, пока Муравьев не начнет повторяться.

— Во-первых,— вступил он, дождавшись,— война вполне возможна. Сотни и тысячи людей хотят воевать, им нравится воевать, они любят это дело, видят в нем смысл, и им наплевать на вашу европейскую культуру, на уровень военной техники... на саму смерть в конце-то концов!.. Во-вторых, почему, собственно, вы решили, что это будет война с коммунизмом, точнее, война Германии с Россией? Или всего Запада с Россией? Есть ведь и другие варианты! И прежде всего — такая война, в которой Россия и Германия будут выступать как союзники против Запада!

Кондаков воодушевился, привстал с подушек, отшвырнул с живота в ноги скомканные газеты, глаза его заблестели. Муравьев не знал, что именно эта идея более всего и занимала Кондакова последние месяца три, и, быть может, именно из-за нее он был все эти месяцы постоянно возбужден и взвинчен настолько, что измученное сердце его так сразу сдало при неудаче с торговцем. Этой осенью один знакомый из Британской разведывательной службы конфиденциально сообщил ему, что, по имеющимся у них сведениям, Советская Россия в обход Версальского договора тайно способствует развитию германского рейхсвера. На авиационном заводе в Филях, под Москвой, строятся военные самолеты конструктора Юнкерса, на аэродромах близ Воронежа и Гомеля проходят совместное обучение русские и немецкие летчики, имеются такого же рода танковые училища около Казани. Генерал-майор Вернер фон Бломберг недавно ездил в Россию с целью проинспектировать эти училища. Имеются данные, что Россия поставляет в Германию также военную амуницию, пехотное снаряжение, артиллерию. Германия уже сейчас имеет секретный запас в 400 000 винтовок сверх дозволенного ей Версальским договором.

Едва Кондаков услышал эту новость, так тотчас же связал ее в уме с некоторыми гипотезами, которые еще до войны предложил известный Меллер ван ден Брук, проводивший границу между западной и восточной Европой по Рейну, относя, следовательно, Германию почти полностью к «Востоку». Три-четыре года назад сходные идеи высказали знаменитый немецкий географ Фридрих Ратцель, отставной генерал Карл Хаусхофер и шведский профессор Рудольф Челлен. Эти трое называли себя «геополитиками», их теории о молодых и старых нациях, о жизненном пространстве и о Staat als Lebensform приобретали все большую известность, и Кондаков был поражен, что Муравьев, живя в Германии, ухитрился так мало знать о них. Для самого Кондакова ратцелевская «Политическая география» и эта самая «Der Staat als Lebensform» Челлена сделались настольными книгами. Его приводил в восхищение и сам термин «геополитика», емкий и точный, само звучание этого слова; он не был согласен с содержанием этих теорий, но, возмущаясь их ограниченной претенциозностью, отмечая их логические и фактические ошибки, выявляя их передержки, бездоказательные утверждения, он в то же время мучительно завидовал этой самоуверенной немецкой непреложности построений, на которую у него самого никогда не хватило бы духу; он жалел, что не он сам нашел это слово, и ему даже казалось, что сам про себя он всегда так и обозначал открывавшуюся ему систему мировых соотношений. Услыхав о тайном сотрудничестве России и Германии, Кондаков ни минуты не колебался: оно, несомненно, не было лишь случайным, конъюнктурным вывихом — оно было частью грандиозного, тщательно разработанного геополитического плана, нацеленного на уничтожение прогнившей западной цивилизации, на завоевание мирового господства. Индустриализация Советской России с помощью германского технического гения, вооружение Германии с помощью русской рабочей силы, выработка совместной, приемлемой для обеих стран идейно-политической программы типа «прусского социализма», предложенного философом Шпенглером как антипод западному постыдно индивидуалистическому демолиберализму,— таковы были, насколько мог умозаключить Кондаков, основные элементы этого обширного плана.

— Вы ведь должны понимать,— сказал Кондаков, наугад тыча пальцем в какую-то книгу, торчавшую из-под подушки,— что старопрусский дух и социалистическое мировоззрение на самом деле ненавидят друг друга братской ненавистью и являются в действительности единым целым. Разве вы не видите, что социализм в теперешнем советском понимании — это прежде всего твердый государственный порядок, дисциплина, иерархия. Кстати, подобные же мысли высказывает и Ахметели.

Кондаков был убежден, что геополитики самым теснейшим образом сотрудничают с германским — а может статься, и с русским — правительствами, он допускал, что могло иметь место даже их прямое участие в выработке всех этих секретных договоров и соглашений. Как всегда, его интересовало только, кто из них конкретно и когда этим занимался (кто, в частности, занимался этим в России); он негодовал на самого себя, что проворонил начало этих операций.

— Нет, как хотите, а Германия — это страна, принадлежащая также и Западу,— сказал Муравьев.

— Не имеет никакого значения,— возразил Кондаков.— В крайнем случае она будет просто вновь расколота, разделена на несколько частей, минимум на две — Восточную и Западную. К Востоку, к славянам, органически тяготеют Пруссия, Мекленбург, Бранденбург, Силезия, отчасти Тюрингия. Остальные земли действительно могут отойти к Западу. Разумеется, это не произойдет так просто. Может быть, этому как раз и будет предшествовать война, большая война.

— Но ведь сейчас в Германии, в той же Пруссии, например, у власти социал-демократы,— сделал слабую попытку сопротивляться Муравьев.— Они не могут желать уничтожения традиционных для Запада свобод.

— И тем не менее они заключили тайные соглашения с большевиками! Есть понятие исторической необходимости, оно заставляет вас играть в ту игру, в которую, может быть, вы играть не хотите. И немцы хорошо чувствуют это. А мы — я имею прежде всего в виду самого себя,— как все русские марксисты, хотя и бывшие, недооцениваем германскую социал-демократию, всех этих Вельсов, Мюллеров, старика Каутского, презираем их, для нас они, видите ли, слишком буржуазны! Наша ошибка была в том, что мы не сотрудничали с германской социал-демократией, тогда бы мы могли как-то влиять на процесс!..

Кондаков увидел, что его опять вынесло к фундаментальному противоречию между исторической необходимостью и волей политика, и с неудовольствием остановился. Тотчас ему сделалось совсем худо. В изнеможении он откинулся на подушки, неуклюже пытаясь переменить позу, повернуться набок. Муравьев вскочил со стула, желая ему помочь, беспокоясь, не нужно ли позвать сиделку, но Кондаков раздраженно отстранил его рукой. Наконец ему удалось повернуться. Минуту или две он лежал, прикрыв глаза и трудно дыша, затем приподнялся на локте и, с гримасой омерзения взглянув на Муравьева, спросил:

— Послушайте, а за каким чертом вы вообще влезаете во все это?! Ведь это же отвратительно! Зачем вам это? Ведь люди придумали себе занятие политикой, чтобы не думать о нравственности. Вернее, вся нравственность теперь сместилась в область политического. Считается, что нравственно принадлежать к одной партии и не принадлежать к другой. Человек может быть жаден, может быть пропойцей, может быть подл по отношению к своим близким, к своей жене, но никто не интересуется этим. Интересуются только, за правое или за неправое дело он выступает! Что может быть глупее этого? Глупее и бессовестней! Жалкие, слабые, порочные люди становятся правдолюбцами, объявляют, что борются, видите ли, за свободу! И самое удивительное, что все начинают тупо верить им, считать их смелыми, мужественными людьми, хотя в большинстве случаев они только достаточно оборотистые люди. Мне противно подавать руку большинству из них! И... и вот теперь вы туда же! — Последние фразы он выкрикивал уже сорвавшимся голосом. Кашляя, он схватился рукою за горло.— Зачем вам это, зачем?! Подумаешь, какая из собак сожрет другую! Не вмешивайтесь, бросьте! В конце концов вас просто убьют! Начавши заниматься политикой, надо самому быть готовым на убийство!.. Иначе вы станете всеобщим посмешищем!..

Муравьев сидел, сам, как ему казалось, будучи близок к сердечному припадку.

— Надо быть готовым на убийство, иначе вы никогда не сможете стать хорошим политиком,— продолжал хрипеть Кондаков.— Надо любить

убийство. Посмотрите, как любят играть в войну дети. Как они любят убивать и как они любят быть убитыми! Потом, к сожалению, это проходит. Появляется какой-нибудь старый пердун и начинает вещать: мир, мир, мы хотим мира! Остановите руку убийц!.. Хотя вы-то, кажется, не из таких.— Он вдруг снова рывком сел и с диким подозрением уставился на Муравьева (совсем как бывший его ученик в редакции, накануне).— Позвольте,— сказал Кондаков.— А что это за слухи, что вы связались с Троцким? Это еще за каким чертом вам понадобилось? Вы что, даете им деньги? По-моему, вы ставите не на ту лошадку! Вы рассчитываете на его победу? Напрасно! Я, впрочем, не верю, что вы так циничны. Я понимаю, дочь ваша еще слишком молода, но вы должны ей объяснить что-то. А вместо того вы сами!..

Лепеча что-то несуразное, Муравьев побежал в коридор за сиделкой.

XXI. «Сильнее, чем «Фауст» Гете»

Мелик был у себя дома один. Оба его юных почитателя только что ушли от него. Они просидели долго, и юноша с редкой бороденкой все время спрашивал у него: «Валерий Александрович, расскажите нам, пожалуйста, о вашей с и с т е м е, помните, вы обещали?» Мелик покорно и тяжело плел им в ответ околесицу о «философских и мировоззренческих основах», даже не имея сил хотя бы закруглять свои разорванные, не связывающиеся меж собой периоды. Ему хотелось остановиться и крикнуть им: «Да нет же у меня никакой системы, отстаньте!» — но он не мог решиться на это из трусости, боясь потерять их. Что ему было в них, он тоже не знал, и только смотрел все мрачнее и мрачнее, и порою уже откровенно грубил. Из обоих неофитов — один, как всегда, восторженно слушал, тем не менее беспрерывно и утомительно для глаз вертясь, теребя бороденку и задавая все новые никчемные вопросы, чтобы уточнить слова, которые Мелик не помнил, произнес или нет; другой (юноша, желавший иметь светские манеры, сам честолюбивый и хитрый) заподозрил неладное и сидел молча, поджав губы. Оба они казались Мелику несносны, и он с некоторым удивлением прислушивался к тому, что сам говорил, поминутно спрашивая себя: «Зачем, зачем мне все это?» Наконец они ушли.

Он все не мог успокоиться и ходил взад-вперед по своей длинной, узкой комнате, от окна к двери, еще доказывая что-то молодым людям. (Теперь, когда они ушли, ему обязательно нужно было что-то им доказать, и он ругал себя, что в каких-то пунктах своей речи выразился неудачно.) Привычки ходить, размышляя, по комнате у него не было; ударившись дважды подряд коленом, одним и тем же местом, о железный выступ кровати, морщась от боли и захромав, он отошел к окну и стал там лицом к комнате.

Комната с высоким потолком и оттого казавшаяся еще у́же, была унылой и грязной. Ремонта он, конечно, здесь не делал с пятьдесят шестого года, с тех самых пор, как его троюродный брат, движимый то ли внезапным добрым побуждением, то ли неясным и сложным расчетом, женившись, прописал его сюда. Будто бы брат потом жалел об этом, но, будучи совестливым человеком, не решался тревожить Мелика. Теперь они не виделись уже лет десять.

Из вещей в комнате находилась эта черная железная сиротская кровать, стол, где остатки еды, книги и папки с машинописными материалами были свалены друг на друга, фанерный ободранный шкаф, в котором ничего не висело, кроме еще одних брюк, да несколько разрозненных носков лежало на дне, и небольшой стеллаж с книгами. Одна полка на стеллаже была закрыта фанерой, надевавшейся на гвоздики. Там помещалось нечто вроде киота, лежали старые просфорки, огарки пасхальных свечей и стояла просто так, а не висела незажженная лампадка. Мелик придумал это укрытие, когда вышел закон о тунеядстве и к нему несколько раз приходили из домоуправления и милиции справляться, где он работает и чем живет, а он как раз нигде не работал. Впоследствии ему устроили липовую должность лаборанта за семьдесят рублей в месяц и надобность в конспирации отпала, но фанерка почему-то так и осталась, и случалось, он по многу дней не снимал ее из странной, развившейся в нем за

последнее время стыдливости, или даже специально навешивал перед приходом нецерковных знакомых или женщин, или в дни большого упадка сил, обычно после крупных пьянок, где ему случалось напиться и на следующее утро он забывал помолиться, не говоря уже о том, чтобы идти в церковь, а днем или вечером приходилось пить снова, и он оказывался выбит из колеи на целую неделю, а то и больше. Кому-то он объяснил однажды: «Я делаю это (то есть держу фанерку) не для себя, а для н и х», то есть для святых, изображенных там, на иконах. Но и это была ерунда, потому что часть не уместившихся на полке икон все равно развешана была по стенам, до самого высокого потолка, вперемежку с репродукциями и картинами на религиозные сюжеты. Картины, писаные подпольными левыми художниками, которых сам же он чаще всего и агитировал креститься и был нередко их крестным отцом, исполнены были в дурной символистской манере и не нравились Мелику. Часто ему хотелось убрать их, но они были дареные, художники эти иногда его навещали и ревниво шарили глазами по стенам, отыскивая свою работу. Мелик чувствовал, что не может поссориться и с ними.

Оглядев сумрачно свою комнату, со слишком резкими сейчас тенями, освещенную яркой лампочкой в бумажном абажуре, прогоревшем и осыпавшемся, задержавшись мельком на прикрепленной фанерке и на картинах, Мелик, зажмуриваясь от безжалостного света, подумал о том, как безобразно он устроил свою жизнь, хотя бы эту, внешнюю ее сторону, как все это некрасиво, грязно и, в сущности, жестоко по отношению к самому себе. Несколько лет назад, когда он еще надеялся, что сможет жить а с к е т и ч е с к о й жизнью, быть «аскетом в миру», ему даже нравилось, что у него нет в жилище ничего приобретенного нарочно, одни только случайно доставшиеся или подаренные вещи. «Да, верно,— поспешно сказал он себе теперь то, что говорил уже не раз,— это так и должно быть, потому что я стремлюсь жить духовной жизнью, только Духом, а это, это, земное, телесное, должно быть прахом. Это все не имеет никакого значения. Я сознательно не придаю этому никакого значения». Однако он не только уже знал в эту минуту, что говорит вздор о прахе и тому подобном, но даже внезапно испугался, что вообще кощунствует, называя свою дикую, непонятную ему самому жизнь стремлением к Духу. С испугом он посмотрел туда, где на полках как бы и томился у него в пыли этот самый Дух. Ему почудилось, что он почти видит сквозь тонкое дерево устремленный на него суровый взор Спасителя со стоявшей справа в углу полки деревенской поздней иконы, где Спаситель имел монгольский лик и наспех написанную навыворот, по неправильно приложенному трафарету, благословляющую руку.

Торопясь, стыдливо он начал читать молитву. Он собирался прочесть трижды, но уже с первого раза, дойдя до «и остави нам долги наши», заметил, что читает машинально и думает о другом. Спохватившись, он не мог, однако, вспомнить и того, что ему только что пригрезилось; мгновение-другое неясный образ еще стоял перед ним, растворившись, едва его попытались довести до разума. Ощущение возникшей пустоты было неприятно. Мелик начал второй раз, тщательно выговаривая теперь слова, и дочитал до конца, не сбившись.

Он отвернулся к окну и стал глядеть на улицу. Из-за света в комнате снаружи ничего не было видно, хотя пустырь напротив через переулок, на месте снесенных недавно домишек, и был освещен сильным прожектором с крыши выходившего сюда глухой кирпичной стеной высокого шестиэтажного старого дома. Мелик прошел к двери, выключил свет и вернулся к окну. «Интересно, следят они за мной или нет?» — вдруг мелькнула у него мысль.

Прижавшись к холодному оконному стеклу щекой, он скосил глаза вдоль узкого переулка вниз; сначала вправо, потом, приложив другую щеку, влево. Шел одиннадцатый час вечера, забор, которым отгорожена была еще не начавшаяся стройка, затемнял переулок. Переулок казался безлюден. Сквозь заклеенные на зиму окна не слышалось шагов, и лишь однажды неясная тень — Мелик даже не различил, мужчина это или женщина,— пересекла улицу далеко у перекрестка. «Да! Ведь они наблюдают из машин»,— вспомнил он. Еще больше напрягая зрение, Мелик скосил глаза в переулок, почти выдавливая стекло. Машин, по крайней мере

у т о г о края тротуара, как будто не было. Ближний тротуар под самым домом все равно был не виден. Мелик подумал о том, чтобы отворить окно и перегнуться наружу; но он чувствовал себя эти дни простуженным и, представив себе, как холодный воздух пронижет ему больное горло, отпустил шпингалет, за который уже было взялся.

Зато теперь он увидел, что началось движение напротив, на пустыре, и удивился, как он не заметил этого раньше, потому что оно скорей всего возникло там не только что. Две фигуры, мужчина и женщина, стояли поодаль, возле расщепленного бульдозером и сваленного ствола старого тополя. Это были собачники. Их псы, рыжая шотландская овчарка и второй, черный, породы которого Мелик не знал, похожий на нестриженого пуделя, только слишком большой и на высоких ногах, широкими кругами носились друг за другом, иногда сцепляясь в клубок посредине. Хозяева наблюдали за ними, поворачиваясь им вслед и размахивая ремешками, если начиналась грызня. Колли устала и легла. Черный пес продолжал свою скачку один, мощными длинными прыжками, по самому краю пустыря вдоль стены и забора, и черная тень его, то исчезая совсем, когда он мчался под домом, под самым прожектором, то непомерно удлиняясь у забора, летела за ним по кочкам плохо утрамбованной катком земли.

«Хорошо бы такого кобелька завести», — подумал Мелик, вообразив себе, как черный ласковый пес прыгает тут у него по всей комнате и по кровати и спит на полу у стола. Он даже непроизвольно оглянулся, чтобы увидеть, как собака смотрит на него оттуда преданными глазами и виляет хвостом на грязном половичке. Собаки не было и, очевидно, быть не могло. Скрипнув зубами, Мелик опять стал смотреть в окно.

От дыхания стекло запотело. Он нарисовал по нему пальцем собачью голову; подышав еще, бездумно — какие-то инициалы и знаки. «Да, купить собаку, — произнес он почти вслух. — Здесь не знаешь и сам-то, что будешь жрать завтра! Какая уж собака». Он снова оглянулся, зло и раздраженно, точно пес и вправду скулил сзади, выклянчивая кусок.

Там опять ничего не было, только засохшая грязь на полу, натекшая с башмаков его неофитов, и, вспоминая о них, он язвительно передразнил: «Расскажите нам о вашей системе!» Они думают, что есть какие-то системы. Теперь систем нет. Не бывает — и все тут! Есть Рок, Судьба. И есть богини судьбы. «Богини мести!» — злорадно прорычал он в окно, будто вослед молодым людям, желая испугать их.

Стекло от звука его голоса задребезжало, и, слегка отшатнувшись от неожиданности, он тотчас сказал:

— Или нет никакой Судьбы, и никакого Рока, и никаких богинь! И никакого Бога, — тут же добавилось как бы помимо него.

С какой-то необычайной для себя ясностью и холодностью Мелик снова стал смотреть на улицу, высокомерно вглядываясь в ее детали. Собачники уже ушли. Он окинул взором далекий неровный темный силуэт города, проступавший по сторонам, там, где не мешали прожектор и высокие дома напротив. Небо и низкие тучи были в красноватых отсветах, и Мелик следил некоторое время за их движением, сам будто отдаваясь порывам носящего их ветра и чувствуя его упругие удары за стеклом.

Старая детская игра увлекла его: одно облако показалось ему похожим на носорога, другое — на ведьму с распущенными волосами. Оно шло прямо на него.

«Да, если бы это была н а с т о я щ а я в е д ь м а, — сказал он себе, провожая его глазами, — т о м н е б ы л о б ы л е г ч е. Все-таки весточка о т т у д а. А так...» — Он не докончил и махнул рукой. Ему сделалось холодно от окна, он ощутил вдруг, что оттуда дует и что руки его, опиравшиеся на каменный подоконник, застыли. Он отошел от окна, нащупал в темноте стул, не зажигая света, сел. «Надо уйти, уехать, — внезапно пришло ему на ум. — Ведь это можно. Не на Запад, а куда-нибудь на Восток, здесь, в России. Поселиться в деревне на худой конец, — стал мечтать он. — Разве нельзя? Что, получится такая же ерунда, как у э т и х? Но я не женат. Там главное было то, что нельзя было тащить за собой женщин. А я же один. Уж если очень захочется, завести себе простую бабу, девку. — Он представил себе эту бабу, какую-то из тех, которых видел, наверное, в детстве в Покровском; дом, палисадник, сарай. — Да, а чем жить? — Он натянуто рассмеялся, но был еще в запале. — Работать в колхозе? Кем, сторожем? Сторожить сад, яблоки?.. Но ведь это, в сущности, падение. Без людей, без книг. Стать идиотом, шизофреником, шутом. Кривляться всю жизнь. Изображать, что ты живешь природой, как Руссо. Какой вздор... А монастырь не вздор?» — спросил он себя, чуть помедлив.

Он вспомнил, что Алексей предлагал ему идти поступить в монастырь. «Черт побери! — плюнул он. — Сейчас ведь и в монастырь просто так не попадешь. Что я, не видел, кто там и как туда попадают? Меня ведь, небось, через десять фильтров, через десять комиссий пропускать будут... Это какому-нибудь спятившему провинциальному мещанину еще можно прорватся, а я уже на крючке».

Он попытался сообразить, легче ли ему будет стать монахом и сможет ли Алексей ему здесь реально помочь устроиться. Мысли его разбегались, он взял наугад листок бумаги, собираясь написать нечто вроде списка тех, кто пригодился бы ему в этом, но не мог сосредоточиться и только кривился на белеющий во мраке лист, сознавая, что это бессмысленная затея.

Наконец он понял, что во входную дверь уже давно и безнадежно звонят: звонок никуда не годился и тренькал редко и еле слышно.

Мелик задернул занавеску, включил в комнате свет и вышел в коридор. Соседи, легши спать, и не думали подыматься, уверенные, что в такое время могут прийти только к нему. Лишь в соседкиной двери осторожно поворачивался ключ: любопытная баба хотела взглянуть, кто явился к нему так поздно.

Мелик отодвинул засовы входной двери. На площадке стоял, засунув руки в карманы длиннополого пальто, ссутулясь, мужчина в обвисшей на странной, клинообразной голове кепке, оставлявшей все лицо в тени. Мелик перевел взгляд на ноги, пришелец был в сапогах. «Так, — сказал про себя Мелик, — значит, уже пришли. Вот как оно бывает».

— Мелик, Валерий Александрович? — спросил человек.

Мелик беззвучно кивнул, посторонился, пропуская того, и застыл в уголке, чтобы прошли и другие. Никто не входил. Мелик выглянул на площадку: там никого не было.

Между тем незнакомец, все так же держа руки в карманах, прошел на свет в его комнату и, не раздеваясь, не сняв кепки, сел там на тот стул, на котором только что сидел сам Мелик, и лишь подвинул стул от окна вплотную к стене.

Мелик аккуратно притворил дверь и сел поодаль, на кровать. Незнакомец не посмотрел на него, он был поражен меликовыми картинами и переводил трепетный взор с одной на другую. Он стянул кепку; острый хребет его лысой головы, могущей, казалось, служить лучшим подтверждением теории Гете о развитии черепа из позвоночной кости, ярко заблестел под лампой.

— Во имя Господа, и Отца, и Сына, и Иисуса Христа, — хрипло произнес незнакомец.

— Аминь, — сказал Мелик.

Незнакомец стал креститься; вернее, обрисовал на своем теле неправильный многоугольник, приложив руку поочередно к разным местам живота и плеч.

— Если я сегодня верую в религию, — начал посетитель, то я верую в ту религию, которая была религия рабов, а не в ту религию, которая стала в руках эксплуататорского строя. И я являюсь служитель культа того Иисуса Христа, Человека, Сына Человеческого, Утренней Звезды, который впервые сказал слово, направленное против эксплуататорского строя и основал партию нового типа, партию Утренней Звезды, которая должна пасти все народы жезлом железным, как о том сказано в религиозной книге — Апокалипсисе. Что же от этого есть железный жезл еврейского пророка Арона? — Лицо его заиграло вдохновением. — Этот процветающий жезл Арона, согласно теории марксизма, есть единство производительных сил во всех социально-экономических формациях, как базис, на котором возвышаются надстройки и историческое развитие, которое наращивает свой экономический капитал общественной собственности вширь до такого Железного дерева, которое своими корнями охватывает весь мир

и всю землю (а в будущем все планеты), а по высоте дорастает до Жены, облаченной в солнце, младенец которой призван пасти этим Железным деревом все народы мира.

— Так, так,— одобрил Мелик, не выдержал и улыбнулся.— Интересно, очень интересно.

Гость снисходительно рассмеялся:

— Это потому, что по углам пятиугольной звезды, то есть пентаграммы, размещены начальные буквы греческого имени Иисуса Христа. А пятиугольная звезда на знамени и в гербе СССР? — сощурился он, задавая каверзный вопрос, и сам ответил: — Потому-то в эпоху культа личности Сталин, отрицая историческую достоверность Иисуса Христа, не отрицал образа Иисуса Христа, призывая седьмого ноября сорок первого года на Красной площади Красную Армию вдохновляться образом наших великих предков, Александра Невского, святого христианина, который носил образ Иисуса Христа на знамени, в груди и в сердце. Сталину была хорошо знакома «эта штука» — «Фауст» Гете, а стало быть, было известно, что пятиугольная звезда, которая в «Фаусте» называется пентаграммою, волшебный знак Фауста, с помощью которого Мефистофель проникает в его жилище, несмотря на то, что по углам пентаграммы размещены начальные буквы греческого имени Иисуса Христа.

— М-да,— сказал Мелик.— Что-то не очень ясно. По-моему, тут какая-то путаница. Ну ладно, оставим это.— Внезапно ему явилось подозрение, что человек этот на самом деле не сумасшедший, а прикидывается и сплел всю эту чушь нарочно.— Ну ладно,— сухо повторил он.— Оставим теории. Хватит, пожалуй. Чем же я могу быть вам полезен? Как вас зовут? Откуда вы?

Гость помолчал, пошевеливая губами и исподлобья оглядывая его.

— Мне нужна помощь,— произнес он таким тоном, словно хорошо знал Мелика и не очень на это рассчитывал.

Мелик почувствовал себя задетым, хотя до того собирался хитрить.

— А, вам надо помочь, вы хотите, чтобы я вам помог?.. Разумеется, разумеется. Я разве отказываюсь?.. Только чем же, собственно говоря, я могу помочь? Вас нужно, наверно, куда-то на работу устроить, да? Каким-нибудь сторожем, а?.. Ну что ж, мы сейчас подумаем, сейчас мы придумаем что-нибудь.

Проситель молчал.

— Вы ведь верующий? — попробовал разговорить его Мелик.— Я правильно понял?.. Ну, извините, извините, я вовсе не собираюсь влезать в такие подробности. Просто я подумал, что, может быть, стоит попытаться устроить вас где-нибудь возле Церкви? Это можно было бы. Хотите? Жалко, что сегодня вы поздно пришли, пришли бы днем, мы бы с вами успели сходить кое к кому... Как вас зовут?

Гость не отвечал, и Мелик, услыша вдруг свой собственный голос, который показался ему дурацким, искательным, обиженно замолчал тоже. Гость сидел прямо, стиснув челюсти, и, похоже, был чем-то оскорблен в речи Мелика.

— Ты презираешь, что я нищий,— пояснил он причину своего неудовольствия.

— Я?! Никогда! Я и не думал,— запротестовал Мелик.— С чего вы взяли? Я и сам нищий. Вы же видите.— Он обвел рукой свою утлую обстановку.

— Вчера нищий, сегодня богатый,— сказал гость.

Мелик рассмеялся, неизвестно почему немного польщенный:

— Ну, в каком-то смысле это, может быть, и верно. Только не очень получается пока что. Хорошо, конечно, если б ваши слова сбылись.

— Они сбылись,— сообщил тот.

— Сбылись? — усмехнулся Мелик.— Что ж, спасибо. А вы, значит, добрый вестник? Вот уж не знал, какие они,— не утерпел и съязвил он, одновременно пугаясь, что если тот на самом деле сумасшедший, то последствия могут быть катастрофическими.

Но гость не заметил иронии.

— Да, они такие,— подтвердил он.

— Вот как? — Мелик поднял брови.— И с каким же известием вы явились? Кто вас послал?

— Ты очень торопишься,— сказал тот.

Мелик отчасти устыдился, что так, в общем-то по-хамски, разговаривает с человеком, который много старше него. «Кроме того он, возможно, и вправду принес какие-нибудь известия,— сказал он себе.— Ведь откуда-то и зачем-то он все же пришел?» Он подумал, что нужно, наверное, пойти, согреть чайник, оказать старику любезность, но побоялся оставить незнакомца одного в комнате и не тронулся с места.

— Извините, как же вас все-таки прикажете величать? — спросил он, так и не сумев избавиться от своего иронического тона.

— Я происхожу по прямой линии... от одного лица,— не сразу, внушительно отозвался гость. Он собирался, видимо, сказать от какого, но затем раздумал.

— Ага,— обрадовался Мелик. «Значит, это кто-то из представителей так называемого вырождающегося русского дворянства. Это уже лучше»,— сказал он про себя, повторяя вслух: — Это уже лучше. Так вы говорите, что я должен вам помочь?

— Да, мы теперь долго будем с тобою,— кивнул тот.

— Долго? — переспросил Мелик.— Это любопытно. Значит, моя помощь нужна вам на долгое время? Чем же я могу быть вам полезен?

Тот вздохнул, очевидно, так и не зная, разумно ли поступает, доверяясь малознакомому человеку.

— Ты можешь быть полезен, чтобы жениться на одной хорошо известной женщине,— полувопросительно взглянул он.

— Что, что? — удивился Мелик.— Жениться? Я должен помочь вам жениться?! Новое дело! На ком же? Вот чудеса! — воскликнул он, ударяя себя по коленям.— Позвольте, а что же, вас послали ко мне с такой просьбой?

— Нет, это еще никто не знает. Я держу это в тайне.

— Позвольте, что значит: «Еще никто не знает»? — спросил Мелик, стараясь своей рассудительностью заставить этого человека быть логичным.— А тот, кто вас послал, знает?

Собеседник согнулся как от боли.

— Я не могу жениться,— стыдливо и тихо признался он.— Меня будут преследовать. Меня уже преследуют. И потом.... я уже старик. Я раньше любую мог вые...ть! — на секунду воодушевился он.— Они это чувствуют и меня боятся! Меня все медицинские сестры боялись! Мне поэтому давали такое лекарство, чтобы я не мог... Они еще ответят за это! Я уже написал об их злоупотреблениях, что они хотят истратить деньги на кибернетические машины, хотя у них медицинское обслуживание не на высоте и больные страдают. Они испугались и выпустили меня... Теперь мне самое главное — чтобы не получилось, как прошлый раз... Они сожгли мои бумаги! Мне придется теперь жить у тебя,— уведомил он.— Иначе это может повториться.

У Мелика снова возникла мысль, что его разыгрывают — только очень умело и профессионально, так что вопреки его воле и всем стараниям временами логика этого показного идиотизма подчиняет его себе. Услыша, что этот человек собирается теперь остаться у него, он даже не удержался в первый момент от возмущенного возгласа и лишь затем спохватился. «Нет, прием все-таки чересчур грубый,— заключил он.— Они скорей всего попросту хотят получить возможность беспрепятственно бывать у меня в комнате. Да, в коммунальной квартире иначе это трудно. Если они просто придут, то соседи, конечно, скажут. Может быть, они в квартире к кому-то уже обращались. Да, видно, ничего не вышло. Надо будет осторожненько порасспросить. Что ж, интересно, действительно он сумасшедший или только играет? — волнуясь, подумал он снова.— Непохоже, чтоб можно было так работать. Неужели они пользуются услугами подобных типов? А почему бы и нет. Или это валяет дурака кто-то из своих?» Внезапно ему показалось, что он уже видел этого человека — то был шофер, который иногда возил Алексея или служил у него на побегушках, но точно ли это он, Мелик припомнить не мог. «Вот черт! Проклятая память,— обругал он себя.— Это потому, что я у Алешки всегда пьяный. Вроде бы у него в коридоре маячил этот тип. Его гоняли еще за водкой. Или это не он? Все равно странно, очень странно. Нет, непохоже, чтобы Алешка мог все это придумать. Да и тот, шофер его, был

как будто седой, я теперь вспомнил. Что же это, как странно... Ну, хорошо, поиграем и мы. Больше ничего не остается, только выгнать. Но тогда вообще ничего не узнаешь».

— Ну хорошо, — сказал он веселым голосом, скрывая свое беспокойство и решив быть внимательным и хитрым, чтобы повести партию самому и окольными, неожиданными вопросами запутать этого человека, заставить его выдать себя. — Хорошо, — повторил он, немного сбиваясь на зловещий тон. — Так вы говорите, что будете жить у меня. Но у меня нечего есть, вы же видите? — Он показал рукой на стол, в непонятном ожесточении срываясь с места и расшвыривая на столе разрозненные бумаги, книги и зачерствелые куски хлеба. Одна книга съехала в блюдечко с растаявшим, прогоркшим сливочным маслом. Не глядя, он обтер ее об бумаги и бросил назад в общую кучу. — Вот, вы видите? — театрально прошептал он. — У меня нечего есть. Вам ясно?

— Я много не съем, — отвечал гость.

Мелик почувствовал, что краснеет.

— Меня давно уже разделили на двух людей: физического и умственного, — пояснил гость причину своей неприхотливости. — Объявили одного ипохондриком, а другого шизофреником. Сколько еще злобы в людях!

— Да, — сказал Мелик, взяв себя в руки. — Человек человеку волк. Вот видите, а вы хотите жениться. Жениться вам уж никак не приходится... Так все же я-то вам зачем нужен? Может, и не нужен вовсе? Или, может, мне вместо вас жениться?

Он вдруг представил себе, как можно будет рассказать об этих шутках Ольге, но его гость посмотрел на него долгим и упорным, гипнотическим взглядом, потом утвердительно склонил свою треугольную голову.

— Эге! — воскликнул Мелик, сознавая, что выходит очень фальшиво. — Так это, оказывается, сватовство? Прекрасно, прекрасно. Какая мысль! И что же в-вас... в-вас, — от возбуждения он начал заикаться, — вас об этом просили или вы сами догадались?! Это, пардон, прямо какое-то сводничество! Ха-ха-ха! И какую же невесту вы мне подыскали? Богата ли она, красива ли? Кто ее родители? Я надеюсь, все из хорошей семьи?

— Я подыскал тебе невесту по имени Татьяна Манн, — сказал сводник, нахохлившись в своем пальто, все еще не очень уверенный как будто в успехе предприятия.

— Ах вот оно что, — прошептал Мелик, осекшись. — Так это как же... как же? Она вас сама попросила, или вы... так сказать, проявляете инициативу? Как я это должен понимать?

Он неожиданно вспомнил, как два дня назад, пьяный, рассказывая Алексею, что собирается жениться, врал ему что-то насчет своих невест и почему-то начал перечисление именно с Тани. «Понятно, почему я назвал ее, — попытался успокоить он себя теперь. — Потому что она действительно была в моей жизни первой, на ком я намеревался жениться. Я и начал рассказывать с нее. Спьяну, конечно. Стрезва никогда бы, конечно, не сказал... Да, но этот-то тип откуда все взял? То, что Алексей сам подослал его, разумеется, исключено. Значит, правда, это просто через него тянется ниточка. Он, значит, стучит теперь не только на Лютера с Кальвином, но и на меня. Крепко же я влип».

— Так, хорошо, — протянул он, чтобы хоть что-то сказать и тем временем успеть составить в уме какой-то дальнейший план. — Следовательно, это не я должен помочь вам жениться, а вы пришли помочь мне жениться, причем именно на Тане Манн. Кто же вас послал ко мне?

— Она сказала мне: «Иди к нему, он тебе поможет».

— Сказала сама? И когда же это она так сказала?

— Вчера.

— Вчера? Извините, но вы должны понимать, что это ведь очень легко проверить, — заговорил Мелик. — Видите ли, я же ей звонил вчера. Почему же она меня не предупредила, что собирается послать вас сюда? Вы не помните, в котором часу вы были у нее? Может быть, я звонил до вашего прихода?

— Да, это так, — подтвердил тот. — Когда я пришел, она сказала: «А, вот как хорошо, только что звонил Мелик».

— Вон оно что, понятно, понятно, — промычал Мелик. Его вдруг осенила мысль, что Татьяна могла послать этого человека сюда с совсем другой целью: ему, может быть, верно, нужно было чем-то помочь, куда-то его устроить и так далее, а старик в безумном своем знании жизни догадался, что если уж женщина в таких случаях посылает к кому-то за помощью, то чаще всего хочет напомнить о себе. «Значит, это кто-то из ее подопечных, — стал размышлять он. — Из несчастненьких. Левка тут как раз о них говорил... Только какое странное дело. Интересно, что она ему обо мне нагородила?» — Вы что же, давно ее знаете? — спросил он.

— Давно. Очень давно. С детства. — Старик устремил глаза вдаль, словно вспоминая, сколько же точно лет он ее знает.

Мелик насторожился.

— А откуда вы ее знаете? — решив, что в таком разговоре нужно отбросить все приличия, спросил он.

— Я сидел в лагере особого режима вместе с друзьями ее отца, — твердо ответил гость.

Мелик затаил дыхание, от волнения боясь сглотнуть и выдать себя.

— С друзьями ее отца? — сдавленным и прерывающимся голосом сказал он. — Они живы?

— Они все умерли.

— Умерли? Где, в лагере?

Старик подозрительно поглядел на него:

— В лагере. Мне известно точно. Я узнавал.

Мелик, схватившись за спинку кровати, с усилием встал, слабо метнулся сперва к окну, потом туда, где было темнее, к двери, чтобы нежданный гость не смог заметить его дрожи.

— Вот как, вот как, — несколько раз повторил он, терзаясь про себя, что неужели может быть такое, и вправду этот человек, кто бы он ни был, пришел напомнить ему о чем-то. «Стало быть, он действительно вестник о т т у д а, — подумал он. — Танька его за этим и послала. Жестоко. Ну да, она ведь жалости не знает. Недаром я вспомнил сегодня о богинях мести... Да, но ведь т е тоже знают обо всем об этом, — сказал он, разумея под теми отнюдь не «богинь мести», а КГБ. — То есть это, может быть, и не ее рук дело. Но старик сказал, что пришел от нее...» — Хорошо, хорошо. А кто же эти его друзья?! — сорвался он, хотя только что намеревался для отвода глаз спросить о чем-нибудь еще. — Кто они?.. Я спрашиваю об этом потому, — торопливо стал выкручиваться он, — что мой собственный отец тоже, кажется, погиб в лагере. Я его совсем не знал. Поэтому судьба Таниного отца меня тоже всегда волновала. Вот я и спрашиваю: кто они, его друзья?!

Старик дико посмотрел на него, затем выражение его вдруг сменилось.

— Хе-хе-хе, хе-хе-хе, — неожиданно умилился он, щерясь в улыбке так, что длинный, обвислый нос достал ему до нижней губы. — Молодо-зелено. Не торопись, не торопись, сынок. Все узнаешь! Ничего не утаю. Все открою тебе, сынок. Чего знаю, всему научу.

Это обращение «сынок» почему-то окончательно вывело Мелика из себя, и он взбесился, почувствовав, что с каждой минутой все больше устает от этой бесплодной борьбы, от этой неуменьшающейся неизвестности и церемониться ему дальше нельзя.

— Хватит дурака валять! — гневно и еще сильнее распаляя себя криком, заорал он. — Хватит! Надоело! Какой я тебе сынок?! Перестань мне тут кретина из себя строить, отвечай на вопросы точно или иди отсюда!

Закричав, он снова испугался, что человек этот все же сумасшедший (ему показалось, что глаза у того как-то нехорошо заблестели) и от крика может сам сорваться и броситься на него, сильный, как все буйно помешанные во время припадка. Но гость его вдруг всхлипнул, а потом заплакал настоящими слезами, размазывая их по лицу большими своими руками с плоскими, расплющенными пальцами.

— Сынок, сынок, — повторял он, гундося. — Сынок мой возлюбленный. Ты родителя-то своего знаешь? Нет? Ну так вот, сынок. Я тебя, может, всю жизнь искал.

Он привстал, коротко зарыдав, точно залаяв, и протянул к Мелику руки, готовясь обнять его.

Мелик вскочил и кинулся в сторону.

— Пошел ты к черту! — взвизгнул он. — Что ты тут меня разыгрываешь, сволочь? Издеваешься надо мной, падло! Тоже мне, нашелся «папаша», «отец родной»!

Самозваный отец не отвечал, он сел на место, понурясь, запахнув пальто, только качал головой и укорял:

— Эх, сынок, сынок. Эх, сынок...

— Какой я тебе сынок, зараза? — по слогам, раздельно, спросил Мелик снова. — Говори, что тебе от меня нужно?

— Эх, сынок, нехорошо, сынок, — возобновил тот. — Я в тебе сразу ведь своего почувствовал. Сколько лет тебя ждал. Присмотрел тебе невесту. Ты не пожалеешь... Только ты должен наперед узнать, почему она опять живет со своим бывшим мужем, — быстро потребовал он.

Мелик на минуту забыл весь свой гнев и усталость.

— Танька живет снова со Львом Владимировичем? — нервничая, удивился он. — Первый раз слышу. Быть того не может. Я только позавчера был у Льва Владимировича, об этом и речи не заходило. Да нет же, это совершенно исключено!

— Ты с ним встречаешься, — не то спрашивая, не то утверждая, сказал удивительный человек.

— Встречаюсь, а что?

«Слава Богу, они, кажется, не знают друг о друге, — подумал он. — Следовательно, здесь связи нет. Очень странно. Разные отделы работают, что ли? Или вообще разные ведомства?» Мысль эта, как ни смешно, отчасти успокоила его.

— Он не сумасшедший? — осторожно осведомился старик.

Мелику это опять показалось занятным.

— Лев Владимирович вполне нормален, — заверил он, подавляя смешок. — Нормальнее не бывает. Немного неравнодушен к слабому полу... но... но с кем этого не бывает, а?

Старик, как и прежде, не обратил на его иронию никакого внимания.

— Они все сумасшедшие, больные, — убежденно сказал он. — И она, и ее брат, и женщина, которая ее воспитала. Ее мать тоже сумасшедшая. Мне сказали. Ее брат сумасшедший. У него мания преследования. Он хочет преследовать меня. Он очень опасный человек. У него на карточках все записано. Он готовит формулу человека. — Внезапная судорога пробежала по его телу, он переступил ногами.

— Почему вы решили, что Таня сумасшедшая? — воспользовавшись паузой, задал вопрос Мелик, с неудовольствием замечая одновременно, что опять стал обращаться к собеседнику на «вы».

— Мне сказал об этом молодой человек, который был у нее.

— Он прямо так и сказал?

— Да. Она сказала: «Я знаю, кто вам нужен. Это Мелик». А он сказал ей: «Ты сошла с ума». Он опасный человек.

— А, это Вирхов, — догадался Мелик. Странное чувство на миг овладело им. «Быть может, это ревность?» — подумал он, пытаясь задним числом определить, что это такое. — Так, так, — сказал он. — Значит, они все сумасшедшие, по-вашему... Ну и что?

Собеседник пожал плечами:

— Это противоречит смыслу здравого рассудка. Ты должен пойти это и выяснить. С этого надо начать. Живет или нет она со своим бывшим мужем? Зачем он с нею разошелся? Ты должен пойти и сказать ему это.

Мелик расхохотался, тем не менее вытирая со лба пот и морща лоб.

— А наше какое дело? — Он заметил, что сказал «наше», и, уже кончив смеяться, улыбнулся сам себе снова.

Его непрошеный компаньон посмотрел на него с сожалением. Затем внезапная судорожная гримаса опять обезобразила еще сильнее его лицо с шальными красноватыми глазами. Отдельные пятна пигментации были разбросаны по желтой коже голого черепа. (Мелик только теперь решился наконец попристальней рассмотреть его.)

— Мы должны все, все узнать! — вдруг вскрикнул тот, ударяя кулаком по столу. — Мы должны понять все без ошибки и действовать только наверняка! Понял? Ди эрсте колонне маршырт! — Он сел прямо, снова выпятил грудь, одернул себя за лацканы пальто. Глаза его сверкали. — Ди цвайте колонне маршырт!.. Для осуществления плана могущества! Все для победы! Ты в вооруженных силах не служил?.. В Великой Отечественной войне не участвова-а-ал? В немецком плену или на оккупированной территории не находи-и-и-лся-я-я?! — разгоняясь, все истошнее и протяжнее заголосил он.

Соседка застучала в тонкую перегородку у кровати, где прежде была дверь в смежную комнату. Сумасшедший понял, притих.

— Ну, хватит, хорошо, — сказал Мелик безнадежно. — Так кто ты такой?

— Я тебе уже сказал! — амбициозно и припадочно заорал тот. — Я твой отец, единокровный и единородный! Я путник! Согрей меня, приюти меня! Блудный сын, — погрозил он вдруг пальцем. — Ты являешься блудный сын, который явился к своему отцу!

Он вскочил, и Мелик отшатнулся, думая, что тот опять вознамерился обнять его. Но самозванец-отец только затоптался на месте, кружась вокруг своей оси; Мелик не сразу понял, что тот и в самом деле выискивает, где бы поудобнее устроиться лечь.

— Эй, у меня негде, ты же видишь, — окликнул его Мелик, чувствуя, что опять стал побаиваться.

— Ничего, ничего, сынок, — забормотал сумасшедший, проворно садясь на пол между столом и кроватью и стаскивая сапоги. — Вот так, вот так, по-простому, по-солдатски. Молодец, сынок, — приговаривал он. — Молодец, не забыл старика. Большая польза тебе от меня будет. Ложись, ложись, утро вечера мудренее...

Мелик ощутил уже по-настоящему безотчетный, отчаянный страх.

Он, однако, еще долго пререкался со стариком, несколько раз пробовал выставить его совсем, начиная кричать и даже топать ногами, но в глубине души сознавая свою беспомощность перед властью этого человека. Уже смирившись, он зачем-то пытался уговорить его все-таки лечь на кровати, а не на полу и, наконец, сдавшись совершенно, видя, что тот не отвечает и, отвернувшись от него, спит, подложив под голову кепку и натянув на уши пальто, Мелик выключил свет, перешагнув через спящего, присел на кровать, помедлив, снял брюки и, оставшись в трусах и рубахе, лег сам.

Заснуть он не мог, несмотря на усталость, и долго лежал, отупело прислушиваясь к тяжкому сопению и храпу своего ночлежника. Сначала он решил вообще не спать, карауля, чтобы застигнуть того, когда он станет шарить в его бумагах. С полчаса или больше он усмирял свое дыхание, стараясь различить — и оттого путаясь в них еще больше — неясные ночные звуки: не слышимый днем стук оторвавшейся жести где-то под его окном, шорох осыпающейся за обоями штукатурки, вой лифта и какие-то другие скрипы и стоны, природу которых он понять был не в силах. Потом ему стало стыдно. Он сказал себе, что все это ни с чем несообразно, искать в его бумагах нечего, и целью прихода этого человека не могла быть такая простая штука. Он повернулся на другой бок, собираясь заснуть, но полной успокоенности все же не наступило, и, должно быть, от этого заново ощутил жесткость и неудобство своей кровати.

Несколько лет назад, когда он вообразил себе, что сможет быть аскетом, не пить, не курить, не знать женщин и, став вегетарианцем, питаться только растительной, овощной пищей, он сделал себе из досок и эту кровать, выкинув стоявший здесь прежде пружинный матрац, доставшийся ему в наследство от троюродного брата. Первое время он и спал прямо на досках, едва прикрыв их старым одеялом. Но аскетическая жизнь прервалась сама собою, хотя бы уже потому, что никакое общение с приятелями, помимо водки, было невозможно; а потом, после того как у него переночевала здесь женщина, сначала одна, затем еще несколько, и он каждый раз нелепо и смущенно извинялся, что так жестко, и среди ночи они перестеливали сбившееся одеяло, свертывая его вдвое, и подклады-

вали свои пальто и какую-то другую одежду, он, в конце концов разозлившись, выпросил у соседки старый ватный тюфяк (заставить себя пойти в магазин и тащить затем тюфяк по улице он не мог). Теперь он почувствовал, что и этого слежавшегося и, кажется, даже попахивающего какой-то дрянью тюфяка ему стало мало. Кости его заныли, как будто это он, а не пришелец спал сейчас па голом полу.

Затем он испугался, что не сумеет заснуть, тогда как наутро ему необходимо придется снова вступить в борьбу с этим человеком. Он поспешно прикрыл воспаленные веки. Тотчас же перед глазами поплыли радужные, оранжевого спектра круги и начались шорохи и стуки. Тело тоже поплыло прочь. Мелику показалось, что голова его раздалась, стала пухнуть, расти все больше и больше, до чудовищных размеров. Черепная коробка не могла выдержать этого. Ужас инсульта вдруг обуял его.

Затем все стало, наоборот, уменьшаться, он словно издали, сверху, видел свои крошечные руки и ноги, себя, как скрюченного зародыша, прижавшегося с краю кровати. Воспоминания о детстве, об одном ощущении, всегда возникавшем в состоянии полубреда или температуре, мелькнули и исчезли так быстро, что он не смог его осмыслить и только исполнился нежностью и жалостью к себе, когда на него повеяло своим, родным и детским. Смешная мысль: а вдруг старик сказал правду насчет своего отцовства,— неожиданно пришла к нему. «М-да, папаша, отец родной,— подумал Мелик, изучая темный контур спящего и пытаясь отыскать в нем свои черты.— Ну, если и так, то волосом-то я не в тебя»,— сказал он. Он представил себе мать (которую почти не помнил), какой она была на фотографии, в кудряшках, смеющаяся. «И связалась же с таким мурлом,— подумал он, стараясь сообразить, каков же был этот человек в молодости.— Да нет же, все это бред»,— решил он.

Прошло, наверное, часа два. У дальних соседей в конце коридора, возле кухни, били время от времени один удар стенные часы с испорченным боем. Мелик то зажмуривал в надежде уснуть до боли в висках глаза, то вскакивал и садился на постели, когда ему мерещилось, что гость все-таки поднялся и бродил по комнате. Обессиленный, убедившись, что тот так и лежит в прежней позе, как камень или труп, он откидывался на подушку снова, шепча себе панически: «Уснуть, уснуть»,— задыхаясь от духоты и страдая от усталости и собственного безволия.

Короткие, прерывистые беззвучные рыдания (или истерический смех — Мелик и сам не понял, что это было) прошли через него. Ему сделалось холодно. Затем глубокий, грудной, причинявший боль кашель вдруг пробрал его. За кашлем началась дрожь и стала бить его все сильней. Он встал, снял с гвоздя у двери пальто и накрылся им поверх одеяла. «А я совсем простудился,— подумал он.— Давно не болел, вот и сглазил. Я кому-то хвастался недавно, что не болею. Видели бы меня сейчас». Приподымаясь на локте, он вперил глаза в темноту: ему почудилось, что спящий шевельнулся. Рыдания или дурацкий смех повторились снова, еще и еще раз; время между приступами все сокращалось, пока Мелика всего не затрясло в лихорадке так жестоко, что ему казалось, он слышит, что железные прутья кровати позвякивают от тряски в своих гнездах.

В страхе перед болезнью он наконец забылся.

Он проспал часа два или три и проснулся перед самым рассветом, когда на улице было еще темно, но неизвестно как чувствовалось, что рассвет вот-вот наступит, и долетавшие звуки были уже совсем другие — утренние.

Рубашка его была совершенно мокра от пота. Мелик стянул ее и начал тереть себе грудь, плечи и спину концом свалявшейся простыни. К его удивлению, ощущения болезни не было. Голова тоже не болела, лишь немного кружилась, но это показалось ему даже приятным. «Вот, Бог, значит, все-таки любит меня еще»,— сказал он, радостно озираясь вокруг и тут же со страхом замечая, что сумасшедшего в комнате нет. Он подождал еще немного, полагая, что тот вышел в уборную и сейчас вернется. По коридору расхаживали туда и сюда соседи, слышны были обычные разговоры, все было спокойно...

XXII. Маленький лжец

«Когда же, интересно, он ушел? — подумал Мелик.— И что это такое я должен был ему узнать? Почему Лев Владимирович развелся с Татьяной? Или опять женится на ней? И почему я вроде бы должен жениться на ней? Вот дьявольщина!»

Он обвел глазами стол, ища чего-нибудь съестного, но, кроме прогорклого масла, там ничего не было. По карманам, он помнил, у него оставалось еще копеек сорок мелочи. «Хорошо бы сейчас выпить пивка,— подумал он, ощущая себя все-таки немного разбитым.— На пиво с сушечками как раз хватит. Только, пожалуй, рано еще... Но вообще-то нехорошо,— была следующая мысль.— Великий пост, а я начинаю день с пива. Надо пойти в церковь».

Он подошел к окну и раздернул занавески. Как следует еще не распогодилось, нежные утренние облака еще не разошлись, но кое-где проглядывало голубое небо, дома напротив внезапно ярко освещало солнце, и день обещал быть прекрасным, по-настоящему весенним. Соседские часы, которые так мучили Мелика ночью, пробили на этот раз правильно, восемь. Ванная была занята. Наскоро умываясь на кухне, он понял, что бриться у него сегодня все равно сил нет, и, поспешно одевшись, выскочил на улицу.

Тотчас же его охватило удивительно радостное, светлое настроение, какое бывало разве что в детстве, самое позднее в ранней юности или когда он вышел из лагеря. Он почувствовал облегчение оттого, что рутина, в которую он был втянут последние годы, вдруг прервалась. Он не должен был никого просить, ни у кого не надо было ничего клянчить, не надо было ждать ничьего решения,— он мог действовать сам! На мгновение он остановился, спросив себя: почему он не мог действовать сам прежде, в других ситуациях, но тут же отбросил эти мысли: отчего-то он был точно уверен, что именно теперь пришло настоящее, и если прежние возможности он считал настоящим, то это была, без сомнения, натяжка. Может быть, это было оттого, что раньше перед ним всегда стояла безличная сила — Церковь или КГБ, а теперь ему предстояло бороться с конкретными людьми? «Я уже решил, что должен с ними бороться? Вот как. Интересное дело! — усмехнулся он, стараясь успокоить себя.— Но все же единственный способ что-то изменить — это не сидеть на месте! — тут же сказал он себе.— Надо действовать!»

Так он шел некоторое время, разговаривая сам с собой, то останавливаясь и спрашивая себя возмущенно, какое перо ему вставили в задницу, то прикидывая, какой маршрут ему избрать и к чему сегодня в самом деле ему надлежит себя готовить. Для начала он решил зайти к Вирхову, узнать, что же в действительности происходило у Татьяны, откуда она знает сумасшедшего, зачем он появился у нее и т. д., но еще раньше следовало зайти в церковь.

Троллейбусом, в толчее спешащих на службу людей он доехал до центра и пешком поднялся вверх к Брюсовскому переулку: в здешней церкви его не знали, а ему не хотелось стоять слишком долго, тем более что к началу он все равно уже опоздал. Народу было много; крестясь, Мелик протиснулся вперед. Кроме старух из простонародья и типично церковных крепких пожилых мужиков, тут было несколько интеллигентных дам тоже в возрасте и еще несколько человек молодежи. Мелик остановился чуть сбоку и сзади одной такой парочки, наверное, из окрестных домов для начальства — высокого красивого молодого человека в пальто с нерпичьим воротником и такою же шапочкой в руке и девушки, тоже хорошо одетой, в тускло блестевшей, как позолоченный оклад, шубке, от которой сквозь церковную духоту и ладан тонко пахло мехом и духами. «Ныне время делательное явися, при дверях суд, восстанем убо, постящиеся, принесем слезы умиления»,— читал священник. Мелик попытался сосредоточиться. Девушка была, насколько он мог видеть, довольно миленькая и выхоленная. Он стеснялся, однако, рассматривать ее слишком внимательно; к тому же она все время поворачивала голову к своему спутнику, удивленно и, кажется, с тайным восхищением глядя, как тот — чувствуя, конечно, эти ее взгляды — важно и красиво молится, склонив немного голову и поднявши ко лбу руку с длинными гибкими

пальцами. «Неофит, из музыкантов. А теперь вот девочку привел, обращает!» — подумал Мелик, вспоминая одновременно, сколько у него самого интрижек начиналось вот так же, с обращения. Но все его «обращенные» были полуинтеллигентные суфражистки, если не вовсе потаскушки, которые не хотели себе в этом признаваться, или уставшие и искавшие спасения от мужей и от семейной жизни замужние бабы, разочарованные и истеричные; впрочем, истеричными были и те и другие. Такой холеной и чистенькой девочки из высокопоставленной семьи у него никогда не было. Мелик ощутил, как раздражение его все возрастает. Он еще раз попробовал сосредоточиться. Лишь на мгновение что-то кольнуло, но потом опять все уплыло. Он еще какое-то время рассматривал незнакомые ему иконы, затем стал проталкиваться к выходу, провожаемый недовольным шипением прихожан.

На Никитской в магазине он выпил из горлышка бутылку пива. Денег у него оставалось теперь копеек десять. От пива чуть полегчало; ловя эти блаженные минуты, Мелик медленно побрел бульваром к Арбату, присевши даже раз от слабости на скамеечку. Вирхова дома не было, соседка, молодая баба, сама, как видно, со здорового похмелья, с синяком под глазом и почти без голоса, сказала, что не заметила, ночевал ли сегодня Вирхов. Мелику это не понравилось. Он подумал, что, как это ни противно, ему следует теперь зайти к себе на работу, сделать оттуда несколько звонков (и, в частности, попробовать разыскать Вирхова), а заодно сшибить у кого-нибудь денег.

Работа его находилась совсем недалеко отсюда (он учитывал это, когда предполагал навестить с утра Вирхова), на Зубовском бульваре. Это была маленькая лаборатория при Комитете стандартов, занимавшаяся перспективным планированием или чем-то в этом роде, в чем Мелик участия не принимал: его начальник Петр Николаевич Петровский был человек на службе довольно ловкий, но вместе с тем в душе интеллигент, романтик, собирался вот-вот креститься, а своего лаборанта почитал чуть ли не за святого. Лаборатория их размещалась в глубине хорошенького дворика, в полуподвале жилого дома. Здесь они занимали две комнатки, одну побольше, другую совсем маленькую, метров пяти, бывшую кухню; в квартире напротив, также предназначавшейся для их лаборатории, еще жили жильцы, которые никак не хотели выезжать в отдаленный район.

Мелик вошел. В большой комнате сидели лишь две девицы: машинистка и одна из лабораторских инженерш, обе некрасивые и сейчас неимоверно злобные оттого, что начальник сегодня тоже был здесь и они должны были изображать, будто работают. Мелика они откровенно не любили; презрительно и настороженно они кивнули ему, но он, рассчитывая, что, может быть, придется взять у них взаймы, улыбнулся им поласковее и даже потянулся шутливо погладить инженершу по головке. Инженерша была из какой-то богатой семьи. Она возмущенно отдернулась и принялась долбить своими вульгарно накрашенными руками в перстнях и кольцах электрическую счетную машину.

— А, это вы, Валерий Александрович! — обрадовался Петровский, высовываясь из своего закуточка. — Заходите, заходите, дорогой, очень рад вас видеть. — Он поплотнее притворил дверь, они троекратно поцеловались, причем Мелик старался отворачиваться, чтобы не дохнуть на него пивом. — Что-то вы неважно выглядите сегодня, — сказал он, всматриваясь в Мелика. — Поститесь? — произнес он одними губами. — Смотрите, нужно все же поаккуратнее. Режим какой-то нужно соблюдать, нельзя себя доводить до крайности. Вы нам еще нужны, — пошутил он. — Я хоть и сам, конечно... все правила соблюдаю, но стараюсь держать себя в форме. Я ведь когда-то и спортом занимался. Я ведь теперь как? С утра зарядочку, кашки. Бегаю два раза в неделю. А как же иначе? Иначе получится, что не мы (...). Нет, мы должны не только сохранить себя, но и дело сделать, — подчеркнул он, уже не понижая голоса, потому что электрический арифмометр за стеной в эту минуту начал хрипеть и надсадно кашлять, как старый курильщик поутру.

Мелик кивнул, оглядывая благочестивое и вместе с тем волевое лицо Петровского. Пивной кайф его улетучился. Чувствуя вялость в голове и во всем теле, Мелик, не скинув пальто, поудобнее сел и облокотился на стол, опять же незаметно прикрыв рукою рот.

— Мы, православные, — продолжал рассуждать Петровский, — должны в некоторых отношениях брать пример с католиков. Татьяна Дмитриевна Манн недавно рассказывала, что у католиков существуют градации поста: когда человек находится в исключительно трудных условиях, он может и вовсе не соблюдать поста; в других случаях он может поститься по сокращенной, так сказать, программе. В некоторых странах, например, где и без того нечего есть, было бы, разумеется, бесчеловечно заставлять христианина совсем уж морить себя голодом. Скажем, где-нибудь в бывших колониальных странах, в Тропической Африке, в Боливии. А поскольку мы вполне можем быть приравнены к... — Он недоговорил. — То, стало быть, и в отношении поста нужно соблюдать известную умеренность. Черт знает что делается. Цены ведь просто страшные. Ничего купить невозможно. А ко мне приехал племянник из Новосибирска, так там мяса они не видят уже третий год.

— Пожалуй, вы правы, — отозвался Мелик, непроизвольно сглатывая слюну.

— Татьяна Дмитриевна замечательный человек! — возобновил Петровский, сияя. — Вы ведь встречаетесь с ней? Какой ум, сколько знаний! Я со своим инженерством чувствую себя всегда с нею безнадежно отставшим. Такие знания нужно набирать с детства. Кстати, вот смотрите, я достал любопытную вещь. Вы, конечно, знаете. — Он вынул из портфеля ветхую книгу в кожаном переплете. Это были писания преподобного отца Иоанна Кассиана Римлянина, вещь аскетическая и совершенно неудобочитаемая.

Мелик опять тихо покивал. Петровский, обеспокоенно приглядываясь к нему, почтительно спросил, давно ли он видел отца Владимира.

— Исключительный человек! — добавил он.

— Я видел его дня два или три назад, — спокойно и солидно ответил Мелик.

— Скажите, а что слышно о Хазине? — поинтересовался тот. — Говорят, что за ним следят. Он как, дома? Или... — Он пробежал по столу пальцами. — Мне тут удалось послушать «вражеский голосок». Анатолий Максимыч[1] сказал, что **они** сделали какое-то новое заявление. Но вообще-то Движение распалось, конечно. **На сей раз не вышло**. Хазин, говорят, пишет мемуары. Вы читали?

— Он читал мне отрывки, — соврал Мелик; пересиливая вялость, он старался держаться по-прежнему солидно, так, как держался с этим человеком всегда.

— Удивительно сильная личность! — воскликнул Петровский. — Я отношусь к нему с большим уважением, хотя видел его у вас только два или три раза. **Герой нашего времени**. Совесть России. Та позиция, которую он избрал, достойна всяческого одобрения... Но рекомендовать всем стать (...) конечно, нельзя. Мы должны каждый оставаться на своем месте. В доме Господа Бога нашего келий много. А что слышно про отца Алексея? — улыбнулся он. — В Москве он теперь или снова в Цюрихе?

Мелик про себя пожалел, что в свое время, желая произвести на начальника впечатление, рассказал ему слишком много.

— Видел я и его, — криво усмехнувшись, сказал он.

— Сложный человек, — понимающе прикрыл глаза Петровский. — Но ведь и он большое дело делает! Вы не согласны? Ведь жизнь тоже не простая штука. Я сам, например, сейчас в довольно трудном положении. Но если человек не предпринимает ничего без веления сердца и совета своего духовного руководителя... — Он запнулся.

— Конечно, конечно, — подтвердил Мелик, прислушиваясь с несколько возросшим вниманием. Впрочем, речь наверняка шла о докторской диссертации. Мелик знал, что вся лаборатория давно уже исподволь готовила Петровскому материалы для диссертации; об этом не раз с возмущением говорили местные девицы. — Конечно, вам надо защищаться, — сказал Мелик равнодушно. — Почему бы нет. А что, есть препятствия?

Выяснилось, что препятствия имеются: Петровскому предлагали вступить в партию.

[1] Гольдберг, комментатор Би-би-си.

— Докторскую-то можно было бы защитить и без этого,— поджал губы Петровский.— Но тут возникло еще одно... Меня прочат на пост замдиректора института. И вот здесь, безусловно, этот вопрос неизбежно возникнет. Я хотел посоветоваться и с... вами, и с отцом Владимиром. Я предвижу, что некоторые будут обвинять меня в карьеризме. Но ведь вы-то меня знаете! Это, конечно, очень рискованное дело. Могут ведь еще настучать и эти.— Он махнул головой в сторону двери. В большой комнате слышно было, как девицы решительно поднялись и ушли пить кофе; они всегда уходили пить кофе в это время.— Они, безусловно, не в курсе всего,— повел руками Петровский,— но что-то могут подозревать.

— Плюньте,— посоветовал Мелик.— Они достаточно бестолковы и не представляют себе настоящего положения вещей.

— Вы так считаете? — образовался тот.— Ведь, кроме всего остального, я смогу приносить больше пользы... всем нашим. Правда? А так тылы будут обеспечены лучше. Это ведь важно. Потом, не скрою, мне нравится работать, я люблю, чтоб было, к чему приложить руки, а здесь разве это возможно? Там у меня будет больше возможностей... Есть и еще одно соображение.— Он пригнулся к столу.— Сейчас ведь похоже, что будут пытаться завернуть гайку. Что скрывать, есть люди, которые только и ждут сигнала. Повторение тридцать седьмого года вполне реально. Вы, кстати, не читали Конквиста «Великий террор»? — (Мелик, чувствуя, что уже предельно устал, опять кивнул, хотя только видел эту книгу однажды и, полистав, бросил; помимо всего прочего он не знал английского, но никому не признавался в этом.) — Если будет возможность, достаньте мне обязательно,— попросил Петровский.

— Хорошо,— пообещал Мелик.

— Так вы считаете, что я вправе пойти на это?

— Да,— твердо сказал Мелик.— Я считаю, что да. Не надо бояться.

— Спасибо, спасибо,— растроганно поблагодарил Петровский.— Ваше мнение для меня особенно ценно, потому что вы как раз видите меня в работе. Я еще окончательно не решил, но теперь, учитывая ваше мнение... Ах, если б вы знали, как мне этого не хочется!.. А как ваши дела? Вы не торопитесь? Я хотел еще о стольком порасспросить вас.

— К сожалению, я должен идти,— с трудом поднялся Мелик.— Я приду как-нибудь специально, чтобы поговорить с вами.

— Разумеется, разумеется,— привскочил и Петровский, дружески теребя его за плечи.— Вы не в церковь?

— Нет, я уже был.

— В нашей? — весь озаряясь, спросил Петровский.

— Нет, на Брюсовском.

— Что так? Дела? — уважительно полюбопытствовал Петровский.— Понимаю.

— Вот-вот, дела,— не стал объяснять Мелик.— Простите, Петр Николаевич,— помедлил он,— не могли бы вы...— Он еще помедлил.— Не могли бы вы дать мне небольшую сумму взаймы. Рублей пять.

— Что за вопрос! Что за вопрос! — воскликнул Петровский.— Поиздержались? — посочувствовал он, доставая бумажник.

— Да тут... объявился у меня один старик, Божий человек,— неожиданно для самого себя сказал Мелик.— Пришлось помочь ему немного. Хочет добраться до Козельска[1].

— Странствующий монах?!

— Что-то в этом духе.

— Понятно, понятно,— замирающим от волнения голосом проговорил Петровский.— Конечно, если мы друг другу не будем помогать, то что же с нами станет... Я могу дать и больше.

«Все-таки неплохой он малый»,— подумал Мелик, пряча десятку.

Из большой комнаты, телефон был там, Мелик позвонил в несколько мест, в том числе Вирхову и Ольге, но никого не застал. Некоторое время он колебался, не позвонить ли ему еще и Тане, а также Льву Владимировичу, но, подумав, заключил, что этого делать не нужно: толку по телефону все равно не добьешься. Их следовало увидеть, и лучше всего было застичь внезапно.

[1] То есть до Оптиной Пустыни.

Вылезши из подвала, уже начавшего отсыревать по весне, Мелик вновь ощутил утреннюю свою удивительную легкость. С деньгами в кармане он почувствовал себя свободным и чуть ли не всесильным. Он снова выпил пива в ларьке на Садовом кольце и двинулся к Крымскому мосту, имея в виду добраться что-нибудь к часу дня до Льва Владимировича. Он не торопился, двигался спокойно и уверенно, почему-то не сомневаясь, что обязательно застанет Льва Владимировича дома и деться из ловушки тому все равно некуда.

Был как раз полдень. Солнце припекало уже по-настоящему. Из подворотен поперек тротуаров текли ручьи. Мелику стало жарко. Он распахнул пальто, подставляя грудь набегавшему от Москвы-реки ветерку. С высокого моста на все четыре стороны перед ним лежал в голубой дымке город, бесконечно разросшийся, неровный; отсюда он казался все еще низким, но видно было, как тайная хаотическая сила тянет его вверх. Мелик остановился, оперся на перила и стал вглядываться в детали, в какие-то терявшиеся вдали кусочки улиц, полузнакомые ему дома, вздымавшиеся голые железобетонные каркасы новостроек, пытаясь различить в их чертах отпечаток парадности, искусственности, ретуши, наведенной для иностранцев, и за всем этим увидеть черные дыры нищеты, распада, знаки катастрофы, нависшей над этим городом. Но ничего определенного он заметить не смог, его все время отвлекало что-то еще, город жил сам по себе и, пожалуй, несмотря ни на что, даже нравился ему. «Столица мира! — громко сказал он, потому что рев транспорта на мосту все равно заглушал все слова.— Ничего не скажешь, хорош Вавилон! Или это и правда Третий Рим, а Четвертому не бывать? Все вздор». Недовольный собою, он пошел прочь, уже не обращая внимания на город и лишь раздраженно посматривая на несшиеся непрерывным потоком мимо, извергающие зловонный сизый газ машины.

(Продолжение следует.)

Г. ВОДОЛАЗОВ

Формулы консолидации

Две платформы к XXVIII съезду КПСС

Наше общество топчется на месте, потому что имеющиеся в нем социальные и политические силы тянут его в разные стороны. Происходит не сложение, а взаимное вычитание сил. Все неуступчиво воюют со всеми, никто ни о чем ни с кем не может договориться. Проржавевшие, исторически скомпрометированные старые структуры власти утрачивают привычные механизмы управления, новые еще не сложились. И это не двоевластие, это — безвластие. Сколько-нибудь нормальная работа в этих условиях просто невозможна; никто не чувствует себя хотя бы элементарно защищенным — ни социально, ни политически, ни юридически, ни у кого нет уверенности в завтрашнем дне и даже в сегодняшнем вечере. В условиях подобной политической смуты, экономического распада и правового кризиса обычно начинают складываться элементы, структурные образования будущей диктатуры, которая в случае победы и окажется ответом на общественную потребность навести хоть какой-то порядок. И не будет ничего удивительного в том, что она, по крайней мере на первых порах, получит поддержку значительной части народа, уставшего от неразберихи и утрачивающего веру в красиво говорящих, но неспособных на эффективные практические действия «перестроечников» различных мастей и оттенков. Для многих любой порядок лучше перманентного хаоса. В такие периоды социального распада, на волне этих настроений и приходят всевозможные сталины, гитлеры, пиночеты. Конечно, диктаторский «порядок», замешенный на насилии и крови людей,—это всего лишь политический наркотик, он дает лишь временное и во многом иллюзорное облегчение и обусловливает мучительное пробуждение в будущем, когда выяснится, что после периода такого «порядка» людская боль, общественный хаос и всеобщий развал не только в конечном итоге не уменьшились, но возросли многократно. Увы, не все хорошо знают прошлое, и потому не все способны заглянуть в будущее... Так постараемся же — пока еще есть время — совместно извлечь уроки из поучительных примеров истории. Приложим усилия, чтобы не Диктатура, а Демократия явилась ответом на объективную потребность в общественной консолидации и обеспечении единства политической воли общества.

Как же идти к этой демократической консолидации? В каких формах, на какой основе? Выяснению этих вопросов и посвящается данная статья. В ее основу положен анализ двух важнейших политических документов последнего времени— Платформы ЦК КПСС к XXVIII съезду партии и «Демократической платформы», представляющих собой попытку указать пути выхода из той ситуации, в какой оказалось наше общество, пути консолидации сил, способных, по мнению авторов, перестроить страну. Сопоставление этих двух документов в силу противоположности их подходов и оценок будет неизбежно иметь остроконфликтный характер. А о степени остроты конфликта дает некоторое представление напечатанное 11 апреля 1990 г. в «Правде» «Открытое письмо Центрального Комитета КПСС коммунистам страны». В нем авторы, члены ЦК партии, дают сугубо негативную характеристику «Демократической платформы» и весьма лестно отзываются о своем собственном произведении — Платформе ЦК. Назначение письма, по замыслу авторов,— способствовать «консолидации... на принципиальной основе».

Анализ этого документа и послужит нам своеобразным введением к теоретическому сопоставлению двух платформ.

Его основной мотив: разоблачение и осуждение «раскольников» из «Демократической платформы» и призыв ко «всем коммунистам» к консолидации на принципиальной (что означает цековской) основе.

Документ этот, скажем сразу, вызывает много вопросов.

Во-первых, характеристика того узла проблем, вокруг которого, по мнению ЦК, вращается сегодня теоретическая дискуссия, обусловливая разделение политических сил.

Так, в письме приводятся «положения проекта Платформы ЦК КПСС, выражающие смысл перестройки» и являющиеся «добротной базой для сплочения партии и народа». Это «решительный разрыв с авторитарно-бюрократической системой, ориентация на гуманный, демократический социализм, эффективную планово-рыночную экономику, правовое государство, на обновление советской федерации, на создание народу достойных условий жизни...». И вот по отношению к этой «добротной основе» идет поляризация сил: «Одни отвергают перестройку, видя в ней «либерально-буржуазное перерождение» общества и партии», «другие... призывают к реставрации капитализма».

Итак, вот расстановка сил и ось дискуссии: одни — за перестройку, другие — против (с правых и левацких позиций). Отсюда призыв к консолидации тех, кто за перестройку, за «разрыв с авторитарно-бюрократической системой».

Не очень убедительно. Это, пожалуй, в 1985—1986 гг. вопрос за перестройку или против был **главным** вопросом. Сегодня для абсолютного большинства нашего народа тут вопроса нет: люди — за перестройку и за разрыв с авторитарной системой. Сегодня главный вопрос и ось дискуссии — в другом: что нужно **практически** сделать, каковы **конструктивные пути** перестройки, чтобы вышеупомянутый «разрыв» не оставался только словом, только благим призывом (как в общем-то было все пять последних лет), а чтобы он стал реальностью. Здесь, а не в вопросе принимать или не принимать перестройку сегодня, думается, главное разногласие.

Из этого первого спорного тезиса «Открытого письма» проистекает и другой. Поскольку опорные позиции Платформы ЦК формулируются в «Письме» столь широко и абстрактно, что не выявляют отличия Платформы ЦК от «Демократической платформы», то перед его авторами встает задача объяснить, почему же в таком случае высказывается такое острое неприятие позиции авторов «Демократической платформы». Оказывается, вот почему: вокруг «так называемой» «Демократической платформы» развернула свою деятельность группа лиц, произносящих громкие фразы и легковесные обещания, «за которыми нет ничего, кроме личных политических амбиций», или, как намекалось на февральском (1990 г.) Пленуме ЦК,— группа лиц, «рвущихся к власти».

Письмо, таким образом, переключает внимание коммунистов страны с анализа и сопоставления текстов опубликованных платформ, дающих возможность вести дискуссию со ссылкой на точные цитаты и публично сформулированные позиции, на размышления о деятельности каких-то «лиц», которые вынашивают «замыслы» «развалить партию», «устранить ее с политической арены» и самим прорваться к власти. И ни конкретных лиц, ни фактов, ни доказательств — трудно тут вести конструктивную полемику. Конечно, все примерно догадываются, на кого довольно прозрачно намекают авторы письма. Но именно эта прозрачность намека вызывает у читателя чувство какой-то особенной неловкости. Во-первых, те, на кого намекают в письме, не имеют нормальной печатной, радио- и телетрибуны для пропаганды, изложения и защиты своих взглядов и действий; о взглядах и действиях этих «лиц» общественность узнает урывками — из отдельных номеров каких-то многотиражек, издаваемых то в одном, то в другом институте, из отрывочных цитат, скупо и подчас тенденциозно приводимых в критических статьях изданий, абсолютное большинство которых жестко контролируется официальным партийным аппаратом. Такой тип обвинений с помощью прозрачного намека на «лица», но без называния фамилий, лишающиеся по этой причине возможности защищать себя,— своего рода анонимка, к которым в нашем обществе, слава богу, сложилось уже вполне определенное отношение...

Да и насчет этого укора в «политических амбициях», в том, что кто-то «рвется к власти». Опять — неловкость. Разве можно упрекать политических деятелей, политические группы, что они во имя осуществления своих идей стремятся быть ближе к рычагам управления и рычагам власти? К тому же на не очень тактичную формулировку упрека можно получить ведь и не очень вежливый ответ, который, кстати, уже звучал в письмах, опубликованных на страницах газет,— вроде того, что: «А чем эти «лица» хуже вас, «дорвавшихся до власти»? Откуда такая нескромность, такое самодовольство? Почему вы так уверены, что ваше властвование лучшее из всех возможных? Откуда гордыня-то такая — ведь посмотрите, как сегодня страна живет, каковы итоги последних пяти лет вашего правления... и т. д.». И действительно, пока экономическая, и политическая, и социальная ситуация в стране такова, что для особого высокомерия по отношению к политическим оппонентам ну просто нет никаких оснований.

И кроме того: если даже «отдельные лица», заявляющие о своей приверженности «Демократической платформе», выступают с какими-то сомнительными заявлениями, то давайте все-таки отличать позиции и высказывания отдельных лиц от позиций платформы.

Далее. Есть в «Открытом письме» характеристика не только анонимных «лиц», но и содержания самой «Демократической платформы». По утверждению его авторов, «замысел» «Демократической платформы» направлен на «развал» партии, «на устранение ее с политической арены». Ну, здесь, располагая напечатанным текстом платформы, можно уже с точными цитатами в руках сравнивать, насколько эта характеристика соответствует действительности. Думается, весь пафос, весь смысл платформы — спасти — в максимальной степени — тот

демократический потенциал партии, который еще можно спасти (сделать то, что не успели сделать по вине «принципиального» руководства в партиях стран Восточной Европы), остановить «дальнейшее углубление идейного кризиса в КПСС», «ослабление идейно-политического влияния партии в массах». И это все не наша интерпретация, это — точные цитаты. Пафос платформы — предложение форм и способов сосуществования в рамках **единой партии** имеющихся в ней течений — в целях более планового, более управляемого перехода общества от тоталитарной к демократической политической системе. Пафос «Демократической платформы» — как раз не конфроитация, а консолидация. Правда, эту консолидацию, ее создание и основы Демплатформа представляет иначе, чем авторы «Открытого письма». И об этих двух типах консолидации, двух путях к ней, изложенных в Платформе ЦК и «Демократической платформе», мы еще подробио будем говорить в этой статье. Но уже сейчас хотели бы заметить, что успех любого типа консолидации связан, в частности, с верным, уважительно-точным изложением позиции оппонентов.

Еще один штрих. Авторы «Открытого письма» в отличие от осуждаемых ими инициаторов «раскола» — «за консолидацию партийных рядов», «за прочиое единство». К этой симпатичиой декларации имеются весьма любопытные дополнения. Так, подчеркивается, что консолидация возможна только на ...«принципиальной основе» (то есть на основе платформы авторов письма). Все другие «основы», таким образом, зачисляются в «непринципиальные», не годящиеся для консолидации. И потому с теми, кто их предлагает, «необходимо разобраться» — «разве могут такие лица оставаться в рядах КПСС?». Довольно оригинальная идея: раскол как метод борьбы против раскола. Ну, и наконец, бросим общий взгляд на сам тип, «на весь облик» «Открытого письма». Задумаемся, каков был бы политический реэультат втого документа, появись он пять-шесть лет тому назад. Нет сомнения, события развивались бы по хорошо известным и тщательно отработанным образцам. По всей стране прокатилась бы волна партийных собраний и митингов трудящихся, где специально подобранные ораторы от имени «его величества рабочего класса», «колхозного крестьянства», «трудовой интеллигенции», «советской молодежи», «всех народов великой многонациональной страны» зачитали бы по бумажке набор фраз, взятых непосредственно из документа,— о «развале», «расколе», «устранении», «скрытых замыслах», «политических амбициях», «антисоциалистической направленности» и т. д. Заканчивались бы эти речи едиными призывами: «Необходимо разобраться», «разве могут такие лица оставаться в рядах КПСС?».

Что было бы дальше с этими «лицами» — тоже нетрудно представить, практика отношения к инакомыслящим еще ведь не стерлась в нашей памяти.

Конечно, ничего этого сегодня не будет — ни тех мнтингов, ни тех репрессий. Но это уже по причинам, не зависящим от большинства авторов «Открытого письма». Сейчас общество уже ие то и люди ие те, что были десяток лет назад. А вот манера изъяснения и манера мышления авторов письма — увы, те, те самые.

Но не будем чересчур драматизировать историю с «Открытым письмом». Мы не знаем, как оно готовилось, кем писалось, кем принималось — и единогласно ли. Может быть, какую-то сверхактивность и сверхэмоциональность проявили люди старого закала из ЦК, а другие пошли, что называется, на поводу. А может, временное раздражение какими-нибудь высказываниями отдельных лиц из «Демократической платформы» (которые ведь не склонны гладить «по шерстке» нынешнее руководство и у которых личностный момент в критике занимает большое — иногда непомерно большое — место) сыграло роль своеобразного детонатора для появления письма? Но как бы там ни было, оно получилось в общем и целом не консолидационным, а резко конфронтационным. И это, я не сомневаюсь, со временем будет определено как «ошибка» — даже с точки зрения интересов тех политических сил, которые готовили это письмо, и тех социальных сил, что стоят за ними.

Ибо сейчас действительно общая задача, от которой зависит выход страны из кризиса,— это консолидация. И, добавим, консолидация не на «принципиальной» основе (ибо такой подход ведет не к консолидации, а к подавлению, поглощению одних сил другими), а на **компромиссной осиове**, когда учитывались бы и уважались взгляды, позиции, интересы всех основных социальных и политических сил общества. И программа этого консолидационного единства должна быть программой, более или менее приемлемой **для всех**, то есть программой Демократического Компромисса.

А чтобы зтот компромисс состоялся, нужно прежде всего хорошо знать взгляды и позиции друг друга — без искажения и иллюзий. Только тогда можно отыскать точки возможной общности.

Чтобы вывести наше общество из тупика, надо хорошо знать сущность и интересы составляющих его социальных сил и слоев, надо ясно зафиксировать его основные проблемы и противоречия. Потому что если мы, как прежде, будем плодить иллюзии, объявляя, что общество наше социально однородное, что в нем нет противоположных интересов и т. п., то мы не сможем выписать верных рецептов лечения.

Где-то в начале 80-х годов Ю. В. Андропов однажды очень верно заметил: «Мы плохо знаем общество, в котором живем». Не скажу, что самому ему удалось обогатить наше знание о современ-

ном обществе (в главном он все-таки мало чем отличался от других деятелей прошлого), но то, что он ситуацию зафиксировал верно,— признать следует. И главное, что пюка нами по-настоящему не понято, не оценено, не проанализировано (и не это, конечно, имел в виду Андропов),— так это то, что общество наше в качестве основного социального противоречия содержит в себе противоречие между обладающим всей полнотой экономической и политической власти государственно-управленческим слоем и трудящимися, которые, по сути, отчуждены от средств производства, политики и управления. Суметь разрешить противоречие (а то и антагонизм) этих двух социальных образований не посредством кровавой схватки, а цивилизованным, эволюционным, мирным путем, выработав политическое соглашение, демократический компромисс,— такова общая формула современной коисолидации.

Нахождению путей к этому компромиссу и будет способствовать сравнительный анализ двух названных платформ, в которых очень иаглядно проявилось различие интересов, подходов и оценок, присущих различным социальным и политическим силам нашего общества. Каким именно силам, как это конкретно проявилось, что может дать знание этого для осуществления демократического компромисса — таковы главные сюжетные линии нашей статьи.

Знакомясь с указанными выше платформами, мы, естественно, обращаем внимание в первую очередь на то, как в них оценивается нынешняя ситуация, в чем видятся причины того, почему она сложилась так, а не иначе, и какие предлагаются пути в будущее. Эти оценки настоящего, прошлого и будущего и составляют главную содержательную ось обеих платформ.

Оценка современной ситуации

Кореиное расхождение платформ идет с самого начала.

«Демократическая платформа» начинает сразу с констатацни того, что очевидно едва ли не для всех: общество находится у «опасной черты», в «глубоком кризисе».

Платформа ЦК ведет свой разговор совсем в другой тональности. Тут нет и намека на какой-либо «кризис». «Трудности», «проблемы» — да, имеются. Но с чем они связаны? Да главным образом с тем, что «масштабы необходимых преобразований оказались намного большими, чем можно было предположить вначале».

Видите как! «Демократическая платформа» с самого начала просто в набат бьет: «Реформы повисают в воздухе», «растет инфляция», «ухудшается продовольственное снабжение населения», «нарастает напряженность в межнациональных отношениях», «во многих районах страны сложилась бедственная экологическая обстановка», «растет преступность, особенно организованная», «крайне непоследовательно проводятся политические и правовые реформы, передача реальной власти из рук партийного аппарата Советам, создание правовых гарантий гласностн и социалистнческих ценностей» — внимание, граждане, Отечество — у кризисной черты.

Платформа же ЦК начинается бодрыми заверениями в достижениях — в том, что «главный итог переходного периода — духовное и политическое раскрепощение общества», что «в атмосфере свободы, демократизации и гласности (это при монополии-то одной партии на средства массовой информации? — **Г. В.**) люди обрели гражданское и национальное достоинство (это при событиях-то в Закавказье н Прибалтике, при тысячах н тысячах беженцев? — **Г. В.**), берут в свои руки дела государства (это при монополии-то аппарата на власть? — **Г. В.**)». После этой-то бодрой заявки и следует тот самый диагноз трудностей: масштабы, проблемы оказались большими, чем предполагалось. Да, конечно, это не какая-то политическая «чернуха» «Демократической платформы» с ее акцентами на «кризисах», «опасной черте» и т. п., это — полная оптимизма установка: шли хорошо, широко, высоко (ну, не без некоторых «ошибок и просчетов», разумеется,— где их не бывает?) — и вот вышли к новым, еще более высоким, еще более масштабным рубежам. И просто надо, с удовлетворением оглядываясь на сделанное и черпая в этом энергию, напрячь силы и еще более «решительно и энергично» двинуться дальше: «Сейчас кардинальный вопрос — темпы начатых преобразований...».

Это каких «преобразований»? Тех, что сопровождаются пустыми полками, снижением производства, инфляцией, ростом преступности, национальными столкновениями? Увеличить «темпы» всего этого? Может быть, сегодня есть смысл все-таки более основательно задуматься не о темпах «начатых преобразований», а об их содержании, о том, какой конкретно вид принимают они в реальной действительности? И, может быть, не наращивать темпы «начатого», а критически его переосмыслить и найти другие, более эффективные пути «перестройки»? Не это ли кардинальный вопрос сегодня?

Но что же значит все это? Ошиблись немного авторы анализируемой платформы в оценке нынешней ситуации и следует попытаться указать им на эту ошибку, дабы она была бы исправлена?

Нет, никакой «ошибки» в обычном смысле этого слова здесь нет. И вот это-то и есть главное, что в интересах будущего возможного компромисса следует понять. Дело в том, что в рассматриваемой платформе точно и безошибочно отражены политическая позиция и социальный интерес административно-управленческих слоев. Именно так, как записано в платформе, видится ситуация из кремлевских, обкомовских и министерских окон. Да, конечно, призматические стек-

ла в этих окнах деформируют образ объективной реальности и в этом смысле дают несколько искаженный, ошибочный ее облик. Но само это преломление света, сама деформация есть тоже объективность, и определенная часть людей, находящихся за этими стенами, отнюдь не какие-то сознательные и намеренные обманщики. Они могут быть по-своему искренни и честны, не исключено, что им действительно «чертовски хочется поработать» на перестройку (так, как они ее понимают) по 14 и 16 часов в сутки. Наряду, так сказать, с «честными консерваторами» (искренне думающими, что живут одной жизнью с «народом» и одними думами с ним) есть среди сторонников этой платформы и группы, не заблуждающиеся относительно своей наднародности и идущие на сознательное искажение действительности — под влиянием узкогруппового эгоизма. Они отдают себе ясный отчет в том, что скажи они правду, а именно — что пять последних лет (как, впрочем, и многие предшествующие годы) их руководящей деятельности привели страну к глубочайшему кризису; назови они далее те его черты, о которых так безжалостно прямо говорит «Демократическая платформа»,— совершенно ясно станет, что отнюдь не аплодисментами встретит эти признания руководимый ими трехсотмиллионный народ. «Вы продемонстрировали свои возможности,— скажет он.— Довольно. Займитесь лучше какими-нибудь другими делами».

Не «ошибаются» и либеральные реформаторы из аппарата, вместе с «честными» и «нечестными» консерваторами разделяющие приведенное выше описание сегодняшней ситуации в стране. Логика «аппарата», законы его функционирования накрепко привязывают их к консервативной его части. Во все решающие, переломные моменты, как свидетельствует опыт истории, они протягивают руку не революционному народу и его демократическим представителям, а консерваторам, как того и требует интерес привилегированной социальной группы (единичные исключения из этого правила на индивидуальном уровне не отменяют общего принципа).

Короче говоря, не надо питать иллюзий, не надо думать, что можно чисто теоретически, чисто логически, опираясь на цифры и факты, переубедить эти социально-политические группы людей, чисто просветительской деятельностью перетянуть их на свою сторону, консолидироваться с частью из них на **своей** программной основе.

Сегодня крепко ругают марксизм (ругают, кому только не лень и кто знает о нем разве что по краткому философскому словарю). Но именно марксизм сделал очень важный и весьма поучительный для сегодняшней ситуации вывод: привилегированные группы, слои, классы просто так, без сильного политического давления на них, с властью и привилегиями не расстаются. Именно марксистская материалистическая методология приводит к важному заключению: не сознание людей из этих групп надо стремиться в первую очередь изменить, а их общественное бытие — поселить их в нормальные квартиры с нормальными стеклами в окнах, заставить их ходить в нормальные магазины, ездить на нормальном общественном транспорте (в метро и на автобусах)... И все!!! И будет у всех полное взаимопонимание. И тогда никто из них в период, когда страна разваливается, не будет говорить о вставших «новых масштабах» задач или, когда общество заведено в тупик,— о необходимости наращивания «темпов» (дальнейшего движения по тупиковой ветке?).

Но пока нет сил и возможностей у народа и демократических сил изменить коренным образом их бытие и тем самым тип всего общественного бытия, пока важные рычаги управления страной находятся в их руках, следует попытаться на основе компромисса, взаимной договоренности ограничить их возможности, их власть и привилегии — настолько, насколько позволяет нынешнее соотношение социальных и политических сил. А успешность такого диалога зависит и от хорошего знания позиций и претензий договаривающихся сторон, дабы народ, демократическая общественность страны имели бы возможность сопоставлять, оценивать и выбирать ту или другую программу, ту или другую форму компромисса — с полным знанием дела.

Оценки нынешней ситуации в двух рассматриваемых платформах мы уже привели. Теперь о причинах, приведших к этой ситуации (оценка прошлого), и планах на будущее.

Как мы дошли до жизни такой? (Об истоках нынешних проблем)

Снова нужно констатировать, что при ответе и на этот вынесенный в заголовок вопрос мысль авторов «Демократической платформы» развивается естественно и логично. Тут ничего не стремятся вуалировать, избегают двусмысленностей и витиеватости, тут хотят быть однозначно понятыми (даже теми, кто не согласен с ними) и потому стремятся к четкости, ясности, определенности, лаконичности. Всеобщий, глубокий кризис нашего общества и КПСС, подчеркивается в «Демократической платформе», обусловлен, во-первых, кризисом коммунистической идеологии, во-вторых, связанным с ним политическим кризисом всей нашей системы (в том числе и партии), в-третьих и в-четвертых — организационным и моральным кризисом партии. Ну, и разве не так? Разве не была идеология, навязывавшаяся идеологическими отделами всех уровней (в полном единстве и в тесной дружбе с КГБ), разве не была она — объективно (а нередко и субъективно) средством оглупления и затемнения, а не просвещения) людей, разве не превращалась она нередко в средство манкуртизации (употребляя ставшее уже

общепринятым айтматовское понятие) населения? И разве не превратился наш политический режим в тоталитарный, антидемократический (лукаво возвещавший миру о 99-процентной поддержке советским народом брежневых, гришиных, романовых, кунаевых, медуновых и иже с ними)? И разве секрет, что значительная доля руководящего слоя брежневских времен оказалась, по сути, частью могучей и разветвленной преступной мафии, разворовывавшей и распродававшей народное богатство страны?..

Отношение Платформы ЦК к прошлому чуждо «односторонним» и «прямолинейным» оценкам «Демократической платформы». Она зовет к «многосторонности», к «диалектике» и «считает принципиально важным четко различать в нашем прошлом то, что является порождением сталинщины, следствием попрания социалистических принципов, и то, что представляет реальный вклад партии и народа в прогресс собственной страны и всего человечества». И далее: «Одинаково опасны как идеализация прошлого, нежелание знать полную и суровую правду о трагических сторонах нашей истории, так и попытки перечеркнуть все по-настоящему великое и ценное в нашем историческом наследии. Нельзя обрывать преемственную связь труда и борьбы советских людей».

Кажется, верно: и в самом деле, было плохое, но было ведь вроде и хорошее: по нефти, углю ведь на первые места в мире вышли и водородное оружие создали, а Днепрогэс, в Волго-Дон, а Беломорканал, а Алексей Стаханов, а Паша Ангелина, а... а... да мало ли...

О, это одна из наиболее распространенных интеллектуальных ловушек. Ведь в чем нехитрый смысл этой хитроумной «диалектики»? Вам говорят: «Тезис первый: согласны Вы, что в нашей истории было и хорошее и плохое?» Естественно, вы согласны, ибо не было в истории любой страны таких периодов, когда было **только** плохое (даже ведь во времена фашизма, гитлеризма: разве немецкий народ только и занимался тем, что слушал и слушался Гитлера и Геббельса, разве он бросил трудиться? Ведь он и уголь добывал, и сталь варил, и пшеницу выращивал — и в целом не хуже наших стахановцев, да и антифашисты существовали и борьбу вели — и в подполье, и в лагерях). Итак, **было,** было хорошее, соглашаетесь вы, ну, и что дальше? А дальше вот что: осудим, говорят вам, плохое («сталинщину») и возьмем хорошее — например, то богатство, что было создано народом. Наверное, можно согласиться и с этим (чего же от созданных народом производительных сил отказываться!), но на одну неувязочку тут указать обязательно надо. А именно: «сталинщина» — это и есть одна из разновидностей (наихудшая) административно-командной, авторитарно-бюрократической системы. Вот мы и спрашиваем: в ней, в **этой системе,** было ли наряду с плохим что-либо хорошее, что следовало бы сохранить? Ведь главный вопрос сегодня — как оценить **авторитарно-бюрократическую систему,** как поступить с ней. А его хотят (кто — сознательно, кто — бессознательно) подменить другим вопросом: как отнестись ко **всему,** что было сделано в истории народными массами? Это все равно, как если бы на вопрос: нужно ли устранять фашизм? — нам бы ответили: знаете что, осторожней — не забывайте, что в истории немецкого народа в 1933—1945 гг. было и хорошее. Но ведь мы **фашизм,** а не историю немецкого народа хотим устранить. Ведь мы у себя-то сталинизм, авторитарно-бюрократическую систему, а не историю нашего **народа** хотим осудить и устранить. Поэтому от авторов Платформы ЦК хотелось бы получить ясный и прямой ответ, готовы ли, согласны ли они ставить вопрос о ликвидации авторитарно-бюрократической социальной и политической системы — **целиком и без остатка,** или им видится **в ней нечто хорошее,** что хотелось бы сохранить? От такой прямой постановки вопроса авторы указанной платформы уклоняются. Многим из административно-управленческой элиты просто **не хочется** понимать этого вопроса. Ведь понять его и ответить на него таким образом: да, нужна полная ликвидация этого социально-политического режима — означает для них ликвидацию **их** до сих пор существующей монополии на власть — власть партийную и государственную. А вот к этому-то они пока еще не готовы, точнее, **их** к этому еще **не подготовили** демократические силы.

Диалектика (простите за напоминание банальных истин!) — это вовсе не простое перечисление различных свойств предмета («с одной стороны», «с другой стороны»), диалектика — это открытие и описание главного, всеопределяющего звена системы («клеточки», как говорят философы) и раскрытие того, как с этим главным звеном связаны все другие, определяемые им звенья.

Если вы хотите дать **научную** характеристику прежней системы социальных отношений в нашей стране, вам придется быть «односторонним» и признать, что такими ведущими, системообразующими признаками социальной системы были авторитаризм, бюрократизм, административно-командный тип общественных отношений, который формировал и до неузнаваемости искажал даже то потенциально «хорошее», что не может не возникать в любой коллективной трудовой деятельности людей. И, чтобы очистить и сохранить это «хорошее», нужно будет коренным образом изменить деформировавшую его систему и построить новую; с помощью механизмов этой новой системы только и можно «взять» это «хорошее». И тогда мы увидим, что «хорошее» в «плохой» системе может быть только потенциально хорошим, «взять» его — не значит просто «перенести», просто

«присвоить», а значит — преобразовать. Попытки же просто «переносить» хорошее, пытаться брать его в исторически сложившемся виде абсолютно бесплодны. И это ясно демонстрируют два основных тезиса Платформы ЦК, в которых дается попытка раскрыть, какого же типа «хорошее» ее авторы советуют воспринять. «Для нас,— говорится там,— остается незыблемой приверженность социалистическому выбору и идеям Октября: власть— Советам, фабрики — рабочим, земля — крестьянам, мир — народам, свободное самоопределение — нациям». Прекрасно! Но ведь сие, почти слово в слово, писалось и в «Вопросах ленинизма» Сталиным, и в «Ленинском курсом» Брежневым, и в решениях всех съездов, начиная со съезда расстрелянных — семнадцатого — и вплоть до двадцать шестого — съезда песнопений «развитому социализму». Ну, как же можно после 1937 года, после двадцати лет правления брежневского коррумпированного руководства, без конца повторявшего весь этот джентльменский набор слов,— как же можно выходить с простым повторением подобных деклараций! Ведь сегодня люди ждут разъяснений: почему, несмотря на все вышеприведенные прекрасные лозунги, фабрики так и не перешли к рабочим, земля — к крестьянам, а власть — к Советам; и что нужно сделать, чтобы эти лозунги стали правдой. Только подробным и убедительным ответом на эти вопросы авторы и могли отделить себя от сталинско-брежневской бюрократии. А так ведь им могут с полным основанием сказать: вы что же, дорогие товарищи, так же привержены «социалистическому выбору», так же отдадите землю — крестьянам, фабрики — рабочим и власть — Советам, как ваши предшественники? В таком случае извините, нам не по пути. А если не так, то как же? Платформа безмолвствует...

И совсем уж каким-то невероятным анахронизмом выглядит перечисление позитивных завоеваний прежних времен: «право на труд, на пенсионное обеспечение, бесплатное образование и здравоохранение». «Забыть об этом — значило бы допустить неуважение к истине...» — торжественно звучит голос авторов платформы. Ну, уж эти-то вопросы современная публицистика выяснила и оценку этим «завоеваниям» дала (сравнив к тому же с тем, что имеется на Западе),— и что за пенсии у нас (помереть, имея их, может, и не помрешь, но и жить по-человечески невозможно), и какие у нас «медицина» с «образованием». Инерция традиционных перечислений «завоеваний» сегодня, увы, не срабатывает.

Путь в будущее

Типичный упрек в адрес «Демократической платформы», прозвучавший, кстати, и в «Открытом письме»: там нет-де экономической и социальной программ. Что же это в таком случае за платформа — неосновательная и несерьезная какая-то! То ли дело в Платформе ЦК — и подробная концепция социального развития («в центре политики партии — человек» — так возвышенно называется один из разделов платформы), и программные разработки по вопросам экономики, политической системы, межнациональных отношений. Всеохватно и основательно! В общем, государственные люди против любителей.

А между тем не более ли правильно поступили авторы «Демократической платформы»? Они взялись за решение вопроса, от которого зависят все остальные. Они поставили в центр проблему ликвидации политической системы, обеспечивавшей монопольное господство управленческой «элиты». Вы требуете от авторов «Демократической платформы» развернутой программы экономических преобразований? Но на ваши требования они отреагируют законным вопросом: «Применительно к каким политическим условиям желаете вы получить такую программу?». Ведь дело в том, что не может быть конструктивной, «хорошей» экономической программы «вообще», а только применительно к определенным политическим условиям и в связи с ними. Хотите убедиться? Возьмите, к примеру, перечисление опорных пунктов экономических преобразований Платформы ЦК: аренда, полный хозрасчет, подряд, акционерные общества, кооперативы и т. д. Слова, названия эти, в общем, неплохие.

Ну, и что из этого? Ну и почему все это не идет, почему все это остается бумажными программами? Да потому, что там, где есть монополия одной партии (а точнее аппарата) на власть, где «правят бал» партийно-государственные чиновники с помощью своих обкомов, министерств и ведомств, там экономику будут душить госзаказом, директивными распоряжениями, разорительными налогами, денежной инфляцией и т. п. При таком политическом режиме рыночная, хозрасчетная экономика просто невозможна; незачем и предлагать ее введение — только хаос возникнет да прилавки совсем опустеют. Пока бюрократия у власти, какой уж там хозрасчет, какой рынок — только хуже от этого, уж лучше карточки (понемногу, но зато каждому, хоть с голоду никто не помрет). Это как раз то, что, судя по всему, не понимают критики «Демплатформы»: экономическая реформа не пойдет без настоящей, подлинной политической революции — просите хоть пятнадцать, хоть сто пятьдесят месяцев для экономических преобразований.

Авторы же «Демократической платформы» отдают себе в этом ясный отчет и потому не считают целесообразным разрабатывать экономические меры применительно к системе существующего политического монополизма. Они предлагают прежде всего и немедленно разрушить саму эту систему, заменив ее демократической. Вся их платформа, все их предложения — об этом. Удастся осуществить это, тогда будут уместны и раз-

вернутые экономические программы, исходящие из достигнутого уровня высоты политической демократии. Но расписывать сейчас в деталях и подробностях картину экономической деятельности, не привязанной к определенной системе политических отношений,— значит заниматься бессмысленным и бессодержательным прожектерством, схоластическими упражнениями.

При этом следует отдавать себе ясный отчет и в том, что в обществе того типа, что сложился у нас, преобразование политических отношений есть одновременно и изменение экономических, производственных отношений. Ибо когда административно-управленческий слой лишается монопольной политической власти, он тем самым лишается и монопольного экономического господства; а установление широкой демократии, с помощью инструментов которой трудящийся человек получает возможность реально влиять на экономику предприятия, района, города, распоряжаться плодами хозяйственной деятельности, превращает прежнего отчужденного, по сути наемного, работника в подлинного хозяина. В наших условиях революционная политическая программа является одновременно и экономической (вернее, первой и самой важной ее ступенью).

Поэтому полностью оправдан подход «Демократической платформы», которая сосредоточивается на решении главной задачи — выяснении условий и путей перехода от авторитарно-бюрократической политической системы к демократической. А внутри этой главной общей задачи выделяется и еще более глубокий ее пласт: как покончить с монополией партии в политической системе общества и одновременно — с монополией аппарата внутри партии.

И опять-таки — хочет этого кто или нет, понимает это кто или нет, но существует, по-видимому, объективный закон, сформулированный, кстати, еще одним классиком марксизма, тоже активно критикуемым сегодня, В. И. Лениным,— о первенстве политики над экономикой в революционные эпохи. «Демократическая платформа» и составлена с учетом именно этого закона.

Но посмотрим теперь более конкретно, какие реформы в партийно-политической области предлагаются обеими платформами.

Главные темы здесь две: изменение места и роли партии в политической системе общества и реформа самой партии. **Партия и процесс демократизации общества.**

Изменение места и роли партии в политической системе общества, как подчеркивается в «Демократической платформе»,— это не один из вопросов демократизации общества, существующий наряду с другими, а вопрос главный и решающий. Собственно, изменение роли партии в нашей политической системе и есть главное, всеопределяющее направление демократизации общества. И далее — четкое, ясное, определенное и, как всегда в этой платформе, лаконичное решение этой задачи: необходимы «пересмотр Конституции СССР (отмена ст. 6) и принятие Закона об общественных организациях (или Закона о политических партиях), в котором должна быть гарантирована свобода создания политических партий и их равноправие, определен их политический статус». Здесь действительно зерно всех политических преобразований: многопартийность, равноправие партий.

А как же ставятся и решаются вопросы политической демократизации в Платформе ЦК? Здесь тема развития «политического плюрализма» (то есть многопартийности) буквально тонет где-то в середине перечислений двенадцати (!) направлений движения «к развернутой социалистической демократии». Здесь все — с размахом, все — солидно, авторы хотят обо всем сказать, ничего не упустить — об «избирательной системе», о «Советах», о «государственной власти», о «правосудии», о «военной реформе», о «правовом государстве» и т. д. Но это псевдополнота. Во-первых, потому, что характеристика всех этих направлений состоит, как правило, из общих мест вроде того, что мы за то, чтобы «выборы были полем честного соревнования представителей всех слоев общества, личностей и идей», «чтобы Советы стали действительно полновластными органами», что «нужны неотложные меры по укреплению законности и правопорядка», что «аппарат» должен быть «под контролем» общественности и чаще обновляться и т. д. Набор общих формулировок, которые в силу их абстрактности и малой содержательности могли бы быть записанными в программах едва ли не любого из течений в нашей партии — от консерваторов до радикалов. Многоплановость здесь подменяется многословием, нет здесь и попыток выделить из всех этих направлений главное, указать на связь его со всеми другими.

Ну, и все-таки о чем же идет речь в этой одной одиннадцатой данного раздела — в главке «Демократия и политический плюрализм», а также: что говорится в Платформе ЦК о статье 6?

После рассуждений о том, что «роль» партии — «быть демократически признанным лидером», действуя через коммунистов в органах власти, однако «не претендуя на преимущество и закрепление своего особого положения в Конституции СССР», и следует вышеназванный «шаг по пути прогресса»: «В связи с этим партия считает необходимым в порядке законодательной инициативы внести на Съезд народных депутатов СССР соответствующее предложение по статье 6 Основного Закона страны».

Сравните, пожалуйста, прямое и ясное — «отменить» (как в «Демократической платформе») и оставляющее поле для возможного маневра, замыслова-

тое «внести соответствующее предложение». И такая некоторая неопределенность — свойство не столько литературного стиля авторов указанной платформы, сколько их мышления и действия. Эта витиеватость — вещь не случайная. Это — свидетельство того, что «прогрессивный шаг» делается нехотя, без желания, как уступка давлению демократических сил. Вспомним, каким гневом участники одного недавнего Пленума встретили информацию о том, что Ельцин посмел в интервью скромно заметить, что сегодня есть резон поразмышлять среди прочего и над вопросом о многопартийности. Повторяю: **поразмышлять** только. Так вот создали же партийную комиссию, чтобы «изучить» эти высказывания тов. Ельцина на предмет того, как с ним поступить дальше. Слушайте, а может, комиссия-то эта (о результатах работы которой ничего неизвестно), может, она-то, «изучив» высказывания Ельцина, вдруг и осознала его правоту и внесла указанное выше «соответствующее предложение»? Но если всерьез, то ясно: эти формулировки Платформы ЦК по статье 6 — вынужденно уступленная после отчаянных боев позиция. И потому уступка эта имеет вид такой неопределенной формулировки. И потому в других местах платформы постоянно прорываются и выплескиваются формулировки несколько иного типа. Так, написав, что «КПСС не претендует на монополию», что она «не берет на себя государственные властные полномочия», авторы платформы тут же вещают в категорической форме: «Порядок их (политических партий.— **Г. В.**) образования будет определен законом и соответственно отражен в Конституции СССР». Ну зачем же за Съезд народных депутатов решать? А вдруг не «будет», вдруг народные депутаты какую-то иную форму решения этого вопроса найдут? И дальше: «При этом в законодательном порядке должны быть запрещены создание и деятельность организаций и движений, которые проповедуют насилие, межнациональную рознь, преследуют экстремистские, антиконституционные цели». Обратим виимание здесь на не терпящую возражений директиву «должны быть» и требование запретить партии, преследующие «экстремистские, антиконституционные цели». «О чем тут речь идет, товарищи авторы платформы? — могут спросить вас.— Ведь «экстремистами» многие из вас называли людей, которые сегодня стоят во главе «Демократической платформы». Значит — запретить их деятельность? А что это такое — «антиконституционные цели»? Не вы ли в своей платформе хотя и туманно, но ставите вопрос об изменении важной шестой статьи Конституции, более того — не вы ли в специальном параграфе «О новой Конституции СССР» выдвигаете задачу даже «создания нового Основного Закона Советского государства»? Очевидно, прежняя Конституция вас не устраивает и вы, можно сказать, выступаете против нее. Согласитесь, в этом смысле «антиконституционный» момент тут налицо. Не собираетесь ли вы уж сами себя «запретить»?

Такие вот «неудобные» (но законные) вопросы возникают в связи с вашим пониманием демократии, товарищи.

И кроме того: давайте задумаемся все вместе — а не является ли выдвинутая в Платформе ЦК (и уже проведенная в жизнь) идея президентского правления некоторой компенсацией за утрату статьи 6 ?..

Ну, и последнее — о **реформе КПСС.**

Авторы «Открытого письма», как мы помним, определили основное содержание «Демократической платформы» как «курс на раскол КПСС изнутри». Сами же они «против раскола» н за «консолидацию партийных рядов» на «принципиальной основе». Так ли это?

Вначале — о позиции «Демократической платформы». Она отнюдь не держит курс на раскол. Ее установки имеют прямо противоположную направленность. Она исходит из того, что в настоящий момент партия фактически расколота на несколько течений: «консервативно-сталинское», «умеренно-реформистское» и «радикально-реформистское». Течений — с основательно разработанными концепциями, достаточно богатой пропагандистско-политической литературой, со сложившимися группами уже известных всей стране лидеров, с зачатками организационных структур, налаженными связями со «своими» социальными слоями и т. д. и т. п. Иначе говоря, размежевание согласно «Демократической платформе» — это не цель, к которой следует во что бы то ни стало стремиться, а реальный, объективно существующий факт, из которого следует исходить, и факт этот отнюдь не доставляет радости «демократам», для них он показатель кризиса партии, из которого надо найти выход. Но выход действительный, а не иллюзорный. «Сокрытие существующих принципиальных разногласий,— намекают «демократы» на позицию своих оппонентов,— подавление инакомыслия в партии организационными мерами, стремление сохранить мифическое единство любой ценой ведут к дальнейшему углублению идейного кризиса в КПСС, ослаблению идейно-политического влияния партии в массах». Сторонники «Демократической платформы» хотят путем коренной реформы устранить кризис партии, а их упрекают в стремлении «устранить партию».

Авторы же Платформы ЦК ни о каком принципиальном размежевании в партии и соответственно ни о каком ее кризисе не говорят ни слова. Они связывают иеобходимость «реформирования партии» с «масштабностью и новизной вставших задач». Снова знакомые оптимистические мотивы. А чего стоит следующее утверждение: КПСС «сумела преодолеть инерцию сталинщины и за-

стоя, возглавила революционный поворот и тем самым вновь доказала свою способность выполнять авангардную роль». И дело тут даже не только в возрождении слегка уже подзабытой манеры победных (и, увы, малоправдоподобных) реляций. Тут просто исчезает логика, концы с концами не сходятся: если партия все «преодолела», все «доказала», так чего же еще ее реформировать, зачем подвергать ее «глубокой перестройке»?

Демократическая платформа исходит из действительности — такой, какова она есть, а не такой, как нам хотелось бы ее видеть. Отсюда реализм ее антикризисных идей и планов.

Так, отмечая объективное существование различных течений в партии, она не стремится сеять иллюзий на тот счет, что-де различия эти легкопреодолимы, стоит только немного захотеть. Нет, по ее мнению,— и мы думаем, так оно и есть в действительности,— различия, противоречия эти столь серьезны, что примирить или устранить их не удастся. И в перспективе эти течения неизбежно превратятся в самостоятельные политические образования. (Не эта ли бесспорная констатация интерпретируется подчас как «курс на раскол»? Но как можно держать курс на то, что фактически уже существует?)

Однако вся специфика, весь взвешенный реализм «Демократической платформы» состоят в том, чтобы не ускорять этот процесс неизбежного официального раскола, а наоборот — чтобы несколько попридержать его. **В этом вся соль позиции Демплатформы.** Она справедливо при этом исходит из того, что в настоящих условиях (так уж распорядилась история!) КПСС — действительно единственная более или менее организованная в общесоюзном масштабе сила, которая худо-бедно, но держит в своих руках общие и главные рычаги движения нашего общества, нашей коллективной деятельности. И пока дробить эту силу нельзя. Политический развод сегодня нецелесообразен ни с точки зрения интересов всех групп и течений, имеющихся в партии, ни, что особенно важно, с точки зрения интересов всего общества, народа, перспектив демократических преобразований. Знаете, так бывает в семейной жизни — когда ставшие друг другу чужими супруги договариваются: во имя детей (до их совершеннолетия) жить вместе, сохраняя корректные отношения и определенные взаимные обязательства.

Нечто подобное предлагается в «Демократической платформе». Нет, ее авторы решительно против того, чтобы закрывать глаза на объективный факт: партия разделена на устойчивые течения, которые все яснее осознают, что различие их позиций нарастает, что логика событий сделает со временем невозможным их существование в рамках одной партии. И нет никакого смысла скрывать имеющиеся различия, растворять их в каком-то абстрактном, мифическом единстве. Напротив, следует помогать их выявлению и фиксированию, предоставлять разным течениям возможность вести открытую дискуссию друг с другом. Это поможет выработке более основательных, подвергнутых придирчивому и разностороннему обсуждению программных установок. Это нужно и для того, чтобы рядовые члены партии и все трудящиеся могли сопоставлять разные подходы, сравнивать их друг с другом и... выбирать — кто с кем, кто за кого. Со всем этим затягивать нельзя. Здесь «медлительность, чрезмерная осторожность грозят обернуться реставрацией тоталитаризма и крахом перестройки».

Иначе говоря, «Демократическая платформа» против административной унификации партии, против замораживания ее внутренней жизни. А с другой стороны, она против быстрого, мгновенного разделения КПСС на самостоятельные партии. «Поспешность в проведении реформы может привести к хаосу и анархии, потере управляемости обществом».

Так что нет никаких оснований представлять ее авторов какими-то экстремистами, леваками, не желающими считаться с реальностью, собирающимися прыгать через этапы и т. п. Они смотрят действительности в глаза и принимают взвешенные и реалистические решения.

На этой основе и рождается их в высшей степени плодотворная концепция **двух этапов** в реформировании КПСС.

Основная цель всей реформы партии согласно «Демократической платформе» — «преобразование КПСС в парламентскую партию, действующую в условиях многопартийной системы, правового парламентского государства». (Просим, между прочим, обратить внимание: речь идет, как вы видите, не о «развале» КПСС, не об «устранении» ее, а о «преобразовании».)

Понятно, люди старого закала не согласятся на подобное преобразование КПСС, и потому какой-то острый конфликт (и наверняка — разрыв) в будущем неизбежен. Но это в будущем. А сегодня его надо избежать. И в этих установках нет никакой хитрости, никакого «скрытого замысла», в чем подчас упрекают авторов «Демократической платформы».

Они пишут обо всем открыто, прямо — что называется черным по белому. И подоплека их рассуждений, логика их подходов тоже предельно ясны, более того — поучительны: мы как правящая партия ответственны за тяжелую, кризисную ситуацию в стране, и с точки зрения нормального демократического мышления мы должны подать в отставку, уступить свое место у рычагов власти другим. В наших же не слишком нормальных и не очень демократических условиях уступать просто некому.

Можно о том сожалеть, можно возмущаться, но история распорядилась таким

образом, что КПСС сегодня — действительно пока единственная общесоюзная сила, держащая в своих руках все общественные связи. В мгновение ока оставить все рычаги управления, бросить на произвол сложившиеся связи, сцепляющие нашу коллективную жизнь механизмы (хорошие, плохие — не в том сейчас вопрос) — означает в наших условиях не демократический шаг, а дезертирство, которое непременно ввергнет страну в еще больший хаос. Задача партии сегодня вовсе не в том, чтобы немедленно исчезнуть с авансцены политической жизни и в порыве покаяния удариться оземь, превратившись в массу каких-то других политических образований,— это, повторяю, приведет не к обузданию, а к умножению хаоса. Принять на себя ответственность не значит только покаяться перед народом за прошлое, но постараться выйти из тупиковой ситуации организованно, согласованно, достойно. Партия завела в тупик, партия не имеет права уклониться от обязанностей активного участия в выходе из тупика.

Из всего этого и возникает в «Демократической платформе» идея «первого этапа» реформы КПСС. Да и политические, идеологические течения, имеющиеся в партии, трудно (или практически не) совместимы, и в перспективе они не смогут быть в рамках одной политической организации. Но давайте на ближайший период постараемся ужиться — ужиться, оставаясь самими собой, не изменяя самим себе, не пытаясь обеспечить традиционное «единство» (которое в нынешних условиях может быть только «мифическим» единством), «монолитность» партийных рядов.

Таким образом, на нынешнем (первом) этапе «Демократическая платформа» прямо выступает против «раскола» и за «консолидацию». Но не на какой-то там «принципиальной основе» (под которой обычно понимаются «принципы» находящегося у власти руководства), а на... компромиссной. Но, как предвидят авторы «Демократической платформы», на первом этапе будут возникать «различные идейные течения», «платформы», «фракции», которые впоследствии (на втором этапе) «могут стать основой для возникновения нескольких политических партий, предлагающих различные модели социализма и пути их достижения».

Слово «фракция», которое с такой легкостью и естественностью выговаривает «Демократическая платформа», бросает людей старого организационного мышления буквально в дрожь: «Фракции? Да как можно? Ведь их сам Ленин запретил!». Ну, что касается Ленина, то в один период (в начале 20-х годов) он их «запретил», а в другой (после первой русской революции) — «разрешил». Так что Лениным тут не заслонишься. Да и вообще сами классики марксизма, думая о нас, людях будущих поколений, рассчитывали больше не на то, что мы будем искать ответы на вопросы в цитатах из их произведений, а на то, что у нас на плечах будут собственные головы и что мы этот «инструмент» сможем использовать по его прямому назначению.

Фракции в партии как устойчивая, постоянная форма — бессмыслица. Если ваши различия имеют устойчивый и постоянный характер, зачем вам общая политическая крыша, создавайте собственные партии. Фракция — это законная организационная и политическая форма в некоторые **переходные периоды**. Она допустима и оправданна, например, в периоды создания новых партий и политических образований, когда объединяются уже сложившиеся политические группы, кружки и т. п. Может понадобиться время, чтобы группы эти, так сказать, притерлись друг к другу, лучше поняли позиции и возможности друг друга.

Фракция оправданна и в период начинающегося внутреннего размежевания, разделения в партии, когда, с одной стороны, существуют еще общие для всех членов партии задачи и общая ответственность, а с другой стороны, когда политическая совместимость отдельных течений в партии становится все более трудной задачей. Сейчас именно такое время. Вот почему, учитывая все это, и предлагает на ближайшее время «Демократическая платформа» фракционную структуру партии.

«Но это же и есть раскол,— взволнованно говорят сторонники «демократического централизма» (господствовавшего у нас в его сталинской интерпретации),— и в этом случае уже никакой единой партии не существует. Это, конечно, не так, и я, чтобы не доказывать слишком долго, приведу слова человека, весьма искушенного в политической жизни: «Партия,— писал Ленин о ситуации 1906 г.,— когда в одной партии существовали фракции большевиков и меньшевиков,— тогда была едина, не было раскола, но была фракционность...» (П. С. С., т. 25, с. 186). Иначе говоря, фракционность — это еще не «раскол», фракционность еще не означает отказ от «единой» партии.

Еще раз: фракционность в современных условиях — законная и, мы бы добавили, необходимая и наиболее безболезненная форма, способная обеспечить более плавный, эволюционный, цивилизованный переход от однопартийности к многопартийности. Фракционность сегодня — это форма сохранения единства в условиях возникновения принципиально различных течений внутри партии. **Фракционность в рамках единой партии — это и есть формула современной консолидации, предлагаемая «Демократической платформой».**

Формула же «консолидации», предлагаемая оппонентами,— консолидация на базе только и исключительно принципов, предлагаемых Центральным Комитетом (то есть, по сути, одним из течений, одной из фракций партии), в сущности, отсекает инакомыслящих, она не умеет соединить многообразие в единство.

Вместо заключения

XXVIII съезд КПСС — момент решающий. Нет, не в том смысле, что на нем ожидается принятие каких-то определяющих всю нашу жизнь «исторических решений». Это при нынешнем состоянии общества и партии абсолютно исключено. Он решающий, потому что в ходе его и сразу после него — независимо от чьих-либо желаний — коренным и необратимым образом изменяется политический климат, политическое лицо, вся дальнейшая судьба нашего народа. Хочет кто того или нет, но будет сдернуто расшитое звездами, серпами и молотами, фальшивыми лозунгами покрывало, долгие годы скрывавшее действительную жизнь, действительные коллизии, действительный облик нашего общества.

Выдвижение к съезду — для обсуждения и выбора — двух рассмотренных нами платформ — предвестник этого коренного поворота событий.

То, что когда-то было скрыто от глаз, сегодня становится открытой для всех явью: Коммунистическая партия Советского Союза никогда не была «союзом единомышленников». «Единая» партия была, по сути, противоестественным (но, впрочем, исторически объяснимым) соединением двух прямо противоположных образований — партийно-государственной бюрократии (этой новой, получившей в 30-е годы абсолютную власть, господствующей элиты) и партийной массы, политически эксплуатируемой руководством, но стремившейся тем не менее выражать и отстаивать интересы трудящихся.

Партия не только состояла из этих двух «партий», но имела и две исключающие друг друга программы: одну — письменную, состоявшую из высоких, благородных и прекрасных принципов, привлекавшую массу простых людей, и другую — устную, которой на практике следовало руководство. В самом деле, не поленитесь перечитать, например, Программу КПСС, принятую в 1961 году и действовавшую в период брежневщины, и сопоставьте то, что было в реальной жизни, и то, что содержалось в торжественно провозглашенных принципах. Ведь нет же в программе ни слова о том, что секретари обкомов, как это было в жизни,— полновластные и безраздельные хозяева вверенных им областей и судеб людей, в них проживающих: напротив, там говорится о стремлении видеть народные и партийные массы, трудящихся действительными хозяевами своей страны; нет там даже и намека на то, что инакомыслящих следует запихивать в психушки, лагеря, выталкивать за пределы государства; напротив, провозглашаются задачи «всестороннего развертывания и совершенствования социалистической демократии», «прав и свобод советских граждан»; нет ничего и о том, что правящая элита во главе с Генеральным секретарем будет бессменно в течение десятилетий сидеть в руководящих креслах; напротив, обещается «систематическое обновление руководящих кадров»; не найдете вы и уверений в том, что партия — это стоящая над народом организация, лидерам которой позволяется в узком кругу «своих братишек» решать, утюжить ли танками улицы Праги, заполнять ли смертоносными ракетами небо Кабула; напротив, подчеркивается, что «партия существует для народа, в служении ему видит смысл своей деятельности», «считает своим долгом постоянно советоваться с трудящимися по всем вопросам внутренней и внешней политики, выносить эти вопросы на всенародное обсуждение» и т. д., и т. п. Я думаю, многие и многие люди не по расчету, а следуя голосу совести и сегодня согласились бы вступить в **партию перечисленных выше принципов** и одновременно не желали бы иметь что-либо общее с **партией указанных выше политических действий**. Беда лишь в том, что была **одна и та же** партия, которая декларировала одно, а делала (в лице основной массы своего руководящего слоя) иное. И поэтому объективным смыслом вступления в столь необычную партию для многих людей и было: опираясь на декларированные высокие принципы, на гуманистические, демократические традиции марксизма, используя те организационные формы и возможности, которые пусть и в минимальной степени, но все же существовали внутри партии,— разоблачить узурпаторов демократии, выявить эту противоположность между высокими словами и низкими делами, способствовать развитию антибюрократического сознания и подготовке условий для победы демократических сил — в партии и обществе. Так вот и шло формирование двух противостоящих друг другу партий в рамках «единой партии».

К сожалению, исторические условия сложились таким образом, что в 30—70-е годы демократические силы партии, как и весь народ, не имели серьезных реальных возможностей влиять на деятельность командных верхов (монопольно распоряжавшихся всеми средствами массовой информации, которые играли роль средств интеллектуального террора, всеми политическими и военно-репрессивными механизмами). Попытки отдельных представителей или групп демократических сил партии раскрыть людям глаза на происходящее, призвать их к борьбе за то, чтобы декларированное стало действительным, а обещанное — правдой, подавлялись господствующим слоем решительно и беспощадно. Сталинская бюрократия уничтожала всех, кто стремился сам и призывал других быть коммунистами не на словах, а на деле (то есть демократами, отстаивающими коренные интересы трудящихся). Бюрократия брежневских времен не была столь кровожадной, но в беспощадности и готовности на все ради защиты, сохранения

своего безраздельного господства ей также не откажешь.

Однако все эти коллизии, эти схватки двух политических течений в партии (а точнее не столько «схватки», сколько удушение демократических сил) происходили невидно для глаз общественности, где-то за кулисами залитой фальшивым, якобы солнечным светом сцены. Противостояние партийных (и социальных) сил не становилось фокусом всей общественной жизни, фактом всеобщего внимания и теоретического анализа.

И вот тайное стало явным. Противостояние, несовпадение, несовместимость — налицо: две противоположные платформы к съезду. Как это ни грустно признавать, но доминирующие политические мотивы Платформы ЦК — увы, консервативно-бюрократические. «Демократическая платформа» (при некоторых ее недостатках, которые легко могут быть изжиты практикой развертывающегося на ее основе движения) — это действительно демократическая платформа.

Противопоставить их так резко и определенно важно потому, что официальная версия основной массы пропагандистов Платформы ЦК сводится к тому, что «Демократическая платформа», хотя и несравненно беднее цековской (нет тамде развернутых экономических и социальных программ), но по основным своим теоретическим позициям мало чем от нее отличается. И потому-де мы имеем дело не с теоретическим противостоянием, а всего лишь с амбициями людей, стремящихся расколоть партию и приобрести на этом некоторый политический капитал. «Мне кажется,— заявляет, например, на «круглом столе» редактор «Правды» по отделу партийной жизни А. Ильин,— оба документа исходят в главном из одних позиций — демократизации партии» и их «главное различие не столько в теоретических оценках, сколько в размежевании организационном».

И при поверхностном чтении так и может показаться. Ну, как же: обе платформы за перестройку, против «возврата к административно-командной системе», за демократизацию и гласность, за политический плюрализм, расширение рыночной экономики, за «гуманный и демократический социализм» и т. д., и т. п. Эту иллюзию определенной общности двух документов поддерживает, увы, и один из известных пропагандистов «Демократической платформы» В. Лысенко. В своем — вслед за А. Ильиным — выступлении на «круглом столе» он, перечислив ряд «общих моментов» в обоих документах, отмечает даже, что это «делает возможным диалог» между Центральным Комитетом и представителями «Демократической платформы». Заметим, что «возможность» подобного диалога была вскоре продемонстрирована участниками Пленума ЦК: они решительно проголосовали против того, чтобы предоставить на Пленуме слово напрашивавшемуся на «диалог» товарищу Лысенко.

Не надо иллюзий! Внимательное и вдумчивое чтение обеих платформ ясно показывает: две части партии четко осознают свое противостояние, они представили принципиально разные политические программы, выражают интересы разных общественных сил.

Эту цель — показать принципиальные различия платформ, определить состав социальных сил, стоящих за каждой из них, наметить логику дальнейшего развития событий — такую задачу мы и ставили перед собой в этой статье.

Но прежде чем поставить точку, сделаем — в интересах ясности — еще одно замечание. Читатель, сторонник перестройки, ознакомившись с нашей оценкой Платформы ЦК как консервативно-бюрократической, возможно, спросит: «Так что же, и М. С. Горбачева вы так же оцениваете (поскольку ведь и он голосовал за эту платформу)? Стало быть, вы против Горбачева? Но сейчас это ведь опасно, ибо только он способен быть лидером блока, противостоящего реакционным силам, как о том убедительно пишет, например, А. Нуйкин в «Известиях» от 13 марта сего года».

Ну, прежде всего, отвечу я, многие выступления и статьи Горбачева (и среди них его главная теоретическая работа «Социалистическая идея и революционная перестройка») значительно — и в лучшую сторону — отличаются от цековской платформы. И, как знать, был ли на тот момент у Горбачева иной политический выбор, как согласиться — под давлением консервативного ЦК — на эту платформу, имея, с одной стороны, в виду, что, будучи в явном меньшинстве, восставать против нее безрассудно, и осознавая — с другой, что у этой платформы и большинства ее авторов нет никакого будущего. Как знать? Хотя, может, я и ошибаюсь и вся эта ситуация на самом деле выглядит иначе...

Но главное даже не в том. Я вообще решительно против излишнего персонифицирования политики: «за» Горбачева или «против», «за» Ельцина или «против», «за» Лигачева, Гидаспова, Иванова, Петрова, Сидорова или «против». Ведь тот или иной политический деятель может менять свои позиции, проявлять непоследовательность, колебания, делать небольшие и крупные ошибки. Поэтому, наверное, лучше все-таки определить себе не кумира, не фюрера, за которым бы «в огонь и в воду», а систему политических ориентиров, наиболее, по вашему мнению, справедливых, и уже через ее призму и определять свое отношение к тем или другим деятелям.

Вот почему оценка цековской платформы — это отнюдь не то же самое, что оценка позиции Горбачева. А то, что он голосовал за нее... так ведь за нее и Бровиков (прямой антипод Горбачева) голосовал. Грешным делом, мне кажется, что вообще Платформа ЦК выравнивалась, так сказать, по бровиковым...

Однако повторим: мы оставляли в стороне все личностные моменты и вели разговор не о лицах, а о принципах и программах.

И в заключение — может быть, самое главное.

«Демплатформу» ни в коем случае нельзя рассматривать как платформу какой-то определенной будущей партии или даже одной какой-то конкретной фракции (если они возникнут). Нет, мне думается, у нее — объективно — иной смысл и иная задача: сформулировать требования, способные объединить всех демократически настроенных людей независимо от типа и оттенка их демократизма.

Сегодня главная линия борьбы: монополизм (авангардизм, гегемонизм и т. п.) какой-то одной политической организации или политический плюрализм, многопартийность; административно-бюрократическое или демократическое общественное устройство. Сегодня важно и актуально только одно политическое деление: консервативно-бюрократические позиции или демократические.

Сегодня не время выдвигать на первый план, делать злобой дня, предметом развернутых дискуссий различия среди демократов, различия, которые могут стать актуальными и первостепенными завтра. Сегодня главная задача — создание общих условий для нормальной демократической жизни, осуществляемое в острой (но мирной, цивилизованной, не пренебрегающей компромиссами) борьбе с консервативно-бюрократическими силами. Сегодня демократам крайне необходимо избежать дробления сил, разбегания по разным платформам.

В связи с этим — два слова о «Марксистской платформе в КПСС», появившейся значительно позже двух других. Основные подходы и оценки этой платформы вполне умещаются в рамках широкого блока демократических сил. Я не думаю, что горячий сторонник «Марксистской платформы» не смог бы (пусть с некоторыми несущественными на сегодня оговорками) присоединиться к основным позициям «Демплатформы» (именно по причине широты ее установок).

В самом деле, вот ведь центральная идея «Марксистской платформы»: «Исходным пунктом выхода из кризиса должны стать политические (!) преобразования». Это, как мы помним, есть главная методологическая линия и «Демплатформы». И дальше: «на основе широкого массового движения обеспечить постепенный мирный переход власти из рук бюрократии к блоку демократических сил социалистического выбора при гарантиях конституционных прав общественных и политических движений иной направленности, соблюдающих законы СССР и республик, при соблюдении Декларации прав человека». Да, тут есть оттенок отличия от «Демплатформы». Последняя не ставит акцент на переходе власти к «силам социалистического выбора» (не потому, что она против, просто она формулирует задачу более широко: установление Демократии, а какой «выбор» предпочтет народ и каково будет содержание этого выбора — определится в завтрашней дискуссии). И вы, товарищи «марксисты», говорите о том же: создать общественную систему, где гарантированы права всем политическим силам. Вот это-то и есть сегодня главное. Этого и надо добиться.

У вас, товарищи «марксисты», есть и некоторые другие специфические особенности видения дальнейших (уже в эпоху демократизма) процессов развития. Не исключено, что там, в рамках демократического общества, эти различия будут важными, будут играть первостепенную роль и мы будем все политически размежевываться и дискутировать друг с другом. Но важно избежать ситуации — когда во имя возможного будущего размежевания окажутся раздробленными демократические силы сегодня.

Надо ли сегодня, как делаете вы, товарищи «марксисты», столь жестко и однозначно определять позицию по вопросу о будущих формах собственности — за социалистическую, против частной. Пока ведь у нас не было ни той, ни другой, была — государственно-бюрократическая. Устранить ее, а потом в условиях, когда, возможно, будет подлинно демократическое обсуждение проблем и подлинно демократический выбор, будем дискутировать и проверять на практике, какие виды собственности или какие их комбинации дадут большую эффективность для всего общества и отдельного человека.

Еще раз: демократы всех оттенков консолидируйтесь, объединяйтесь, независимо от того, кем вы будете завтра: социал-демократами, левыми социалистами, демократическими марксистами, демократическими ленинистами, гуманистическими коммунистами, «зелеными» и т. п. Не надо плодить платформ! Сегодня определились главные: консервативно-бюрократическая (нашедшая выражение в Платформе ЦК и «Открытом письме») и демократическая — в «Демплатформе». Пусть кому-то кажется, что «Демплатформа» могла бы быть написана глубже, ярче, основательнее и т. д. Сегодня это все — несущественные детали. Сплотимся на ее основе, потесним бюрократию (не отказываясь от промежуточных, компромиссных решений), откроем двери для широкого развития Демократии. Все остальное — потом...

Игорь КЛЯМКИН

До и после президентских выборов

Почему Горбачев согласился на президентскую систему?

До лета 1989 года, а точнее, до первого Съезда народных депутатов вопрос о содержании и целях проводимых в Советском Союзе реформ большинству либерально-демократически настроенных интеллектуалов казался — в теоретическом плане — довольно простым. Его, этот вопрос, понимали в том смысле, что стране предстоит осуществить переход к рыночной экономике и политической демократии, что одно без другого невозможно, а потому то и другое нужно внедрять одновременно. Если же рыночные отношения и демократия входят в нашу жизнь медленно, то это, мол, результат нерешительности инициаторов перестройки, а не следствие каких-то сложных проблем, требующих углубленного теоретического исследования. При этом радикально ориентированные слои общества за исключением небольших групп вроде членов «Демократического союза» исходили в то время из того, что разногласия между ними и группой Горбачева одних только темпов преобразований и касаются.

Такое представление жило довольно долго: его высказывал Ельцин в Америке, оно доминировало и в выступлениях членов межрегиональной группы на втором Съезде народных депутатов, где «левые радикалы» упрекали Горбачева в недостаточной решительности, в том, что слишком робко и медленно движется он по пути реформ.

Однако уже на первом Съезде наметилось другое, гораздо более глубокое расхождение позиций, которое долго не осознавалось как принципиальное и оставалось на периферии ведущихся в СССР политических дискуссий. Я имею в виду резко негативную реакцию Сахарова и некоторых других депутатов на совмещение высших постов в партии и государстве — Генерального секретаря ЦК КПСС и Председателя Верховного Совета СССР. Сахаров говорил, что это совмещение в сочетании с бюрократической, безальтернативной процедурой выборов Председателя Верховного Совета несовместимо с провозглашенным курсом на демократизацию, что это ведет к сосредоточению огромной власти в руках одного лица с непредсказуемыми последствиями. Сахаров предлагал тогда президентскую систему с прямыми и альтернативными выборами, мысль о которой к тому времени получила уже довольно широкое распространение в обществе; она была хорошо известна и в «коридорах власти».

Но это разногласие впоследствии отошло на второй план, исчезло с поверхности политической жизни. Причина, очевидно, заключалась в том, что совмещение двух ключевых постоа не выглядело исходным пунктом движения к установлению личной диктатуры. Более того, после событий в Тбилиси и всплеска негодования, которое вызвали они в обществе, центральная власть стала чрезвычайно осторожно относиться к использованию насилия. Она пыталась политическими средствами не только урегулировать конфликт с забастовавшими шахтерами (что либеральная часть общества приветствовала), но и ликвидировать блокаду Армении и конфликт на советско-иранской границе (что вызвало со стороны многих либералов упреки в нерешительности — на этот раз нерешительности ие в проведении реформ, а в наведении порядка).

Вместе с тем начали раздаваться голоса, что у Горбачева, несмотря на совмещение высших постов, власти не много, а, наоборот, мало, так как у него нет полномочий для того, чтобы контролировать выполнение законов, и для принятия чрезвычайных мер в кризисных ситуациях. Это соображение было высказано, в частности, осенью прошлого года в «Литературной газете» народным депутатом С. Алексеевым, который через некоторое время станет председателем Комитета конституционного надзора. Вновь выплыла на поверхность идея президентской системы, но не в том контексте, в каком идея эта звучала у Сахароаа на первом Съезде: не как способ демократизации или, говоря точнее, ликвидации тоталитарно-партийных структур посредством прямых и альтернативных выборов президента и отказа от практики совмещения постов, а как средство усиления власти первого лица после того, как совмещение высших постов стало фактом, но оказалось недостаточным с точки зрения исполнительских полномочий для того, чтобы оперативно вмешиваться в ситуацию. Существенную роль в возникновении представлений о том, что Горбачеву не хватает власти, сыграло то, что в условиях растущего недоверия к партии и провозглашения курса на разделение функций между нею и государством реальное вмешательство в конфликтные ситуации по линии партаппарата стало весьма затруднительным и малоэффективным. А других институтов власти, кроме партийных, в распоряжении Председателя Верховного Совета и Генерального секретаря ЦК КПСС, по сути дела, не было.

Поначалу, однако, Горбачев идею президентского правления в нескольких публичных выступлениях категорически отверг. Он отверг ее, очевидно, потому, что идея сильной личной власти была крайне непопулярной. С одной стороны, она была непопулярна среди большинства либерально-демократической интеллигенции и широких слоев населения (о чем свидетельствует, в частности, дискуссия в «Литературной газете» о «железной руке», начатая публикацией 16 августа прошлого года нашего с А. Миграняном диалога по вопросам перехода от тоталитаризма к демократии). С другой стороны, к ней настороженно относились и в высших эшелонах партийно-государственного руководства, о чем можно судить по выступлениям в центральной печати членов Политбюро Е. Лигачева и В. Медведева; или, скажем, по тем возражениям, которые вызвали осенью прошлого года на второй сессии Верховного Совета предложения о введении президентской системы у Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР В. Воротникова.

Возможно, настороженность со стороны аппарата казалась Горбачеву более существенной. Ведь если бы он не принимал идею президентской системы в первую очередь потому, что опасался негативной реакции общества, которое могло воспринять линию на усиление его власти как откат назад, как разрыв с курсом на демократизацию, то при прямых и альтернативных выборах все эти сомнения были бы сняты. Но идти на прямые выборы как раз и означало вступить в конфликт с партийным и государственным аппаратом, который не был заинтересован в появлении неподконтрольной ему исполнительной власти, источником легитимности которой является непосредственно народ. Кроме того, не было, очевидно, полной уверенности в победе на таких выборах, так как в последнее время популярность Горбачева снизилась. Оставались выборы президента Съездом народных депутатов, большинство которого послушно руководству. Но и этот вариант довольно долго отвергался. И не только потому, наверное, что он тоже не мог не смущать представителей высшей партийной власти, опасавшихся даже малейшего увеличения степени независимости от них их лидера и реального, а не символического смещения центра аласти от партийных структур к государственным. Дело еще и в том, очевидно, что сам Горбачев не решался принять на себя исполнительную власть, так как это означало бы персонификацию всей полноты ответственности в весьма неблагоприятной и непредсказуемой ситуации при отсутствии четкой и законодательно оформленной программы выхода из кризиса.

Насколько могу судить, принять идею президентской системы заставили события, которые, как стало очевидно после трагедии в Баку, приобретают все более неуправляемый характер. Незадолго до февральского Пленума ЦК КПСС, 31 января 1990 года, «Правда» опубликовала беседу политологов за «круглым столом», некоторые участники которой высказались за усиление личной власти инициатора перестройки, а редакция газеты впервые поддержала такую точку зрения. В одном из следующих номеров была опубликована подборка писем читателей, в которых они целиком и полностью солидаризировались с этой идеей. Разумеется, такие публикации — очень плохое и крайне неточное зеркало реальных политических настроений населения: напомню, что подавляющее большинство читателей, приславших свои отклики в ходе упомянутой дискуссии в «Литературную газету», мысль об усилении власти руководителя страны безоговорочно отвергло. Но подобные публикации — важное свидетельство эволюции настроений в окружении Горбачева и его самого.

Еще через несколько дней эта идея от имени Политбюро была предложена февральскому Пленуму ЦК, и он ее принял. Тем самым было признано, что кризис в обществе и в партии настолько глубок, что интересы самосохранения самого партаппарата требуют увеличения полномочий первого лица партаппаратной иерархии, а это в сложившихся условиях было возможно лишь посредством перемещения центра власти от партийных структур к государственным. Показательна в этом смысле эволюция Воротникова, который на Пленуме публично признал свое бывшее отрицательное отношение к президентской системе ошибочным («Правда», 7 февраля 1990 г.).

За основу этой статьи взят текст, подготовленный автором для выходящего в ФРГ научного журнала «Восточная Европа» (на немецком языке).

Разумеется, речь шла о выборах президента управляемым Съездом народных депутатов, а не неуправляемыми избирателями.

Этот шаг в сторону усиления личной власти очень важен для понимания хода и основных тенденций перестройки. Его недемократичность (не прямые, а косвенные выборы на недостаточно представительном съезде) позволяет предвидеть, что в перспективе он может способствовать не смягчению, а углублению противоречий, а сама его направленность в сторону усиления личной власти позволяет более определенно высказаться об основных тенденциях и объективной логике развертывания политического процесса в Советском Союзе.

От тоталитаризма к авторитаризму

Когда я в «Московских новостях» (2 июля 1989 г.), а затем в «Литературной газете» в ходе уже упоминавшейся беседы с А. Миграняном высказал предположение, что переход к рыночной экономике в стране будет осуществляться в рамках авторитарного, а не демократического режима и что линию на совмещение высших постов можно рассматривать как первый шаг в данном направлении, это вызвало целый поток возражений в советской печати, а также в западной эмигрантской (например, со стороны А. Некрича).

При этом критики главное внимание уделяли абстрактному, с их точки зрения, характеру моей аргументации, произвольному использованию исторических аналогий.

Действительно, я исходил из того, что существует мировой опыт перехода к современной рыночной экономике, которая обычно называется капиталистической, и этот опыт может служить определенным теоретическим ориентиром при анализе и прогнозировании хода событий в Советском Союзе. Естественно, ориентиром самым общим, приблизительным, не подменяющим конкретное исследование происходящих в стране оригинальных и даже уникальных процессов, а способным стать той точкой отсчета, тем историческим фоном, на котором эта оригинальность проступает более ярко, отчетливо, рельефно. Такой подход к реальности — действительно весьма абстрактный — был тем более оправдан, что политический процесс в Советском Союзе только начинался, его внутренняя логика на поверхности общественной жизни сколько-нибудь отчетливо еще не проступала, и потому тем более важно было иметь исторический ориентир, который позволял бы совмещать и интерпретировать разрозненные факты формирующейся, но еще совершенно непонятной новой реальности.

О чем же свидетельствует мировой опыт перехода к современной рыночной экономике? Если ограничиться самым абстрактным уровнем анализа — а это в нашем случае вполне оправданно, то он свидетельствует о том, что такой переход осуществлялся, как правило, в рамках не демократических, а авторитарных политических режимов. Скажем, в западноевропейском регионе это были сначала абсолютистские, а затем — после революций — бонапартистские режимы, в Латинской Америке XX века — военные диктатуры. Такого рода режимы не всегда были жесткими и кровавыми, они не всегда опирались непосредственно на силу. Бывали случаи, когда процесс экономической модернизации происходил относительно мягко, когда, опираясь на неутратившие своей интегрирующей роли традиции монархического правления и присоединенные к нему элементы современной демократии, а также благодаря экономической поддержке развитых стран Запада, удавалось избежать резкой поляризации и конфронтации интересов. Так было в некоторых странах Северной Европы. Но и эти факты не опровергают общий тезис, согласно которому современные рыночные отношения начинают обычно формироваться в рамках авторитарных режимов. Такого рода факты свидетельствуют лишь о том, что иногда бывает достаточно традиционных авторитарно-монархических механизмов, которые оказываются способными постепенно и органично соединяться с элементами демократии, а в других случаях, как, например, во Франции XVIII или в России XIX — начала XX веков, это не получается, конфронтации интересов избежать не удается, а из конфронтации вырастают более жесткие авторитарные структуры. Бывает и так, что на первых порах это получается (Германия при Бисмарке), а потом выясняется неорганичность такого рода развития для данной страны, что ведет к тупиковым вариантам типа нацистского тоталитаризма.

Эта общая логика проявлялась и в коммунистических государствах в те периоды, когда там пытались открыть простор рыночным отношениям. В Советской России периода нэпа (1921—1929 гг.) развитие товарного производства и рынка вовсе не сопровождалось демократизацией политического режима. Наоборот, осуществив переход к нэпу, Ленин занялся не столько демократизацией — после разгрома «рабочей оппозиции» он о ней вообще не говорит,— сколько укреплением государственного аппарата и созданием механизмов, способных обеспечить единство в высших эшелонах партийного руководства.

В рамках авторитарных режимов начинался и переход к рыночным отношениям в странах Восточной Европы (режим Тито в Югославии, Кадара в Венгрии, Ярузельского в Польше). То же самое — в Китае (реформы Дэн Сяопина). Опыт этих стран свидетельствует о том, что движение в сторону рыночных отношений в условиях коммунистического

тоталитаризма сопровождается эволюцией этого тоталитаризма в коммунистический же, т. е. продолжающий опираться на партийную монополию, авторитаризм. Примерно в такой же логике рассматривает, кстати, эволюцию данной группы стран Збигнев Бжезинский в своей книге «Большой провал», хотя в 1988 году, когда вышла его работа, еще было слишком мало материала, чтобы наполнить эту схему конкретным содержанием.

Особенность СССР в том, что он стал первой страной с тоталитарным режимом, где реформы начались не с создания рыночных секторов экономики при сохранении прежних структур власти, а с демократизации политической системы. Это и вызвало у многих иллюзии, что переход к рынку будет осуществляться сразу через демократию, минуя авторитаризм. Эти иллюзии укреплялись по мере того, как в Восточной Европе реформаторские коммунистические авторитарные режимы начали сменяться плюралистическими многопартийными системами, а избегавшие реформ режимы в ГДР, Чехословакии и Румынии рухнули в результате народных революций, которые действительно сразу, действительно минуя коммунистический авторитаризм, открыли дорогу многопартийности, в условиях которой этим странам и предстоит теперь осуществить переход к рыночной экономике.

Но если все же учесть, что такой переход там еще не осуществлен и как он будет происходить, неясно, если все же посмотреть на происходящие в Советском Союзе процессы не сквозь призму желаемого будущего, а сквозь призму уже отстоявшегося прошлого опыта движения к современным рыночным отношениям, то при всей абстрактности этой схемы она позволяет увидеть нечто весьма существенное. Она позволяет увидеть, что начавшаяся в СССР демократизация — это пока не столько альтернатива авторитаризму, сколько специфическая форма движения именно к авторитаризму, являющаяся производной от некоторых важных особенностей исторического развития страны. И вот это-то обстоятельство и прошло мимо внимания советских и зарубежных критиков моей позиции. Они усмотрели в ней лишь отвлеченные исторические аналогии, а в результате вызвавший всеобщее недовольство либерально настроенной публики факт совмещения двух высших постов был вскоре забыт; никто даже не пытался осмыслить его теоретически, подвергнуть политологическому анализу. Первые такие попытки появились много месяцев спустя, да и то лишь в самиздатовской прессе.

Теперь, после того как был взят курс на усиление власти Горбачева посредством создания президентской системы (без прямых выборов), объективная логика движения в сторону авторитаризма вряд ли может вызывать сомнения. Вместе с тем этот факт проливает свет и на целый ряд предшествующих событий, позволяет лучше рассмотреть их внутреннюю связь.

Апрель 1985 — февраль 1990

Сегодня для многих уже не прозвучит откровением, что перестройка в СССР, включая сам факт прихода Горбачева к власти, началась не потому, что бывшие руководители страны устыдились однажды всего содеянного ими и решили наконец позаботиться не только о себе, но и о своем народе. Нет, «партия начала перестройку» (любимая фраза сторонников сохранения партийной монополии) вовсе не потому, что вспомнила о народе, а потому, что высшее партийное руководство вынуждено было пойти на это ради сохранения своих позиций у власти.

В конце 70 — начале 80-х годов стало ясно, что советская хозяйственная система, бывшая конкурентоспособной по отношению к Западу в одной-единственной области — в области производства вооружений, при современной смене типа технологии становится неконкурентоспособной и в этой сфере. Стало ясно, что для поддержания конкурентоспособности — а именно она была основой внутренней стабильности режима и подпитывала субъективную уверенность находящегося у власти слоя в его праве руководить страной — нужны какие-то новые, более решительные меры и нестандартные действия. Это вызвало потребность в новом лидере с реформаторскими потенциями. Так произошло выдвижение Горбачева. Повторяю: он был выдвинут партаппаратом только потому, что в высших эшелонах этого аппарата стала ощущаться невозможность удерживать власть прежними средствами.

Но после того, как на Горбачева была возложена миссия спасителя режима, он довольно быстро должен был почувствовать, что он не может эту миссию выполнить, не вступая в противоречие с интересами выдвинувшего его правящего слоя. Он не мог не почувствовать, что не сможет ничего сделать, если будет оставаться только ставленником аппарата и не попытается стать выразителем общенационального, а точнее, межнационального, т. е. общегосударственного интереса, рупором назревших потребностей общественного развития, которые с корпоративным интересом аппарата не совпадали. Но для того, чтобы стать выразителем интересов, не совпадающих с интересами правящего слоя, нужно было получить определенную свободу действий по отношению к этому слою. Нужно было, говоря иначе, попробовать увеличить свои властные полномочия.

Думаю, что именно это противоречивое положение Горбачева привело к тому, что он попытался подключить к по-

литической борьбе внутри аппарата внешнюю силу — общество. Для этого его нужно было разбудить от долгой спячки, что и было начато решениями январского Пленума ЦК КПСС 1987 года, провозгласившего политику гласности. Вскоре после этого в официальный политический обиход начало входить слово «плюрализм» — разумеется, еще не политический, а «плюрализм мнений», но так как и мнения допускались не все, то существительное «плюрализм» неизменно сопровождалось прилагательным «социалистический».

Однако довольно быстро выяснилось, что общество, которому разрешено лишь высказывать свое мнение, не может реально влиять на деятельность политических институтов, живущих по своим законам и обществу реально неподконтрольных. Ведь вполне очевидно, что институты эти только потому и могли скрепя сердце согласиться на гласность, что она ограничивала лишь принадлежащую им духовную монополию, не затрагивая политических механизмов их власти. Они могли согласиться на гласность только потому, что полагали, будто общество, получив от них глоток свободы, станет более управляемым и активным в выполнении их директив и в знак благодарности сознательно переложит на себя часть ответственности с плеч аппарата, не требуя взамен ни капли власти. Когда же стало обнаруживаться, что освобождающееся от аппаратной опеки общественное мнение не только не испытывает благодарности, но начинает покушаться на существующие механизмы власти, то люди, эту власть олицетворявшие, не только не бросились «перестраиваться» в соответствии с пожеланиями осмелевшей прессы, но стали целеустремленно и резко высказывать недовольство политикой гласности, дискредитирующей их в глазах населения.

Это новое противоречие привело к тому, что реформаторская группа Горбачева взяла курс на подключение общества и к формированию политических институтов, сохраняя вместе с тем нетронутой гегемонию партийного аппарата. Компромисс между ним и обществом, которому был открыт некоторый доступ к формированию Советов посредством более свободных выборов, был зафиксирован в решении XIX партконференции о совмещении постов первых секретарей партийных комитетов и председателей Советов. Наверное, аппарат позволил реформаторскому руководству отступить еще на один шаг только потому, что надеялся, сохранив зависимый и управляемый характер Советов, сделать их более дееспособными и одновременно перенести на них растущее общественное недовольство, провозгласив, что вся власть отныне принадлежит только им. Вовсе не исключено, правда, что такие настроения не были чужды в то время и самому руководству.

Здесь, в этой точке перестройки, Горбачев впервые столкнулся с открытым сопротивлением той генерации интеллектуалов, которая именно ему была обязана своим выдвижением (см., например, выступление на конференции академика Л. Абалкина). Генсеку пришлось выслушать упреки в том, что совмещение постов лишь усилит всевластие партаппарата, легализуя это всевластие, что такое решение придает пародийный характер провозглашенному курсу на разделение функций партии и государства. Горбачев пытался раскрыть своим оппонентам глаза на якобы не замеченное ими демократическое зерно предлагавшейся меры, которая, по его мнению, позволит не только партии осуществлять контроль над Советами, но и Советам над партией (секретарь партийного комитета, не избранный председателем Совета, лишался возможности оставаться секретарем). Однако это объяснение убедило немногих. Большинство полагало, что реальное полновластие партаппарата позволит ему контролировать в своих интересах любую избирательную процедуру.

В итоге же произошло то, чего не предвидел никто. До совмещения постов дело вообще не дошло. Горбачеву пришлось — в нарушение решений конференции — объявлять совмещение необязательным именно в интересах партийного аппарата, а не вопреки им. Потому что выборы в марте 1989 года обнаружили полную несовместимость власти этого аппарата с демократизацией, даже частичной. Выборы показали, что он силен только как главный элемент, как ведущее звено тоталитарного режима, опирающегося на ложь и насилие, а в обстановке гласности и даже ограниченной избирательной свободы он обнаруживает полную свою нелегитимность, или, что то же самое, полную неспособность вызывать доверие людей.

С этого момента на политической сцене появилась новая сила в лице широких слоев политизирующегося населения. Это был, без сомнения, один из ключевых моментов перестройки. С одной стороны, он оказался серьезным, причем никем не запланированным, продвижением по пути демократизации, что вызвало настоящую эйфорию в обществе. С другой стороны, он углубил старые и вызвал к жизни новые противоречия.

Во-первых, резко обострилось противоречие между партаппаратом — особенно местным, который в первую очередь и пострадал на выборах, в то время как все московские члены Политбюро прошли без борьбы по партийному списку,— и реформаторской группой Горбачева, что отчетливо проявилось на апрельском Пленуме ЦК КПСС 1989 года. Руководители партийных органов впервые, может быть, отчетливо осознали, что под угрозой уже не просто их репутация, а их власть. Им стало ясно,

что многие из них проиграют и местные выборы, а значит, потеряют и свои посты. Стремясь уладить этот конфликт со структурами, из которых он сам вышел и на которые продолжал опираться, так как другими по-прежнему не располагал, Горбачев пошел на определенные уступки: тогда-то и было отменено решение о совмещении постов, а сроки выборов в местные Советы были отодвинуты на полгода (чтобы партийные органы «могли подготовиться»). Существенно, однако, что Горбачев пошел на отмену решения о совмещении постов лишь после того, как сам он приобрел второй пост на первом Съезде народных депутатов. От этого он отказаться не мог, так как это составляло, как мне представляется, ключевое звено в его политической стратегии, направленной на расширение зоны его самостоятельности по отношению к партийному аппарату.

Во-вторых, в среде либеральной интеллигенции стали вскоре раздаваться голоса, ставившие под сомнение сам курс на демократизацию как несвоевременный. Эти люди считали, что в условиях, когда отсутствуют даже зародыши рыночной экономики, когда нет гражданского общества и не существует никаких реальных властных структур, кроме партийных, демократизация ни к чему, кроме дестабилизации, не ведет и привести не может; она делегитимизирует, разрушает старые институты власти, не заменяя их новыми, порождая тем самым вакуум власти. Факты, свидетельствовавшие в пользу таких выводов, у всех были перед глазами: дестабилизация после мартовских выборов прошлого года действительно усилилась, конфликты на социальной и межнациональной почве превращались в печальную повседневность. К тому же все отчетливее становилось видно, что демократизация ведет не к рынку и изобилию, а к пустым прилавкам.

Интеллектуалы, рассуждавшие подобным образом, исходили из того, что нужно было начинать реформы так, как делали это Кадар в Венгрии и Дэн Сяопин в Китае, т. е. с создания секторов рыночной экономики, используя не демократию, которая без рынка не имеет почвы, а рычаги авторитарной власти, опирающейся на существующие аппаратные структуры и постепенно преобразовывающей их посредством демократизации не всего общества сразу, а поначалу только партии, вводя прямые выборы первых секретарей райкомов, горкомов, а затем и обкомов. Правда, в Венгрии, а тем более в Китае ничего похожего на такое самореформирование партии не происходило, но критики советской демократизации считали, что такое вполне возможно. Эта точка зрения самое отчетливое и развернутое выражение получила у А. Миграняна, уже несколько лет разрабатывающего концепцию последовательного реформистского перехода от тоталитаризма к демократии через авторитаризм (наиболее полное ее изложение см. в «Новом мире», 1989, № 7).

Мне представляется, однако, что такая стратегия в Советском Союзе не могла быть осуществлена в силу его принципиальных отличий и от Венгрии, и от Китая, и от всех других стран с тоталитарными режимами. То, что реформистский переход от коммунистического тоталитаризма к рынку и демократии трудно представить себе без авторитарного этапа, действующего при сохранении партийной монополии на власть,— это сомнений не вызывает, хотя и в данном отношении Советский Союз не совсем повторяет опыт других стран, о чем я еще скажу подробнее. Правда, теперь мы знаем, что возможен и иной, революционный путь освобождения от тоталитаризма, когда партийная монополия ликвидируется сразу и окончательно (ГДР, Чехословакия, Румыния). Но Советский Союз пока идет реформистским путем, при котором тенденция к авторитаризму отчетливо просматривается, хотя и в особой, оригинальной форме, Однако, повторяю еще раз, эта тенденция не могла реализоваться иначе, чем через демократизацию.

Дело в том, что в СССР тоталитаризм, если можно так выразиться, наиболее тотален, он не только проник во все сферы и поры общества, но и успел за семьдесят с лишним лет коренным образом преобразовать их, всецело приспособить к себе. Скажем, ни в Венгрии, ни в Китае, ни в большинстве других стран такого типа не удалось уничтожить крестьянство: те же китайские коммуны не успели стать такой прочной, органически сросшейся с партийно-государственной тоталитарной системой управления ячейкой хозяйствования, как советские колхозы. Поэтому в Китае освобождение крестьян от тоталитарной опеки и создание рыночного аграрного сектора высшее руководство могло начать, не вступая в серьезный конфликт с партаппаратными институтами власти и не затрагивая их коренных интересов. К тому же китайский крестьянин не успел социально и психологически интегрироваться в противоестественные коммуны, он сохранил социальную память и трудовую мораль. Поэтому властям не нужно было думать о том, как вернуть крестьянину желание свободно хозяйствовать на земле; крестьянин потребовал этого сам, власти лишь пошли ему навстречу.

Совсем иное дело — в Советском Союзе, где колхозы стали важным и органичным звеном тоталитарной системы. Поэтому здесь любые попытки поставить под сомнение устои колхозного строя затрагивают интересы широких аппаратных слоев, выбивают у них почву из-под ног. К тому же они могут в своей борьбе против попыток подорвать колхозную монополию апеллировать к

настроениям широких слоев деревенского населения, у которых социальная память и трудовая мораль в значительной степени уничтожены, в сознании и поведении которых доминируют уравнительные и перераспределительные мотивы и где почти не осталось места идеям предприимчивости и частной инициативы. Отсюда такое отчаянное сопротивление, которое долго вызывали все предложения о том, чтобы уравнять в правах колхозы с крестьянами, желающими хозяйствовать свободно и независимо, поставить их в одинаковое экономико-юридическое положение с точки зрения права собственности и тем самым способствовать развитию между ними конкурентных отношений.

В такой ситуации никакой реформатор не смог бы начать развязывание конкурентно-рыночных отношений в аграрном секторе, опираясь на действующие политические структуры. В такой ситуации все объективно толкало его к тому, чтобы попробовать приобрести определенную независимость от существующего аппарата и одновременно начать формирование новых институтов власти. Иначе, чем через пробуждение и подключение общества, т. е. иначе, чем через демократизацию, сделать это было невозможно. В этом — мое несогласие с теми, кто полагает, что перестройка пошла ошибочным путем и что можно было начинать формирование товарно-рыночного уклада по венгерскому или китайскому образцу. Но в этом же и мое несогласие с очень многими либерально ориентированными интеллектуалами, которые не видят, что демократизация с самого начала являлась в первую очередь лишь той формой, посредством которой пробивает себе дорогу тенденция усиления личной власти реформатора, ее вычленения из старых аппаратных структур.

Думаю, что одним из мотивов введения такого института, как Съезд народных депутатов, как раз и было стремление Горбачева получить дополнительный источник власти (наряду с аппаратом и репрессивными органами) в виде собрания народных представителей. Очевидно, это должно было, по замыслу, придать власти лидера и недостающую ей легитимность, хотя последующие неудачи перестройки свели тот замысел на нет. Компромисс на этом этапе между группой Горбачева и партаппаратом оказался возможным потому, что тезис о политической монополии партии Горбачевым тогда не только не подвергался сомнению, но категорически отстаивался, а это означало, что вся реальная власть и впредь должна принадлежать не Съезду депутатов, а Политбюро и ЦК, которые сохраняли контроль над Председателем Верховного Совета. Вместе с тем в глазах представителей высших эшелонов партийной иерархии такая «демократизация» тоже могла выглядеть выгодной, так как она позволяла поделиться политической ответственностью с новыми институтами, не делясь с ними властью.

Похоже, однако, что борьба между консервативным крылом партаппарата и группой Горбачева завершилась в итоге усилением позиций Горбачева. Почти сразу же после первого Съезда народных депутатов в сентябре 1989 года он, получив новый источник власти, произвел очередные выгодные для себя перемещения в Политбюро, одновременно обновив его. Начавшийся затем цикл борьбы, когда напуганные предстоящими выборами партийные функционеры на местах попытались перейти в контрнаступление (митинг Гидаспова в Ленинграде), когда не только на местах, но и в центре начали упрекать Горбачева в отказе от социализма и в том, что именно демократизация повинна в дестабилизации, распаде партии и государства и всех прочих неудачах перестройки, ее инициатор решился еще на один шаг влево.

С одной стороны, Горбачев в начале этого года пошел на углубление демократизации, прежде всего в партии. В борьбу с окостеневшими и непопулярными партаппаратными структурами были вовлечены рядовые коммунисты, что привело к отставке руководителей целого ряда крупных обкомов. В этой ситуации, усугубившейся расколом литовской компартии и трагедией в Баку, даже самые отъявленные консерваторы не рисковали уже настаивать на сохранении партийной монополии на власть, которую (монополию) они так яростно отстаивали всего несколько недель назад на втором Съезде народных депутатов.

Вместе с тем Горбачев использовал углубление демократизации и растущую политическую активность населения не только для ослабления партаппарата и создания тем самым предпосылок для перемещения власти от партии к государству. Дело в том, что само это ослабление, как и общий рост нестабильности, вызванный демократизацией, Горбачев сумел использовать и для усиления своих собственных позиций, так как по мере нарастания неуправляемости и при отсутствии у консерваторов какой-либо собственной программы выхода из кризиса у него появились реальные основания для увеличения своей власти, для введения президентской системы. И обессиленные, не имеющие никакой альтернативы, абсолютно нелегитимные партаппаратные структуры уже не могли этому противостоять.

Так к февралю нынешнего года советская демократизация выявила наконец свою не совсем явную логику, выявила заложенную в ней тенденцию создания предпосылок для авторитарности. Я вовсе не то хочу сказать, что введение института президентства означает абсолютное увеличение власти Горбачева. Я хочу сказать лишь то, что власть эта ста-

новится более личной, перестает быть растворенной в «коллективном руководстве», т. е. зависимой от Политбюро и ЦК. Это даже не столько реальное усиление власти, сколько ее высвобождение из-под партаппаратной опеки при удержании традиционной опоры на сохраняющие управляемость армию и органы безопасности.

Перспективы

После февральского Пленума ЦК уже не вызывает никаких сомнений то, что СССР, встав на путь перестройки, подтвердил закономерность, отчетливо проявившуюся в ходе реформ в восточноевропейских странах — прежде всего в Венгрии и Польше. Закономерность эта заключается в том, что монопольно правящая партия может лишь начать реформы, но завершить их она не в состоянии, так как по мере ослабления механизмов тоталитарного контроля над обществом (а без такого ослабления нельзя даже начать преобразования) обнаруживается нелегитимность партаппаратных структур и невозможность при отсутствии легитимности осуществлять функции власти. В такой ситуации допущение к власти других политических сил — партий или движений — и эволюция в сторону многопартийной системы неизбежны. Хочу еще раз подчеркнуть, что такое отступление совершается не из любви к демократии, а в силу того, что добровольный переход к многопартийности является для компартий единственным способом самосохранения себя в качестве реальной политической силы, способной конкурировать с другими силами, хотя и без гарантий на лидерство и даже более того — без надежд на сколько-нибудь серьезный успех.

Конечно, в Советском Союзе в начале февраля сделан только шаг в этом направлении. Но уже возникли и продолжают возникать новые партии, и руководство КПСС через подконтрольные ему средства информации демонстрирует по отношению к ним свою лояльность и всячески поощряет их, но делает оно это, похоже, потому, что конкуренции с их стороны в ближайшее время не опасается, зато побаивается конкурентов в своей собственной партии в лице сторонников и особенно лидеров «Демократической платформы», пытается поэтому освободиться от них еще до XXVIII съезда или по крайней мере не допустить их на съезд, чем и было вызвано нашумевшее «Открытое письмо ЦК КПСС коммунистам страны». Это значит, что определенные силы в руководстве партии стремятся, используя существующую в многомиллионной КПСС огромную силу политической и организационной инерции, обеспечить ее формальное единство на правоцентристской основе, заблокировать ее дальнейшую демократизацию и благодаря этому сохранить монополию в условиях многопартийности. Что-то подобное сделать, конечно, можно. Но если президент страны надолго свяжет свою судьбу с партией политической инерции, то его авторитет будет продолжать падать, а вместе с авторитетом будут иссякать и его реформаторские возможности.

Если же Горбачев продолжит линию на демократизацию КПСС, отказавшись от сложившейся во времена монополизма концепции «партии-авангарда», за которой (концепцией) стоит всего-навсего стремление сохранить высокооплачиваемый партийный аппарат и влиять через него на формирование государственных органов, то не исключено, что Советский Союз, развиваясь в русле общих закономерностей перехода от тоталитаризма к демократии, и в дальнейшем обнаружит в этом развитии некоторые оригинальные черты. Возможно, что реальный отказ Горбачева от партийной монополии на власть и одновременный курс на усиление своей личной власти путем введения президентской системы позволит не повторять логику политического развития Югославии, Венгрии, Польши, Китая, т. е. не проходить в ходе реформ через особый этап коммунистического авторитаризма. Президентское правление Горбачева может получить — по крайней мере на некоторое время — определенную легитимизацию именно потому, что режим сильной личной власти будет складываться не на основе партийной монополии, а в результате отказа от нее, не на основе блока с правыми, а в результате разрыва с ними. Но для этого Горбачеву придется пойти на союз с демократическими силами в партии, попытаться возглавить их, решительно отказавшись от всех без исключения принципов, которые соответствовали сущности и функциям партии-монолита и которые совершенно несовместимы с деятельностью партий демократических.

Если это произойдет, то Горбачев может сохранить гораздо более сильные позиции, чем, например, Ярузельский, который, несмотря на президентский пост, отодвинут на второй план правительством Мазовецкого. Дело в том, что у Горбачева нет такого мощного, пользующегося народной поддержкой политического конкурента в масштабе страны, каковой для Ярузельского стала «Солидарность». Наши оппозиционные силы, попытавшиеся объединиться для того, чтобы потребовать от властей проведения «круглого стола», довольно быстро убедились в том, что они не могут заставить правительство начать с ними переговоры не только потому, что они не могут выработать единую программу для ведения таких переговоров, но и потому, что центральная власть чувствует себя достаточно сильной и в таких переговорах не нуждается.

Кроме того, в глазах поляков Ярузельский все же олицетворяет военный переворот и военную диктатуру. Горбачеву мешает только то, что он является по-

рождением старых, утративших кредит доверия структур власти и не решается порвать с ними окончательно. Можно предположить, что его сдерживало в этом отношении отсутствие новых институтов власти на местах, где советские органы прочно срослись с партийными, доверием населения не пользовались и потому политической опорой перестройки служить не могли. Насколько можно судить уже сейчас, выборы в местные советы в ряде регионов создали основу для того, чтобы такие демократические институты со временем сформировались, а это, в свою очередь, может способствовать тому, что и Горбачев завершит перемещение центра своей власти от партийных структур к государственным, так как такое перемещение осуществится в других звеньях политической системы. Однако уже сейчас очевидно и другое, а именно, что отношения президента с демократически избранными органами власти будут складываться не обязательно гладко, о чем можно судить по президентскому Указу, лишившему исполком Моссовета его конституционных полномочий по проведению массовых мероприятий в центре города в тот момент, когда стало ясно, что во главе Моссовета оказался один из лидеров межрегиональной депутатской группы и демократического крыла в КПСС Гавриил Попов. Разумеется, это не случайный эпизод нашей политической жизни, в чем никаких уже сомнений не оставил первый Съезд народных депутатов России. Самое важное и симптоматичное, что «центру» пришлось реально выбирать между «левыми» и «правыми», которые до того считались одинаково вредными, и центр предпочел «правого» Полозкова. Значит, правоцентристский блок вполне возможен, а левоцентристский пока сомнителен, так как «левым» не доверяют, и если тут и мыслимы какие-то перемены, то лишь под влиянием левеющего общества и соответственно левеющих парламентариев.

Но если даже такого рода недоверие со временем исчезнет, если сверху донизу возникнут органы государственной власти, заинтересованные в ускоренном движении по пути реформ — в ближайшем будущем это невозможно, но я специально рассматриваю предельно благоприятный вариант,— то и тогда нельзя будет утверждать, что все проблемы и опасные повороты у Горбачева останутся позади. Наоборот, тогда они снова окажутся впереди. При этом трудности, которые его ждут, несоизмеримы с теми, с которыми он уже столкнулся. Ведь создать новые институты власти, желающие в отличие от партаппарата действительно осуществлять реформы,— это важно, но это лишь часть задачи, причем не главная, в глазах основной массы населения даже второстепенная, несущественная. Главное в том, сумеет ли эта власть действительно осуществить реформы.

Сегодня можно уже с достаточной степенью определенности утверждать, что процесс преобразования тоталитарных структур проходит в своем развитии два этапа. Первый этап — ликвидация (снизу) или самоликвидация (сверху) монопартийной системы. На этом этапе — при реформах сверху — могут начаться и преобразования в экономике, отдельные секторы ее могут быть переведены на рыночные основы, но завершить переход к рынку монопартийная система не в состоянии, так как это противоречит ее природе. Второй этап — переход к созданию рыночной экономики в рамках преобразованных политических институтов, на базе плюралистической многопартийной системы.

История еще не дала ответа на вопрос, является ли этот этап последним или, что точнее, может ли он быть последним. История еще не сказала сколько-нибудь определенно, возможен ли консенсус (согласие) относительно основных целей и принципов реформ в обществе, только что вышедшем из коммунистического тоталитаризма, или реформы в экономике будут сопровождаться поляризацией и конфронтацией интересов, что всегда являлось предпосылкой возникновения авторитаризма. Иными словами, пока еще не ясно, возможен ли в современную эпоху переход к рынку на основе демократии или формирование рыночных отношений и сегодня, как в прежние времена, осуществимо только при авторитарных режимах. Пример демократического восстановления послевоенной Западной Германии дает в этом отношении некоторые основания для оптимизма, но все же данный пример, учитывая солидную помощь Германии со стороны США и полное разрушение тоталитарной нацистской машины в результате военного поражения, слишком специфичен для того, чтобы делать на его основании далеко идущие выводы.

Как бы то ни было, перед Советским Союзом эти вопросы пока реально не стоят, так как он еще только выходит из первого этапа во второй. Причем в отличие от ряда других стран на первом этапе в нашей стране рыночные отношения не сформировались даже частично, переход к ним еще не начинался. Но, как показывает пример Венгрии, Польши, других стран, переход этот неизбежно сопровождается болезненными социальными последствиями, так как сталкивается не только с укоренившимися уравнительно-перераспределительными установками и низкой культурой труда, но и с проблемой перестройки устаревшей отраслевой структуры, что опять-таки связано с тяжелыми социальными последствиями. Если учесть, что в СССР господство тоталитарного режима было наиболее длительным, а его укорененность в сознании миллионов людей наиболее глубокой; если учесть, что он здесь является всепроникающим, охватывающим не только национализированный сектор тяжелой промышленности, но и сельское хозяйство и связанные с ним отрасли; если учесть, наконец, гигантский спектр национальных культур и традиций, в том числе и колоссальные перепады в уровне хозяйственной культуры между разными регионами, то можно представить себе (а точнее, трудно даже представить), насколько сложные проблемы встанут в стране перед любой властью, как только она всерьез вознамерится осуществлять переход к рыночной экономике.

А у Президента Горбачева тут будут еще и дополнительные трудности, обусловленные тем, что проблему легитимности своей власти ему даже ценой ликвидации партийной монополии если и удастся решить, то не надолго. Его положение в этом плане будет усугубляться тем, что президентские полномочия он получил недемократическим путем. Между тем непопулярные меры, неизбежные при переходе к рыночной экономике, может позволить себе осуществлять, не рискуя потерять поддержку населения, только легитимная власть. Это главная политическая проблема при переходе ко второму этапу реформ, о чем наиболее красноречиво свидетельствует опыт Польши, где — об этом уже говорилось не раз — миллионы людей при Мазовецком согласились взвалить на себя тяготы, на которые ни при каком из бывших до сих пор правительств они бы не пошли ни при каких обстоятельствах. Как известно, два-три года назад они не соглашались и на меньшие жертвы.

Многие наши политические деятели либерального толка явно идеализируют перспективы перехода к рыночной экономике в СССР, отношение к этой экономике широких слоев населения. В своих оптимистических прогнозах они опираются обычно на данные социологических опросов, согласно которым 50 и более процентов людей выступают за частную собственность. Но мне представляется, что данные эти интерпретируются неверно. Дело в том, что по другим опросам примерно такой же процент населения высказывается против реформ, так как они не ведут к повышению жизненного уровня, а способствуют его снижению. Мне кажется, что эти данные не противоречат друг другу, так как и любовь к частной собственности, и нелюбовь к реформам имеют своим источником один и тот же факт нелегитимности власти. Это и приводит к тому, что если власть осуществляет реформы, то люди высказываются «против», а если она против частной собственности, то люди голосуют «за».

Не исключено, что в СССР трудности перехода к рыночной экономике будут связываться именно с политикой и личностью Горбачева, так как возглавляемое им руководство уже пять лет, обещая перемены к лучшему, не может удержать страну от углубляющегося кризиса. И по мере нарастания этих трудностей как раз и может сказаться прежняя принадлежность Горбачева к тоталитарным структурам. В таких ситуациях политическое прошлое играет весьма существенную роль, о чем свидетельствует, в частности, пример Румынии, где новым руководителям многие не могут простить то, что они в той или иной степени были связаны с режимом Чаушеску, хотя именно они возглавили движение против диктатуры и казнили диктатора.

Но как бы то ни было, непопулярная центральная власть вынуждена будет в ближайшее время пойти на непопулярные меры ради углубления реформы, промедление с которой тоже подобно смерти. Факты свидетельствуют о том, что, с одной стороны, Горбачев хочет использовать свои президентские полномочия, чтобы ускорить движение в сторону рыночных отношений, а с другой — что он опасается отторжения этого курса обществом. Во всяком случае, недавно реформа была вновь отложена до тех пор, пока не будет разработана программа социальной защиты населения от наступления рынка. Такая программа, разумеется, необходима, но как бы хорошо и умно ее ни составили, переход к рыночной экономике все равно будет болезненным. Тут никаких иллюзий быть не должно: впереди у нас рост социальной напряженности, а не ее притупление.

Я вижу два возможных сценария дальнейшего развития событий.

Первый: центральная власть начинает реформы, рассчитывая, что сохранение управляемой армии и глубоких корней «оборонного сознания» позволит удержать руль и, если понадобится, силой подавить недовольство. Это будет означать последний и решающий шаг в сторону авторитаризма, его окончательное становление с непредсказуемыми последствиями для всех, в том числе и для судьбы самой нынешней центральной власти. Я уже не говорю о том, что ждет нас всех, если программа «перехода к рынку» сведется лишь к централизованному повышению цен для ликвидации бюджетного дефицита за счет населения. До рынка по этой дороге мы вряд ли доберемся, с нее очень скоро придется свернуть, но на ней окончательно дискредитирует себя не только центральная власть, но может быть подорвано и без того не очень высокое доверие к самой идее рынка.

Второй сценарий: Горбачев использует свою усиливающуюся личную власть прежде всего для того, чтобы передать значительную часть власти из центра в республики. Суть этого сценария: сначала — союзный договор и политическая независимость республик (в том числе, разумеется, и России) и лишь затем — рывок к рыночной экономике. Его преимущество перед первым сценарием: политический суверенитет сопровождается национальным подъемом и возникновением в республиках легитимных, пользующихся народным доверием правительств, берущих на себя значительную долю ответ-

ственности за трудности, неизбежные при переходе к рынку. Могут, правда, сказать, что такая стратегия равнозначна искусственному торможению реформ в экономике. Думаю, что это не так. События в Прибалтике показывают, что движение республик к политической независимости все равно начинается и набирает силы до складывания рыночных отношений, но все это происходит как реакция на промедление с заключением договора и сопровождается стихийным распадом страны.

Конечно, и второй сценарий нельзя считать заведомо безупречным, устраняющим все возможные конфликты и предупреждающим все предсказуемые и непредсказуемые, неприятные последствия. Но он обладает достоинством большей демократичности и несет в себе больше гарантий от применения насилия. Вот почему, мне кажется, только этот сценарий может быть ориентиром для демократических сил.

Разумеется, демократическая оппозиция в любом случае — в силу самой логики политической борьбы — будет выступать против любых авторитарных тенденций в развитии политического режима. Но сегодня, мне кажется, этого мало, а главное — это не главное. Главное — способствовать демократической самоорганизации общества снизу, которая до сих пор очень слаба, а ее слабость — в сочетании с разобщенностью и конфронтацией зарождающихся политических сил — и дает силу авторитарным тенденциям.

Отсюда следует, что демократам, во-первых, предстоит осознать, что им приходится действовать в исторических рамках особой разновидности зарождающегося и пока еще окончательно не утвердившегося авторитаризма, сам факт существования которого есть результат слабости демократической самоорганизации общества. Во-вторых, им предстоит осознать, что их деятельность в этих рамках должна заключаться не только в том, чтобы критиковать авторитаризм с позиций демократии, но и в том, чтобы заставить его совершить максимум исторической работы, т. е. двигаться в сторону рыночной экономики, создавая тем самым экономические предпосылки демократии, причем двигаться наиболее демократичным — из всех возможных — путем. И, наконец, в-третьих, им предстоит осознать, что на их плечи ложится задача формирования и консолидации в масштабах страны таких массовых сил, которые могли бы стать реальной альтернативой КПСС, остающейся пока единственной организацией, действующей во всех регионах. Это, в свою очередь, является одним из главных условий успешного противостояния нынешним и будущим авторитарным тенденциям.

●

Л. РАССОВСКАЯ, доцент,
С. АГРАНОВИЧ, доцент

Вокруг Пушкина

Кажется, давно мы уже поняли, что есть особая значимость самого имени Пушкина во время всех наших социальных сдвигов, катаклизмов, перестроек, во всех наших поисках пути. Всенародная любовь к Пушкину является своего рода зеркалом, в котором отражается общественное сознание с его заблуждениями и прозрениями. И это зеркало беспристрастно, ибо беспощадно показывает нам нас самих.

Еще Гоголь отметил особенность натуры Пушкина, благодаря которой каждый может воссоздать образ поэта по своему разумению и вкусу. «Все наши русские поэты,— пишет Гоголь,— удержали свою личность. У одного Пушкина ее нет. Что схватишь из его сочинений о нем самом? Поди улови его характер как человека! Наместо его предстает тот же чудный образ, на все откликающийся и одному себе только не находящий отклика».

Это тонкое и психологически точное наблюдение Гоголя уже в наши дни поддержал и развил А. Синявский, говоря о Пушкине: «Он всегда был слишком широк для своих друзей... Его переманивали, теребили, учили жить, ловили на слове, записывали в якобинцы, в царедворцы, в масоны, а он... ускользал, как колобок от дедушки и от бабушки».

«Переманивали» и после смерти, стремясь записать непременно только в свои ряды. Важный вопрос: что именно мы любим в Пушкине?

Но не менее важен и другой: как мы его любим? Все одинаково? Или каждый по-своему? Или разделившись на группы единомышленников? Тогда по каким признакам происходит разделение — по интеллектуальному уровню, эмоциональному, по политическим взглядам или по степени интереса к пикантным подробностям биографии великого человека? «Кто б ни был ты, о мой читатель»,— миролюбиво обращался Пушкин к каждому из нас, словно предвидя эти «борения» вокруг своего имени.

Знал ли он, что мы станем делать с его земной жизнью, как будем писать о нем, жадно добывая мельчайшие подробности, трактуя их по собственному разумению? Чтобы понять, сколь большое значение придавал Пушкин положению «так называемых общественных лиц», приведем его рассуждение по этому поводу. «Иной говорит: какое дело критику или читателю, хорош ли я собой или дурен, старинный ли дворянин или из разночинцев, добр ли или зол, ползаю ли я в ногах сильных или с ними даже не кланяюсь, играю ли я в карты, и тому под. Будущий мой биограф, коли бог пошлет мне биографа, об этом будет заботиться. А критику и читателю дело до моей книги и только. Суждение, кажется, поверхностное. Нападения на писателя и оправдания, коим подают они повод, суть важный шаг к гласности прений о действиях так называемых общественных лиц.., к одному из главнейших условий высокообразованных обществ. В сем отношении и писатели, справедливо заслуживающие презрение наше, ругатели и клеветники, приносят истинную пользу: мало-помалу образуется и уважение к личной чести гражданина, и возрастает могущество общего мнения, на котором в просвещенном народе основана чистота его нравов».

Гласность прений о действиях общественных лиц — не из сегодняшней ли это нашей жизни? И иные нынешние писатели, «справедливо заслуживающие презрение наше», не приносят ли воистину пользу, показывая на своем примере, сколь далеки мы от звания «просвещенного народа», так что и не приходится говорить о «чистоте нравов» нашего общества?

Пушкин многое угадал в своей посмертной судьбе и в том будущем, которое оказывалось настоящим в России и спустя сто, и сто пятьдесят лет, и в наши дни. И потому, наверное, в каждый — очередной — духовный, социальный кризис мы пытаемся заново прочесть, переосмыслить написанное некогда его рукой, понять то, что вчера еще казалось неглавным, а сегодня сделалось жизненно насущным,— во спасение себя.

Несокрушимая уверенность в воспитательном предназначении и могуществе искусства — примета не только XX века. Многие наши современники уверены, что стоит посмотреть «безнравственный» фильм или прочесть книгу, в которой «нет ничего святого», и человек, особенно молодой, пустится во все тяжкие. По-

этому долг писателя — воспитывать в народе добродетельность.

В статье «О жизни и сочинениях В. А. Озерова» П. А. Вяземский утверждал: «Трагик не есть уголовный судья». И Пушкин пишет на полях: «Прекрасно!» Но затем критик соскальзывает в хорошо знакомую нам колею: «Обязанность его и всякого писателя есть согревать любовию к добродетели и воспалять ненавистию к пороку». А Пушкин отзывается: «Ничуть. Поэзия выше нравственности — или по крайней мере совсем иное дело... Господи Суси! Какое дело поэту до добродетели и порока? разве их одна поэтическая сторона». Какова же тогда цель поэзии? Поэт ответил на этот вопрос беззаботно и уверенно: «Вот на! Цель поэзии — поэзия».

Подобные высказывания — а они рассыпаны и в стихах его, и в литературных заметках, и в письмах разных лет — вызывали негодование уже и у современников. Упрек в отсутствии цели преследовал Пушкина особенно в последнее десятилетие жизни. Но поэт не хотел исправляться:

Пока меня без милости бранят
За цель моих стихов — иль за бесцелье —
И важные особы мне твердят,
Что ремесло поэта — не безделье...
. . . .
И что пора б уж было мне давно
Исправиться, хоть это мудрено.

В «бесцельности» обвинял Пушкина и Писарев: «...Пушкин усыпляет то общественное самосознание, которое истинный поэт должен пробуждать и воспитывать своими произведениями... Кому Пушкин безвреден, тот не станет его читать; а кому он понравится, того он испортит в умственном и нравственном отношении».

Мнение Писарева о Пушкине давно отвергнуто, но его представления об искусстве не раз становились оружием в руках тех, кто хотел подчинить искусство задачам партий, правительств, государств.

Цель поэзии — поэзия, понимаемая как одна из форм, в которых выражается общественное сознание во всей его разноплановости и разнообразии, во всем богатстве и сложности. Поэзия не сводима ни к роли воспитательницы нашей, ни к средству идеологического воздействия, ни к источнику эстетического наслаждения, ни к чему бы то ни было одному. И все-таки — «гений и злодейство — две вещи несовместные». А, собственно говоря, почему? Посмотрим на эту пушкинскую загадку с несколько, может быть, непривычной точки зрения.

Образ гениального человека, каким он сложился в современном сознании, связан с глубинными древнейшими представлениями о творце, который в мифологиях предстает перед нами как первопредок, культурный герой и демиург. Из этого единого синкретического образа времен архаики возникает впоследствии институт жречества (служение богам) и культ гения (служение искусству). Гений, так сказать, по наследству — творец и защитник жизни, он изначально враждебен силам смерти. Поэтому в нашем сознании, многослойном, сохраняющем все предшествующие мировоззренческие представления, «гений и злодейство — две вещи несовместные».

Но у гения и жреца — общий «предок», и, наверное, поэтому неоднократно делались и делаются попытки совместить их. Возможно ли это? По-видимому, в наше время такое совмещение связано все с тем же стремлением подчинить искусство какой-либо власти, сделать из него служителя некоего бога. Таким богом может стать и политический строй, чему история человечества знает немало примеров. Ведь не важно, что обожествляется,— важна сама позиция служения, которая легко может выродиться и в прислуживание. Но между жрецом и гением есть непреодолимая граница: гений — творец нового, жрец — хранитель сложившихся, застывших идей. По своей творческой функции гений ближе к богу, чем к его жрецам. Жрец музыки Сальери обращается к гению: «Ты, Моцарт, бог...» На что следует знаменитая реплика Моцарта: «Ба, право? может быть... Но божество мое проголодалось». При всей своей «божественности» гении рождаются на грешной земле среди людей и несут в себе все человеческое. Жреческое служение им противопоказано — можно перестать быть гением.

Образ Пушкина — бога поэзии — тоже знает русская культура. Известно определение Толстого — «божественный Пушкин». Знаменательно, что те, кто видел в Пушкине бога, подчеркивали и земное его начало. Пушкин — бог, равный другим богам, его божественность — в его человечности, человеческое в нем — всемирно. Но бог независим — Пушкин всегда был самим собой. Пожалуй, самое драгоценное в нем — его внутренняя независимость, «тайная свобода» (А. Блок). В то же время он — «прирожденный друг и брат» (Айхенвальд), «и если в нем признаем брата, он не обидится, он — прост» (М. Кузмин), «был повеса» (С. Есенин), «полубог и повеса», «шелк хмельной виноградных кудрей» (М. Зенкевич), «бич жандармов, бог студентов, желчь мужей, услада жен» (М. Цветаева), «наш сверстник и наше дитя» (П. Антокольский) — всегда рядом с нами, один из нас. «С немногими из самых замечательных художников слова читатель чувствует себя в такой простой, дружески доверительной, свободной и легкой атмосфере, как с Пушкиным»,— заметил А. Твардовский. «В результате он стал российским Вергилием и в этой роли гида-учителя сопровождает нас, в какую бы сторону истории, культуры и жизни мы ни направились. Гуляя сегодня с Пушкиным, ты встретишь и самого себя»,— пишет А. Синявский. Как в пушкинской сказке: «Свет мой, зеркальце, скажи...»

Но не забудем, что Пушкин сам сблизил понятия «поэт» и «пророк», однако не уравнял их. В стихотворении «Пророк», восходящем к шестой главе Книги пророка Исайи, Пушкин создает истинно образ пророка — но поэта ли? Два программных тезиса «Глаголом жечь сердца людей» и «Подите прочь — какое дело Поэту мирному до вас!» — достаточно полярны и трудно совместимы в одном образе. Вообще стихотворение 1828 года «Поэт и толпа», имевшее первоначальное название «Чернь»,— камень преткновения для иных почитателей Пушкина. Вот чернь, обращаясь к поэту, просит:

Мы малодушны, мы коварны,
Бесстыдны, злы, неблагодарны;
Мы сердцем хладные скопцы,
Клеветники, рабы, глупцы;
Гнездятся клубом в нас пороки.
Ты можешь, ближнего любя,
Давать нам смелые уроки,
А мы послушаем тебя.

Поэт же отвергает их просьбы и бросает страшные в своей жестокости слова:

...В разврате каменейте смело:
Не оживит вас лиры глас!
Душе противны вы, как гробы.
Для вашей глупости и злобы
Имели вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры; —
Довольно с вас, рабов безумных!

Что это? Поэт, народность которого стали провозглашать примерно в то же время, когда написано это стихотворение, заявляет, по словам Писарева, что ему «нет дела до пороков и страданий окружающих людей»? Действительно, буквальное толкование вступает в противоречие с демократизмом Пушкина, его интересом к каждому человеку, любовью к народному быту и творчеству.

Но было найдено оправдание и этим строчкам. Наиболее полно его сформулировал А. Блок в 1921 году. «Вряд ли когда бы то ни было чернью называлось простонародье. Разве только те, кто сам был достоин этой клички, применяли ее к простому народу... Пушкинский словарь выяснит это дело,— если русская культура возродится. Пушкин разумел под именем черни приблизительно то же, что и мы. Он часто присоединял к существительному эпитет «светский», давая собирательное имя той родовой придворной знати, у которой не осталось за душой ничего, кроме дворянских званий; но уже в глазах Пушкина место родовой знати быстро занимала бюрократия. Эти чиновники и суть — наша чернь... Чернь требует от поэта служения тому же, чему служит она».

Прошло семьдесят лет, русская культура, может быть, не полностью возродилась, но Пушкинский словарь мы имеем, и в нем отмечено четыре значения слова «чернь», и в том числе — «простонародье, городские низы, уличная толпа, сброд». Да, есть и блоковское: «о невежественной, духовно ограниченной среде, толпе». Традиционно русская интеллигенция, начиная с рубежа XVIII—XIX веков, возлагала на народ, т. е. угнетенные массы, надежду на освобождение, построение нового, демократического общества. Отсюда — настойчивые попытки идеализации народа, которому приписывались особая нравственная чистота, мудрость, а дальше то, чего алкали ум и душа конкретного мыслителя: свободолюбие или покорность, кротость, религиозность или равнодушие к богу, независимость, самостоятельность или идиллические отношения «детей» к «царю-батюшке», «отцу-благодетелю» помещику. И редко кто осмеливался объединить два значения слова «чернь», отмеченные у Пушкина. Вот и Блок называл чернью бюрократию его времени, что звучит весьма современно. Но разве народ — простонародье — лишен недостатков? Не в этом ли — в идеализации понятия «народ» — одна из ошибок нашей истории? Не пора ли нам понять, что народы состоят из отдельных людей и они все разные, что в каждом народе есть не только достоинства, но и пороки?

Сложность и драматизм отношений пророка с народом, отразившиеся и в Библии, состоят в том, что люди непоследовательны и легкомысленны, не слышат или не понимают пророков, отступают от их заповедей.

Но и в самом образе пророка Пушкин находил настораживающий смысловой оттенок: если пророк — провозвестник и истолкователь воли божества, то свободен ли его ум?

Бог наградил в нем слог и ум покорный,
Стал Моисей известный господин,
Но я, поверь,— историк не придворный,
Не нужен мне пророка важный чин!

Как ясно видно из приведенного выше четверостишия, пророк, по мысли Пушкина, несет людям не свой духовный опыт, открытия, знания, а Бога, который наградил его всеведением, но и подчинил своей воле: «Исполнись волею моей...» И — «ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения». Это тоже Пушкин.

Поэт, открытый миру, всеобъемлющий гений, свободный и неуловимый в своем многообразии,— если и пророк, то лишь такой, который внял

...неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье...

По очень верному замечанию Б. И. Бурсова, «пушкинский пророк не на святость — на творчество претендует».

Однако существует и противоположное мнение. Так, В. Непомнящий предъявил науке о Пушкине весьма серьезные претензии: «Наметившийся было в начале века философский подход к пушкинскому творчеству как к пророческой мис-

сии был смят — это произошло под знаменем «социологии» и «историзма», а также при участии формализма с его представлением о произведении как о «вещи», которую надо уметь «сделать». Из пророка Пушкин был окончательно и научно разжалован в литератора, такого же, как другие, но только самого великого...» («Поэзия и судьба»).

Пророчество Пушкина, по мнению В. Непомнящего, заключается в необходимости «пробуждения в людях совести... Совесть есть способность человека сознавать себя человеком-венцом, центром и целью Творения. Это чувство богосыновства, сознание себя «образом и подобием Божьим», притом сознание не спесиво дурацкое, а глубокое, трепетное, налагающее сыновнюю ответственность за свое поведение и помыслы и потому связанное с понятием греха».

Статья В. Непомнящего в «Новом мире» называется «Дар», подзаголовок: «Заметки о духовной биографии Пушкина». Это знаменательная статья, ибо один из феноменов современного состояния общества — активный интерес к религии. Все сходятся на одном: политизированная идеология последних десятилетий утратила авторитет, для многих перестала быть основой мировоззрения. Ее развенчанным догматам справедливо противопоставляют гуманистические, прежде всего этические ценности, которые, однако, все чаще связывают исключительно с религией. У этой тенденции много причин, и одна из главных заключается в том, что борьба с религией, начавшаяся после революции, привела лишь к смене богов, не изменив религиозный тип сознания общества, поэтому сейчас так естествен возврат к старым богам. А Пушкин, как уже сказано,— наше зеркало.

И вот создается образ раскаявшегося грешника, вернувшегося к Богу с помощью Московского митрополита Филарета, о коем исследователь пишет с большим пиететом: «...это был один из крупнейших русских святителей... почитаемый народом пастырь и благотворитель, выдающийся церковный деятель — без его благословения синод (который Филарет покинул) не принимал ни одного важного решения; человек сложного характера, нелицеприятный к сильным мира сего, в том числе и к государю, глубокий религиозный мыслитель и великий проповедник...» и т. д. Правда, сам Пушкин упоминал Филарета явно без особой симпатии: то в связи с анекдотическим случаем использования митрополитом библейского текста «царь собрал и тысяцников, и сотников, и евнухов своих» — когда «в городе стали говорить, что во время службы будут молиться за евнухов»; то когда «Филарет сделал донос на Павского, будто бы он лютеранин.— Павский отставлен от великого князя <...> Жаль умного, ученого и доброго священника!»

Герцен вспоминал: «Победу Николая над пятью (декабристами.— **Л. Р., С. А.**) торжествовали в Москве молебствием. Середь Кремля митрополит Филарет благодарил бога за убийства». В 1862 году этот архипастырь выступил с развернутым возражением против отмены телесных наказаний. Герцену же принадлежит следующая характеристика митрополита: «Филарет представлял какого-то оппозиционного иерарха; во имя чего он делал оппозицию, я никогда не мог понять. Разве во имя своей личности... Народ его не любил... Подчиненное ему духовенство трепетало его деспотизма. Может, именно по соперничеству они ненавидели друг друга с Николаем».

Но Непомнящий предпочитает верить биографу «святого праведного Филарета Милостивого» И. Н. Корсунскому. Не спешим ли мы вернуться к пастырям, отвергнутым нашими предшественниками?

Вот Непомнящий пишет о том, как Филарет «обращал» Пушкина: «Авторитетнейший иерарх русской церкви... услышал его вопль о помощи, увидел, что человек находится в крайней нужде духовной, снял церковное облачение, оделся в цивильное платье второстепенного стихотворца и, умалившись таким образом, приблизился к нему с увещанием. И сделал так потому, что понял: здесь случай непростой и человек непростой — избранный человек, нужный Богу, людям и отечеству». Митрополит снизошел до Пушкина, «умалился» ради него! Так кто же пророк — поэт или священник, жрец?

Таким образом, перед нами еще одна схема: Пушкин — великий поэт-пророк, не понимающий в начале жизненного пути своего дара, но прозревший в конце концов и увидевший свое предназначение в возвышении «святых истин» православной религии. Правда, чтобы уложить в эту схему поэта, ученому автору пришлось немало потрудиться. Надо было как-то объяснить и «искупить» вину Пушкина, написавшего «Гавриилиаду» и еще ряд достаточно легкомысленных по отношению к Христу (которого Пушкин называл «умеренным демократом») произведений, представить его кающимся грешником, решительно сузить смысл целого ряда его творений до одной буквально идеи: «Трагизм истории, воплощенной Пушкиным..., в том, что человеческая история совершается помимо любви, вне любви, что она делается людьми назло и наперекор собственной их потребности и жажде любви. Но так нельзя больше делать историю. Жажда любви — это духовная жажда, она делает человека человеком».

Оценка данной проповеди — дело убеждений и вкуса читателей. Но вот Пушкин ли ее произнес? Снова — «как колобок от дедушки и от бабушки»? Ведь хорошо известны слова Николая I: «Пушкина мы едва заставили умереть как христианина...»

Теперь же обратимся еще к одному суждению Гоголя о Пушкине, высказанному им в 1834 году: «При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте».

С тех пор кто только и как только не варьировал эту мысль! И сразу же ее развитие пошло в двух основных направлениях: национальное как часть и отражение всемирного и национальное как исключительное, сугубо русское, мессианское начало.

Во времена Пушкина понятия «народное» и «национальное» практически не различались. Поэт не вкладывал в понятие «народность литературы» ни значение литературы для народа (т. е. для угнетенных масс), ни какое-то предназначение искусства как «гласа народа» для выражения народного духа. Он не считал народность особым достоинством писателя и не ставил перед собой цели быть народным. Последовательно отвергая такие признаки народной литературы, как «выбор предметов из отечественной истории» и народность языка («радуются тем, что, изъясняясь по-русски, употребляют русские выражения»), он не отрицал национальной специфики, четко определив те условия, которые ее формируют, но говорил о ней как о чем-то естественном и столь же естественно отражающемся в поэзии: «Народность в писателе есть достоинство, которое вполне может быть оценено одними соотечественниками,— для других оно или не существует, или даже может показаться пороком. Ученый немец негодует на учтивость героев Расина, француз смеется, видя в Кальдероне Кориолана, вызывающего на дуэль своего противника. Все это носит, однако ж, печать народности. Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается в зеркале поэзии. Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу».

Как известно, вопросы национальной русской идеи, патриотизма, любви к народу, задачи, стоящие в свете этих идей перед литературой, в прошлом веке были в центре внимания славянофилов и западников. Славянофильство как течение русской мысли, сформировавшееся в конце 30-х годов XIX века, прошло длительный путь развития; оно не было однородным в прошлом веке, неоднородны взгляды его наследников и в наше время. Наиболее глубокое исследование славянофильства прошлого века содержится в работах В. С. Соловьева. Подводя итоги своих размышлений об эволюции этого течения, он, в частности, писал:

«Поклонение народной добродетели, поклонение народной силе, поклонение народной дикости — вот три нисходящие ступени нашей псевдопатриотической мысли» <...>

«Для славянофильства православие есть лишь атрибут русской народности, оно есть истинная религия, в конце концов, лишь потому, что его исповедует русский народ <...> Внутреннее противоречие между требованиями истинного патриотизма, желающего, чтобы Россия была как можно лучше, и фальшивыми притязаниями национализма, утверждающего, что она и так всех лучше,— это противоречие погубило славянофильство как учение, но оно же составляет несомненное преимущество старых славянофилов как людей и деятелей, сравнительно с их позднейшими преемниками» <...>

«Славянофилы, обоготворяя русский народ, приписывали ему всевозможные идеальные качества... На самом деле славянофилы поклонялись русскому народу не потому, чтоб он действительно был воплощением христианского идеала, а напротив, они старались представить его себе и другим в таком идеальном свете потому, что уже поклонялись ему, каков бы он ни оказался...» <...>

«Обожествление народа и государства, как фактической силы, заключает в себе логически отрицание всяких объективных начал правды и добра <...> Объективное различие между дурным и хорошим допускается отныне только для медицины и естествоведения, а в области нравственности, права и политики признается только различие между своим и чужим: «русскому человеку противно», «нам не по душе», «русский человек был бы недоволен», «нам не нужны», «мы любим» — вот единственный аргумент для решения всех вопросов духа и жизни <...> Любопытно узнать, какие же именно вкусы приписываются русскому народу этими сомнительными свидетелями, кого именно они считают наилучшим представителем русского народного духа <...> Значительное большинство голосов подается нашими патриотами... за Ивана Грозного. Вот их настоящий, излюбленный герой!»

В этих довольно кратких выдержках — закономерный процесс развития национализма, блестяще показанный русским философом. В целях окончательной ясности необходимо только привести еще одну мысль В. С. Соловьева, и именно следующую: «Если бы мы поверили славянофилам и их слово о русском народе приняли бы за слово его самосознания, то нам пришлось бы представить себе этот народ в виде какого-то фарисея, праведного в своих собственных глазах, превозносящего во имя смирения свои добродетели, презирающего и осуждающего своих ближних во имя братской любви и готового стереть их с лица земли для полного торжества своей кроткой и миролюбивой натуры».

Не дай Бог русскому народу поверить таким о нем представлениям!

Если в прошлом веке идеи славянофилов вырождались в течение нескольких десятилетий, то отличительная особенность современного славянофильства — широкий спектр эпигонских заимствований идей, отдельных положений, лозунгов, родившихся на всех стадиях эволюции славянофильства XIX столетия.

Почти все, о чем сказано В. С. Соловьевым, мы слышим сегодня. Разве что вместе с именем Ивана Грозного звучит имя его горячего поклонника Иосифа Джугашвили.

Справедливости ради следует сказать и о том, что славянофилам и их потомкам принадлежат глубокие и оригинальные работы о творчестве Пушкина. Но все же преобладающим является стремление к сакрализации его образа. Со многими их оценками и наблюдениями нельзя не согласиться, но все вместе они создают сакральный образ Пророка, Учителя Нации и одновременно Священный Образец Поэта.

Великим русским поэтом называли Пушкина все без исключения писавшие о нем, но вкладывали они в эти слова различное содержание. Так, например, западник Герцен наряду с «русскостью» поэта подчеркивал его доступность читателям других стран: «Пушкин как нельзя более национален и в то же время доступен иностранцам. Он редко подделывается под просторечие русских песен, он передает свою мысль такой, какой она возникает в нем».

Герцен не считал русское национальное начало чем-то раз и навсегда данным, неподвижным и вечным, поэтому уточнял: «Пушкин — до глубины души русский — русский петербургского периода». Герцен мог позволить себе и упрекнуть Пушкина, например, в том, что тот иногда шел на уступки царю, видя — страшно сказать — «в этом недостатке гордости и сопротивления... дурную сторону русского характера». Такова была его точка зрения. Любил ли при этом Герцен Россию и Пушкина? Да, несомненно. Но эта любовь не была слепа и не имела ничего общего с поклонением и идеализацией своего объекта.

В наше время дискуссии о Пушкине идут не менее оживленно, чем в предыдущие эпохи. Методы этих дискуссий, правда, порождение именно наших дней. Так, пострадал «за Пушкина» известный режиссер Ю. П. Любимов, решивший по-своему поставить «Бориса Годунова». Иные поклонники поэта не только сами видят в нем идеал, конечное воплощение русских национальных достоинств, т. е. Святой Образец, но и стремятся во что бы то ни стало превратить его в Вечный Укор всем инакомыслящим. Но так как Пушкин не укладывается в их схему (а он ни в какую не укладывается, и будь иначе, мы все потеряли бы к нему интерес очень скоро), то приходится немало в нем и замалчивать.

Вот, например, интервью критика В. Шикина с составителем родового древа Пушкиных («Наш современник», 1989, № 6). Какие выводы делает критик из сведений, собранных А. А. Черкашиным в результате, по-видимому, действительно огромной работы? «Род Пушкиных прямой, ровный, безошибочный для явления гения. Россия будто специально сохранила в истории тех, кто дал Пушкину кровь. Есть ли еще историческая личность, к кому были бы стянуты сорок колен живой ветви целого народа? Андрей Андреевич (Черкашин.— **Л. Р., С. А.**) такой личности не знает... Ритм перечислений, созвучия да и сама грандиозность «замысла» генеалогии — все это напоминает разве что генеалогию библейских пророков, приведшую к новозаветному живому преданию... Могучая крона генеалогического древа Пушкиных служит реальным символом таких понятий отечественной культуры, как «всеединство», «русский космос», «соборность»...»

Кажется, весь набор славянофильских и неославянофильских лозунгов. И такая вот чистота расы, подпирающая их. И все было бы хорошо, если бы не одно обстоятельство — предок Пушкина был из Абиссинии, и сам поэт называл себя «потомок негров безобразный». Что с того, что все это знают,— В. Шикин делает вид, что этого как будто не было и не стоит вспоминать об этом.

Можно привести для сравнения, что писал по этому поводу Ю. Н. Тынянов: «Род начинается с Абиссинии... Так быстро, легко и свободно вошли они в русское дворянство, что внук абиссинца и шведки бунтовал за права русского дворянства при Николае. А совершилось это потому, что и само русское дворянство было и шведским, и абиссинским, и немецким, и датским. И родословные интересны не потому, что верны, а именно потому, что задуманы и выдуманы так, как нужно это времени. Дворянство задумало и построило великорусское государство из великорусов, поляков, калмыков, шведов, итальянцев и датчан...»

В. Шикин заканчивает свой портрет Пушкина так: «Наверное, всякая нация испытывает потребность в отцовском наставничестве. В нашем народе Пушкин удовлетворяет этой потребности».

Что ж, одни создают образ Пушкина — святого, великого пророка и наставника своего народа, отметая все, что не укладывается в канон. По типу мышления это жрецы, им нужен бог, которому можно было бы служить, как в средние века, воюя с еретиками, стараясь забыть, что Христос был сыном еврейки. Другие, разрушая образ бога, ставят на его место человека, обаятельного в своей сложности и противоречивости, великого человека, ибо он вмещает огромный мир, в котором есть место и русским, и башкирам, и испанцам, и итальянцам, и англичанам, и украинцам, и цыганам, и горцам Кавказа, и татарам Крыма, и древним грекам и римлянам, и, может быть, тем народам, которых еще и нет на Земле. И мир этот постичь непросто, наверное, даже и невозможно одному человеку.

Жреческая психология порождает стремление монополизировать право на истолкование учения божественного пророка, запретить все другие его интерпретации как оскорбляющие бога и верующих в него. Мощное стремление к сакра-

лизации идей и их носителей — черта нашего общества. «К лику святых» были причислены политические деятели — прежде всего Ленин, в значительной мере сакрализации подверглась наша партия, нимб появился вокруг некоторых деятелей русской культуры, объявленных национальными святынями, и в первую очередь вокруг Пушкина. Мы создаем богов и кумиров, свергаем их — и воздвигаем новые. Сакрализация великих деятелей отечественной истории чревата идеей национальной исключительности, избранности — велик народ, у которого есть великие мыслители, поэты, ученые, политики. И если постараться забыть, что такие люди есть у всех народов, то можно претендовать на роль старшего брата и даже матери других народов. А отыскивая причины своих бед, обвинить в них не себя, а другие народы.

Вот уже и Пушкина погубил международный заговор масонов и космополитов (см. «Наш современник», 1989, № 6). Рецепт создания таких версий не нов. Прежде всего надо отобрать те высказывания разных людей, которые так или иначе «играют» на твою версию. Правда, этика ученого требует объективного изложения всех точек зрения на проблему — или хотя бы основных. Н. Зуев ссылается на отдельные высказывания, вырванные из различных контекстов, вплоть до мимолетного замечания И. Л. Андроникова из его рассказа о дуэли Лермонтова с Барантом (хотя у этого ученого есть большая работа о гибели Пушкина) — лишь бы там звучали «знаковые» слова: еврей Нессельроде, космополиты, масоны, заговор. Многократное повторение ключевого слова «заговор» на соответствующем фоне заменяет доказательства и создает у читателя-неспециалиста нужное впечатление — и версия готова. Не всякий ведь обнаружит, что Н. Зуев упомянул лишь две из восьми версий, приведенных Вл. Сайтановым в характеристике первого из четырех «направлений» поисков причин гибели поэта, и его слова о «наиболее распространенной в настоящее время точке зрения» относятся к целому «направлению», а не к одной версии, составленной к тому же Н. Зуевым из двух разных: тыняновский «международный заговор» реакционных придворных кругов монархов Европы «ненавязчиво» совмещен с «масонским заговором».

И вот уже А. Казинцев откровенно пишет: «Разве Геккерн и Дантес готовили убийство, оскорбившись пушкинским письмом? Этих людей ничем нельзя было оскорбить. Убили именно потому, что видели в Пушкине «русского человека в его развитии» («Новая мифология»).

Задумаемся — а каким представляет Пушкина народ, тот, о любви которого к поэту написано так много? Считалось, что Пушкин был недоступен народу до революции, ибо тот в массе своей был неграмотен, а вот после достижения всеобщей грамотности он наконец узнал поэта. Однако массовое издание полного собрания художественных произведений Пушкина осуществлено совсем недавно. Наши издательства вот уже несколько десятилетий печатали, по словам В. Войновича, все больше «нужных» писателей.

«Народная тропа» к Пушкину, по мнению В. Непомнящего, мало заметна по вине «науки о Пушкине» — не тем занималась, плохо толковала смысл произведений поэта. По-видимому, стоит его истолковать как следует, тем более что народ этого уже требует — «переворот начинается снизу», «высшие инстанции» отстают» — и все будет в порядке, «народная тропа» если и не превратится в широкую дорогу, то станет утоптанней, заметней.

Но давайте же, наконец, посмотрим правде в глаза: интерес к Пушкину велик, знание же и понимание его творчества может привести в уныние. И дело здесь не в состоянии пушкиноведения, хотя и его можно во многом упрекнуть. Что интересует разнообразную «нефилологическую» аудиторию прежде всего? Знаем по собственному опыту — увы, не мысли, идеи, философия, поэтика, а подробности биографии. Эпизоды из жизни поэта можно рассказывать бесконечно — не надоедает, ждут все новых и новых деталей. Плохо это? Да, ибо свидетельствует о низком уровне культурного развития нашего народа, который мало подготовлен к разговору о сколько-нибудь сложных явлениях искусства. И, однако, Пушкин живет в сознании народа. Как и в каком облике? Это наименее изученная сторона посмертной его судьбы.

Место Пушкина в фольклорном сознании — особое. Ни про кого из русских писателей не существует столько слухов, преданий, анекдотов. Каждый говорящий на русском языке слышал или сам пользовался устойчивыми оборотами типа «Кто за тебя работать будет, Пушкин, что ли?» Среди преданий о Пушкине наиболее часто встречаются фольклоризированные варианты устных или письменных свидетельств о самых драматических моментах биографии поэта. В центре внимания, как правило, оказываются его женитьба, семейная жизнь и гибель.

Анекдоты о Пушкине стали появляться еще при его жизни. Он рассказывал в письме к жене: «Знаешь ли, что обо мне говорят в соседних губерниях? Вот как описывают мои занятия: как Пушкин стихи пишет — перед ним стоит штоф славнейшей настойки — он хлоп стакан, другой, третий — и уж начнет писать! — Это слава». Здесь поэт приводит слух, от которого недалеко и до анекдота. В другой раз поэт рассказал, как его представили ребенку в виде лакомого блюда, «шоколадного» и «сахарного». Вряд ли были знакомы с этим анекдотическим эпизодом работники общепита, которые уже в наши времена нехитрое блюдо из вареного картофеля назвали... «Пушкин».

Большинство анекдотов о поэте опубликовать было бы весьма затруднительно, поскольку все они — то, что называется «неприличные». Существует несколько циклов «пушкинских» анекдотов, и появляются все новые. Значит ли это, что народ не уважает своего поэта? Нет! Если мы вспомним, в какую архаику уходит корнями наше представление о гении, то можем утверждать, что и по сей день образ Пушкина обладает в народном сознании устойчивыми признаками гениального творца искусства.

Любопытно, что в недавней телепередаче («Весы», 31 января 1990 г.) критик В. Гусев, с сожалением говоря о разрушении «народных святынь» в последние годы, призывал сохранить хотя бы памятник Пушкину — не тот, что стоит в Москве, а тот, который воздвигнут, по мнению критика, в общественном сознании, а не то русскому человеку и прислониться будет не к чему. Весьма характерная позиция: не к великому поэту должен обращаться народ, а к его памятнику — рукотворному, благопристойному, сакральному.

Пожалуй, тем, кто озабочен нравственным здоровьем нации настолько, что мечтает о памятнике как об объекте молитвенного поклонения, можно напомнить Евангелие от Луки (гл. 8, ст. 32, 33), где сказано о Христе: «Пришел сын человеческий, ест и пьет, и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». И удивительные пушкинские слова: «Не может быть, чтобы людям со временем не стала ясна смешная жестокость войны, так же, как им стало ясно рабство, королевская власть и т. п... Они убедятся, что наше предназначение — есть, пить и быть свободными».

Пушкин при жизни никогда не был придворным поэтом, и после смерти «наверху» к нему относились с недоверием и опаской. Он был поэтом, вокруг которого спорили различные общественные силы. Стремление сделать его «государственным поэтом» характерно для нового авторитарного режима XX века. Юбилеи Пушкина 1937-го и 1949 годов — эпизоды в этом процессе. Его сделали главным российским поэтом, перед которым положено было благоговеть. И все же «приручить» Пушкина не удалось. Памятников и торжественных славословий становилось все больше, а его книг все меньше. Определенный вклад в превращение Пушкина в памятник сделало и пушкиноведение. Был период, когда казалось, что окончательно изучено все его наследие, истолковано и оценено каждое слово. К счастью, это только казалось. Еще в эпоху застоя началось раскрепощение общественной мысли — преследуемой и подавляемой. И здесь снова не обошлось без Пушкина. В последние годы ощущается возросший интерес к нему читателей. Но до постижения всего богатства и сложности внутреннего мира поэта нашему обществу еще далеко. И одна из преград — новые попытки его канонизации. Теперь они исходят от тех, кто не в силах расстаться с идеалом авторитарного государства, отказаться от притязаний на исключительную роль России в мировой культуре. Они сражаются за право определять, что можно и что нельзя знать народу из его же собственной истории и культурного наследия.

Но вряд ли кому-либо удастся превратить Пушкина в святого или святошу. Сальери мог отравить Моцарта. Наследники Сальери могли бы причислить Моцарта к лику святых. Но пока его музыка будет звучать в концертных залах, пока ее будут осмысливать новые и новые поколения и будет исполнять «слепой скрипач в трактире», пока народная молва будет обсуждать его жизнь и смерть — он будет жить.

г. Куйбышев

Петр ВАЙЛЬ, Александр ГЕНИС

Поиски жанра. Александр Солженицын

«Книга-то получалась очень правильная, если б все сразу стали по ней жить...» — так писал Солженицын в одном из своих ранних романов, и эти слова, быть может, лучше других цитат из его сочинений подошли бы в качестве эпиграфа ко всей творческой жизни Александра Солженицына.

То, что Солженицын — моралист, учитель, пророк,— бросается в глаза сразу. Но — теперь. Теперь в этом «эпиграфе» акцент неизбежно падает на директивную концовку. Это вполне объяснимо: с начала 70-х годов публицистика Солженицына с ее проповедническим пафосом заметней и влиятельней его прозы. Однако необходимо обратить внимание на первую часть формулы: речь идет о к н и г е. Уповая на правильное переустройство жизни, Солженицын не сомневается в том, что инструмент для этого — книга. Писательское слово.

В 60-е было совершенно ясно, что Солженицын — писатель, прозаик, беллетрист. В этом качестве он воспринимался и тогда, когда в самиздате стали в конце 60-х циркулировать письма и обращения Солженицына. Это было нормальной приметой времени: письма писали и подписывали многие.

Сугубо писательскую сущность Солженицына подчеркивала его редкая художническая открытость, откровенность. Его литературные эксперименты велись прямо на глазах читателя. Поразительно, как многообразно успел предстать перед читающей публикой Солженицын за короткий период при ничтожном числе напечатанных вещей.

За девять месяцев 62—64 гг. в «Новом мире» были опубликованы повесть «Один день Ивана Денисовича» и три рассказа — «Матренин двор», «Случай на станции Кречетовка», «Для пользы дела». А в январе 66-го еще один рассказ — «Захар-Калита». И все.

При этом в 60-е — эпоху величайшего разброда и эклектики — Солженицын явил самый, пожалуй, яркий образец жанрового и стилевого разнообразия. Все пять его опубликованных произведений настолько различны, что не приходится удивляться выводу эмигрантского критика: на самом деле никакого Солженицына нет, а сочиняют под этим именем разные литераторы по приказу КГБ. Прийти к этой наивной гипотезе было немудрено: каждая вещь писалась как бы заново — от тематики до языка.

Солженицын словно торопился застолбить пустующие участки в новейшей русской словесности, а заодно поставить свои собственные заявки и на уже разработанных жилах. Если вспомнить, что в 60-е театры собирались поставить еще и две пьесы писателя — «Олень и шалашовка» и «Свет, который в тебе»,— то охват получается необычайный. Сложись по-иному общественно-политическая ситуация в стране, останься Солженицын признанным советским писателем — эти заявки могли бы сработать. Но события пошли таким путем, что только деревенская проза обязана числить «Матренин двор» среди своих источников и шедевров.

У этого рассказа вообще самая счастливая судьба. Владимир Лакшин: «Матренин двор» в читательской среде... был принят единодушнее, чем что-либо у Солженицына...» Лидии Чуковской эта вещь «полюбилась более первой. Та ошеломляет смелостью, потрясает материалом — ну, конечно, и литературным мастерством, а «Матрена»... тут уже виден великий художник...» По-видимому, так же относился к рассказу и сам автор: «Он сказал мне: «Вот теперь пусть судят. Там — тема. Здесь — чистая литература» (Н. Решетовская).

Примечательно, что общество 60-х восприняло «Матренин двор» как некую антитезу «Одному дню Ивана Денисовича» — именно как прозу против темы. Это, конечно, неверно. Более того — это странно: если искать последовательность в общественных движениях, «Один день...» был именно литературным аналогом партийной установки на правду. Позже Солженицын напишет: «На «Иване Денисовиче» и выпустил последний вздох весь порыв XXII съезда». Но несмотря на этот съездовский пафос повести, она напугала шестидесятников. Произошел интересный феномен: 60-е пришли в восторг и восхищение от «Одного

дня...», но подсознательно оттолкнулись от него, не признав изящной словесностью. Конечно, правда была нужна, призывы к правде раздавались и сверху и снизу, но лагерные мемуары Дьякова или генерала Горбатова, к примеру, лежали в общем русле оптимистических установок эпохи. А блистательная концовка повести Солженицына ничего оптимистического не сулила: «Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три. Из-за високосных годов — три дня лишних набавлялось...» Никто не обещал реформы календаря, и ощущение безысходности ничем не уравновешивалось.

Тем не менее 60-е вычленили-таки подходящий для времени мотив. Труд. Все — от Хрущева до Лакшина — радостно схватились: Иван Денисович честно и самоотверженно трудится. А стало быть, нелепо и преступно не давать ему трудиться на свободе: «Как нужен, просто необходим был бы Шухов в своей деревне, в колхозе... Как бы он со своей совестливостью и рабочей хваткой помогал бабам тянуть колхоз...» (В. Лакшин).

Более радикально настроенные шестидесятники могли усмотреть в образе Шухова наоборот позорное восхваление рабского труда — когда раб подчиняется не обреченно, а с воодушевлением.

На самом же деле — если взглянуть на «Один день...» в контексте всего раннего Солженицына — повесть содержит едва ли не первое в русской литературе прославление именно профессионального труда, свободного от идеологических обертонов.

Профессионализм — одно из главных достижений 60-х. До тех пор речь шла исключительно о трудовом энтузиазме в духе стахановцев, и само слово «специалист» со времен гражданской войны имело отрицательный оттенок. В 60-е поклонение науке этот оттенок сняло, а когда произошел кризис идеалов, заложенных XX и XXII съездами, профессионализм оказался наиболее честным способом сосуществования с окружающим. Его высочайшее достоинство — относительная внеидеологичность — позволяло соблюдать правила игры, не слишком поступаясь собой.

Профессионализм — один из важнейших мотивов у Солженицына. К его лучшим страницам принадлежат технические описания в романе «В круге первом», диспетчерские тонкости в «Кречетовке», подробности болезней и методов лечения в «Раковом корпусе». Там же старый доктор Орещенков (из любимейших солженицынских персонажей) возмущается коллегой: «Он на пенсию перешел... И в этот день выяснилось, что никакой он не рентгенолог, что никакой медицины он знать больше ни одного дня не хочет, что он — исконный пчеловод и теперь будет только пчелами заниматься.... Если ты пчеловод — что же ты лучшие годы терял?..»

Человек должен заниматься своим делом, которое знает и любит — не *благодаря*, *не вопреки*, а *вне зависимости*. В этом, кстати, главный пафос мемуаров писателя Солженицына «Бодался теленок с дубом». В этом смысл трудовых эпизодов в «Одном дне Ивана Денисовича».

Возможно, шестидесятники ощущали эту вырванность труда из социального контекста. Так или иначе кладка Шухова («Раствор — шлакоблок, раствор — шлакоблок!») оказалась недостаточно прочным оптимистическим фундаментом. «Один день...» был, несомненно, самым громким событием 60-х, но при этом не стал их знаменем. Да и не мог стать — потому что не нес лозунга. Потрясение от правды «Одного дня...» было огромно, и так же огромно было ожидание последствий — что-то (может быть, ложь) должно было рухнуть. Но не рухнуло. И неблагодарное общественное сознание подыскивало объяснение: все дело — в теме. Удобно подвернулся и противовес — «Матренин двор»: там — тема, здесь — литература.

Собственно, 60-е вообще отказались рассматривать «Один день...» как художественное произведение. Лидер тогдашней критики Лакшин признавался в этом откровенно. Впрочем, «Матренин двор» тоже не разбирали с литературной точки зрения — не такое было время. Было принято считать, что это просто проза в отличие от лагерной прозы «Одного дня...». Однако художественные достоинства значительнее в первой повести. «Один день...» написан так, что его качества неявны, присутствует лишь ощущение невероятной энергии, силы, напора. И — точности. Вся повесть — осторожные, но безошибочные прикосновения к болевым точкам: каждый раз ровно настолько, насколько нужно, без передержки, нажима, дидактики. Без идеологии. Без положительного героя! — хотя именно поиск положительного героя — от Матрены до Столыпина — и составляет пафос литературы Солженицына. Но как раз там, где его нет,— лучшая проза: «Один день Ивана Денисовича», «Случай на станции Кречетовка», «Раковый корпус».

В «Матренином дворе» уже впервые мелькает сусальный, как «Кубанские казаки», идеал: «Я представил их рядом: смоляного богатыря с косой через спину, ее, румяную, обнявшую сноп. И — песню, песню под небом, какие давно уже отстала деревня петь...» Это уже было указание выхода. И если либеральная критика вела свое про улучшение трудовых и жилищных условий деревни, то, как писал Г. Померанц, «для миллиона людей христианство началось с «Матрениного двора». Первый шаг к свету, миллион людей (если не больше) прошел вместе с Солженицыным...» Возвращение к патриархальному российскому идеалу было заложено здесь и позже развито деревенщиками.

В тени праведницы Матрены укрылись чисто литературные просчеты, которых почти не было на открытом, не затененном идеологией пространстве «Одного дня...»,— то, о чем писал сам Солженицын: «...Начинаешь прощать себе, да не замечать просто: то слишком резкой тирады, то пафосного всклика, то пошловатой традиционной связки...» Однако 60-е простили и не заметили и нравоучительной басенной концовки, и пояснения вместо показа: «Нет Матрены. Убит родной человек», и неточных красивостей — вроде шороха тараканов, похожего на «далекий шум океана» (это в средней полосе России!), шороха, в котором «не было лжи». Напротив — вероятно, эти детали служили индикаторами беллетристики, делая «Матренин двор» для читателя полноценной прозой в отличие от «куска жизни», данного в «Одном дне...».

Зато следующий рассказ — «Для пользы дела» — стал настоящим общественным событием и, как с известной брезгливостью замечает автор, «по близости к привычной советской тематике вызвал непропорционально большой поток читательских писем и некоторую дискуссию в прессе». Схватка между сталинистом-секретарем обкома Кнорозовым и прогрессистом-секретарем горкома Грачиковым логично продолжалась на страницах журналов и газет. Здесь положительный герой был иной, чем в «Матренином дворе», но — еще более внятный и, главное,— еще более положительный. Под словами Грачикова «не в камнях, а в людях надо коммунизм строить» подписалось бы большинство интеллигенции, которую в то время Солженицын еще не назвал «образованщиной».

Так, раскачиваясь от похвал общественному звучанию к похвалам прозе, общество 60-х приспосабливало Солженицына для своих нужд. В дело шло все — и правда о прошлом, и народность, и человеческое лицо коммунизма, и бережное отношение к своей истории («Захар-Калита»). Солженицын — такой яркий и разный — в целом укладывался в неглубокое, но широкое русло 60-х. Пока вдруг в мемуарах «Бодался теленок с дубом» сам Солженицын не показал, что это он укладывал 60-е в русло своего жизненного и творческого пути, приспосабливая для своих нужд.

Спор об этих двух взаимоисключающих концепциях должен был бы прояснить многое не только в проблеме личности Солженицына, но и в эпохе 60-х.

«Теленок» ставит в тупик любого непредвзятого читателя. Эта вещь написана в необычном жанре—автоагиографии. Житие святого, составленное самим святым. Со страниц встает образ человека, с юных лет осознавшего свое предназначение, понявшего Божий промысел о себе. Герой «Теленка» говорит об этом откровенно и прямо: «Это — не я сделал, это — ведено было моею рукой!», «Как Ты мудро и сильно ведешь меня, Господи!», «О, дай мне, Господи, не переломиться при ударах! Не выпасть из руки Твоей!» Выполнение завета и есть жизнь героя, этому подчинено все: он скован в личной жизни, ограничен в выборе друзей и общения, лишен обычных развлечений, «свободы поступков, свободы высказываний, свободы выпрямленной спины», даже профессиональной радости творческих мук: «Обминул меня Бог творческими кризисами». Награда за это — только сам завет. Все остальное — во-первых, мишура, во-вторых, мишура предопределенная. Еще молодым, в лагере, герой «Теленка» узнал про Нобелевскую премию и понял: «Вот это — то, что нужно мне для будущего моего Прорыва». Потому впоследствии он так выжидательно-спокоен: «В четвертый четверг октября объявили Нобелевскую по литературе — и не мне». Ему она досталась в четвертый четверг октября следующего года.

Согласно канону агиографии, в повествовании с точностью назван день решающего, переломного испытания героя. 11 сентября 1965 года у него конфискуют архив с черновиками будущих книг. И герой ропщет: «Вот этого провала я не мог уразуметь! Этот провал снимал начисто весь прежний смысл». Однако дело лишь в неполноте понимания, и через некоторое время все становится на место: «Мне начинает открываться высший и тайный смысл того горя, которому я не находил оправдания... для того была мне послана моя убийственная беда, чтоб отбить у меня возможность таиться и молчать, чтоб от отчаяния я начал говорить и действовать». Начался новый этап в жизни героя — «Бодался теленок с дубом» — этап общественной борьбы.

Ведомый Божьим промыслом, герой был готов к любому повороту судьбы. Более того, осененный предопределением, знал и предвидел все: извивы писательского поприща, всемирную славу, духовную власть, подвиг противостояния. То есть герой «Теленка» ведал то, что достанется на долю Александра Солженицына. Но знал ли, был ли готов, предвидел ли это Александр Солженицын?

Вся обширная мемуарно-критическая литература, посвященная Солженицыну 60-х, дает однозначный ответ: нет. То есть: герой «Теленка» и реальное лицо с тем же именем — разные люди.

Понятно, когда образ пророка опровергают идейные антагонисты (Владимир Лакшин, Григорий Померанц) и личные противники (первая жена Наталья Решетовская). Но и с дружественных страниц (Лев Копелев, Жорес Медведев), и из бесстрастно-аналитических исследований (Жорж Нива, Деминг Браун, Майкл Скэммел) является образ писателя, искренне старавшегося адаптироваться к окружающей жизни — общественной и литературной. Просмотр откликов, ре-

цензий и статей в советской прессе 60-х убеждает в том же. Меньше месяца разделяет публикации «Наследников Сталина» в «Правде» и «Одного дня Ивана Денисовича» в «Новом мире» (21 октября и 17 ноября 1962 года). Шестидесятники не сомневались, что их полку прибыло.

Впрочем, нет нужды прибегать к свидетельствам посторонних, пусть и осведомленных. В самом «Теленке» более чем достаточно мест, находящихся в существенном противоречии с основной концепцией книги. С теорией предопределения не увязывается, например, реплика о Хрущеве: «Выдвинутый одним этим человеком — не на нем ли одном я и держался?» А когда автор упрекает Твардовского: «Раздавался железный скрежет истории, а он все видел иерархию письменных столов», правомочно отнести упрек к нему самому — уж очень дотошно разбирается в «Теленке» Солженицын с силовыми составляющими в редакции «Нового мира», правлении Союза писателей, окружении Хрущева. Умело и ловко лавирует в сложившейся обстановке, зная, когда надо бить на жалость: «Фотограф оказался плох, но то, что мне нужно было,— выражение замученное и печальное, мы изобразили» или на простоту: «Нарочно поехал в своем школьном костюме, купленном в «Рабочей одежде», в чиненых-перечиненных ботинках с латками из красной кожи по черной и сильно нестриженым». Он использует и высокие сферы политики: «Для схватки с китайцами им всякое оружие будет хорошо, и очень пригодятся мои сталинские главы...»

Может ли пророк быть мастером тактики и интриги? Разбирался ли пророк Исайя в расстановке вавилонских сил?

И, может быть, у «провала» 11 сентября 1965 года более явный и простой смысл — импульс к все той же тактической борьбе, только открытой? Герой «Теленка» здесь обрел пророческий глагол, а на самом деле Солженицын стал диссидентом? То есть прошел характернейший для советского интеллигента 60-х путь?

Так возникают как минимум три Солженицына.

Первый — из авторской концепции «Теленка» — последовательный носитель Божьего промысла о себе, раз навсегда избравший путь правды и борьбы.

Второй — из текста «Теленка» — борец, широко использовавший официальные каналы до последней возможности, а затем перешедший на путь открытого протеста.

Третий — из свидетельств современников — творческий человек, вытолкнутый в диссидентство после честного сотрудничества с системой.

Найти объективную истину не представляется вероятным. Ее — по определению — не даст субъективное авторское повествование, но и третий вариант, несмотря на численное превосходство свидетельств и взгляд извне, недостоверен. Крупномасштабность явления Солженицына исключает возможность одного верного ракурса, а по частям нельзя, как известно, описать даже слона.

Есть ли вообще подход, учитывающий все три варианта, объединяющий всех троих Солженицыных? И есть ли инструмент для такого метода? Есть. Подход — литературный. Инструмент — чтение.

Необходимо вернуться к чтению солженицынских текстов и снова поразиться фантастической сумятице и разноголосию его творчества 60-х годов. Пять (не считая газетной статьи) опубликованных в советской печати вещей, две пьесы, активно ходившие в самиздате романы «Раковый корпус» (с 66-го года) и «В круге первом» (с 67-го) и «Крохотные рассказы» (с 65-го) — таков корпус сочинений Солженицына, с которым имели дело шестидесятники. Перед их взором открывался беспримерный литературный эксперимент: самый откровенный (в обнажении приема) писатель российской современности всякий раз примерял новое перо — новый стиль, жанр, манеру, язык. Но шестидесятники — и тогда, и после — этого не заметили, сосредоточившись на социальном явлении Солженицына, прилаживая его — тактически, а потом ретроспективно — к эпохе. То, что это произошло, и то, что Солженицын ответил (в «Теленке») тем же,— объяснимо.

Эпоха 60-х была насквозь литературной. Руководством к действию стала метафора — как у властей («Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»), так и у оппозиции («Соблюдайте свою Конституцию!»). Любимым занятием — расшифровка аллегорий и чтение между строк. Самым распространенным языком — эзопов. Шестидесятники и вместе с ними Солженицын помещались как бы в художественном тексте, подчиняясь его законам, в том числе и тем, которые не позволяют персонажам выйти за пределы текста. Не ждем же мы от князя Андрея анализа речевой характеристики Пьера Безухова.

Персонажами были все, и не только по малограмотности Хрущев назвал Солженицына Иваном Денисовичем. Примерно так же читали книжки и остальные — представители «критики, никогда не отделенной от общественного направления» («Бодался теленок с дубом»). Просто другого направления и не было. Потому умные и образованные люди всерьез обсуждали, за кого Шухов, каковы идеалы Матрены, наш ли человек коммунист Грачиков, заслуживает ли осуждения лейтенант Зотов. За этими острыми насущными проблемами терялся прозаик Солженицын. 60-е не обладали литературным взглядом, потому что сами 60-е были литературным произведением: так нельзя увидеть себя спящим.

Но, хотя современники не замечали,

Солженицын отчаянно бился в стилевых и жанровых поисках, которые и тогда и позже (и ему самому тоже) казались поисками общественной позиции. Однако его эволюция — в первую очередь литературная. Автор романа «В круге первом», Солженицын ощущал узость накатанной другими колеи — условно говоря, соцреалистической. «Один день...» продвинул его вперед, но все по той же стезе. Осознавая в себе склонность к проповеди, Солженицын всеми силами старался избежать прямого слова, которое уводит от художественности. Беллетристика требует отстранения — следовало найти свой прием.

В примечаниях, которыми Солженицын снабдил каждую вещь в своем Собрании сочинений, интереснейшим образом обнаруживаются две параллельные тенденции. С одной стороны, автор всегда указывает реальные обстоятельства и прототипы, демонстрируя жизненность произведений. С другой стороны, особо тщательно оговариваются и те случаи, когда конкретных прототипов нет — подчеркивается вымышленность, сочиненность произведений.

В конце концов Солженицын выбрал одну из двух тенденций. Но это произошло позже, а до самого конца 60-х он искал себя как беллетрист.

Тот прием отстранения, который господствовал в 60-е, был ему глубоко чужд и даже отвратителен — ирония, юмор, смех. Иронией он, правда, пользовался, но архаичной, просветительской, тяжеловесной. И даже добился здесь успеха: достаточно назвать один из самых удачных во всей прозе Солженицына эпизодов — зоопарк в конце «Ракового корпуса». Но вот юмор ему, по всей видимости, враждебен совершенно. Не зря он клеймит оппонента характерным рядом: «бодрячок, весельчак и атеист», не зря призывает к серьезности полемики: «избавьте нас от ваших остроумиых рассуждений» — явно не видя в остроумии ничего, кроме словоблудия, не зря пренебрежительно поминает кумиров 60-х Ильфа и Петрова («Бодался теленок с дубом»).

60-е были неприемлемы для Солженицына стилистически. Он искал своего приема. Проза «ни о чем» ему не давалась, что хорошо видно по дидактичным «Крохоткам». В житии Матрены Солженицын сделал попытку аллегории, патриархальной утопии. В рассказе «Захар-Калита» возник вдруг сказовый говорок: «Друзья мои, вы просите рассказать что-нибудь из летнего велосипедного? Ну вот, если не скучно, послушайте о Поле Куликовом». Так же неожиданно, сплошь почти одним диалогом (43 журнальные страницы!), написан рассказ «Для пользы дела» — самый «соцреалистический» из произведений Солженицына, на который положительные отклики начинались со слов: «Мы, старые пропагандисты». По собственному признанию Солженицына, не удавались ему пьесы — тоже очень разные: от земляного реализма «Оленя и шалашовки» до наивной символики «Света, который в тебе», где действовали Альды, Джумы и Синбары.

Все это экспериментаторство шло мимо внимания общества 60-х. Раз зачислив Солженицына в «свои» — за правду,— шестидесятники втягивали его, не очень-то спрашивая, в свой КВН. Примечательно, что в новогодний (1964) комплект «крокодильских» пародий включен и «А. Матренин-Дворин» — в компании с «Володимером Сологубиным» (Владимир Солоухин), «Аксилием Васеновым» (Василий Аксенов) и «Ягуаром Авваловым» (Лев Овалов — автор «Майора Пронина»).

Такое ерническое признание в 60-е было дороже многих премий, да и о премии (Ленинской) шла речь всерьез, но Солженицын продолжал искать — и перелом произошел, кажется, на «Раковом корпусе». Этот добротный и яркий роман оказался тупиком. Дело не в том, что он не был напечатан — это как раз случайность. Солженицыну нужна была не публикация, а выход из колеи, накатанной «Кругом первым», «Одним днем...», «Кречетовкой». Даже если «Раковый корпус» был лучше их, он был — такой же. А Солженицын искал новое слово.

Слово — ключевое понятие для Солженицына в целом. Об этом говорит все. И единственная нехудожественная публикация в советской прессе — страстная и убедительная статья в «Литературке» о языке. И фанатическая приверженность Далю. И изобретательность в сочинении лексических фантазий (вроде «вышатнуть» и «пришатнуть»). И скорбь по букве «ять», и безнадежная борьба за букву «ё».

Жорж Нива тонко подмечает, что рассказ «Случай на станции Кречетовка» написан о расхождении в одном слове: «Пожилой актер не знает нового названия Царицына — Сталинград. Этот рассказ — образцовое противопоставление двух языков, даже двух кодов».

Трудно найти более ненавистного Солженицыну врага, чем радио. В «Матренином дворе», «Раковом корпусе», «Образованщине» его ярость обрушивается на трансляцию, радиоточку, репродуктор. Здесь враг — это слово.

Постоянные претензии к алогичности, противоречивости, непоследовательности солженицынской публицистики останутся бесконечными и бесплодными, если не учесть, что часто эти метания носят стилевой, а не социально-политический характер. Не настолько, конечно, что «для красного словца не пощадит ни матери, ни отца» (Даль). Все же Солженицын — идеолог. Но — во вторую голову. В первую — художник, литератор. Так, нельзя искать смысла в подзаголовке эпопеи «Красное колесо», который будет претенциозен и невнятен, если рассматривать трезво — «Повествование в отмеренных сроках». Объяснить его так же трудно, как подзаголовок «поэма» к

«Мертвым душам». Потому что все это — поиски жанра.

Выбираясь из-под глыб собственного — условно говоря, реалистического — стиля, Солженицын не мог, конечно, оказаться в соседней колее — в стиле шестидесятников: настолько последний был ему чужд своей легкостью, западничеством, усредненным интеллигентским языком. К языку проповеди он пришел с неизбежностью. Так долго и часто успешно избегая соблазна прямого слова, Солженицын пришел к нему на новом витке диалектической спирали.

А поскольку это произошло в зените становления гражданского самосознания в стране, то 60-е естественным образом решили, что в строй оппозиции встал еще один диссидент.

Первая попытка в новом жанре принесла Солженицыну оглушительный успех. Его письмо в мае 67-го IV Всесоюзному съезду писателей о цензурной травле литературы поддержали коллективным обращением более 80 советских литераторов и еще полтора десятка писателей — отдельными посланиями. Художник выступил на общественном поприще — это было совершенно в духе времени, и маститый Каверин восхищенно отпустил Солженицыну комплимент: «Ваше письмо — какой блестящий ход!»

Это и в самом деле был ход, но — жанровый. Покуда он укладывался в стилистику эпохи, совпав с наивысшим взлетом активности в стране. И хотя Солженицын уже круто отворачивал в сторону от 60-х, все еще казалось, что он уходит просто вперед — в отрыв. В лидеры. Лидером готовы были его признать и коллеги (Георгий Владимов: «Это писатель, в котором сейчас больше всего нуждается моя Россия»), и читатели («При проведении в Обнинске анонимной социологической анкеты в конце 1967 г. в графе с вопросом «ваш любимый советский писатель» на первом месте оказался Солженицын»).

Коллеги не могли знать, что в том же мае 67-го была закончена первая часть «Теленка», где Солженицын постулировал раскол двух литератур: и х и е г о. Обнинские атомщики не могли предвидеть, что всего через два года это о них будет написано: «Непробудная, уютная, удобная дрема советских ученых: делать свое научное дело, за это — жить в избытке, а за это — не мыслить выше пробирки».

Укрепляясь в жанре публицистики, Солженицын все безусловнее расквитывался с 60-ми. Его, выше всего ставящего живое слово, не мог не оскорблять бесцветный язык диссидентских посланий, часто неотличимый от обтекаемых газетных передовиц. Отчетливо понимая, что «для нашего поколения утерян письменный язык нравственных сочинений», Солженицын восстанавливал его сам.

В этой сфере он и достиг своих стилистических вершин, являя примеры запоминающейся образности: «И ненужное космическое хвастовство при разорении бедности дома; и укрепление дальних диких режимов...» и поднимаясь иногда до почти пророческого напора: «Выбили из голов все индивидуальное и все фольклорное, натолкали штампованного, растоптали и замусорили русский язык, нагудели бездарных пустых песен. Добили последние сельские церкви, растоптали и загадили кладбища, с комсомольской горячностью извели лошадь, изгадили, изрезали тракторами и пятитонками вековые дороги, мягко вписанные в пейзаж». Произведя в «Образованщине» окончательный расчет с искусами и заблуждениями 60-х, с хаосом своих литературных поисков, Солженицын выбрал направление — архаику.

Осваивая заново жанр «нравственных сочинений», Солженицын обернулся назад, не видя стилевой опоры в окружающем настоящем. Первичным был языковой поиск, а не ненависть к репродукторам и пятитонкам. Аввакум и библейские пророки изъяснялись иными словами, чем революционные демократы, большевики и диссиденты. И если Солженицын иногда сбивался, то потому лишь, что был первым за долгое время в этом трудном жанре: «Не обнадежен я, что вы захотите благожелательно вникнуть в соображения, не запрошенные вами по службе, хотя и довольно редкого соотечественника, который не стоит на подчиненной вам лестнице...» Конечно, это не Исайя, а Акакий Акакиевич обращается по начальству. Но такой зачин «Письма вождям Советского Союза» не означал ни ослабления идейной позиции, ни даже тактического хода. Это был просто стилистический сбой, литературная неудача — как есть более и менее удачные места у любого писателя, даже в цельном куске единого направления.

Направление, выбранное Солженицыным, — архаика, окончательно обособило его от общественных движений 60-х. Даже страшная катастрофа августа 68-го, разрушившая надежды, разметавшая оппозиционные порядки, в личной и творческой судьбе Солженицына прошла практически не замеченной (о чем он покаянно написал через несколько лет в «Теленке»). Он в это время находился на своем художественном подъеме. Пророческий стиль неуклонно вел к позиции пророка. Из-под пера Солженицына стали выходить вещи, о которых он сам сказал когда-то: «Книга-то получалась очень правильная, если б все сразу стали по ней жить». Теперь сослагательное наклонение превращалось в повелительное. Теперь был явлен заведомо неисполнимый образ жизни — «Жить не по лжи!» и заведомо недосягаемый положительный герой — сам Солженицын в «Теленке», где он вел диалог не с людьми, а с Богом.

Нью-Йорк

Путь к себе

Даниил Гранин. Неизвестный человек. «Дружба народов», 1990, № 1.

Не случалось ли вам, шагая по обочине пыльного, разбитого тяжелыми грузовиками пригородного шоссе, заметить вдруг неказистую, отходящую куда-то в сторону от тракта дорогу? Даже не дорогу — дорожку, поросшую тут и там травой, петляющую в чахлом кустарнике, карабкающуюся по пригоркам, пропадающую в оврагах? Не хотелось ли, забыв о намеченных делах, сойти с надоевшей обочины, свернуть на эту тропинку, почувствовать под ногами ее упругость и, быть может, встретить за поворотом что-то удивительное, недоступное торопливому взгляду? Не казалась ли в эту минуту привычная будничная жизнь похожей на это перегруженное шоссе, где все спешат, обгоняя друг друга, пылят, а что-то важное остается в стороне?..

Даниил Гранин любит заставать своих героев в ситуациях, когда судьба открывает перед ними неожиданные «боковые дороги». Следуя шаг за шагом за героями, писатель выявляет истоки их поступков, сомнений и выбора, мужества и слабодушия. Появление «бокового пути», нарушающего привычное, размеренное будничное движение, почти всегда становится для героя началом проверки и перепроверки собственных дел и помыслов, промахов и удач. Так происходит и в новой повести «Неизвестный человек». Картины, и образы, и сам конфликт, легший в основу сюжета, точнее не скажешь — очень «гранинские». В центре внимания автора — возможность противостояния добра злу, апатии и бездуховности. Противостояния, осуществляемого в современных, «перестроечных» условиях, по сюжету же — в рамках министерства союзного значения.

Главный тормоз обновления, живой символ всей административно-командной системы является читателю в образе замминистра Клячко, невежды и интригана, устоявшего при всех переменах и не собирающегося сдавать позиции. «...Свалить меня трудно. Я, видишь, какой кругленький», — без обиняков заявляет он своему противнику. Сражаются с ним (единственные в целой отрасли, как замечает автор), управленцы среднего масштаба, опытные инженеры Ильин и Усанков. Эти образы — плоть от плоти героев-«деятелей» раннего Гранина, младшие братья Крылова и Тулина из «Иду на грозу», хранящие в памяти те же юношеские идеалы, правда, потускневшие за годы работы под руководством Клячко и подутратившие юношескую бескомпромиссность. И, как это происходило у Крылова с Тулиным, их пути в финале расходятся: Ильин находит мужество свернуть с накатанного шоссе министерской карьеры, Усанков продолжает гонку, мысленно переводя недавнего единомышленника в число ненужных свидетелей. И в основе разрыва, как часто бывает у Гранина, лежат причины нравственные — несогласие Ильина воевать со злом его же оружием. Писатель как будто напоминает уже известные сюжеты, ситуации, и сама жесткая схема тривиальной министерской схватки, знакомая по десяткам газетных и телевизионных репортажей, с узнаваемыми деталями и подтекстом, необходима в повести для того, чтобы полнее высветить состояние души современника, души, стиснутой щупальцами нормативов и предписаний, давней несвободой, и жаждущей обрести свою истинную суть. Возможность такого обретения является белой ночью Усанкову и Ильину, обдумывающим план интриги против Клячко, в одеждах необычных и поистине фантастических: машина Ильина и Усанкова едва не сбивает с ног трех молодых офицеров павловской эпохи, шествующих к Михайловскому замку, где был злодейски убит император. Мало того — эти три молодых человека в потрепанных мундирах оказываются не артистами и не миражом, навеянным «мифом о Петербурге», а — вполне реальными офицерами Преображенского полка. Фантастика? Но задумаемся — не более ли фантастично то, что происходило и происходит со всеми нами? И не столь же властно входит история в жизнь каждого из нас, говоря о причастности и соучастии в ней, не только в настоящем, но и в прошлом?

Во многих произведениях Гранина присутствует, помимо основного, «магистрального», держащего сюжет плана, план побочный, часто не связанный впрямую с основным действием. Не фон, не архитектурная завитушка на стройном здании сюжета — а самостоятельная мелодия, развивающаяся в своей тональности и в своем собственном ритме. Вдруг всплывший образ погибшего друга, или судьба ученого, или жизнь искусства красок и холста, или мир ленинградских набережных и садов, причудливых решеток и молчаливых монументов. Сосуществование в ткани произведения двух мелодий и создает поле высокого напряжения, в котором скрывается особое обаяние гранинской прозы.

Своеобразие «Неизвестного человека», на мой взгляд, заключается прежде все-

го в том, что здесь благодаря заостренности, фантастичности исторического плана, обусловившего его эмоциональное воздействие,— две мелодии оказались равнозначны. И даже более того — «побочная» временами выходит на первый план, отодвигая в сторону современную, напряженно-социальную. Старинный Петербург, таинственный, рождающий миражи и видения прошлого, воздух белых ночей, хранящие следы Гоголя и Достоевского подъезды — все это присутствует в повести подчас куда более зримо и реально, чем затеянная Усанковым интрига, и подчеркнуто иным, гибким и многоцветным становится язык автора, до того лишь фиксирующий скупые и безликие реплики министерских заправил.

Гранин — признанный мастер сюжетной конструкции. И современного героя, Сергея Ильина, он сводит лицом к лицу с прошлым (обнаруживая даже его отдаленное родство с одним из молодых офицеров-преображенцев) прежде всего для того, чтобы разительнее показать несовпадение духовных ориентиров, высветить беды сегодняшнего духовного состояния общества. Автор уводит Ильина под своды библиотечных хранилищ — в сторону от суетных забот руководимого им КБ — не на поиски дворянской родословной, но за ответом на мучительные вопросы о смысле и значении собственных усилий и собственного существования. И, удивительно, события, давно минувшие, предстают Ильину едва ли не более живыми и исполненными значения, чем бурлящая современность. Перед глазами его проходят шеренги гвардейцев, и в каждом из них герой видит индивидуальные, запоминающиеся черты. Даже костюмы их рассматривает он тщательно и удивленно. Совсем иначе глядит Ильин на работников своего ведомства: серая свита Клячко, его вываливающийся живот, «щекастое потное лицо» Усанкова, его недавнего товарища,— это характеристики не личностей, это примета группы, примета функций, лишенных индивидуальных черт и человеческих проявлений. Столкновение с прошлым дает Ильину новое зрение — и он ужасается окружающему, ужасается картине торжества посредственности и невольно вспоминает собственный путь — ведь именно с тех пор, как он махнул рукой на любимое дело, начал халтурить, карьера поползла вверх. «Карьера безразличных» — формулирует герой. И много думает об истории Алеши Курочкина, талантливого сотрудника, за свою бескомпромиссную борьбу с начальством упрятанного в психиатрическую клинику.

Гранин восстает не только против «безразличных» — тех, кто привел к безликому и неразумному руководству. Он против того разрушения душ, нивелировки личности, утверждения воинственной посредственности, которые есть неизбежное следствие и результат господства административно-командной системы. Против явления, которое философ В. Толстых назвал «психологической уравниловкой» — пострашнее уравниловки распределения и зарплаты, ибо она уничтожает не только справедливость и инициативу, а искореняет сам талант, губит все выдающееся, нерядовое. Разрушает нравственный мир души.

Несколько лет назад в статьях и выступлениях Гранина настоятельно зазвучала мысль о необходимости экологии души, главной ценности общества. Потому что общество, в котором разрушаются души, обречено, не имеет перспективы. Эти же слова звучат сегодня в выступлениях депутата Гранина. И мы с каждым днем убеждаемся в том, что это не просто эмоциональное заявление литератора — речь о том, что разрушение душ продолжается в нашем обществе, разрастается, ползет, и недостает у общества сил сопротивляться в полной мере...

Разве сами герои повести не отмечены печатью этого разрушения? Усанков, хороший специалист, мечтающий обновить и перестроить отрасль, болеющий за дело, всерьез полагает, что, «скинув» с помощью анонимного письма Клячко, послужит благу отечества. И тот же Ильин, рефлектирующий и неудовлетворенный, до своего духовного перелома со спокойной совестью сочинил и отправил эту анонимку!

Удручающее впечатление производит такая «борьба за правду» (которую, увы, многие современники воспринимают серьезно, безо всяких кавычек)! И как далека она по своей корыстной суетности от полного значения сосредоточенного шествия трех юных офицеров на место убийства Павла. А шли они ни много ни мало — убедиться, как действительно умер император, усомнившись в официальной версии. В их системе ценностей честь и порядочность значили неизмеримо больше, чем продвижение по службе. И Сергей Ильин, погрузившийся в изучение событий павловской поры, открывает неожиданный пласт — «историю порядочности в России». И стремится познать эту историю и приобщиться к ней. Слово «порядочность», почти забытое, осмеянное с высоты классовых интересов и принципа высшей целесообразности, вновь обретает смысл. Потому что возвращение к пониманию ценности и достоинства личности невозможно без обретения нравственных императивов, питающих ее. Личность тем и отличается от винтика и функции, что опирается на издавна выработанные константы, она не живет в безвоздушном пространстве, только сегодняшним днем — пропитана множеством влияний и связей с другими личностями и эпохами. В последнее время писатель не однажды упоминал в интервью о своем новом романе о петровской поре и, может быть, в повести сам сюжет о павловских офицерах родился из раздумий над ходом и уроками русской истории. Столкнув лицом к лицу, напрямик былое и сегодняшнее, автор начал примерять, что из богатой кладовой исторического опыта не худо вспомнить — без лишнего поругания прошлого, без лишнего романтического флера. Наверное, нам еще долго идти по такому пути...

Даниил Гранин — писатель остросоциальный. Это проявляется не только в тяготении к коренным конфликтам и спорам современности: как всякий истинный глубокий художник он чуток к самому «стоянию времени», к густоте воздуха эпохи — и потому нередко подмечает еще только нарождающиеся тенденции и веяния. Перечитывая сегодня «Иду на грозу», впитываешь будоражащий, живущий ожиданием перемен воздух «оттепели», открывая заново «Картину» — вспоминаешь атмосферу конца 70-х. «Неизвестный человек» — точный слепок духовного состояния общества наших дней. Здесь звучат обрывки фраз, которые только что слышались в очереди или пригородной электричке, реплики из телевизионных дебатов и газетных репортажей. Здесь точно схвачены детали, подмечены ракурсы и выражения. Подчас все это кажется сырым, не обработанным еще материалом, подслушанным и подсмотренным, по первому впечатлению зафиксированным. Но не эта ли фотографическая точность деталей высвечивает неприкрашенные черты нашего движения по будничной, привычной «магистрали», за обочиной которой оказываются подчас и высокие порывы, и порядочность, и человечность? Показывает всю эклектичность современного мироощущения, растерянность сегодняшнего человека перед навалившимися на него вопросами и волнениями?

«Неизвестный человек» — это сам Ильин. Это каждый из нас, не познавший себя, не раскрывший своих возможностей, не состоявшийся как личность. И всем нам предстоит посмотреть на себя, сверившись с нравственными общечеловеческими мерками. Нам предстоит путь нравственного обновления и очищения, освобождения от суетности и мелочности — единственно возможный для личности путь. «Боковая» ли это дорога?

Сергей Ильин уходит от схватки с замминистра не потому, что не считает свержение Клячко необходимостью. Он не согласен свергать зло методами зла. Для того-то и нужно ему дальше и дальше идти по своей «боковой дороге», уводящей от ровного шоссе пустых волнений и мнимых побед,— разобраться в себе, понять, что суждено еще ему в жизни успеть, найти непреходящие духовные опоры. Чтобы вступить в борьбу со злом снова, не разрушая свою личность. И в этом выводе Гранин остается Граниным.

Н. АЖГИХИНА

«...и не надейтесь на книги...»

•

Юрий Белаш. Окопные стихи. М., «Советский писатель», 1990.

•

Не встречал в жизни второго столь неудобного для общения человека. Столь резкого, колючего, прямого и ко всему этому в придачу — непредсказуемого. С ним трудно бывало говорить.

Он был очень умен, с первого часа нашего знакомства я почувствовал, какого лиха довелось ему хлебнуть; но во все годы нашего знакомства — это были последние три его года — не оставляло меня и еще одно чувство, тоже изначальное: как он раним и как он одинок.

Он был аскет. Вязаная шапка, летом — парусиновая кепка, а во что одет — както вообще не запомнилось. Солдатский быт, солдатские повадки: поел — помой за собой тарелку и кружку, смахни крошки со стола (и лучше бы — в рот). Это довольно странно сочеталось с его манерой говорить, с хитрым прищуром его, с баском мальчишеским. В нем вообще до конца, до последней поры — когда он стал обзванивать немногих своих друзей, прощаться, дарить на прощание книги, когда он постарел вдруг и страшно,— в нем жил мальчишка. И во внешности, в этой худобе, в носике уточкой, в челочке, в линялой кепочке, натянутой до бровей; и — в этих его неотразимых уколах, всегда неожиданных, точных и, признаться, болезненных. Так только пацан пацана застигает врасплох, демонстрируя новый «приемчик»...

Легко было поверить мифу: живет на последнем этаже кооперативного дома на Ломоносовском, по соседству с Черемушкинским рынком, оригинал, избравший односторонний вариант общения с миром. Дозвониться до него можно лишь в тот единственный час суток, когда он включает телефон,— и то по условному сигналу: гудок — опусти трубку — снова набери номер — еще два гудка... нечто в этом роде. В это было так же легко поверить, как и в то, что Юрий Белаш — вообще говоря, Козьма Прутков, литературная мистификация, плод коллективного творчества нескольких известных поэтов-фронтовиков. Такой слух ходил, и я о нем вскользь упомянул в большой обзорной статье в «Литературном обозрении» (1985, № 5)...

И вот — звонок.

— Это Михаил Константинович? С вами говорит Белаш.

— Кто-кто?!

— Юрий Белаш. Я тут по соседству, сейчас к вам зайду...

Он зашел — и принес второй свой сборник. Уже надписанный, донельзя лаконично (и ужасно лестно): «Михаилу Поздняеву — раз и навсегда».

Не знаю, почему так взволновало его мое упоминание о нем. То ли по соседству — имена подходящие: Слуцкий, Самойлов, Межиров. То ли потому, что впервые о его стихах говорил молодой литератор. Прежде, после выхода первой книжки, в солидных журналах напечатаны были рецензии его сверстников; среди них особенно выделялась статья Вячеслава Кондратьева в «Юности» — автор переживал рождение книги Белаша «Оглохшая пехота» едва ли не с тем же волнением, что и публикацию, несколькими годами ранее, своей повести «Сашка». Но мне почему-то кажется, что Белаш относился к тем отзывам не то чтоб равнодушно, но как к воздаянию «по чину» («мы ж все свои люди!..»); а тут...

— Сидим мы с Кондратьевыми у них на кухне, пьем чай и читаем вслух ваш опус...

Пауза, взгляд поверх очков и хитрющая улыбка («каков эффект?»).

— Слушьте,— я им говорю,— а ведь этот мальчик чего-то такое во мне разглядел, чего никто из вас не видит. И, по-моему, разглядел очень точно!

А что я разглядел? Да ничего особенного. Ну, к примеру, я писал: «Похожие и даже точно такие стихи о смерти бывали, но таких стихов о враге до Белаша никто не написал...» Или еще:

Как первую любовь,
не забываю
и первого
убитого
врага...

— столь вольное сопоставление может удивить, даже шокировать. Но как важен в поэзии контекст! Контекст стихотворения (начинается оно так, будто и не о враге, а о друге речь!). Контекст книги и судьбы («Как первую любовь...», по существу, следует читать, как «врученное судьбою вместо нее»...). Наконец, контекст мировой и отечественной поэзии — тут и тело Патрокла вспомнишь, и истекающего кровью Лаэрта..»

Всякому приятно, когда тебя кто-нибудь рассматривает — выражаясь словами Петьки из фильма Чапаев — «в мировом масштабе». Но в данном случае ирония совсем неуместна. Белашу важно было услышать отношение не к себе — храброму солдату, выпускнику Литинститута, автору бессчетных «внутренних рецензий», на старости лет взявшемуся играть в рифмы. Ему хотелось узнать чужое отношение к стихам, которые тридцать лет спустя после войны хлынули, как кровь — горлом.

Он сам расценивал случившееся с ним едва ли не мистически. Никогда стихов не писал. И даже в детстве. В институте — начинал как драматург, потом серьезно занялся литературоведением и критикой. Боготворил Белинского и Писарева. Жизнь складывалась таким образом, что не до лирики. И — надо же!..

Я пройду не спеша по аллее осенне-притихшего парка — сквозь пожар, шелестящий оранжевым, красным и желтым, подыму лист кленовый, воткну черенком — как какой-то языческий орден — в карман гимнастерки и совсем позабуду, что я на войне и что парк — это вовсе не парк, а тылы обороны...

— Миша, как, по-вашему, это — стихи?

— Стихи, Юрий Семенович.

Молчит — ох уж эти его паузы!

— Алло, Юрий Семенович!

— А по-моему, это не стихи, а стихопроза!

И — частые гудки.

Великая тайна сообщена.

Это слово — «стихопроза» — я неоднократно слышал от него в последнюю зиму, весну, лето. Мы не общались несколько месяцев. Он в очередной раз попрощался со мною — «раз и навсегда», предупредил, что отключает телефон, чтобы я не смел приезжать,— все равно не отопрет!

— Я вам серьезно говорю, можете не ухмыляться! Вот чудак-человек. Я с вами прощаюсь, понимаете вы? Ну ладно, ухмыляйтесь-ухмыляйтесь, пожалеете потом. И заберите свою клубнику, чего мне с ней делать?!

А сам, между прочим, в сезон только одной ягодой и питался. Каждый день ходил на рынок...

Попрощались. Я уже знал: звонить — без толку. Пришла зима.

— Алло, это Миша? Здравствуйте, это Белаш. Послушайте-ка стихопрозу...

По-моему, он связывал с этой новой крутой волной в своей жизни поэта большие надежды. Он звонил мне как никогда часто:

— А вот сегодня — такое...

Когда ты убиваешь врага в бою, ты не можешь быть уверен, что убьешь его, а не он тебя — и потому ты не чувствуешь себя убийцей... Но почему ты не радуешься, когда после боя приходится расстреливать безоружного врага, хотя ты хорошо понимаешь, что в бою он мог убить тебя?..

Для него было страшным потрясением то, что ни в одном журнале принесенные подборки «нового Белаша» не оторвали с руками! Не знаю, ярости или горестного недоумения — чего было больше в его тогдашних комментариях. Мне припоминалась пережитая им как акт вандализма поправка, сделанная при публикации в журнале «Театр» его давней пьесы «Фронтовики»,— публикация совпала по времени с антиалкогольной кампанией, и спирт, распиваемый в землянке, был заменен на... чай!

Белаш говорил об этом как о святотатстве!

Факт публикации был в его глазах перечеркнут одним движением красного карандаша.

Можно представить, что творилось в его душе, когда большая подборка «стихопрозы» оказалась отклонена — и где! В его любимом журнале «Знамя», куда он первым делом нес все показывать, где вышло уже три больших цикла!

— Они ни-чер-та не понимают!!!

И — дуплетом! — еще один отказ:

— Миша, мне вернули «Окопные миниатюры». Говорят, что невнятен жанр, что вещь рыхлая и слишком велика, что там ни к чему фольклор!

Пауза, а затем — снова:

— Они ни-чер-та не понимают!!!

Мне сложно говорить о «стихопрозе» Белаша, ибо это книга незавершенная. Он рассказывал, что и первую и вторую книжку выстраивал, сотни раз примеривая, стык — встык, одно стихотворение к другому. Напечатанные теперь в этом сборнике страницы «стихопрозы» — всего лишь страницы, хотя и среди них попадаются вещи антологические.

Не усложняйте жизнь —
она и так сложна.
Не упрощайте жизнь —
она и так проста.
Не украшайте жизнь —
она и так прекрасна.
И не черните жизнь —
ее и так чернят...

Но — чего мне очень жаль — это того, что Юрий Семенович не увидел напечатанными свои «Окопные миниатюры». Называя «Оглохшую пехоту» в том своем поэтическом обзоре подлинным откровением, прорывом из 40-х годов — в наше время, поминая к месту пушкинскую формулу о «высшей смелости: смелости изобретения, создания, где план обширный объемлется творческою мыслию», я просто не подозревал, что однажды Белаш положит передо мной голубую папку, откинется в кресле, затянется дешевой крепкой сигаретой и весь этот час или полтора, пока я буду читать, так и просидит молча, по другую сторону журнального столика, глаз с меня не сводя...

Напечатана рукопись была — она, впрочем, есть, хранится у меня в шкафу! — на стопке бланков с грифом «Журнал ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»» (там Белаш работал литконсультантом в 60-е годы), причем гриф редакции был на оборотной стороне листа и вдобавок перевернут вверх ногами. И еще деталь: каждая миниатюра заранее разграфлялась тонко очиненным карандашом, и уже по этой разметке печатался текст...

1.

На войну я уходил на время.
Оказалось —
на всю жизнь.

2.

Крик
в бою
виден,
но не слышен.

3.

Три фронтовые заповеди:
ничему не удивляйся;
ничего не откладывай на завтра;
никого не бойся.

. . . .

40.

Неужели было такое время,
когда мы перед едой мыли руки?..

41.

Улица.
Пулеметный огонь.
Прижался к стене.
А на ней —
контур детской руки
с обведенными пальцами...

И вот так — от 1 до 900. 143 страницы. А Белаш курит-курит и нет-нет да хмыкнет...

Созвонились через несколько дней.

— Юрий Семенович, мне кажется, порядок у миниатюр неслучайный?

— Я был о вас лучшего мнения!

— Как же вы это все сложили?!

— Хм...

Чувствую: дово-о-олен.

Понимание — вот что он ценил превыше всего. Мне кажется, он не слишком переживал оттого, что его «прокатили» на приеме в Союз писателей, что после повторного голосования дело положили «под сукно»: он и заявление подал под нажимом друзей, надо ведь ему было и лечиться, и отдыхать где-то, да и просто нормально питаться...

На кухне у него, на стене, наклеены были в ряд портреты «вождей» в траурных рамках, вырезанные из «Правды»... Читатель блаженного Августина и Сенеки, солдат Белаш, инвалид войны и кавалер самых высоких боевых наград (которые он нацепил на пузо плюшевому зверюге, восседавшему посреди холостяцкой его кельи, и не ведаю, надевал ли сам, хотя бы по праздникам...) — он всю жизнь учился «не быть несчастным прежде времени». Но никуда не мог деться от другой открывшейся ему истины, значащейся в числе «Окопных миниатюр» (до сих пор не изданных) под номером 150:

Ничто на свете
не может опротиветь больше,
чем война.

В этом его мало кто до конца понимал. Не раз я слышал от очень хороших и очень разных поэтов: «Как вам может нравиться Белаш?! Он романтизирует убийство, воспевает войну! Ничего мерзостнее в искусстве быть не может».

Что я мог ответить — тогда? Какую провести параллель?

В поэзии — не вижу, не знаю, не нахожу.

В прозе — разве что «Колымские рассказы» Шаламова.

Не оттого ли и Белаш так часто спрашивал себя и других: вполне ли стихи — то, что он пишет?

Это не было похоже на литературный труд, профессиональное стихотворчество. Это было какое-то мученичество — и освобождение. Почему-то вспоминается Гоголь. Наверное, потому, что и Белаш вот так же умирал: ни от чего, просто — лег, распрощавшись со всеми: повернулся лицом к стене — и умер. Во сне.

Мальчик, как я уже сказал, он перед смертью враз постарел.

Война догнала.

Он — в последнюю нашу встречу — спросил:

— А хотите посмотреть мои рукописи?

Достал общую тетрадь в клетку. Кажется, даже пронумерованную, и номер на ней был двузначный.

На левой странице — черновики: остро очиненным простым карандашом — пять, шесть, семь вариантов одного стихотворения, и каждый вариант густо, поверх строк, правлен; в верхнем углу — окончательный вариант.

«Пишет — как дышит»,— я часто связывал эту рифму с Белашом, с его, такими исповедальными, непридуманными строками. А они — вон с какой болью выходили! Вон с какой силой колотила в виски, сотрясала ушные перепонки контузившая его война!..

В бою теряешь ощущенье плоти.
Нет тела — есть одна душа,
припавшая к прикладу ППШа.

И как во сне — и жутко, и легко,
и сизой гарью даль заволокло,
и ты скользишь в немыслимом полете...

Во гробе он лежал — неузнаваемый: обожженный, опаленный, не летним зноем — вражьим огнем. «Вот точно так выглядели убитые на поле боя»,— сказал один из тех десяти или двенадцати человек, кто прощался с Белашом...

Судьба его — удивительна и трагична. Она заслуживает прочтения — как и его стихи.

Не обессудьте, что в рецензии больше о Белаше, чем о стихах. Книга стихов — перед нами. А его — нет.

Обычно мы говорим иначе: «Поэта — нет, стихи — живут». Иногда стоит менять порядок слов. Чтобы знать: какой ценой.

...Ведь не случайно же последней, девятисотой, в «Окопных миниатюрах» Юрий Белаш поставил — эту:

...и не надейтесь на книги:
книги — лишь бледная тень
перекипевших событий,—
бо́льшую часть пережитого
люди уносят в могилы...

Михаил ПОЗДНЯЕВ

Главный редактор А. А. АНАНЬЕВ.
Первый заместитель главного редактора Н. К. ЛОШКАРЕВА.
Редакционная коллегия: Г. В. БУДНИКОВ, В. В. ДЕМЕНТЬЕВ, Р. Т. КИРЕЕВ, Н. Д. КРЮЧКОВА, А. Н. КУРЧАТКИН, В. М. ЛИТВИНОВ, А. А. МИХАЙЛОВ, И. К. НАЗАРОВА (отв. секретарь), В. Д. ПОВОЛЯЕВ, В. Я. САВАТЕЕВ, И. Е. ФИЛОНЕНКО.

Технический редактор С. И. Суровцева.

Сдано в набор 11.05.90. Подписано к печати 30.05.90. А 06891. Формат 70×108 1/16. Высокая печать. Усл. печ. л. 18,20. Усл. кр.-отт. 18,55. Учетно-изд. л. 22,24. Тираж 335 000 экз. Заказ № 2343. Цена 90 коп.

Адрес редакции: 125872 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдела прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.